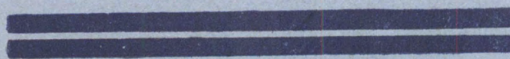


НОВОБЫИ  
МИР

НОВОБЫИ МИР

6



1974

1974

# НОВОЫЙ И МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания L

№ 6

Июнь, 1974

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
И. БОДЮЛ — Новый этап в жизни села	3
МУСТАЙ КАРИМ — Жду вестей, стихи. Перевели с башкирского Елена Николаевская, Ирина Снегова	20
ПАВЕЛ НИЛИН — Мелкие неприятности, рассказ	25
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Узел бурь, стихи	32
Н. ТАРАСЕНКОВА — Чары, рассказ	38
Л. ДУГИН — Лицей, роман. Окончание	59
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА — Метель, стихи	145
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ — Порт в бухте Врангеля	149
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
РАИС БЕЛЯЕВ — КамАЗ в биографии молодых	173
—————	
ИВАН ЛАПОНОГОВ — Социализм в наступлении. СЭВ: проблемы, события, люди	182
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ — В гости к солнечной семье	200
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<i>К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина</i>	
Б. МЕЙЛАХ — Великий новатор	221
Д. БЛАГОЙ — Главою непокорной	233

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
В. НЕПОМНЯЩИЙ — «Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный...». О некоторых современных толкованиях Пушкина	248
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Мargarита Алигер.</b> Круги вокруг сердца.— <b>И. Гитович.</b> Испытание памятью.— <b>К. Щербаков.</b> Личность критика, позиция критика.	267
<i>Политика и наука</i>	
<b>В. Старцев.</b> Революция, партии, массы.— <b>К. Станюкович, Д. Биленкии.</b> Продолжение достоинств.	275
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>Н. Беккерман.</b> — Михаил Лохвицкий. Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели. ◆ <b>М. Кораллов.</b> — Юрий Давыдов. Судьба Усольцева. Рассказы, повесть. ◆ <b>Феодосий Видрашку.</b> — Константин Шишкан. Все времена сердца. ◆ <b>М. Лапшин.</b> — Василий Кубанев. «Если за плечами только восемнадцать...» ◆ <b>И. Демина.</b> — <b>И. Лаптев.</b> Планета разума. ◆ <b>А. Майкапар.</b> — <b>Ю. Келдыш.</b> Рахманинов и его время	282
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

И. БОДЮЛ,  
первый секретарь ЦК КП Молдавии



## НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ СЕЛА

**Н**аш народ по праву гордится громадными успехами в социально-экономическом развитии деревни, прогрессом в обширной сфере материальной и духовной деятельности колхозного крестьянства. Благодаря целеустремленной работе партии и народа повысилась эффективность сельского хозяйства, систематически растут производство и закупки продуктов земледелия и животноводства, страна гарантированно обеспечена хлебом, увеличились доходы тружеников села, улучшилось их культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение.

Эти успехи — результат постоянного внимания Коммунистической партии к сельскому хозяйству, выработки ею на каждом этапе исторического развития нашего государства, исходя из его потребностей и возможностей, соответствующей аграрной политики, форм и методов хозяйствования, которые обеспечили бы неуклонный рост сельскохозяйственного производства.

В первый период социалистического переустройства сельского хозяйства на основе ленинского плана коллективизации крестьянских хозяйств и создания совхозов многоотраслевое направление развития общественного производства на селе было наиболее верным и эффективным средством интенсификации его. В значительной мере именно благодаря многоотраслевому характеру колхозов и совхозов в Молдавии, например, улучшилась экономическая структура сельскохозяйственного производства, расширились посевы технических, овощных и новых кормовых культур, развито животноводство, садоводство. При этом, хотя площади под зерновые были уменьшены во имя увеличения производства других культур, валовые сборы хлеба не только не сократились, а значительно выросли.

Но многоотраслевая структура колхозов и совхозов не могла оставаться самой рациональной, ибо находящиеся в постоянном движении производительные силы создают для всех времен новые условия и требуют новых соответствующих им организационных форм производства и управления ими.

Не случайно поэтому, исчерпав свои возможности в направлении многоотраслевого развития, колхозы и совхозы под влиянием научно-технического прогресса и современной аграрной политики партии стали на путь очередной концентрации производства и более углубленной специализации, широкого применения в крупных производствах систем машин, комплексной механизации и сплошной электрификации. Уходя в прошлое свойственные многоотраслевым хозяйствам полеводческие бригады, животноводческие фермы и внутрихозяйственный севооборот. Им на смену как естественный процесс приходят объединения по механизации и ирригации, животноводческие



комплексы, единые в масштабе районов межхозяйственные севообороты, аграрно-промышленные комбинаты, пальметтные сады, высокоштабные виноградники, теплично-парниковые комбинаты, кормопроизводящие базы индустриального типа и т. д.

Эти и другие организационно-технические преобразования без преувеличения можно оценить как новое, революционное по своей сущности восхождение к более высокой социалистической организации общественного производства в сельском хозяйстве.

Происходящие сейчас структурные изменения в производительных силах и производственных отношениях на селе носят особенно прогрессивный характер и являются закономерным результатом осуществления на практике разработанного мартовским (1965) Пленумом ЦК КПСС и развитого XXIII и XXIV съездами партии курса в области сельского хозяйства.

На декабрьском (1973) Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев определил современную специализацию в сельском хозяйстве и концентрацию производства в качестве магистрального пути развития сельского хозяйства нашей страны. В своей яркой речи на слете целинников в Алма-Ате Леонид Ильич сказал: «Сохранившиеся до сих пор черты многоотраслевой, раздробленной структуры производства, которые унаследованы от прошлого, сдерживают процесс научно-технического перевооружения, тормозят интенсификацию сельского хозяйства. Поэтому дальнейшая специализация и концентрация производства, углубление межхозяйственной кооперации выступают ныне как насущные, коренные вопросы развития сельского хозяйства страны».

Анализируя развитие капитализма в сельском хозяйстве, В. И. Ленин писал: «Тот процесс специализации, который отделяет один от другого различные виды обработки продуктов, создавая все большее и большее число отраслей промышленности,— проявляется и в земледелии, создавая специализирующиеся районы земледелия (и системы земледельческого хозяйства), вызывая обмен не только между продуктами земледелия и промышленности, но и между различными продуктами сельского хозяйства»<sup>1</sup>.

В противоположность капитализму, при котором концентрация и специализация сельского хозяйства складываются стихийно и сопровождаются разорением крестьянских масс, обогащением крупных фермеров и промышленных монополий, в условиях социалистического способа производства это переустройство протекает планомерно, в интересах всего общества и каждого производственного коллектива.

Наша партия всегда придавала большое значение повышению уровня обобществления и разделения труда. Первым мощным шагом в этом направлении явилось строительство крупных специализированных совхозов, машинно-тракторных станций, коллективизация индивидуальных мелкотоварных крестьянских хозяйств и образование на этой основе различных по размерам сельскохозяйственных производственных предприятий и кооперативов.

Индустриализация страны и появление в деревне более мощных тракторов, комбайнов, других машин, широкое применение электроэнергии в сельском хозяйстве позволили осуществить укрупнение колхозов и совхозов.

В Молдавии в 1950 году к моменту завершения коллективизации насчитывалось 1639 колхозов, а после укрупнения хозяйств (1951—1955) их стало 800. Средние размеры колхозов увеличились за этот период с 1449 до 3073 гектаров сельскохозяйственных угодий, а по

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 22—23.

объему неделимых фондов — с 32,5 тысячи рублей до 257,5 тысячи рублей. Укрупнение колхозов и совхозов открыло новые возможности для применения техники, расширения фронта механизированных работ, внедрения на практике научных основ организации и технологии производства и тем самым способствовало увеличению производства сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее развитие индустрии сельскохозяйственного машиностроения, появление в деревне комплексных машин и агрегатов показало, что существующие размеры укрупненных хозяйств оказались недостаточными для высокопроизводительного использования новых технических, химических и мелиоративных средств интенсификации производства. Потребовалась очередная концентрация производства, и партия на своем историческом мартовском (1965) Пленуме ЦК положила начало новым качественным преобразованиям в сельском хозяйстве, во многом по-иному стала строить производственно-экономические отношения на селе. В отличие от предыдущих этапов современная стадия обобществления сельскохозяйственного производства в сельском хозяйстве сопровождается углублением разделения труда между хозяйствами, районами, зонами внутри республик и областей, а также в масштабе страны в целом.

Современная материально-техническая база создала условия для дальнейшей интенсификации сельского хозяйства. В земледелие и животноводство пришли мощные машины, механизмы, значительно расширились поставки продукции химической промышленности, развернулось ирригационное строительство, усилились энергетические мощности, что открывало перспективы для перехода к комплексной механизации, сплошной электрификации производственных процессов, к широкому применению новых индустриальных технологий.

Одновременно партия устанавливает новые принципы заготовок сельскохозяйственной продукции — по твердым планам, рассчитанным на длительную перспективу. Рационально размещаются ныне заказы в зависимости от конкретных условий районов и хозяйств, установлен порядок в оптовых ценах на сельскохозяйственную продукцию, введена гарантированная оплата труда колхозников и т. д.

Все это открыло огромные потенциальные возможности для роста и развития земледелия и животноводства. В то же время стало наблюдаться несоответствие между темпами роста производительных сил сельского хозяйства и ростом сельскохозяйственного производства. Многоотраслевая раздробленность хозяйств не позволяла эффективно использовать создаваемую на селе мощную техническую базу. Техническое перевооружение, электрификация, химизация, мелиорация требуют совершенствования производственно-экономических отношений на селе, осуществления нового, более масштабного обобществления производства, перехода от многоотраслевого направления развития хозяйств к узкоспециализированному. На этом пути страна накопила немалый опыт, применяя разнообразный характер организации производства, различные принципы и критерии.

В условиях Молдавии наиболее эффективными организационными формами и методами концентрации и специализации сельскохозяйственного производства оказались производственная кооперация хозяйств и аграрно-промышленная интеграция. Эти формы в равной мере приемлемы для обоих секторов общественного производства — колхозного и государственного.

В колхозно-кооперативном секторе Молдавии, занимающем 72 процента в производстве валовой продукции общественного сельского хозяйства, более масштабная концентрация осуществляется по линии специализации самих хозяйств по тем отраслям, размеры которых

позволяют укрупнить производство и создать оптимальные условия для высокоэффективного использования индустриальных технологий, а также путем производственной кооперации колхозов. Новое направление в развитии производительных сил и совершенствовании производственных отношений на селе получило развитие почти во всех отраслях, и прежде всего в животноводстве, плодоводстве, кормопроизводстве, табаководстве, овощеводстве, капитальном строительстве, где уже сложилась интегрированная экономика, во многих случаях носящая аграрно-промышленный характер.

Научно-техническая революция в сельском хозяйстве показала также, что в условиях стабильности закупочных цен на продукцию сельского хозяйства в разных отраслях и хозяйствах вследствие различного уровня механизации, электрификации и интенсификации производства создается большая разница в рентабельности. При отсутствии же возможностей экономического регулирования внутри колхозного сектора это приводит к большой дифференциации в экономике. Одни хозяйства, располагающие лучшими производственными условиями для развития высокорентабельных отраслей и специализирующиеся в этом направлении, получают большие доходы и накапливают крупные суммы средств на расширение производства. В то же время другие, располагающие меньшими возможностями и сохранившие многоотраслевой характер, медленно укрепляют свою экономику.

При сложившейся в Молдавии структуре сельскохозяйственного производства с учетом перспектив его развития для обеспечения расширенного воспроизводства и успешного решения социальных проблем колхозы должны обеспечивать рентабельность своего производства на уровне 45—47 процентов. Между тем такую экономическую эффективность дает лишь половина колхозов республики, а многие заканчивали год, имея лишь 10—20 процентов. Небольшие объемы накоплений в неделимых фондах низкорентабельных хозяйств ограничивали их возможности укреплять производственную базу за счет более мощной техники, внедрять химические, а также другие средства.

Потребовалась принципиально новая форма организации производства в колхозно-кооперативном секторе. Партия увидела ее в дальнейшем обобществлении средств производства, в создании крупных сельскохозяйственных предприятий, комплексов, объединений на межколхозной и государственно-кооперативной основе, а также в вертикальной интеграции экономики, в создании аграрно-промышленных предприятий, комплексов и объединений.

Межколхозная кооперация отражает новую ступень развития ленинского кооперативного плана переустройства сельского хозяйства. Широкое распространение ее стало возможным на стадии зрелого социализма. В ней нашли практическое воплощение программные положения партии о путях движения колхозов к коммунизму.

По своей природе и сущности экономическая интеграция колхозов является не чем иным, как третьим крупным этапом концентрации сельскохозяйственного производства. Для него характерно углубление разделения труда между хозяйствами и высокий уровень их специализации, значительное расширение кооперации между ними, ликвидация многих промежуточных звеньев и установление прямых связей между сельским хозяйством и промышленностью, связей, основанных на текущем и перспективном планировании, радикальном улучшении системы материально-технического снабжения и производственного обслуживания.

На современном этапе обобществление кооперативной собственности путем концентрации колхозных средств производства происхо-

дит в еще более крупных масштабах. Открывается широкий простор для применения индустриальных технологий, комплексной механизации и электрификации всех производственных процессов, внедрения автоматизированных систем управления производством, механизации учета, экономического анализа, а также для разработки текущих и долговременных математических схем запрограммированного урожая, продуктивности скота и т. д.

Главное содержание межколхозной кооперации в том, что назревшие проблемы подъема производительных сил в сельском хозяйстве не отрываются от колхозов, а решаются с помощью их финансовых, материальных и трудовых ресурсов, то есть в соответствии с аграрной политикой партии, верно определившей неисчерпаемые возможности развития колхозной формы собственности.

Экономической основой создания межколхозных кооперативных производств явилось объединение средств колхозов и трудового участия колхозников — основателей межколхозных предприятий и объединений, а также огромная помощь государства кредитами и новыми техническими средствами.

Важнейшее условие возникновения и успешного развития межколхозной кооперации — соблюдение при распределении колхозных доходов правильных пропорций между фондами потребления и накопления. Республиканская партийная организация разъясняла сельским труженикам эффективность и целесообразность новых форм организации производства, вместе с ними находила пути, как без ущерба для расширенного воспроизводства создавать и укреплять материально-техническую базу межхозяйственных объединений. Для образования первоначальных накоплений колхозники ежегодно отчисляли в неделимые фонды не ниже 26 процентов валового дохода, а в высокоурожайные (и, следовательно, высокодоходные) годы — до 32 процентов. Другая часть валового дохода обеспечивала неуклонное возрастание оплаты труда в соответствии с темпами роста его производительности. Соблюдение правильных пропорций между накоплением и потреблением позволило колхозам выделять часть средств на создание межхозяйственной производственной базы. Когда же межхозяйственные предприятия вступают в эксплуатацию, их расширение и техническая реконструкция идет в основном за счет собственных накоплений.

С момента появления в Молдавии первых межколхозных предприятий (1955) на развитие производственной базы новых кооперативных хозяйств направлено (с учетом плана 1974 года) 500 миллионов рублей. Столько же получено за прошедшее время и прибыли в этой системе. В настоящее время при наличии в республике 480 колхозов функционирует 305 специализированных межколхозных и межхозяйственных предприятий, комплексов и объединений. В 1973 году они дали почти 30 процентов валовой сельскохозяйственной и промышленной продукции от общего производства ее в колхозно-кооперативном секторе.

Создание новой производственной базы на селе путем экономической интеграции колхозов началось с объединения средств для капитального строительства. В этой отрасли раньше, чем в других сферах производственной деятельности, обнаружилась настоятельная необходимость перестройки форм и методов планирования и организации производства. Строительство по индивидуальным проектам, зачастую без технико-экономического обоснования, мелкими строительными бригадами, распыление строительных материалов, неспособность большинства колхозов приобретать мощную технику и строить объекты индустриальными методами, растягивание сроков сдачи объектов



в эксплуатацию — все эти и другие недостатки создавали серьезные трудности, резко снижали эффективность капиталовложений.

По-иному пошло дело после создания межколхозных строительных организаций. Они сосредоточили в своем ведении проектирование, материально-техническое снабжение и подрядные работы, обеспечивают сооружение объектов на селе с учетом достижений науки и техники и ведут строительство комплексным, индустриальным методом. Это позволяет избавиться от разрозненного и малоэффективного строительства, унифицировать объекты и правильно решать первоочередные задачи создания материальной базы сельского хозяйства. Согласно разработанной перспективе развития производственной базы межколхозной кооперации, до конца текущей пятилетки объединение Колхозстрой должно выполнить капитальных работ на сумму около 400 миллионов рублей, в десятой пятилетке — более чем на миллиард рублей.

К моменту возникновения межколхозной кооперации производством мяса, молока, яиц в общественном животноводстве занималось в республике более четырех тысяч мелких ферм. Соответственно многоотраслевому характеру производства размещались заготовки, хозяйствам доводились планы продажи продукции животноводства по всем видам скота. Чрезвычайно сложны были хозяйственно-экономические связи колхозов с заготовительными организациями.

Раздробленность производства, низкая техническая оснащенность ферм, отсутствие промышленной переработки кормов приводило к крайне низкой производительности труда и очень высокой себестоимости продукции. Поэтому, несмотря на экономически обоснованные закупочные цены, отрасль животноводства во многих хозяйствах оставалась убыточной, подрывалась заинтересованность колхозников в дальнейшем увеличении производства ценных продуктов питания. Потребовалась такая перестройка организации производства, которая открыла бы простор для свободного использования индустриальных технологий, более полно отвечающих требованиям научно-технического прогресса. Только такой путь мог привести к быстрому росту производительности труда, высокой экономической эффективности общественного животноводства.

Новой формой организации производства в отрасли общественно-го животноводства является ныне Колхозживпром совета колхозов Молдавской ССР. Это крупное научно-производственное объединение, в состав которого входит свыше 160 современных межколхозных хозрасчетных предприятий и организаций по производству мяса, молока, яиц и выращиванию телок для воспроизводства стада.

На создание материально-технической базы межколхозной кооперации в животноводстве было направлено 220 миллионов рублей капиталовложений; благодаря высокой производительности труда на межколхозных комплексах получено уже свыше 280 миллионов рублей прибыли, основная часть которой распределена между колхозами-пайщиками.

В 1973 году предприятиями и комплексами межколхозного объединения Колхозживпром произведено от общего объема в колхозном секторе 82 процента товарной свинины, 56 процентов говядины и около 70 процентов яиц. Производство мяса в прошлом году в сравнении с 1972 годом увеличилось в целом по республике на 14, а говядины на 41 процент.

Высока экономическая эффективность концентрированного производства, основанного на промышленной технологии. Например, такой важный показатель, как производительность труда, повышается в 6—8 раз. На производство одного центнера свинины в колхозах за-

трачивалось 45, говядины — 65 человеко-часов, а на межколхозных предприятиях эти затраты исчисляются соответственно в 4,9 и 14,8 человеко-часа.

Межколхозная кооперация произвела буквально революцию в плодоводстве. Вместо 3,5 тысячи садов, размещенных в разных местах небольшими участками, к моменту завершения концентрации в лучших микрорайонах республики вырастет 22 аграрно-промышленных садоводческих комплекса. Концентрация плодоводства на принципиально новой технологии сократит занятые под садами площади в 2 раза и при этом позволит увеличить валовые сборы фруктов с 807 тысяч тонн, полученных колхозами и государственными хозяйствами в 1973 году, до двух миллионов в недалекой перспективе.

Первым аграрно-промышленным садоводческим объединением стал межколхозный сад в Слободзейском районе, заложенный в апреле 1970 года, когда страна отмечала столетие со дня рождения В. И. Ленина, — в честь этого события саду присвоено название «Память Ильичу». Протяженность сада, расположенного вдоль магистрали Кишинев — Одесса, более тридцати километров. На площади в 4,5 тысячи гектаров вьются на шпалерах искусно смоделированные ветви густопосаженных фруктовых деревьев. При достижении проектной мощности насаждения займут 6 тысяч гектаров и будут давать продукции не менее 200 тысяч тонн. В едином комплексе с садом создаются холодильное хозяйство, тарная база, рефрижераторный парк и т. д.

До появления межхозяйственной кооперации выращивание рассады овощных культур и табака, высадка их на площади свыше 120 тысяч гектаров, уборка овощей и табачного листа проводились вручную. Этот нелегкий труд сейчас уходит в прошлое. Колхозы, объединив свои усилия, создают межхозяйственные парничково-тепличные комбинаты, на которых выращивается рассада; межхозяйственные механизированные отряды высаживают ее в грунт; организуются также межхозяйственные комплексы по механизированной сушке, сортировке, упаковке табачного листа.

В республике возникли межхозяйственные производственные объединения по механизации, электрификации и мелиорации, обнаружив сразу, какие исполнинские силы и возможности таят они в себе. Необходимость объединения технических средств производства стала усиливаться по мере увеличения поставок сельскому хозяйству мощных машин и механизмов, значительная часть которых не может рационально применяться в условиях отдельных хозяйств, внутри которых производство раздроблено на множество отраслей. Например, высокопроизводительные тракторы и широкозахватные машины для обработки почвы и полива, сложные агрегаты для уборки зерновых, технических культур, овощей, винограда требуют обширных массивов; их эффективное использование возможно лишь групповым методом по технологическим картам. Нуждается такая техника и в хорошо налаженной инженерной и диспетчерской службе.

Опираясь на положительный опыт, накопленный в производственной кооперации в других отраслях сельского хозяйства, в Чадыр-Лунгском районе, который всегда отличался хорошим применением техники, было создано в прошлом году районное межхозяйственное объединение по механизации, электрификации и ирригации производства. В это объединение вошло 60 тракторных бригад, специализированных по отраслям производства, за которыми закреплено 1050 физических тракторов, 100 зерновых комбайнов, 185 специальных комбайнов, большое количество других разнообразных машин и орудий. Техника используется группами и отрядами по технологическим кар-

там и графикам. Для технического обслуживания машин в полевых условиях работает 21 передвижная авторемонтная мастерская. Объединение имеет свои единые склады запасных частей, горюче-смазочных материалов и другие подразделения.

Управление всеми производственными единицами вплоть до отдельных мощных машин обеспечивается с диспетчерского пункта районного объединения, на котором постоянно находится инженер-организатор. Это его рабочее место. Связь обеспечивается радиосредствами, которыми снабжены не только производственные подразделения и крупные машины, а и легкой транспорт всех инженеров-организаторов, инженеров-технологов объединения и агрономов-организаторов хозяйств.

Централизация управления техническими средствами производства дает огромный производственный и экономический эффект, значительно повышает маневренность в переброске и организации техники, резко сокращает время на осмотр, заправку и подготовку машин к работе, сводит на нет потери рабочего времени. Дневная выработка на трактор повысилась по сравнению с 1972 годом с 6,4 до 7,3 гектара при существенном снижении себестоимости пахоты.

Новая форма технического обеспечения приблизила земледелие к промышленной организации труда, создала возможность для работы каждого механизатора в едином технологическом конвейере в условиях хорошо поставленного технического обслуживания.

Другая важная форма межхозяйственного кооперирования по использованию технических средств производства — объединение по ирригации. Первое такое объединение по решению Совета колхозов республики создано в Рыбницком районе на базе добровольного кооперирования принадлежащей колхозам всей мелиоративной техники, ирригационного оборудования и внутрихозяйственных оросительных сетей. В него вошло 7 колхозов, связанных единой оросительной системой, занимающей 24 тысячи гектаров поливных земель.

В каждом из вошедших в объединение колхозов созданы мелиоративные участки, которые возглавляются специалистами-мелиораторами. Участки полностью укомплектованы поливной и мелиоративной техникой, а также высококвалифицированными кадрами поливальщиков и ремонтной базой.

Надо ли говорить, что в этом случае объединение дало высокий экономический эффект. Производительность дождевальных агрегатов выросла на 29 процентов, себестоимость одного гектара полива составила 36 рублей против 86 рублей в 1972 году.

В течение 1974—1975 годов объединения по орошению будут созданы во всех районах, имеющих крупные оросительные системы.

Производственная кооперация хозяйств охватывает одну отрасль за другой и в недалеком будущем займет доминирующее положение в валовом производстве сельскохозяйственной продукции в колхозном секторе. Она оказывает самое непосредственное воздействие на успешное решение многих важнейших проблем в развитии сельского хозяйства. Отметим некоторые:

а) экономическая интеграция колхозов резко повышает уровень обобществления колхозного производства и тем самым значительно укрепляет силу и мощь колхозного строя;

б) объединяя материальные, финансовые и трудовые ресурсы, колхозы тем самым получают возможность успешно проводить специализацию и концентрацию производства в соответствии с требованиями научно-технического прогресса. Новая техника, оборудование, достаточное количество электроэнергии позволяет им создавать са-

мые современные по оптимальным размерам и степени индустриализации производства;

в) в межхозяйственной кооперации сельское хозяйство получило новую эффективную форму концентрированного использования технических средств производства — главного звена в общественном производстве на селе. Высокопроизводительное использование технических средств, электроэнергии в условиях крупномасштабного земледелия и животноводства резко повышает производительность труда, что, в конечном счете, самое главное в развитии сельского хозяйства;

г) в отличие от обособленного развития колхозов производственная интеграция хозяйств создает реальные условия для экономического регулирования между ними, постепенного выравнивания производственных возможностей хозяйств, их экономики в целом, а это, как известно, одна из центральных проблем совершенствования производственных отношений в колхозно-кооперативном секторе;

д) приближая колхозный сектор по уровню обобществления средств производства, по фондам потребления к государственному, межколхозная кооперация значительно ускоряет процессы сращивания двух форм социалистической собственности на селе, создания на этой основе более мощных производств аграрно-промышленного типа. Она создает реальные предпосылки для решения социальных проблем сельской жизни на уровне города, о чем пойдет речь несколько ниже.

В государственном секторе сельского хозяйства Молдавии новый этап концентрации и специализации производства характеризуется ускорением процесса синтеза земледелия с промышленностью. Вертикальная интеграция здесь — закономерное следствие принадлежности совхозов и перерабатывающих заводов к единой форме собственности — общенародной.

В марксистско-ленинской теории и практической деятельности нашей партии соединение земледелия и промышленности всегда рассматривалось как объективная необходимость развития производительных сил и совершенствования производственных отношений в социалистическом обществе. Еще в «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Энгельс определили соединение земледелия с промышленностью в качестве одной из главных задач диктатуры пролетариата.

Разрыв между промышленностью и земледелием существовал не всегда. Он возник на определенном этапе общественно-исторического развития как следствие появления антагонистических производственных отношений и раскола общества на враждебные классы. Отделение промышленного труда от земледельческого, города от деревни в условиях становления и развития капитализма было закономерным явлением. Для того времени эти процессы служили предпосылками и условиями, обеспечивающими концентрацию производства и капитала. Они способствовали росту городов, сосредоточению в них материальных и культурных ценностей, укреплению политической власти буржуазии. «Капиталистический способ производства,— писал К. Маркс,— довершает разрыв того первоначального семейного союза земледелия и промышленности, который соединял друг с другом младенчески-неразвитые формы обоих. Но он создает в то же время материальные предпосылки нового, высшего синтеза — союза земледелия и промышленности на основе их противоположно развившихся форм»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 514.



В условиях капиталистического общества синтез промышленного и сельскохозяйственного производства неосуществим, так как на его пути стоят частная собственность и непримиримые классовые противоречия. Начало процессам сближения города и деревни, ликвидации различий между ними, положительного взаимовлияния и производственного содружества между земледелием и промышленностью положил Великий Октябрь, ликвидировавший эксплуатацию человека человеком, экспроприировавший частную собственность и заложивший основы прочного союза и братства между рабочим классом и трудовым крестьянством.

Именно этот братский союз порождает возможность сближения и слияния промышленного и сельскохозяйственного производств. Еще на заре советской власти В. И. Ленин говорил: «...задача социализма сближать и объединять промышленность и земледелие»<sup>3</sup>.

В процессе социалистического строительства наша партия постоянно выдвигала и решала проблемы взаимообусловленного производственно-экономического сотрудничества сельского хозяйства с промышленностью, другими отраслями производства и снабжения, связанными с земледелием и животноводством, подтягивала село к городу по условиям труда, технической оснащенности производства, по образованию и культурному уровню трудящихся, социальному обеспечению населения сельской местности.

Поощряя инициативу, направленную на установление тесных связей между государственными промышленными предприятиями, с одной стороны, и окружающими колхозами и совхозами — с другой, партия во всех возможных случаях шла на создание смешанных колхозно-совхозных объединений с согласованным хозяйственным планом, общей технической базой, общими предприятиями по переработке сельскохозяйственных продуктов.

Уже к 1930 году, согласно постановлению Совнаркомов СССР и союзных республик, в ряде районов страны было организовано около 300 аграрно-индустриальных комбинатов, каждый из которых располагал от 100 тысяч до 300 тысяч гектаров земли.

В Молдавии подобный аграрно-индустриальный комбинат родился в 1930 году. Он включал в себя Тираспольский и Слободзейский районы и объединял в хозяйственный комплекс колхозы, совхозы, предприятия мясо-молочной, консервной, винодельческой и других отраслей промышленности, строительные и транспортные организации, базы снабжения. Молдавский аграрно-индустриальный комбинат сыграл определенную роль в расширении связей между промышленным и сельскохозяйственным производством, в укреплении материально-технической базы колхозов, организации механизированных работ, обучении кадров новым профессиям, внедрении в сельскохозяйственное производство социалистических методов ведения хозяйства.

Следует, однако, сказать, что в тот период не существовало еще необходимых экономических, технических и организационных условий для успешного функционирования подобного рода крупных объединений. И хотя идея комбинирования была правильной, перспективной, все же попытка создания аграрно-индустриальных комбинатов оказалась преждевременной.

Объективные условия и возможности органического соединения сельскохозяйственного производства с промышленным открылись с достижением такого уровня развития производительных сил, совершенствования общественных отношений, который свойствен стадии

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 15.

зрелого социализма. В новой Программе партии подчеркивается, что в процессе дальнейшего развития колхозов и совхозов усилятся их производственные связи между собой и с местными промышленными предприятиями, что «постепенно, в меру экономической целесообразности сложатся аграрно-промышленные объединения, в которых сельское хозяйство органически сочетается с промышленной переработкой его продукции при рациональной специализации и кооперировании сельскохозяйственных и промышленных предприятий»<sup>4</sup>. Теоретическое обоснование и практическое решение этих назревших проблем дано в Директивах XXIV съезда, в решениях пленумов ЦК КПСС.

Указания партии на своевременность и целесообразность углубления связей между сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, их социально-экономического сближения и организационного объединения вытекают из сложившихся благоприятных предпосылок, созданных мероприятиями партии, направленными на всемерную интенсификацию сельскохозяйственного производства, ускоренное развитие всех отраслей, производящих предметы народного потребления.

Основными предпосылками образования единой аграрно-промышленной экономики в государственном секторе явились:

а) технический прогресс, революционизирующий разделение труда и тем самым делающий неизбежной его кооперацию и комбинирование;

б) достижение совхозами высокой степени специализации своего производства и на этой основе укрупнения его, концентрации в рамках одного хозяйства или путем кооперации групп хозяйств;

в) специализация хозяйств на производстве сырья, предназначенного для промышленной переработки: технических и кормовых культур, овощей, фруктов, продуктов животноводства и птицеводства;

г) приближение перерабатывающих предприятий к источникам сырья. В настоящее время из 243 предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности республики 170 расположено в сельской местности, причем это самые крупные и современные в техническом отношении предприятия, на них производится более 70 процентов промышленной продукции, получаемой из сельскохозяйственного сырья;

д) совершенствование производственно-экономических отношений между хозяйствами, производящими сырье, и предприятиями, перерабатывающими его; углубление взаимодействия и взаимопереплетение связей между ними;

е) повышение квалификации сельскохозяйственных и промышленных работников, приобщение крестьян к промышленной организации и дисциплине труда, наличие высококвалифицированных кадров.

Все это, вместе взятое, объективно привело к органичному соединению земледелия и промышленности. Из имеющихся в республике 252 государственных хозяйств 169 объединены с перерабатывающими заводами и являются специализированными совхозами-заводами союзно-республиканских аграрно-промышленных объединений Молдплодоовощпром с годовым объемом производства продукции более 600 миллионов рублей, Молдвинпром с валовым объемом производства в 1,2 миллиарда рублей, а также республиканских аграрно-промышленных объединений Молдэффирмаслопром и Молокопром, производящих в год продукции на 68 миллионов рублей.

Аграрно-промышленные объединения занимаются производством сельскохозяйственной продукции в совхозах-заводах, входящих в их состав, заготовками в прилегающих к ним колхозах, они перерабаты-

<sup>4</sup> «Материалы XXII съезда КПСС». Госполитиздат. 1962, стр. 383.

вают сельскохозяйственное сырье и выпускают готовую промышленную продукцию с оптовой реализацией ее торгующим организациям страны.

На первом этапе своего развития совхозы-заводы обособленно строили интегрированную экономику. Новый, более высокий уровень специализации потребовал дальнейшей концентрации производства—территориального объединения совхозов-заводов. Создание таких объединений явилось очередным этапом концентрации по линии вертикальной интеграции. Такое обобществление в основном проведено в районах с организацией управления на базе головных совхозов-заводов.

Производственная деятельность совхозов-заводов и других подразделений территориальных аграрно-промышленных объединений строится на основе разделения труда между ними, рационального размещения и концентрации производства. Это позволяет укрупнять промышленность, создавать заводы для нескольких хозяйств или в целом для объединения, сосредоточивать службы материально-технического обеспечения, учета и отчетности, а также выполнять ряд производственных функций в земледелии в более крупных масштабах. Объединение усилий всех совхозов-заводов дает возможность наряду с успешным развитием ведущих отраслей создавать в оптимальных размерах соответствующие производства на основе межхозяйственной кооперации.

Наглядное представление о территориальном аграрно-промышленном объединении можно получить на примере деятельности Котовского объединения. Оно состоит из 11 совхозов-заводов, располагает 22,8 тысячи гектаров сельхозугодий, основными производственными фондами стоимостью 41 миллион рублей.

Основная продукция — виноград и его промышленная переработка. Но наряду с этим на тех землях, на которых нецелесообразно размещать виноград, совхозы-заводы выращивают корма и в кооперации с колхозами района производят мясо на крупных межхозяйственных государственно-кооперативных предприятиях. Производство молока на промышленной основе потребовало создания одного для всех входящих в объединение совхозов-заводов молочно-товарного предприятия на 2,4 тысячи дойных коров. В кооперации с колхозами района объединение строит крупный комбинат по выращиванию 16 миллионов виноградных саженцев с использованием искусственной питательной среды.

Дирекция головного совхоза-завода разрабатывает единую технологическую карту работ всех предприятий, решает вопросы неуклонного развития каждого из них в отдельности и объединения в целом. Здесь централизованно планирование производств и размещение заготовок, капитальное строительство, материально-техническое снабжение и сбыт, учет и отчетность.

На межхозяйственной основе создаются механизированные отряды, предназначенные для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и болезнями, выполнения наиболее сложных производственных процессов, требующих применения мощной техники, а также база материально-технического снабжения, строительная организация и др.

Территориальных аграрно-промышленных объединений Молдвинпрома и Молдплодоовощпрома в Молдавии 22. Кроме того, в составе Молдплодоовощпрома 3 аграрно-сбытовых (на базе совхозов и заготовительных предприятий), 9 промышленно-сбытовых (на базе консервных заводов и заготовительных предприятий) и 12 заготовительно-сбытовых объединений.

Соединение промышленности с земледелием стало мощным фактором развития производительных сил, совершенствования и лучшего взаимодействия производственно-экономических отношений на селе.

Интегрированная экономика в сельской местности, созданная аграрно-промышленным комбинированием и межхозяйственным кооперированием, открыла новые возможности для более прочного синтеза науки с производством. Практическая реализация этих возможностей — образование в Молдавии на базе научно-исследовательских институтов и совхозов Министерства сельского хозяйства республики шести научно-производственных объединений. Основные их задачи — научная разработка индустриальных технологий для земледелия и животноводства, селекция, размножение семян и снабжение ими всех хозяйств республики, выведение высокопродуктивных линий и пород скота, птицы и обеспечение ими промышленных комплексов, экономическое обоснование мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях. В состав некоторых научно-производственных объединений наряду с институтами входят необходимые им промышленные предприятия, в связи с чем эти объединения приобретают аграрно-промышленный характер.

Происходящие в республике процессы масштабной концентрации сельскохозяйственного производства, его специализация, внедрение новых форм организации потребовали радикальной перестройки среднего специального образования. В результате на базе лучших государственных хозяйств ныне создано 11 совхозов-техникумов — современные высокоорганизованные аграрно-промышленные учебно-производственные комплексы.

Таким образом, все совхозы Молдавии и непосредственно связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья промышленные предприятия, а также заготовительные, сбытовые организации под влиянием прогрессивных преобразований, происходящих в материальном производстве страны, претерпели коренную перестройку. Совхозов в том виде, в каком они существовали ранее, сейчас нет. Все они достигли сравнительно высокого уровня специализации и объединились с заводами, другие — с институтами, третьи — с техникумами, четвертые — со сбытовыми организациями.

В тех отраслях сельского хозяйства и промышленности, которые связаны между собой, но на данном этапе еще органически не слились, вертикальная интеграция принимает характер промышленно-аграрных комплексов. Таковыми являются объединения Молдтабакпром, Молдсахпром, Молдрасжирмаслопром. Общий объем реализации продукции в этих объединениях в прошлом году превысил 600 миллионов рублей. Производственно-экономические отношения между хозяйствами, производящими сырье, и промышленными предприятиями, перерабатывающими его, строятся в промышленно-аграрных комплексах на основе долговременных договоров и согласованных планов.

Как показывает накопленный опыт, новые организационные формы производственно-экономических отношений между отраслями, производящими продукты народного потребления, обеспечивают более высокую экономическую эффективность производства и позволяют масштабно решать социальные проблемы на селе. В аграрно-промышленных предприятиях, комплексах и объединениях значительно лучше, чем в обособленных колхозах и совхозах, распределяется и используется рабочая сила, техника, земля и другие составные элементы производства, намного быстрее растет производительность труда и эффективность как сельскохозяйственного, так и промышленного производства.



Производственная кооперация хозяйств в колхозном секторе и аграрно-промышленная интеграция в государственном потребовали создания новых органов управления производством, которые полностью соответствовали бы характеру хозяйств, их организационной структуре. В колхозно-кооперативном секторе ими стали советы колхозов, в государственном секторе — советы директоров и администрация головных предприятий. По воле колхозников советы колхозов наделены правом размещать заготовки, планировать производство, распределять материальные фонды, осуществлять непосредственное руководство производством и т. д. Структура органов управления и в том и в другом секторах общественного производства на селе однотипна. Аппарат управления построен по принципу производственных и научно-производственных объединений. Он несет непосредственную и полную ответственность за конечные результаты производства, экономическую эффективность его. Это достигается путем введения в аппарат специалистов-организаторов и специалистов-технологов. Вместо главных, старших, рядовых инженеров, агрономов, зоотехников установлены должности инженеров-организаторов, агрономов-организаторов, зоотехников-организаторов и, соответственно, специалистов-технологов.

Под влиянием динамичного развития производительных сил и совершенствования производственных отношений на селе, интегрированной колхозно-кооперативной и агропромышленной экономики происходят исключительно важные социально-классовые сдвиги, ведущие к становлению единого бесклассового коммунистического общества. Эти явления и закономерные тенденции хорошо просматриваются в изменении структуры работающего сельского населения. Так, со времени завершения коллективизации в Молдавии удельный вес населения, занятого в отрасли сельского хозяйства, в общей численности занятых в республике уменьшился на 30 процентов. В то же время численность рабочих и служащих на селе (кроме отрасли сельского хозяйства) увеличилась в 3,3 раза, в том числе в промышленности — в 4,1 раза, в строительстве и транспорте — в 5 раз, в просвещении и здравоохранении — в 3,4 раза. В настоящее время почти половина рабочего класса республики живет в сельской местности, и его влияние на преобразования в общественно-экономической жизни колхозников значительно возросло.

С появлением и быстрым развитием межколхозной кооперации из числа колхозников вышла и сложилась новая категория работников общественного производства, которые по характеру труда, уровню его энерговооруженности, по организации производства, производительности труда и материальному обеспечению, а также своему сознанию и культуре стоят на уровне рабочего класса.

Широкое распространение получили новые профессии. В сельскохозяйственном производстве теперь трудятся механики, электрики, технологи, операторы крупных комплексов, инженеры широкого профиля, диспетчеры, управляющие технологическими процессами, операторы машинносчетных станций. Технические профессии на селе становятся обычным явлением и служат убедительным свидетельством сближения сельскохозяйственного и промышленного труда.

Нынешний оператор на автоматизированной свинофабрике по уровню технических знаний, по диапазону и качеству выполняемой работы не уступает инженерно-техническим работникам крупных промышленных предприятий. Его рабочее место — центральный пульт управления телевизионной системы, камеры которой установлены во всех производственных помещениях и вспомогательных службах комплекса. Отсюда он управляет всеми процессами производства на предприятии, дающем в год 2,5—3 тысячи тонн мяса.

Огромное преобразующее влияние оказывают новые формы организации производства на культурно-бытовое развитие села. Сошлемся на такой пример. В Глодянском районе есть небольшое село Вишоара. В культурно-бытовом отношении оно значительно отставало от центральной усадьбы колхоза «Молдова социалистэ». Зарботки людей этого села были низкими, молодежь не находила для себя интересной работы и уходила в город. В 1969 году здесь построили крупный животноводческий комплекс индустриального типа по производству говядины, при нем цех по переработке грубых кормов, соорудили оросительную систему. Вместе с хозяйственными начались и культурно-бытовые преобразования: были построены восьмилетняя школа, Дом культуры, круглогодичный детский сад на 200 мест, магазин, проложена шоссейная дорога, открылось регулярное автобусное сообщение села с районным центром и другими городами республики, ведутся работы по прокладке водопровода. Если раньше в селе за год строилось несколько домов, сейчас — десятки. В селе появились две новые улицы с прекрасными домами со всеми удобствами, построено жильё для специалистов сельского хозяйства. Среднегодовая заработная плата одного работника объединения в 1973 году в сравнении с 1969 годом увеличилась в 2,7 раза и составила 1150 рублей. Общая численность населения возросла почти на 20 процентов.

Или другой пример. В Слободзейском районе в комплексе с садоводческим агропромышленным объединением создается новый агрогородок на 9 тысяч жителей. Он застраивается пяти-, тринадцатизажными домами из расчета 10,5 квадратных метра жилой площади на каждого жителя. Предусмотрено строительство Дома культуры, общеобразовательной школы, училища профтехобразования, детских садов-яслей, торговых предприятий, кинотеатра, поликлиники, комбината бытового обслуживания, стадиона и других объектов.

В 1968 году в селах Новая Сарацика и Кымпул Дрепт Леовского района был создан специализированный виноградно-винодельческий совхоз-завод «Скынтея». Организация аграрно-промышленного предприятия, быстрый рост производства оказали большое влияние на социально-бытовое развитие этих сел. Значительно увеличилось население, хотя раньше имелась тенденция к его уменьшению. За пять прошедших лет проложены дороги до центральной усадьбы и внутри села, построены средняя школа, детские ясли, баня, водопровод, столовая и т. д. Планируется сооружение нескольких многоэтажных домов, магазинов, спортивного комплекса, павильонов бытового обслуживания. Многие рабочие совхоза-завода «Скынтея» за это время построили новые дома, обставили их современной мебелью, приобрели электробытовые приборы, газовые плиты, телевизоры, автомобили, мотоциклы.

Более чем для 650 населенных пунктов республики разработаны и осуществляются на практике генеральные планы реконструкции, предусматривающие в сельских условиях весь комплекс удобств и услуг, которые традиционно считаются городскими.

В быт сельского жителя стремительно входят атрибуты, ранее присущие городской цивилизации: водопровод, центральное отопление, газ, электробытовые приборы, современные магазины, кафе, служба быта, дворцы культуры, телефон, радио, телевидение, поездка на работу в автобусах или на личном транспорте и т. д.

Важной вехой на пути культурного развития молдавского села стало создание отдельной организации, специализирующейся на книжной торговле, — Молдкниготорг. Если до недавнего времени книги на селе продавались магазинами сельпо, то сейчас житель покупает книгу в специализированном книжном магазине оригинальной архитекту-

ры, расположенном в самом красивом месте села. Уже построено 460 таких магазинов, их открытие превращается в настоящий праздник, на который приезжают деятели литературы и искусства.

Одним из самых популярных мест на селе стала библиотека. Теперь каждый третий житель республики — постоянный читатель. При этом интересы и вкусы столь разнообразны и не похожи друг на друга, что обыкновенная, массовая сельская библиотека с фондом в несколько десятков тысяч книг уже не в состоянии удовлетворить все возрастающие запросы читателей. Решение этого вопроса найдено в концентрации сети массовых библиотек. Сейчас создаются новые культурно-просветительные учреждения — единые централизованные библиотеки с общим книжным фондом в 23 миллиона томов.

Самое непосредственное участие в социальных и экономических преобразованиях на селе, в осуществлении аграрной политики партии принимают печать, радио, телевидение и кино. Издательства республики выпускают немало содержательных работ, в которых раскрываются сущность происходящих процессов на селе, пути повышения эффективности экономики. Уже второй год для работников сельского хозяйства действует телевизионная школа, органически связывающая всю агрозооветучебу. Кинематографисты создали ряд интересных документальных научно-популярных кинолент, посвященных проблемам интеграции, среди них фильм «Межколхозная кооперация в действии», награжденный медалью «ВДНХ СССР», кинокартина «Атом и селекция», удостоенная «Гран при», и новая лента «Сады идут в завтра», награжденная Золотой медалью на международном фестивале сельскохозяйственных фильмов.

Социальные преобразования в жизни молдавского села стали предметом изучения и художественного воплощения в творчестве ведущих поэтов, прозаиков, художников и композиторов республики. Всемерно расширяются и углубляются контакты творческих работников с тружениками села. В прошлом году 14 творческих бригад выезжали в села республики. В результате этих поездок газеты и журналы опубликовали тематические полосы и подборки, стала традиционной телепередача «Диалог с селом», в которой принимают участие деятели литературы и искусства.

Социалистическая действительность значительно расширила идейно-политический и культурный кругозор сельских жителей. Они непосредственно участвуют в организации аграрно-промышленных комплексов и межхозяйственных объединений, в управлении ими. С повышением сознания возросла и трудовая активность сельских тружеников. Настало время, когда в таких же климатических условиях, которые складывались и в прошлом, выращивается и получается в несколько раз больше продукции. Взять, к примеру, 1973 год. По осадкам он был почти засушливым, а по итогам работы одним из самых урожайных. Хлеборобы собрали по 38,8 центнера пшеницы с гектара в целом по республике, в 12 районах они уверенно перешагнули рубеж в 40 центнеров, а труженики полей Вулканештского, Криулянского, Суворовского, Глодянского, Фалештского районов собрали на круг по 43—46 центнеров озимой пшеницы. Государству продано зерна в 2 раза больше плана.

За успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании в 1973 году республика трижды награждалась Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Этой же наградой отмечены 9 районов, 12 предприятий, два колхоза и один совхоз. Ряду городов и районов, многим коллективам предприятий, совхозов-заводов, межхозяйственных объединений присуждены Красные знамена ЦК компартии Молдавии, Совета Министров Молдавской

ССР, Молдавского республиканского совета профсоюзов, ЦК ЛКСМ Молдавии, а также Красные знамена союзных министерств и ЦК профсоюзов работников различных отраслей народного хозяйства страны. 19 передовых тружеников Молдавии получили звание Героя Социалистического Труда, около 8 тысяч человек награждены орденами и медалями СССР.

Республика, как и вся страна, переживает огромный созидательный порыв. Умелая трудовая рука человека-творца, подобно легендарному ваятелю, преображает лицо родного края. В сельский пейзаж свободно и смело входят стрелы башенных кранов, вокруг которых быстро растут корпуса новых заводов и фабрик, сельскохозяйственных комплексов, многоэтажных жилых домов. Созидательный труд соединяет села асфальтовыми полосами дорог, возводит линии высоковольтных электропередач, покрывает землю сетью каналов и озер. Тучные поля, обширные плантации садов и виноградников, крупные сельскохозяйственные комплексы индустриального типа, мощные перерабатывающие предприятия слились в новую, высокоорганизованную и интенсивную экономику села. Молдавия в единой семье советских народов-братьев, под мудрым руководством ленинской партии уверенно вступает во второе свое пятидесятилетие.



---

---

МУСТАЙ КАРИМ

★

## ЖДУ ВЕСТЕЙ

*С башкирского*

### ЖДУ ВЕСТЕЙ

Жду вестей с родной своей земли:  
Льют дожди ль — и в самую ли пору?  
Радуга, что мы с тобой зажгли,  
Все горит ли, обнимая гору?

Что скворцы — сумели ль по весне  
В домик свой на дубе вновь вселиться?  
Как-то мне почудилось во сне,  
Будто там живет чужая птица...

Кто, не дожидаясь дней осенних,  
Лихо свадьбу справил?..  
Жду вестей —  
Чьи невестки из домов соседних  
Новых миру принесли гостей?..

Обо всем пиши: беда ли, хворость,  
Горести — не вздумай их скрывать;  
Не навек они — давно в тот возраст  
Я вошел, чтоб это точно знать.

Жду вестей я обо всех и каждом...  
Только об умерших — ничего  
Не пиши... Пускай живут пока что  
Хоть до возвращенья моего...

### МИНУВШЕМУ — БЛАГОСЛОВЕНЬЕ

На прошлое свое я не в обиде:  
Я больше радости, чем горя, видел,  
Благодарили больше, чем ругали,  
Друзьями был богаче, чем врагами.

Нужда — как приходила — проходила,  
Она меня насквозь не прохватила.  
За мною не бежала черной тенью,—  
Минувшему я шлю благословенье!

Мгновения мне наносили раны,  
Но годы даровали излеченье,  
И я забыл те раны, как ни странно,—  
Минувшему я шлю благословенье!

Коль виноват был раз — не обессудьте:  
 Сто раз добро творил во искупленье...  
 Простите прегрешения мне, люди! —  
 Минувшему я шлю благословенье!

Настанет час — я вам махну рукою,  
 Неменя... И поймете вы в мгновенье:  
 В минувшее я ухожу, в бывшее...  
 Оставшимся я шлю благословенье...

Грядущему кладу земной поклон.

### НА БЕРЕГУ ОСЕННЕЙ ДЁМЫ

На Дёму я смотрю как бы впервые:  
 Осенняя — течет она, течет,  
 И волны — не секунды ли живые? —  
 Стучат, стучат, стучат... Кто их сочтет?..

Полднемным солнцем светится вода,  
 И на лице воды — блаженство, счастье,  
 Как будто так вот и текла всегда —  
 С улыбкою, не ведая препятствий.

Как будто даже и весной, когда  
 В безумье половодье бесновалось,  
 Ища дорогу трудную, вода  
 Вверх не рвалась и в бездну не срывалась...

Как будто и сегодня в глубине —  
 Ни омота и ни водоворота.  
 Лишь желтый лист, качаясь на волне,  
 Плывет, плывет — к кому-то от кого-то...

Река, мою умерившая жажду,  
 Твою я знаю непростую суть!  
 Твои повадки, Дёма, видит каждый —  
 Душа твоя ясна ль кому-нибудь?..

Кто замечает, что тебя печалит,  
 Какие боли полнят бытие?..  
 Одна земля лишь чутко ощущает  
 Глубинное течение твое.

...Я на реку судьбы своей взираю:  
 Не торопясь течет она, течет...  
 Живое сердце, время отмеряя,  
 Стучит, ведя живым секундам счет.

И вижу рябь — не шрамы от ранений,  
 Да, рябь! — не шрамы на лице воды...  
 Так благостна она в своем теченье,  
 Как будто век не ведала беды.

Но я-то знаю, что в ее стремнине  
 Мои ошибки да с собой бои,



На дне ее покоятся поныне  
Грехи мои, раскаянья мои,

В водовороте, возмутив пучину,  
Кипят укоры совести ключом...  
...Вглядись же в глубину, раз ты мужчина,  
И красным днем своим и черным днем...

А радость, что бывала мне знакома,  
Вся — на лице моем, а не на дне:  
Так солнце на лице осенней Дёмы  
Сияет — и не тонет в глубине.

\* \* \*

Ночная Рига. Тишь. Немой темнеет сад.  
Над озером — теней причудливая вязь.  
Смотрю на лебедей, как, шеями сплетясь,  
На берегу застыв, они попарно спят.

О счастье птичьё! — тишь, молчание вокруг —  
Не испугал бы зов, не потревожил звук...  
В блаженном забытьи, обнявшись, птицы спят.  
...Я без тебя тоской сжигающей объят.

\* \* \*

Я немало тайн природы знаю:  
Как рождается туча грозовая,  
Как зерно, набухнув, прорастает,  
Как металл к металлу прирастает,

Отчего синице не поется  
За морем — не скрыто от меня,  
Отчего влюбленным удается  
Видеть звезды среди бела дня...

И поэтому с природой вместе  
Плачу я и вместе с ней смеюсь...  
Тайнами — по совести, по чести —  
Я делюсь со всеми, не таюсь...

Но особой тайною отмечен  
Человек... Я знаю, отчего  
Род людской непреходящ и вечен,  
В чем секрет бессмертия его,

И делюсь той тайной в тишине  
Лишь с одной. И лишь наедине.

*Перевела ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ*

### **ЖАЛОБА МОРЯ**

Чтоб душу унять в ее споре  
С собой, чтоб душа присмирела,  
Я к морю пришел, стал у моря,  
А море — металось, ревело.

И волны, разбившись о камень,  
К ногам моим льнули щенками.  
А море мне в уши рычало:  
«Мечусь я со дня сотворенья,  
Горю... И безмерно устало...  
И нет мне с собой примиренья».  
А море шептало мне в уши:  
«О, ты, терпеливый, спокойный,  
Смири мои вечные войны...  
Утешь, человек, мою душу!»

Утешить? Но что же могу я!..  
Я мал. Мне отпущено мало.  
Так чем же тебе помогу я —  
Ты можешь хоть биться о скалы,  
А я... Нет душе моей грешной  
Ни дна, ни твердыни прибрежной.

### О, ЛЮБОВЬ!

Сколько робких ты сделала смелыми,  
Взяв в мужчины вчерашних детей,  
Сколько каменных женщин ты сделала  
Мягче воска ладонью своей.

И каких краснобаев отчаянных  
Ты сумела молчанью обречь,  
И каким безнадежным молчалицам  
Ты дала соловьиную речь.

Сколько судеб безжалостно скомкала,  
Сколько жизней ты оборвала,  
Скольким смертным, став вечными строками,  
О, любовь, ты бессмертье дала!

\* \*\*

Я уехал, ты осталась,  
И дорога далека.  
Плачешь, верно? Ты ведь малость  
На слезу у нас легка.

А ведь было — без печали,  
Рядом мы, и ночь в упор;  
Был я молод и отчаян  
Всем громам наперекор.

От любви хмелел до дури,  
Путал с полночью рассвет,  
Не слышал бы, если б буря  
Расколола белый свет!

...Я один. Не половина,  
Лишь на четверть только я.  
По колено вязну в глине,  
Груз тоски своей неся.

В думах сердце оголилось:  
Тень распалась на траве,  
Тучка в небе разделилась,  
И сквозь слезы вижу — две.

Я уехал, ты осталась,  
Расстояний груз несу...  
Вот и я, как оказалось,  
Тоже легок на слезу.

\* \* \*

Я знаю точно — миру, свету  
Был дважды явлен, смертный, я.  
И в первый раз сырым рассветом  
Меня явила мать моя.

Сказали мне, земному сыну:  
«Сам — голова, верши свое!..»  
Нам отсекают пуповину,  
Но век мы чувствуем ее.

Второй раз — мчались ветры, воя,—  
Рождался я средь бела дня;  
Вела в сообщество мужское  
Меня любовь, родив меня.

Тот день открыл мне все начала,  
Мир по-иному расцветив...  
Струна какая-то звучала,  
И был особенным мотив.

Да, материнская наука  
Рассудок просветлила мой,  
Любовь же — бешенство и мука —  
Влила мне в сердце яд хмельной.

И так всю жизнь: рудой в горниле,  
Железом в тигле!.. Как металл!..  
Горел, сгорал — хоть и студили...  
Любил и человеком стал.

О разум, о безумье крови,  
Спасибо вам, что вы слились.  
Вверх несся — гнули, чтобы вровень,  
А гнулся — возносили ввысь.

Рожденный дважды, многократно  
Живу... Под вечер — платы срок.  
Пусть жизнь по сути неоплатна —  
Плачу за все, что дал мне рок.

За вас, безумие и разум,  
Я дважды стать землей обязан.

*Перевела ИРИНА СНЕГОВА.*



---

---

ПАВЕЛ НИЛИН

★

## МЕЛКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

*Рассказ*

**К** о мне уже садился пассажир, когда я через ветровое стекло увидел Федора Прокопьяча. Правда, я не сразу определил, что это и есть Федор Прокопьяч, но сильно заинтересовался в том смысле, что мне откуда-то очень знакомый этот старичок.

А пассажир уже теребит меня за рукав, что, мол, поедем, поедем, мне, мол, некогда. Но меня вдруг как ниткой потянуло к старичку, и я вылез из машины.

— Федор Прокопьяч,— говорю,— это вы ли?

И во второй раз кричу эти слова почти прямо в ухо ему.

— А в чем дело? — откликается он и этак близоруко и почти что испуганно оглядывает меня.— В чем дело?

— Да вы,— говорю,— не тревожьтесь. Я только спрашиваю, не обознался ли я. Вы ли будете Федор Прокопьяч?

— Ну я. А в чем дело?

— Да ничего особенного,— говорю.— Просто я Стасик. Неужели вы меня не узнаете? Фомичев Стасик.

— Стасик? — Он поправляет очки одним пальцем. А в руках у него две коробки — большая с чем-то и малая, наверно с обувью. Понятно, что он вышел из ЦУМа и пережидает поток машин, чтобы перейти на ту сторону, к Большому театру.— Какой Стасик?

— Обыкновенный,— уже смеюсь я.— Фомичевой Матрены Семеновны сын.

— Фомичевой? — вытаращивает он глаза.— Зовут-то тебя как?

И тут я понимаю, что он уже совсем старый. Да и неудивительно — больше тридцати лет прошло с тысяча девятьсот сорок второго. Да и тогда, в сорок втором, ему шло уже хорошо за сорок, а может, и за пятьдесят, кто его знает. А мне в ту пору еще не было шестнадцати.

— Стасик,— говорю,— меня зовут, Федор Прокопьяч. Я же вам уже объяснил...

— А-а, ну теперь все понятно,— наконец-то, должно быть, раскумекал он. И спрашивает: — А здесь-то, в Москве, ты чего делаешь?

— Да вот, видите, на машине работаю. Одним словом, такси. Желаете, я вас куда нужно отвезу.

А пассажир этот, который сидит в моей машине на переднем месте, уже из себя выходит.

— Прекращайте,— говорит,— вашу дешевую торговлю. Мне,— говорит,— ехать надо.

Меня, конечно, задели эти слова. И я говорю пассажиру:

— Извините, гражданин. Торговля тут ни при чем. По закону я, наверно, должен бы вас отвезти. Но я встретил, вот видите, дорогого мне человека, может, больше даже, чем родственника, и должен в первую очередь его доставить куда ему потребуется. Садитесь,— говорю,— Федор Прокопич. А вы, гражданин, вылезайте...

Ах, как он взъерепенился, этот гражданин, как он начал выражаться по-всякому! Ты, говорит, еще не знаешь, гад, откуда я и где служу. Я, говорит, научу тебя, подонок, перевозить своих родственников. И еще добавил много слов. А главное, стал записывать номер моей машины и звать милиционера. Но я уже ни на что не обращал внимания. Я был рад без памяти, что встретил Федора Прокопича, и хотел ему хоть раз в жизни услужить за то, что он сделал для меня в сорок втором году в нежном моем — для того времени — возрасте. Я бы, может, и жизни моей лишился тогда, если б не Федор Прокопич. Ведь я уверен был, что его давным-давно и в живых-то нету. Ведь сколько лет прошло. И каких лет!

Он садится ко мне в машину, поскольку я так настойчиво его приглашаю. И все-таки с опаской поглядывает то на меня, то на счетчик. И говорит:

— Это что же, выходит, уговорил ты меня сесть в такси? Я на них тут уже два раза проехал. Очень начетисто. Этим способом и из штанов могут вытряхнуть, если зазеваешься. Одним словом, городок Москва.

— Мечта, улыбка, сказка, а не городок,— говорю я.— Если хотите, Федор Прокопич, я вас по всей Москве прокачу. А счетчик для полной секретности вот кепкой накрою, чтобы он вас ни в малейшей степени не раздражал. А потом милости прошу ко мне домой, как говорится, на чашку чая.

— Что, богато больно живешь?

— Небогато, но сносно. Отдельной квартиры пока не имею, но комнатка подходящая. И с балконом. Сейчас,— спрашиваю,— поедем ко мне или позднее?

— Да ты что ухватился-то за меня? Не пойму я никак,— говорит.— В честь чего мы поедем-то к тебе? Для какой, словом, цели ухватился-то ты за меня?

— Ухватился,— говорю,— потому что уважаю вас и буду уважать, как говорится, по гроб жизни.

— Ну тогда свези меня обратно к зятю на Кутузовский. Я от коробок должен освободиться. Это мне штилеты, а это правнуку за водной грузовик.

Было это в четверг, уже в конце моей смены. Отвез я Федора Прокопича, куда он распорядился. А кататься по Москве он не пожелал. Условились, что в субботу в час дня я заеду за ним и он посетит меня.

Домой я приехал очень радостный. Говорю моей жене Люсе:

— Снимай с книжки хоть с моей, хоть со своей, хоть тридцать рублей, хоть сорок, но делай, чтобы все было как на высшем уровне, как под Новый год. Чтобы мясо, и рыба, и пирог с чем-нибудь хорошим. И чтобы все что положено к сему.

А жена у меня такая, что она хоть кита, хоть акулу зажарит, если ей дать команду.

В субботу к часу дня все было чин чинном.

Я взял на стоянке такси и заехал, как мы условились, за Федором Прокопичем. В этот день как раз я был выходной.

Все в квартире у нас были, как говорится, наэлектризованы. Одна соседка, вообще-то очень вредная, предложила даже накрыть стол у них в комнате, поскольку у них много просторнее. Но моя Люся ни

в какую. Для чего, говорит, эта показуха. Все и так хорошо разместимся. И пригласила соседей.

А соседи у нас мировые: певец-эстрадник с женой-телеграфисткой; одинокая женщина — текстильщица; работник мясокомбината с дочкой; старик пенсионер, бывший сотрудник милиции.

Почти все они в этот день оказались налицо. И еще так удачно, к случаю, зашел наш приятель Чугунок Володя, токарь.

Выпили мы по первой, конечно, за Федора Прокопьяча. Гляжу, он пьет спокойно, хорошо, без звука. Вторую налил себе уже сам, не ожидая, так сказать, общего разлива, обвел нас всех взглядом, сказал «ну, будем» и выпил как-то уж очень быстро, что заметно не понравилось другим гостям.

— Надо бы еще тост какой-нибудь, — вздохнул бывший сотрудник милиции. — Ну, например, за хозяйку. А то так, без разговору, и надраться не мудрено. Давайте за хозяина или хозяйку. Так будет культурнее.

— Конечно, сперва за хозяйку, — сказал эстрадник.

— Ну что вы, — засмеялась Люся. — Я предлагаю опять за Федора Прокопьяча.

— Нет, вы погодите, — должно быть, расслышал этот разговор Федор Прокопьяч. — Вы меня сильно-то не напайвайте. Во-первых, я старичок и, значит, имею слабость. А во-вторых, я могу быть выпивши нехорошим.

— Свяжем, — весело пообещал Чугунок Володя.

— Ну это тоже ни к чему, — строго поглядел на него Федор Прокопьяч и предложил: — Давайте выпьем вот за что. За мир давайте выпьем. За то, чтобы больше этого не было, чего мы натерпелись.

И тут как-то само собой получилось, что мы стали вспоминать, как что было. И жена моя Люся попросила, чтобы я не комкая, как всегда, а подробно рассказал, как это Федор Прокопьяч мне жизнь спас. И правда ведь, я подумал, только я и Люся, поскольку я ей рассказывал, знаем, какой замечательный человек Федор Прокопьяч, а остальные-то ведь могут это узнать только от меня.

И я стал вспоминать вслух, как мы чуть ли не два года жили в нашей деревне под немцами, как они осенью сорок первого года почти что целиком спалили нашу деревню за помощь партизанам. Из восьмисот девяти домов осталось только двадцать шесть, да и то развалюшки.

В течение моего рассказа Федор Прокопьяч уж так просто — без всякого тоста — пропустил в себя еще рюмки четыре. Можно было понять это в том смысле, что его очень сильно взволновали эти мои воспоминания. Но, может, он волнуется и оттого, что не все слышит и понимает, о чем говорят за столом. И выпивает, так сказать, с досады.

Поэтому, вспоминая и рассказывая, я стал повышать голос. И вдруг чуть всплакнул, вспомнив, как умерла в бункере наша мама. А отца уже не было дома. Он был на фронте. Пять сестер моих разбрелись по всему свету. Двух из пяти увезли в Германию. Я же с младшей сестрой Любой приютился в бывшем свинарнике, где зимой не так холодно. Но свиней там уже не было. Всех пожрали немцы. И кур пожрали. И коров.

Одну последнюю свинью все-таки удалось спрятать в отдельном бункере, как раз рядом с бывшим колхозным свинарником, где мы с Любой сперва только ночевали, а потом и днем стали спать, потому что сильно ослабели от голода.

Питались мы — теперь уже можно признаться — тем, что приносил своей свинье вот Федор Прокопьяч, наш бывший до войны сосед.

Это была такая теплая жижа с отрубями, что ли, с картофельными очистками. Вкуснее этой жижи, мне казалось тогда, ничего на свете нет. Питались мы, конечно, тайно, выслеживая, когда Федор Прокопич вылетит свинье жижу и уйдет. Но он часто долго стоял подле свиньи, ожидая, когда она все вылизет и он опять укроет вход в этот бункер горелыми досками и прошлогодней картофельной ботвой.

Один раз он все-таки поймал меня в тот момент, когда я отливал из корыта от свиньи в свой котелок эту жижу. Я боялся, что он зашибет меня палкой, которая была у него в руках. Я закричал.

— Молчи, сукин сын,— приказал он мне. И замахнулся палкой.— Ты для чего сюда лазаешь?

— Я кушать хочу, дядечка.

— Да разве ж это кушают? — удивился он. И после уже не сердился, когда я отливал себе жижу.

Люба, сестра моя, была младше меня, но, пожалуй, сильнее. И, может быть, даже смекалестее. И она, наверно, не так ослабела, как я. Она то и дело вылезала из нашего укрытия и бродила по разрушенной деревне. То мороженных картошек принесет штуки две-три, то горстку пшена.

— А ты не вылезай, Стасик. И не думай вылезать,— говорила она мне.— Меня-то немцы только прислугой могут сделать, если поймают, но стрелять-то в своих они меня небось не заставят. А тебя ведь они и в полицаи могут взять и даже солдатом сделать. Нет,— говорила Люба,— ты должен таиться и таиться. Все время.

А я уже и не мог не таиться. У меня тогда началось, как я теперь понимаю, воспаление легких. Вот почему Люба хотела развести костер тут же, прямо в помещении под железными листами, и согреть хоть сколько-нибудь меня и себя.

Но это у нас не получилось. Тогда Люба же натащила в наше укрытие много сосновых и еловых веток. И они так хорошо пахли каким-то праздником, что ли. Потом Люба пошла поискать кипятку. Кипяток искать в нашей деревне в то время было все равно что жемчуг или золото. Но Люба пошла.

— Надо тебе согреть горло, чтобы не хрипел,— говорила она.— Неужели же я не расстараюсь где-нибудь хоть вот такую баночку кипятку?

А банок таких пустых из-под консервов немцы разбросали по нашей деревне во множестве. И Люба взяла с собой такую банку.

Где уж она ходила — никто не знает. И не узнает, наверно, никогда. Иногда мне снится теперь, что я встречаю ее. И она все такая же девочка. Хотя ей было бы теперь сорок четыре или сорок пять.

После ухода Любы я надолго впал в забытье. Думаю, что надолго, потому что, когда я очнулся, по железному листу надо мной звенела капель. А до этого, когда я вылезал из укрытия, все время гудел морозный ветер — словом, была или глубокая осень, или зима, а снегу было совсем немного: он только припорошил развалины, какие были вокруг нас.

Очнулся я, однако, не от капели, а от какого-то тревожного голоса. Я сначала не откликнулся: уж не полицаи ли, думал, опять кого-то ищут.

Потом голос показался очень знакомым:

— Эй, Фомичевы! Любка, Стасик, вы живые или нет? Отзовитесь. Я едево хорошее вам принес.

И сейчас же запахло едевом — горячим, жареным, о котором и не мечталось вовсе.



Я вылез из-под веток, из-под своего укрытия, и увидел Федора Прокопьяча. Он на горелом железном листе держал большой кусок свинины с черно-коричневой корочкой.

— Ешь,— говорил он. И спрашивал, озираясь: — А Любка где?

— Не знаю,— сказал я. И действительно почему-то не встревожился тогда, что Любы нету.

Я ел эту свинину, как зверь, обжигаясь. И на грудь мне капало горячее сало. Я не думал о том, чтобы оставить что-нибудь Любе, если она вернется. Я ни о чем не думал.

Было это, наверно, под вечер. Я наелся и опять уполз к себе, чтобы уснуть.

А утром, рано утром случилось истинное чудо. Я почувствовал себя не только здоровым и сильным, но и смелым. Я вылез из укрытия и пошел по деревне искать Любу. Никаких немцев уже не было. Отступили они.

Я обошел всю пустынную нашу деревню. И Любы нигде не было. Я зашел и в соседнюю деревню — Пучки, она по дороге к станции. И вышел на станцию.

Стыдно признаться, но в самом деле, если честно говорить, никогда в жизни — ни до этого, ни после этого — мне не было так весело, как тогда на нашей маленькой станции в то удивительное утро. И хотя я не нашел Любу и даже понял каким-то чутьем, что, может быть, и никогда не найду, мне все-таки было весело. И в то же время хотелось плакать.

Я сейчас стараюсь вспомнить в подробностях, что же тогда там было, на станции. И не могу вспомнить. Перед глазами моими стоит только какой-то очень веселый солдат-красноармеец на телеге перед большим или просто огромным котлом и с прибавками разными приглашает граждан откусывать щец гвардейских с чесноком.

Я не сразу сообразил, что и меня он приглашает. А когда сообразил, тут же где-то нашел большую пустую банку из-под немецких консервов и осторожно подставил ее солдату под черпак. Съел, опять подошел.

— Кушай, молодой человек, не стесняйся, крепче будешь! — кричал солдат. — Если надо, будем пусть двадцать, пусть сорок лет воевать, покуда этого Гитлера в хороший мешок не посадим. Деваться ему теперча будет некуда. Никто его от нас в теперешний раз не отымет, не отобьет...

Когда я хотел подойти к черпаку уже в третий или четвертый раз, тут меня остерегла одна старушка.

— Не старайся, сизокрыл,— она сказала. — Может с непривычки и недержак тебя пробить. Ты же, гляди, синий весь. Иди вон под крышу, поспи лучше.

И я действительно опять, как в укрытии своем, очень крепко уснул над навесом.

Разбудили меня наши солдаты. И так с ними я и ушел на войну.

Два раза был ранен. Один раз в Донбассе, на дальних подступах к городу Макеевка. Второй раз уже в Венгрии, под городом, которого никогда в точности выговорить не смогу. Но где бы я ни был, в каком бы госпитале ни лежал, никогда не забывал я Федора Прокопьяча, который ведь, можно сказать, подарил мне жизнь. Не он бы, не его бы своевременное угощение, не побывать бы мне на войне, не жениться бы на сандружиннице Люсе, не произвести бы на свет вот дочку Наденьку и сына Гришу. Да что там говорить...

— До чего я рад, что сидим мы вот сейчас как люди,— закончил я свой рассказ.

Все меня слушали, как я заметил, с интересом, Все, кроме Федора Прокопьяча, который стал ерзать недовольно на стуле. Потом сказал, сердито глядя на меня:

— А как же ты хотел? Свињю ту мы незнамо как берегли. Может, даже больше, чем самих себя. Перетаскивали ее с места на место. И днем и ночью. Намордник даже ей этакий сделали, чтобы хрюк ее не был слышен. Подворовывал я у немцев отруби и мороженую картошку опять же для нее. И вдруг немцы, вижу, собрались уходить, а она заболела. Из носу у нее слизь какая-то бурая подалась, а по всему корпусу пошли такие гнойные пятна. Ну что делать? Ветеринара поблизости нету. Спросить некого. А она уже дышит, как паровая машина на мельнице. И вот-вот прекратит дыхание. Ну что делать? Жена говорит: кончай ее, может, продадим мясо. Ведь есть его самим опасно. А кому его продашь, когда вокруг одни разоренные крестьяне — нищие. Ну что делать?

Федор Прокопьяч требовательно обвел нас всех, сидящих за столом, выцветшими своими глазами, как бы ожидая сейчас же немедленно верного совета, что ему делать, как быть, если не на ком испытать, проверить, съедобно ли мясо убитой им свињи. Ведь ни одной собаки, ни кошки в деревне не осталось.

— Ну-ка, подумал, снесу-ка я жареного мясца этим ребяткам, что под железякой укрылись. Все равно им, не жравши, не выжить. А вдруг...

— Их как звали-то? — спросила моя жена Люся, прервав этот обстоятельный рассказ Федора Прокопьяча.

— Кого? — отвернул он ладонью к ней свое плюшевое от старости ухо.

— Ну, этих детей, которых вы хотели угостить свињиной, как звали?

— Как их звали? — переспросил Федор Прокопьяч. — Погоди, погоди. Как же их звали? Мальчишку-то Стасиком звали, а девчонка куда-то пропала. Сейчас и не помню, как ее звали...

— Ее Люба звали, — подсказал я. — Она сестра моя.

— Ну да, ну да, — мотнул головой Федор Прокопьяч, не поняв, должно быть, что я ему сказал. — Ну и вот, глядим мы поутру с моей женой Верой Христофоровной — вылезает этот пацаненок Стасик из своей халупки и идет. Я за ним. А он так шибко идет, почти что бежит. Не видит меня. Ну, думаю, если идет, значит, порядок. Поели мы с женой этой свињины в тот же день — ничего. Сперва поела жена, потом я. Дочке Жене сперва не давали. Потом, правда, и она стала есть. И наделал я из нее разных колбас...

— Из дочки? — спросил, уже весь наливаясь злобой, наш приятель Чугунок Володя.

— Чего это? — переспросил Федор Прокопьяч.

— Говорю, из дочки, что ли, хотел колбасу-то делать?

— Не понимаю я тебя, — сказал Федор Прокопьяч.

А я взял Чугунка под столом за руку и попросил:

— Не горячись.

— А как же! — почти закричал Чугунок. — Ты разве не понял, чего он хотел, этот старый сын? Он же говорит, что на тебе хотел попробовать, не загнешься ли ты. Да я бы ему сейчас знаешь что сделал...

— Ты вот что, — сказал я Чугунку. — Если он к тебе в гости придет, делай с ним что хочешь. А покуда он у меня в гостях, смотри на него спокойно, как на картину «Неравный брак» в Третьяковке.

Тут я заметил впервые, как поглядывают на меня наши дети. Дочка Надя еле сдерживает себя. Вот сейчас, кажется, скажет: когда

у матери, мол, на новые туфли просишь, так какой ведь разговор начинается. А тут пригласили зачем-то глухого подлого старичка и бросили на угощение, видать, не одни туфли. Даже бутылку коньяка взяли. А сынок Гриша как бы исподлобья поглядывал на меня и, похоже, стеснялся.

Все гости притихли. Только Чугунок теперь все ерзал на стуле. Потом встал и ушел. И за ним ушли эстражник с женой-телеграфисткой и текстильщица. Ушли как пришибленные.

А мы после этого с остальными гостями выпили еще чаю с пирогом. Затем я пошел на стоянку такси.

Когда я осторожно впотымах выводил на крыльцо, чтобы посадить в машину, уже хорошо выпившего Федора Прокопьяча, Чугунок стоял на крыльце и как-то нервно курил.

— Неужели ты его на такси повезешь? — спросил он. — Да на него даже самосвала жалко.

— Ладно, ладно, — сказал я Чугунку. А что еще я мог ему сказать? И отвез Федора Прокопьяча на Кутузовский проспект.

По глухоте своей или простоте — уж не знаю как — он, кажется, ничего не понял, что произошло.

— Хорошо ты меня приветил, — сказал он, вылезая из такси подле своего дома. — Луку только много она кладет в винегрет, твоя жена. У меня, понимаешь, от него изжога бывает...

Дня три спустя пришло в наш таксомоторный парк то письмо от того пассажира. Нехорошие письма ведь всегда быстро доходят. И угодило оно как раз в месячник «За безопасность движения».

Дней через пять меня начали на собрании сильно прорабатывать. Особенно удивила меня мойщица Петунникова Нина, которая кричала, будто я после смены сразу бросаю свою машину как беспризорную. Может, она меня спутала с кем-нибудь? Но я ни оправдываться, ни спорить не стал. Нельзя же, подумал я тогда, надеяться прожить свою жизнь без мелких неприятностей. А мне уже идет под пятьдесят...



---

---

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

★

## УЗЕЛ БУРЬ

\* \* \*

К чему  
Глубокое молчание,  
Угрюмое, в своем углу,  
Как будто бы ищу в колчане я,  
Стрелок, последнюю стрелу?

А может быть, она уж пущена  
Недавно, как давным-давно,  
И жертва на земле расплющена,  
Упав с высот? Но все равно.

В одервененьи закоснения  
Висит узорчатый колчан,  
И, кажется, нет объяснения  
Таким загадочным вещам.

А может быть, и обнаружится  
Неулетевшая стрела,  
И над полями птица кружится,  
И я тебе не сделал зла!

## БАЛЛАДА О ЗЕЛеноЙ ЗЕМЛЕ

Грустно  
Хрустнул снежок  
Под лыжей...

У меня был дружок —  
Эрик Рыжий.

Молодой человек, ветерок в голове.  
Озорник.

И ему —  
Хорошо не пойму,  
Как, за что, почему,  
Но, известно из книг,  
Приказали:

— Сгинь прочь!

Нам голов не морочь  
Со своею ватагой бесстыжей!

И под клетот паруса пестрого  
Сгинули они со Скандинавского полуострова  
И открыли Гренландию.

На берегах  
Той зеленой земли, на цветущих лугах  
Заполярье зубами не щерилось.

Но теперь — верь не верь, а проверилось:  
Тысячу лет назад вымерзла там луговая трава,  
Запеленалась седая Гренландия в снежные покрывала,  
И среди ледяных недвижий  
О тебе лишь одним не стареет молва,  
Не седеет в столетьях твоя голова,  
Эрик, юноша пламенно-рыжий!

### ВИДЕНЬЕ

Парапета  
Ржавые колосья  
Пронизал автомобильный чад,  
Но пригрезилось мне, будто лоси,  
Фыркая, копытами стучат.

И, конечно же, нашел я в сквере,  
Еле зримом средь бетонных глыб,  
То, что видите, глазам не веря:  
В сером сквере белый гриб!

Так в пространствах, где скрежещут оси  
И царит машина-госпожа,  
Видят, в город забредая, лоси  
Тополь до седьмого этажа!

### КЛАССИКА

Я вторгся в чужой мирок —  
Вновь перевел сто строк  
Доброго своего знакомого, классика, —  
Вторгся в дом его, в храм его.

Дома его не застал,  
Но все по-иному там, заново,  
Необычайно для глаз, словно не в прошлый раз.  
Все по иным местам, новые звуки, краски,  
Даже — и пьедестал!  
Жизнь не застыла и там,  
В классике!

### УЗЕЛ БУРЬ

Сквозь  
Северо-восточный день,  
Взирающий на юго-запад,  
Как волхв, присев на мшистый пенек,  
Развязываю я не лапоть,  
А древний узел бурь.

Листва  
 Во всем своем великолепии  
 Жужжит, желта от волшебства,  
 И вслед за ней лечу я степью,  
 Как будто журавлиный крик  
 Уже давно за морем Черным,  
 Где гаснет византийский лик  
 В Босфоре фосфорно-просфорном.

Но, темный Понт, бровей не хмурь —  
 Спокойствие всему основа!  
 Завязываю узел бурь.  
 Довольно колдовства лесного!

И снова тишина окрест,  
 И волны на морях не стонут,  
 И бури царств и королевств  
 В лазури александроневств  
 Бесследно тонут.

### ЧУДО

Что это  
 По жести флюгеров  
 Пробегает, как мороз по коже?  
 Клумбы, крыши, да и лужи тоже  
 Побелели... Где же лыжи! Кто же  
 Мог подумать! Санных кучеров  
 Леденеют бороды и вожжи.  
 Вижу:  
 Удивленные пастушки загоняют удивленных коров  
 Под кров утепленных скотных дворов...  
 Что за чудо, господи ты боже!  
 Не понять, на что это похоже:  
 В этом самом странном и непостоянном из миров  
 Снег упал неожиданно на Покров,  
 Так-таки не раньше и не позже!

### СЕКРЕТ ПУСТОТ

В пространстве есть пустоты: птиц галдеж  
 В нем тонет, а порой и самолеты.  
 И поступи атлантов не найдешь  
 В глубинах вод, где глохнут эхолоты.

И также есть во времени пустоты,  
 И если в них невольно попадешь —  
 Уже нигде ты и уже ничто ты,  
 И место занимает молодежь.

Но это ложь! Пусть этот день, пусть тот  
 Казался пуст — нет никаких пустот,  
 Зияющих во Времени — Пространстве,

Но за спиной несет оно пестерь  
 Не пуст, а полон найденных потерь.  
 И весь секрет лишь в длительности странствий!

## УНИЖЕНИЕ

Ты говоришь,  
 Что стал я весить меньше.  
 Но это глядя на каких весах!  
 И вообще добреть не каждый день же,  
 Особенно витая в небесах.

А ты в ответ —  
 Что стал я ниже ростом.  
 И это безошибочный удар:  
 Высоким быть всю жизнь, ширококостным —  
 И вдруг ссутулиться. Все ясно: стар!

Но  
 Ложность унижения такого  
 Понятна мне: зарубки на дверях  
 Девчонка делала и бестолково  
 Все спутала, неряха из нерях!

## ПЛАЩ

Гроза  
 Гуляла по лесам.

Так грохотало, будто сам  
 Господь ходил по небесам  
 Среди молний блещущих, и дождь  
 Сек Саваофа во всю мощь  
 По бороде и по усам.

И я сквозь сон подумал: «Плащ  
 Длиннейший, чуть ли не до пят,  
 Попавшему под дождь и град  
 Отдам! Пусть, сед и бородат,  
 Укроется под капюшон!»

И чувствуя — вопрос решен,  
 Я в мирный погрузился сон...

На плащ  
 Взглянул я утром. Он  
 Был мокр, блестящ.  
 Им в мире снов  
 Воспользовался  
 Саваоф.

\* \* \*

Девочка  
 Ликует, приезжая,  
 Ликованьем даже раздражая  
 Близких, начинающих стареть...

А обратно уезжая, делается будто бы чужая.



Надо бы упорней посмотреть,  
 Расстоянья сокращая хоть на четверть, если не на треть,  
 И понять бы надо, примечая,  
 Что там назревает, обещая  
 Наконец решительно  
 Созреть!

### ТРОС

Дождь прошел стороной.  
 Дышит лес стариной.  
 Нет! И он стал иной: будто отзвуком гроз  
 Глухо ухнул в нем трос!  
 В царстве пчел, в прянстве смол, в братстве лис, в ханстве ос  
 Глухо ухает трос!

Трос,  
 Который струной  
 Натянулся в лесу,  
 Чтоб держать на весу пышный кузов пушной  
 Колыбели лесной на границе берез с корабельной сосной —  
 Он тряхнул стариной?

Нет! Ее не вернем  
 Между пнем, и огнем огнедымца костра,  
 И следами колес, где кружат трактора!

Против истины  
 Я не грешу, не грешу!  
 Дашь мне кисти — так я и пейзаж напишу,  
 И в него я внесу трос, который в лесу,  
 Будто сам василиск,  
 Всполз на ствол-обелиск!

\* \* \*

Истинно  
 Не ведаю —  
 Либо это лес,  
 Свисту ветра следуя,  
 Чуть не до небес  
 Желтых лис подбрасывал,  
 Либо желтый лист  
 Сладостно отплясывал  
 Твист огнистых лис,  
 Будто бы земле челом  
 Там никто не бил  
 Ни с утра, ни вечером...  
 ...Словом, это был  
 День такой сквозящийся,  
 Будто бы почти  
 Даже не грозящийся  
 В сумерки уйти!

## ТОПОНИМИКА

Названья  
Древних рек и мест  
Между собою сходные:  
Дон, и Дунай, и Днепр, и Днестр —  
Пути-дороги водные,  
Стези международные,  
То омывая ветхий крест,  
То огибая горный кряж,  
То пляжи превосходные  
Одни других песчанее.  
Поморье, Померания!  
А Балтика! Байкал! Балхаш!  
Хрустальных и янтарных чаш  
Блистание, качание...  
А Балатон!  
Нет, неспроста  
Имеют разные места  
Похожее звучание!



---

---

Н. ТАРАСЕНКОВА

★

## ЧАРЫ

Рассказ

**Н**ачалось все в одной вологодской деревне. На дороге затормозил грузовик. Высунулся из кабины молодой белесый шофер, крикнул девке:

— Поехали на Чары, красавица!

Она спросила надменно:

— Забыла я там чего?

— А ничего! — радостно откликнулся парень и засмеялся, прикрыв глаза, как во хмелю.

Говорят, дорога на Чары богом проклята. Перетрясет так, что душа вон. А приедешь туда — снова душа вернется.

Одна бабка мне так рассказывала:

— Давненько я на Чарах жила, еще в девичестве. Вот только память плоха стала: было то аль не было... Озеро точно было. Деревня по одну сторону озера лежала. А по ту сторону — лес. По ту сторону не жил никто никогда... Как однажды ночью вышел из озера водяной или леший, черт его знает, да с одной стороны на другую избу и перекинул. А вот что дальше было — соврать боюсь...

В соседней деревне постучалась я в избу, чтобы молока купить. Отворила дверь старуха, поначалу испугавшая меня своей некрасивостью: крючковатый ястребиный нос и маленький лоб, прикрытый седыми растрепанными волосами. Темные глаза смотрели насмешливо. Была она нездешних мест, нездешних кровей, резко отличалась от всех голубоглазых, светлицы, спокойных.

В избе было чисто и пахло тестом вперемешку с каким-то цветком, издававшим терпкий до сладости запах. Двигалась старуха по избе быстро, кругами, прямая и невесомая в своих движениях.

Над столом висела увеличенная фотография в громоздкой деревянной раме, и, метнув на нее взглядом, бабка проговорила хвастливо:

— Когда молода была, красавицей слыла — ух какой!

Снята она была с мужем, белоголовым рослым малым. Лицо его было бездумно-счастливое. Она рядом с ним — надменно-носатая, уже успевшая внушить молодцу, что красавица — ух какая!

Я спросила ее про Чарозеро. И она отозвалась охотно:

— Никогда не жила там. А вот родственник оттуда, до восьмидесяти прожил. Год как помер. Красивый был! Только лицо под старость перекосило. Одна половина какой была, такой и осталась. А другая — пересказать страшно, ну чистый леший. Отчего случилось? Кто знает. Бабы сказывали: бог наказал. За то, что девок портил. За то, что жен от мужей уводил. — Она неожиданно рассмеялась глухо и зло, показывая десны с двумя крупными желтыми зубами. — Так

они сами к нему бегли. И мужиков своих бросали. Его-то в чем винить? К нему одна молодая вдова с дочкой пришла. Ведь знала, что старый да кривой. Только наговоры про любовь сильнее. Он сказал ей: «Помру завтра к вечеру». Она, перепуганная, бежать от него. Как сказал, так и сбылось. Одна изба стояла заброшенная по-над самым лесом. Когда солнце село на трубу той избы, как на кол, он и помер. В гробу молодой, красивый лежал. Лицо как прежде стало.

— Вы на похороны ездили? — спросила я.

— Не ездила. Куда мне.

— А в какой деревне жил?

— Кто знает, — вяло ответила она.

— Так ведь родственник ваш!

— Все мы сродственники...

И, покружив по избе, легко забралась на печь, накрылась лоскутным одеялом, растворившись под ним, пробормотала, словно изда-лека:

— Старая стала, ноги не носят.

Заохала притворно. И будто сквозь эти стоны буркнула мне:

— А ну давай дуй из избы!

Странные истории рассказывали про Чары. Быть может, само название заставляло придумывать, чего не было на самом деле.захотелось мне поехать туда, чтобы самой убедиться в колдовстве тех мест. Решила не говорить об этом никому — не спрашивать, не советовать-ся. Но за день до отъезда встретила в Вологде знакомого художника, не выдержав, похвасталась, что уезжаю на Чары.

— Это потрясающе! — воскликнул он.

— Ты был там?

— Я нет. Сын был. Рассказывал: невероятно красиво. Да ты приходи к нам сегодня. Сама услышишь.

И вот вечером я у него дома. В комнате тесно: прялки, картины. Два сына художника ловко ходят по половицам, переступая через отцовские шедевры. Потом старший сын, год назад окончивший художественное училище, показывал свои работы. Младший, ученик третьего класса, гордо закинув голову и оглушающе откусывая перезрелый огурец, тоже принес свое произведение. Поставив картину и выждав минуту-другую приличия ради, он с напускным равнодушием удалился в другую комнату.

Вороная лошадь неправдоподобно подняла всадника, задрал тонкий, упругий, не лошадиный хвост.

Лошадь сбила меня с панталыку. Мне захотелось посмотреть другие работы мальчика. Только уходя вспомнила, зачем, собственно, пришла. Спросила старшего сына про Чары.

— Был я в тех местах, — неохотно отозвался он.

— Там потрясающе! — подсказал ему отец.

— Ничего потрясающего нет, — возразил сын. — Да и Чарозера не существует. Так только сельсовет называется.

Вероятно, ему хотелось добавить: «Зачем вас туда несет?»

Но билет на самолет был уже куплен. И загадочность тех мест не исчезла для меня, хотя туда летали самолеты и рейсы были точно по расписанию.

Летчики здесь негордые. Они сами грузили чемоданы, запихав вместе с ними пассажиров на две железные скамейки, и уселись в кабину, прижавшись друг к другу.

Летчики пытались затворить двери, отделяющие их от пассажиров, но двери радостно распахивались, скрипуче хлопывали. Самолет болтало так, что час полета показался вечностью. Дорога на Чары по небу была проклята богом, как и по земле.

Самолет пошел на снижение. Несколько раз подпрыгнув, как кузнечик, замер на ярко-зеленой траве. Аэродром. Высокие развесистые березы возле избы. В ней ослепительно-солнечно и пусто. Все ушли провожать самолет, который через несколько минут улетит обратно в Вологду.

Молодая мать пеленала на столе ребенка, ласково разговаривая с ним:

— Василек, Василек к бабушке едет. А бабушка Анюта два раза рада будет. Первый — когда приедем, а второй — когда уедем.

Я не знала, куда идти, и побрела по дороге. Все обыкновенно: школа, книжный магазин, церковь со снесенным куполом. Показалось, что вдали за деревьями — озеро, блеснувшее, как лезвие топора.

Но когда я пришла в правление колхоза, там мне объяснили, что озера отсюда не видно. Бухгалтер колхоза, женщина еще молодая, внимательно и непонимающе глядя на меня, рассказывала:

— Чарозерский сельсовет наш. Ну, а если само озеро будут Чарочкой называть, не верьте. Вещозеро по-настоящему зовется. Только до берега поболее четырех километров. А если на машине ехать, то на одной нельзя — застрянет одна. Так кто будет выручать? Плохо одной-то машине на наших дорогах.

Мне повезло: председатель колхоза как раз собирался в деревни, лежащие на берегу. И мы четвером отправились на двух «газиках». Дважды приходилось выходить из машины, и шофер с математической точностью проводил машину по бревенчатым мосточкам. Колеса повисали на столько, на сколько было нужно, чтобы не свалиться в кювет.

По обе стороны дороги лес — густой, цепкий, злой. Сухие ели чуть выступили вперед, огородили его, как колючая проволока. Ничего не просматривается вглубь.

Но вот оборвался лес. Тотчас выбежала наперерез маленькая деревушка. Дорога резко свернула вправо и поползла вдоль изб, которые казались угольно-черными на фоне светло-голубой воды. Лежало озеро в низких, густо поросших травой берегах, извилистое, растянутое в длину на десятки километров.

Деревушки мелькали, пропадали, и начинались поля. И снова — избы. Стояли они на почтительном расстоянии от озера. Бывали такие весны: выйдет вода из берегов, подбежит к избам. Тогда единственная дорога превращалась в реку, от избы к избе передвигались на лодках. Без лодок здесь как без рук. Их несколько у каждого хозяина. Лежат они на берегу, привязанные цепью.

Меня не спрашивали, куда поселить. Я ведь не знаю никого. А в правлении колхоза все известно. У кого изба битком набита — гости приехали. У кого корова мало молока дает — самим только-только. Посему жить мне у деда Василия и бабки Юлии.

Дед, бородатый красивый старик, выслушав мою просьбу погостить у них недельку-другую, ответил:

— Почему нельзя, когда можно.

Ему, видимо, самому понравился ответ, и своей жене он повторил все слово в слово, когда она чуть позже подошла к нам.

Была она маленькая, аккуратненькая старушка, зеленоглазая, рыжеволосая и с такой поспешной речью, что мне трудно было разобрать поначалу, о чем она говорила. Интонация ее голоса была столь радушной, что мне показалось: я уже была здесь и вот приехала снова.

Накормив холодными сметанниками с молоком, отвели меня спать в маленькую комнатку-кладовку, где к стене прижималась кровать, затянутая пологом из пестряди, чтобы не тревожили мухи и комары. И вся изба погрузилась в сон.

Стояла изба ловко. Глазастая! В одно окно глянь — и озеро перед тобой. В другое — поле, а за ним лес. А в третье — белокаменная церковь с высокой звонницей.

Дед усаживался на лавку боком. Тогда и озеро и церковь перед ним. Медленно скручивая сигарку, все поглядывал в окна, словно не мог насмотреться.

В то утро на столе было молоко, уха, пироги.

— Пей молоко, — сказал дед, — Оно у нас особенное, что сливки. Небось в городе молока выпьешь — и стакан мыть не надо.

Бабка Юлия ушла по хозяйству. А дед долго рассказывал, как воевал в первую мировую войну, как в других странах побывал, как там люди на других языках разговаривают.

Рассказывал, как служил в лесной охране. Пятьсот километров лесом исходил. Вроде знал лес как свои пять пальцев, а вот и не знал — страшный этот лес. Ветка закроется за тобой — и потеряна тропинка, потерян след.

Солнце полезло в окно, потом уселось на крышу. Полдень. Бабка Юлия уже сходила на выгон, принесла ведро молока. Самовар поставила, пироги из печки вынула и на столе разложила. Можно полдничать. Вот только Ивана надо подождать.

Иван — пастух колхозного стада. Пасет заодно и деревенских коров. Квартирует в этой избе — его дом за несколько километров. В полдень пригоняет он коров на скотный двор, чтобы бабы могли подоить их. Сам же идет в избу чаевничать.

Ивану лет под шестьдесят. Он мал ростом, невозмутим лицом и медлителен в движениях. Пастух вдов, старшая дочь заботится о нем, ведет в доме хозяйство.

Сначала Иван разворачивает платок с сахаром. Как ни старается бабка Юлия подsunуть ему пироги с клюквой, он все отодвигает, раскладывая перед собой свои харчи. Иван молчит по той простой причине, что все время говорит дед. Опять про страшный лес. Если б не его смекалка да компас, так давно б погибнуть ему в этом лесу. И о самом Иване рассказывает: он лучший пастух в колхозе, каждый месяц его скот хорошо в весе прибавляет, ему премию за премией дают, а фото с одной Доски почета отрывают и на другую перевешивают.

Иван не возражает, опустив глаза в блюдце, пьет горячий чай.

Дед на минуту умолкает. Затягивается самокруткой, вонючей и ядовитой. Кашляет. После чего заключает:

— Курить вредно.

— Вредно, — соглашается Иван.

— И пить вредно, — повышая голос, говорит хозяин.

Пастух слабо поддакивает.

Мимо окон идет женщина с ведром молока, толстая, громоздкая, непонятно, как она передвигается.

Бабка Юлия кричит ей:

— Маня, ступай к нам чай пить!

Маня из Мурманска. Гостит с мужем у своей сестры. Муж у нее гармонист, слепой. Или, как говорят здесь, невидной. Войдя в избу, она тяжело плюхается на лавку.

— Уж больно ты плоха да худа стала, — иронически замечает дед.

— За сто килограммов переехала, — откровенно сообщает она. —

Мне все говорят: тебе, Маня, надо разгрузочные дни устраивать. Да ведь такие дни в войну были. Хватит! Наразгружалась!

— Ты пирогов поешь,— настаивает бабка Юлия.

— Своих напекла. Девать некуда.

Но берет тотчас. И ест с таким аппетитом, что все после чаепития снова тянутся к пирогам.

Маня жалуется на здоровье. Сердце стало плохо работать. Все в жиру заплыло. Вдруг с поразительной быстротой подхватывает ведро с молоком, вспомнив, что дома ждут. И через минуту уже торопливо идет по дороге, сотрясаясь огромным рыхлым телом.

Дед снова начинает разговор. Теперь рассказ его о сыне. Дед Василий сразу же сообщил, как только я переступила порог избы:

— У меня единственный сын, да и тот грамотный.

Сын окончил школу, техникум, институт. Стал лесным инженером. Потом перевели его на партийную работу. Сейчас снова учится в партийной школе.

— Я ему и говорю,— с напускной сердитостью кричит дед,— куды ты все учишься? Дальше учиться некуда. Ну куды дальше?

— Зато он вежливый, обходительный,— поясняет бабка Юлия.— Пуцай учится.

— Я в пяти странах был...— напоминает дед, как бы компенсируя этим свою неграмотность. И переходит уже на другую тему:— В прошлом году здесь раскопы производили. Каменный век нашли. Дальний народ жил. Все-то у них было каменное. На медведя ходили с каменными стрелами. А когда покойника хоронили, то лоб ему пробивали и ноги переламывали, чтоб не убежал. Опосля лоб не трогали, только ноги. Мне это все профессор рассказывал, что у Лешки Синицына стоял.

Дед говорит сердито и многозначительно. А бабка подмигивает: слушай, мол, брехуна. Она все время посмеивается над дедом: живет с ним нелегко, но и одной лихо. Да и что это за жизнь, если некому молока да пирогов на стол подать.

Дед Василий привел ее в дом, когда от него сбежала вторая жена, опозорив его на всю деревню: мол, с таким скупым жить невмоготу. А потом вернулась. Крикнула деду, указав на Юлию: «Выгони ее!» Бабка Юлия сидела на лавке — и ни слова: пусть сами разберутся. Дед ответил: «Иди с богом, отколь пришла». Та убежала злая, зареванная, а бабка Юлия осталась.

— Я деда своего совсем не боюсь,— сказала она мне,— потому как со своей короной пришла. Прежний муж старый да хворый был. Понял — скоро помирать, и говорит мне: «Пойдем на почту, я деньги с книжки на тебя переведу. Ладно с тобой жили». Он славный дедушка был. А до чего Жура его любила. Плакала, как помер. На кладбище меня все звала. И мы вместе с ней ходили. Жура — собака умная, страх один. Она всюду со мной. А когда привела я Журу к деду Василию, так он задумал ее застрелить. Снял ружо и говорит: «Пристрелю я эту собаку, она ничего не делает, а только молоко пьет да хлеб жует». Я на колени: «Стреляй в меня!» — и за ружо ухватилась.

Всю живность, находящуюся в доме, бабка Юлия называет «девками». «Девки» много: это уже знакомая Жура, королева Зорька и ее телка, кошка Зина, рыжая, как лиса, и, как лиса, знающая окрестности. И еще не относящийся к «девкам» любимец деда и потому, вероятно, названный в его честь кот Васька.

Ловля мышей была на Зине, и она отлично справлялась с этой обязанностью. Васька брезгливо относился к такому промыслу. Дед кормил его свежей рыбой.

Зина надолго уходила из дому. Возвращаясь, пила молоко. Потом неторопливо и деловито обходила избу. И снова исчезала. Однажды я встретила ее возле леса. Она неподвижно сидела в высокой траве, готовая к броску, напряженно уставясь в одну точку. В дом ее не тянуло, она была безразлична к людям, к печке и даже к самому коту Василию, который был царственно красив: черный, с блестящей гладкой шерстью, словно одетый в дорогой кастор, и с белыми длинными усам. Несмотря на быстроту движений, он умудрялся носить свой огромный хвост с неподвижной торжественностью, причем хвост был загнут так, что Васька цепким боковым зрением ни на минуту не выпускал его из виду.

Жура той же масти, что и кот Васька, но ласковая, привязчивая собака — нрав бабки Юлии. Пугала ее дедова недоброта. Она подобострастно заглядывала деду в глаза, терлась у его ног. Он же замахивался на нее, кричал:

— У, дармоедка проклятая! За что молоко пьешь? Даже взлаять как следует не умеешь.

А Жура все ласкалась. По словам хозяйки, «собака она умная — страх один». Наверное, Жура хотела объяснить деду: не одна она в доме бездельница, кот Васька ведь тоже ничего не делает, мышей Зина давно переловила и следит, чтобы они не появлялись. Не было понимания между Журой и дедом.

...Над озером солнце. Лес горит яркой зеленью и не кажется страшным. Бабка Юлия предлагает мне поехать в деревню, которая на острове, и мы с ней садимся в лодку.

В солнечный день вода издали кажется прозрачно-голубой, а вблизи рыжая, как чай. Теплая она. Весла шлепают по воде тихо. На дне лодки, свернувшись клубочком, лежит Жура. Сначала едем молча, а потом бабка Юлия рассказывает о себе. Старшей в семье была. Всех братьев и сестер на ноги поставила. В колхозе телятницей работала — считай, тоже нянька. За вдовца просватала, детного. Своих так и не было. Растила его детей как родных.

Озеро сузилось. Кувшинки совсем рядом. Звонко ломаются их стебли. Водоросли цепляют за весла — не пускают.

Деревня маленькая — всего пять дворов, — омытая со всех сторон водой. Избы сбежались на бугор. Стоят тесно, словно греются друг о друга.

Пили мы чай в избе у давней Юлиной подруги. Была она гостям рада и все приговаривала, подавая на стол:

— Проснулась я нынче, Юлия, и словно на меня благодать сошла. Вот я и думаю: чего-то я такая пригожая да радостная. А это ты, Юлия, по озеру плывешь.

В избе все было переплетено с ее речью — кружевно, узорчато. Лавки у стола резные, шкафчик цветами расписан. За чаем разговор о близлежащих деревнях. Осудили кой-кого, а кой-кого помиловали. Потом хозяйка рассказывала: председатель к ним прошлым днем на остров приезжал, с рыбаками долго разговаривал, сидели на бревнах, папиросами дымили. Ей всегда смешно смотреть на председателя, еще в люльке его помнит. Сама лично ту люльку толкала. Кричистый был — оглохнуть можно. Видать, тогда и выкричался. Сейчас серьезный да неспешный. И рубашка на нем нейлоновая.

Затем подошла она к сундуку, откинула тяжелую крышку, стала показывать наряды из пестряди, из шелка, от которых уже пахло прелым вперемешку с нафталином. Расправляя оборочки, прикидывала к себе, тихо и радостно смеялась, вспоминая далекие годы. Бабка Юлия сказала:



— Гляди, мастерили-то как красиво. А нынешняя мода — дырку сделают, вот тебе и все, шьют, как на покойника. Домой вернемся, я тебе свои наряды покажу. У меня тоже старина есть. Хотя сама я современная!

Потом заторопила меня: надо поспеть к приходу Зорьки. Может, завтра сенокос начинать.

— Ветер-то больно глупый,— сказала она, когда мы уже сели в лодку.— Трудно будет на веслах идти.

Наутро все замерло. Так тихо, что слышно — где-то в конце деревни отбивают косу. Опустели избы. Все в поле. Ритмично и вятно пошла коса...

Сначала дед с бабкой косили неподалеку от избы. Потом мы втроем уезжали на пожни. Затем переворачивали траву возле дома, а на другой день на носилках относили ее к повети. Дед вилами подавал нам сено, а мы с бабкой плясали на нем, чтобы как можно больше уместилось корма для коровы на всю долгую холодную зиму.

Корова была черно-белой. Природа распределила эти две краски на ее теле просто и красиво. На белоснежной морде черными кругами были обведены глаза, казались они неправдоподобно большими и печальными. Ходила Зорька неторопливо, с достоинством. Все движения матери повторяла телочка, которая двигалась от нее на почтительном расстоянии.

Даже дед с уважением относился к корове:

— Ну иди, хорошая. Ну чего встала?

Она же всегда останавливалась, прежде чем войти во двор. И, задрав высоко свою печальную голову, долго, внушительно мычала. Потом проходила медленно, снисходительно поглядывая на всех: «Я выполняла свой долг. А вы что делали целый день?»

— Иди, иди,— уже просил дед и жался к стене, давая ей дорогу.

Корова косилась на него прекрасными глазами, как бы зная о всех его слабостях и понимая их.

— Пришла, матушка,— говорила бабка Юлия, кланяясь ей низко, в пояс.— Вот и хорошо, матушка, что пришла.

Молоко Зорьки было вкусным. Давала она более двадцати литров в день. Бабка Юлия говорила о корове не то чтобы хвастаясь ею — повезло, мол, в хозяйстве,— а как об очень близком существе, без которого ее жизнь была бы просто немыслима.

— Зорюшка меня раз от хворобы спасла,— рассказывала мне Юлия.— Проснулась я и чувствую: ноги как не мои и руки как не мои. Тут соседка Устя ко мне забежала, я ее и попросила Зорюшку подоить. Пошла она и вернулась вскоре: «Околдовала она меня, Юлия. Я словно к месту приросла. Близко к ней подойти боюсь». И не подходи, говорю, и не надо, а то ведь так корову порушить можно. Сама думаю: господи, дай мне силы добраться до Зорюшки. Встала, пошла, подоила, а вот поднять ведро с молоком и до избы доползти снова не могу. Она повела на меня глазом своим громадным, будто спрашивает: чегой-то ты? Я отвечаю: «Матушка моя, сил моих нет. Хворая». Зорюшка только головой над ведром мотнула: пей! Я молоко парное в рот не беру, нехорошо мне от него. А тут Зорюшка мне наказ дала — я к ведру и припала. Молоко мне таким вкусным показалось! Три дня пила его. Так хворь мою как рукой сняло. Вот как чаровала она меня, матушка.

Бабка Юлия искренне страдала за тех, у кого не ладилось со скотиной. Жалела хозяек, размышляя вслух, чем бы помочь. В конце концов призналась, что бессильна против колдовства.

— Всю ночь мне красавица снилась,— сказала она мне как-то утром. И, поймав мой удивленный взгляд, пояснила: — Корова у нас в деревне была, Рыжухой звали. У хозяйки Рыжухиной дочка в ту пору в институте училась. Прискакала летом не одна, а с подружкой. А та в платье цветастое нарядится. Пальцы в супериках<sup>1</sup>. И смеется, заливается. Она первая и сказала, что Рыжуха — красавица: «Посмотрите, глаза у нее голубые. Посмотрите, ресницы — щеточки». Все лопочет, лопочет. Будто и коров никогда не видела. Городская. Несамостоятельная. Сначала люди все смеялись — корова как корова,— а потом подпевать стали: а ведь и вправду не такая, как все,— красавица. Может, та девка добрая была. Только глаз у нее черный оказался, и она корову изурочила. Стала Рыжуха возле озера болтаться. Смотрится и смотрится в него, экскаватором не оттащишь. Пастух намаялся с ней. Кнутом от озера отпугнет, так она в лужу упрется и опять посмотрится. Вот молоко водой и пошло. Никакой жирности. До той девки Рыжуха не ведала, что красавица. Как узнала, так и погибла. Продали ее. Уж год прошел, может, и боле. Только сегодня она мне приснилась. Будто к нашему озеру вернулась, чтобы в него посмотреть, а озеро льдом покрылось...

Однажды Зорюшка превзошла себя в удое, и бабке Юлии неловко стало, словно корова передала ей лишку. Она спросила, знаю ли я про Пелагеино горе и про ее корову Пушинку.

— Неужто не слышала?! — переспросила меня бабка, будто об этом уже на всем земном шаре было известно и только я одна оставалась в полном неведении.

Историю эту бабка Юлия первая узнала от самой хозяйки, так что в рассказе все чистая правда.

До деревни, где Пелагея живет, километров восемь лесом идти. Баба она радушная, хлебосольная. На столе большущий самовар стоит — и вся изба в нем отражается. В ту пору у нее Комики гостили. Так Пелагея своих внуков назвала: приехали они из Коми АССР. Жаловалась на них бабка. Вроде числом невелики — трое, а избу захватили и все перевернули в ней. «Хорошо, Юлия, хоть ты пришла. А то в душу много всего набезало — удержать самой сил нет. Сколько лет дояркой работала — сама знаешь. Сколько почетных грамот получила — глянь, изба ими увешана. Ни одна колхозная корова ослушаться меня не смела, а со своей — беда. Такая срамница, что и сказать стыдно, да и не поверит никто. Пушинка моя сама себя сосет. Молоко хоть и хорошее, а стала она давать в два раза меньше. Вот я все думала, думала, как это она делает, и решила ее подкараулить. Встала в четыре часа и пошла в подклеть. Спит Пушинка. Я притулилась в сене. Сижу не шевелясь и все думаю: и как это она сама себя сосет? Пушинка проснулась, ногу на рога положила и свои два соска, те, что по правую сторону, стала, проказница, сосать. Ну что делать? Каждый раз ведь не укараулишь. Вот с трех удоев только десять литров дает»... Все одно к одному. Сына Пелагеи, отца Комиков, невестка за три слова посадила. Пелагея мне так и сказала: «Уж ты меня прости, Юлия, два слова могу тебе повторить, а третье — не стану». Судья спрашивает невестку: «Он тебя бил?» «Нет,— отвечает,— только один раз по щеке приладил». А почему ругаться начали? Потому что невестка погулять больно любит. Как мужику было не высказаться? Вот его за три слова и посадили. Комиков Пелагея к себе забрала. У матери не оставила. Да и какая она мать, когда до мужиков больно жадная. А тут Пушинка молока недодает.

<sup>1</sup> Суперика — колечки.

Пелагеино горе трогало бабу Юлию до слез.

— Жила б Пелагея в нашей деревне, так молоко Зорюшки поровну б с ней делила.

До того, как поселиться на Чарах, исходила я много вологодских деревень. И рассказы о коровах представлялись мне просто смешными. Но попав к бабу Юлии, я задумалась: а так ли смешны они? И только ли о коровах эти истории?

Помню, попросилась я на постой в большой пятистенный дом, растянутый по фасаду, как гармонь.

Хозяйка — Мария, баба худосочная, с недовольным вытянутым лицом. Два сына — подростки. И сам хозяин, Павел Семенович, — колхозный счетовод. Был он хром с войны, бородат, хотя еще и не стар. Светлые глаза его казались простодушными. Смеялся он редко и неожиданно, запрокинув голову, широко открыв рот, обнажая порченые табачные зубы с зеленым налетом, будто он только что вернулся из леса, вдоволь наевшись там хвои.

Мужик он был, как про него говорили, с головой, и все в деревне относились к нему с почтением. Пришел к нему как-то сосед.

— Явился я к тебе, Паша, за словом добрым.

Павел Семенович слушал терпеливо, не перебивая, не глядя на собеседника, как будто самому было неловко оттого, что люди думают: он все знает и предвидит.

Гость говорил сбивчиво. Не знал, что делать с сыном Колькой, как помочь ему.

— Хитра в Кольке нет, вот в чем беда. Была у него невеста, так приехал дружок, с которым он в армии служил, и невесту увел. А второй дружок вчера мотоцикл попросил да и напоролся на столб. Башка цела, а мотоцикл поломатый. Я Кольке толкую, чтоб он с него деньги взял. Дурачок мой отвечает: «Батя, хорошо хоть Витька живой остался. А денег у него нет, это я точно знаю». Вот я хочу спросить тебя — что с парнем делать? Как он без хитра жить будет?

Павел Семенович был немногословен, точно у него и не было своих слов. Просто он ловил слова собеседника, как ловят арбуз, затем стучат по нему, мнут, прислушиваются, прежде чем вернуть и сказать, хороший он или плохой. Какую-то долю секунды он пронизательно смотрел на гостя, затем опускал глаза в бороду, будто полагал в ней, и вынимал из бороды уже другими.

— Как без хитра жить будет? — переспросил он. — Да ведь те, у кого хитра много, побарахтаются-побарахтаются и в самом хитре утопнут. У тебя же парень что надо.

Опять быстро и взволнованно заговорил отец Кольки, потом долго и растерянно благодарил, ушел успокоенный.

Авторитет Павла Семеновича утвердился после случая с собственной коровой.

Хворая жена попала к колхозному счетоводу — часто в больнице. Когда отвезли ее туда впервые, он задумался: кому корову доить? Не ребят же своих заставлять. Соседку просить? Так небось уже на своей корове пальцы онемели. Да и позволит ли Полянка? И решил подоить сам. Надел кофту, юбку, голову и бороду платком обмотал и пошел в подклеть. Думал, по двору прошмыгнет незамеченным, да бабы увидели. Сначала смеяться начали, а потом испугались — корову можно порушить. Пospорили, подпустит Полянка или не подпустит. Своих наспех подоили, но Павла Семеновича не проворонили. Видели, как вышел он с полным ведром.

Скандал произошел, когда Мария домой вернулась, Марию корова не подпустила. Хотя была хозяйка в той же юбке и кофте и в том

же платке, каким хозяин бороду маскировал, не подпустила, и все тут! Может быть, долгое отсутствие хозяйки восприняла Полянка как предательство. А может, все оттого, что Мария ее ударила. Ударилато потому, что слабая была после больницы, а корова кочевряжиться стала. Мария ударила ее, та копытом ведро и опрокинула.

Мария — женщина тихая, дурного слова о ней в деревне не скажут — выскочила из хлева с пустым ведром, закричала истошно:

— У, паскуда, я тебя так исхлестаю, я тебя на бойню сведу, да я тебя Таньке отдам!

Последняя угроза была самая страшная для коровы, и Мария уже кричала в радости, что найдена достойная кара: «Таньке, Таньке отдам!»

Вышел из избы Павел Семенович, что-то сказал жене. Мария притихла и с того раза не подходила больше к корове. Стал доить ее сам хозяин. Кофта, юбка, платок как роба висели в сенях. Он надевал их, прежде чем идти к Полянке.

Заволновались бабы в деревне, одна даже с протестом к своему мужику:

— Ты что с бутылкой, как с соской, ходишь? У меня руки отымаются. Надевай юбку. Ступай корову доить.

Тогда мужик пошел к колхозному счетоводу:

— Что ж это, Паша, получается? Ты в нашей деревне вроде как бунт устроил. Теперь дома от своей жены спокойя нет.

Опустил глаза Павел Семенович и, прополоскав их в бороде, вынул горько-насмешливыми.

— Спокою, говоришь, нет? А ты своей хозяйке так скажи: если сам начнешь корову доить, на жену хвороба нападет. Так что лучше — корову за титьки дергать или хворой быть?

— Ловкий ты совет, Паша, дал,— сказал мужик и поспешил к своей бабе.

Да что тут говорить — случай с коровой в семье колхозного счетовода особый. Только вот и у Татьяны, которой пугают всех коров, тоже не так, как у людей. Сама она женщина непонятная. А уж про Ниву и говорить нечего. Такой животины на всем белом свете не сыщешь.

Был Татьянин дом лениво-беспечный, полуголодный, полусчастливый.

Муж ее, тракторист Ленька, по неделям пропадал у другой бабы. Галка, семилетняя дочка, бегала к отцу и вела себя в чужой избе достойно, как парламентар. Та, другая, жалела девчонку и дарила ей нейлоновые ленты, которыми торговали в сельмаге. Галка дарила их своим подружкам, себе оставляя только голубые.

Каждый в Татьяниной избе жил сам по себе. И изба была сама по себе, и корова, и телка, и собака. Никогда Татьяна не тревожилась о своем хозяйстве. Никогда не встречала Ниву. И та, пользуясь полной свободой, приходила домой, когда хотела.

Татьяна обычно сидела на высоких ступенях своей избы — плоскотелая, глядя голубыми, навывкате глазами с таким вниманием и мечтательностью, будто ждала кого-то.

Она говорила:

— Надо корову идти доить,— и не двигалась с места.— Пойду я,— снова убеждала она себя.

Прибегала Галка, босая, с большим голубым нейлоновым бантом в волосах, под цвет своих и материнских глаз. Усаживаясь рядом, сообщала матери последние деревенские новости:

— Сегодня деда Михаила хоронили, на машине. Сорок рублей на похороны истратили. Зачем на такого старого столько денег?

Мать молчала. Слушала и не слушала.

— Тебе сегодня Ниву не подоить,— деловито говорила Галка.— У нее настроение плохое.

— Она приходила? — спрашивала Татьяна.

— Приходила. Потерлась о забор и снова ушла.

Нива никогда не спешила домой, потому что ее никогда не ждали. Однажды она попробовала проучить хозяйку — пришла пустая. Кому разрешила она подоить себя — неизвестно. Только на Татьяну это не произвело никакого впечатления, и Нива больше так не поступала. Просто она гуляла до одури, мучаясь от своего переполненного вымени. Часто видели, как шаталась она по окрестностям, словно бездомная собака. Была у нее созерцательность хозяйки. Она редко уходила после дойки в подклеть, обычно укладываясь прямо на траву. Иногда Татьяна забывала унести ведро. Нива окунала в него морду, пила собственное молоко.

В доме царила такая естественная неразбериха, что бабы подчас не понимали — жалеть Татьяну или завидовать ей. Но каждая из них при случае старалась научить Таню уму-разуму. Бабы ее любили, звали к себе в избы. Особенно соседка Рая, страдавшая грыжей. Она кричала в окно:

— Таня, приди, занемогла я!

Татьяна тотчас приходила, спрашивала ласково:

— Опять у тебя, Рая, приступ был?

— На операцию мне надо ложиться, все недосуг.

— А зачем мешки с картошкой ворочаешь?

— У меня, Таня, кроме грыжи, еще трое детей да мужик. Как же мне мешки не ворочать? — Затем спрашивала осторожно: — Ты, Танюша, говорят, в Кувшинове лежала?

— А что это за Кувшиново?

— Больница такая — психическая.

Татьяна качала головой, тихо смеялась.

— До чего у нас всякие наговоры любят. Я ведь избы своей никогда не покидала.

— А в девичестве? До того, как в нашу деревню за Леонида за муж пошла?

— Не знаю я ничего про твое Кувшиново,— беззлобно возражала Татьяна и, глядя в окно, говорила уже о другом: — Из твоего окна их хорошо видать.

— Кого?

— Елки, что на опушке. Вместе росли. Одна какой была радостной и веселой, такой и осталась. А другая высохла, словно от болезни злой умирает.

— О господи! — вздыхала Рая.— Вот и река тебя все манит. Видела, как ты в лодке ночью просто так каталась. А тебя, Таня, не тянет утопиться? — приглушенно спрашивала она.

— Зачем же топиться, когда красота вокруг. Светло на воде. Деревня вроде наша и не наша вовсе. Будто из воды она вырастает. А заря когда начинается — свет такой от нее... В городах, говорят, фонари да лампочки и те тушат.

— Вот и мужик у тебя гуляет,— не унималась Рая.— А все от непутевости твоей.

— Не на цепь же его сажать. Собака он, что ли?

— То-то оно, что не собака. Собака погуляет-погуляет и домой воротится. А мужик может не вернуться, Таня.

Но мужик возвращался. Возвращалась и Нива. Иногда ночью, иногда под утро. Один раз она разбудила меня своим осторожным негромким мычанием. И я, приоткрыв двери повети, увидела, как она брела грустным коровьим шагом под звездным небом, как всегда вытянув рыжую морду на тощей шее.

Тогда мне казалось: Нива ценит свою свободу. Теперь же, у бабки Юлии, вспоминалась она мне заброшенной, жалкой, бродившей по ночным дорогам в надежде наткнуться на Юлину избу или на подобную ей, в чьей подклети могла бы она наконец определить свою судьбу.

И стала я в памяти своей перебирать избы и людей, куда бы еще могла забрести Нива. Было таких немало, но среди них выступил один дом, удивительный по крепости своей, спаянный узами родства.

Дом был большим и тихим. Жила в нем старуха Екатерина Сергеевна Менахова со своей вдовой дочерью, которой самой-то было уже под шестьдесят. В соседней избе проживала старшая сестра хозяйки. Бездетная, вынынчившая всех своих племянников. И те тоже ее за мать почитали.

Летом в определенный месяц съезжались все дети со своими детьми. И тогда под тишину словно подкладывали динамит — взрывались не только два родительских дома, но и вся деревня. А было в ней всего пятнадцать дворов. На огромной поляне избы разбросаны деликатно: окна не смотрят в окна. Посередине три колодца — журавли. Поскрипывают, покачиваясь, ведра. Вдали лес кокошником.

В деревне все со счету сбились: сколько детей у Менаховой, сколько внуков? Ходили они гурьбой, и казалось — была у них единственная просьба к людям: чтобы те испытали их на прочность. Ничего бы для них не стоило спалить старую избу и срубить новую. Сделали бы они это просто, легко, весело. По ночам кучей грелись у большого костра.

Стоял старый дом крепко, окруженный могучими березами. И каждый день пекли в нем пироги, готовили брагу. Приходили в дом бабы просто так и не просто так. Кто с просьбой сено помочь убрать, а кто — крышу починить. И Менаховы всегда были безотказны.

Явилась к ним и Пульхерия Андреевна, прозванная в деревне Пушкой. Уже не один раз приходила она к хозяйке, клянчила, чтоб отдала ей святого Власия, — уходила ни с чем. Только знала Пушка: придет ее час и получит она скотного бога. Дай только время всем детям и внукам съехаться под отчий кров.

Дождалась. Пришла, встала посреди горницы, когда все были в сборе, сказала:

— Катерина, отдай мне Власия.

— Странная ты, Пушка, обратно за свое. У тебя своя икона есть.

— То Егорий, что на коне. А мне скотный бог нужен. Сама знаешь, корова хвора.

— Отдай, — хором просят дети. — Отдашь — дольше проживешь.

— Отдай, бабушка! — кричит внучка Лида. — У тебя еще плакат под лестницей есть.

— Отдай, — степенно говорит старшая сестра. — Вот ведь детей сколько у тебя да внуков сколько. А у меня один мужик был — и тот помер.

— От-дай! — несетя по всему дому.

По лицу хозяйки видно: отдаст. Медлит лишь потому, что приятен слуху ее этот нарастающий гвалт. Наконец выносит она святого Власия.

— Бери, Пушка,— весело говорит она.— А еще бери пироги. Угощайся.

Но Пушке некогда пироги есть и брагу распивать. Стадо идет. Выбегает и внучка Лида, чтобы встретить двух коров, которых зовут общим именем Дурочки.

Дурочки похожи друг на друга как две капли воды. В деревне никто не может отличить, чья какой бабки. Да, наверное, сами сестры путают их. А вот Лида хотя и живет большую часть года в Архангельске, но так любит свой деревенский дом и Дурочек, что различает их всегда безошибочно — по выражению глаз.

Из-за коров обе бабушки вечно ругаются. Так живут в полном мире и согласии, голоса друг на друга не повысят. Стоит родной бабушке сказать двоюродной: «Давай твою корову продадим», тут такое начнется — хоть уши затыкай.

— Моя характером получше,— убеждает двоюродная бабка.

— Да на что нам ее характер, когда моя больше молока дает,— возражает родная бабка.

— Ты бога, видать, не боишься. От одной матери они. А если б нас с тобой разлучили?

— Да что ж нам теперь, молоком обливаться прикажешь? Откуда силы брать сено заготавливать?

— Приедут твои богатыри и наготовят.

— Так у моих сынов только один месяц отпуска.

— Помру — тогда как знаешь,— говорила двоюродная.

— Может, я раньше тебя помру,— заключала родная.

— Чего спорите? — разнимала наконец мать с теткой старшая вдовая, дочь.— Мне коров доить, мне и плакаться.

Сестры тут же мирились. Родная бабка говорила, вздыхая:

— Сбросить бы нам с тобой лет по двадцать, так пусть бы вся животина со всей деревни в наш хлев забрела. Холили б и кормили.

Дурочки после дойки оставались вдвоем считанные минуты. Корова двоюродной бабки направлялась к себе и в доказательство, что верна и предана только своей хозяйке, останавливаясь на полдороге, трубила пронзительно-радостно, как корабль, возвращающийся в родной порт.

Всякие бывали избы.

В одну деревню приехала я поздно вечером. На приступках крайней избы сидела хозяйка. Я и обратилась к ней с просьбой остановиться здесь.

Она не сразу дала мне свое согласие, размышляя вслух.

— Не знаю, как и поступить. Детей у меня шестеро, внуки. Прошлым летом не приезжали. Так нынче непременно съедутся, вся изба полным-полна будет. Тогда уж не взыщи: придется с квартиры сходить.

Дом стоял на крутом берегу, поднятый высоко. Из окон далеко было видно: сходились люди к перевозу, усаживались на бревна, ожидая моторную лодку.

Гордо шел по реке белоснежный молочный танкер. Привязанные к лодкам лошади переправлялись с одного берега на другой, испуганно и жалко задрыв морды. Целый день стрекотали моторки: иные шли по воде осторожно, словно щупая реку, другие неслись бешено. Вечером прижимался к берегу, устраиваясь на ночлег, дряхлый буксир под названием «Дерзкий».

Мы часто сидели втроем за самоваром. И бабка Василиса долго рассказывала о том, как любит она своих детей и как они ее любят.

Вот-вот приедут. Вздыхая, пристально смотрела на реку, будто ожидала увидеть их в лодке.

Дед Алексей, высокий, худой, словно подвяленный на солнце, громко втягивал чай из блюдца.

— Для меня главное — чтоб все в доме было как надо.

Да вроде дома все и было как надо. Но вот не ехали дети, второй год не появлялись они в просторной чистой избе. Хотя их ждали.

Бабка Василиса часто начинала разговор, желая поговорить явно не о том, о чем говорила.

— Больно ты много читаешь. Голова не кружится? Я как возьму книгу в руки — тотчас искры из глаз. И голова подолгу стала болеть. Мне одна старуха сказывала — это потому, что много котят в своей жизни потопила.

Затем спрашивала, видела ли я деревенского попа, под польку стриженного.

— В церковь у нас только бабы ходят, — сообщала она. — А мужики нет. Правда, один бывший умалишенный похаживает.

Она ближе подбиралась к наболевшей теме:

— Моя сродственница в соседней деревне живет. Характером хорошая, ей все в аккурат. А мужик ейный от нее и от дочерей отступился. Так мать с детьми — что одна душа. Все друг за дружку. А наших и калачом домой не заманишь.

Бабка громко вздыхала, глаза ее становились влажными. Но она прижимала фартук к глазам, как промокашку, и глаза высыхали.

— У меня одна мечта: чтоб собрались все под одной крышей. Я ведь мать: какой палец ни откуси — все больно. Ну и то верно, что мы все для детей, а они для своих детей. Они на свет не просились. А родил, так и неси свой крест.

Каждый вечер рассказывала она о ком-нибудь из них, жалуясь и осуждая, мучительно искала причину отчужденности детей, и не было у нее желания понять их.

Больше всего тревожила ее незамужняя дочь Катя. Видно, много нравочений выслушала Катя от матери и, не стерпев, уехала из родного дома в другой город. И сейчас, говоря о ней, мать все пилила дочку, заранее предупреждая и грозясь. Хотела, чтобы она поскорее замуж вышла, и не хотела.

— Какое нынче замужество, — рассуждала Василиса. — Одни слезы. Полный кулак соплей натрешь.

Голос у нее становился безжалостным, она сама разжигала себя своим ожесточением.

— Вот тебе и дети! Приедут к отцу да к матери, а потом еще и кочевряжатся. Еще чем-то недовольны. Так ведь когда умрем, поверх земли не останемся: соседи похоронят. А дети приедут, так еще и передерутся. Тому мало и тому мало...

Потом изба погружалась в тишину. Да была она тихая и днем. Огромная, специально срубленная для большой семьи, пронизанная со всех сторон солнцем. Но безрадостная. По избе целыми днями одиноко и бесшумно шатался жидконогий кот.

Все было приморожено в доме — приморожено и в хозяйстве. Корова Цыганка во время дойки вела себя издевательски.

Начинала она доиться в самом конце двора. А кончала на улице. И никакие силы не могли удержать ее от этого путешествия: ни оглашенный крик бабки Василисы, ни брань деда Алексея, раздававшаяся на всю деревню:

— У, паскуда! У, большеротая! Постой хоть минуточку!

И каждый вечер всю эту картину созерцал демобилизованный



моряк Петька, получая, вероятно, удовольствие. Он буквально повисал на заборе.

— Бабка Василиса, у тебя корова блатная. Ищи у ней наколку.

— Иди отсюда! Глаза б мои тебя не видели! Корову порушишь!

Цыганка тем временем поддевала рогами калитку и оказывалась на улице. Бабка Василиса, уже обессиленная собственным криком, молча несколько раз оттягивала соски Цыганки, потом вытирала их вазелином. И корова послушно отправлялась в подклеть.

Но иногда в доме все смещалось. Даже дед отступал от своего девиза «главное, чтоб все было как надо», и корову доили с опозданием. Это было в те дни, а вернее в те часы, когда по телевизору показывали польский детективный фильм «Ставка больше, чем жизнь».

Экран бороздили такие помехи, что понять, какие события происходят в жизни неуловимого разведчика, было просто невозможно. Иногда бабка истерически вскрикивала:

— Убили! Убили Клоса!

— Не паникуй,— шикал на нее дед.— Не убьют его. А то зачем столько серий?

Тогда успокоенная Василиса кричала мне в окно:

— Посмотри, не наша ли телка у забора трется?

Один раз впопыхах, боясь упустить малейшую подробность из подвигот отважного офицера, бабка загнала чужую телку. Та билась копытами о двери, но громкий глас телевизора заглушал все.

На этот раз у забора терлась «наша» телка, не любимая и своими хозяевами и своей матерью. Родила ее Цыганка в стужу, телку отогревали в избе, а Цыганка оставалась с овцами, к которым и по сей день была привязана.

Телка шаталась как неприкаянная и всегда приходила домой раньше положенного срока, просила пить. Но пить ей не давали, дабы не повадно было, и гнали со двора. Она уходила обиженная, болталась где-то у реки до самого вечера.

Когда бабка Василиса, встречая стадо, не видела Цыганку, то бегала в соседнюю избу, настолько переполненную детьми, что добиться там точных сведений, пришла их корова или нет, было не так-то просто. А знать это Василисе надо было во что бы то ни стало. Уж если соседская корова Машка пришла, а Цыганки не было, принимай меры — иди свою корову искать. Ну, а если и та еще не появлялась, тогда не страшно — вместе где-то припозднились.

Несмотря на черствость и безразличие Цыганки к собственной телке, была у нее задушевная подруга — Машка. Как ни странно, соединяла и роднила коров противоположность характеров.

Машка любила своего телка так, что когда теряла его из виду, то неслась с легкостью и быстротой скаковой лошади, трубя с пронзительностью, отпугивающей самих коров. Они покорно давали ей дорогу. Когда же взгляд ее наконец останавливался на своем детище, она мгновенно тяжелела и чугунно повисало ее большое вымя.

Бабка Василиса жаловалась на свою скотину, говорила, вздыхая:

— С коровой что с замужеством: уж как кому повезет. Да долго ли за примером ходить? Всего несколько дворов — вот он и пример: Анна!

Первый муж Анны на фронте погиб. Второй в реке утонул. А третий к другой бабе уходил, но вскоре вернулся. Так Анна его на порог не пустила.

Бабы пробовали образумить ее:

— Где ты святого сейчас найдешь, когда святой мужик и во сне не приснится! Терпения мало в тебе, Анна, а гордости много.

— Вы мне не указ,— ответила она.— Терпите на здоровье, коли хочется.

И тогда пополз по деревне слух, что второй муж из-за нее утоп. Стали вспоминать подробно, как все было,— никаких сомнений не осталось: Анна виновата.

Осень тогда стояла, он пришел домой сильно выпивши, Анна и послала его на речку сапоги помыть. А он от обиды, обездоленный ее чистоплотностью, решил речку переплыть. Вода холодная, ильин день когда был — забыли уже. Вот судорога его и схватила.

Горе ничему не научило Анну. По сей день скребет все в доме. Половицы словно желтком смазаны, ступить боязно. Сама выстирана, накрахмалена — ослепнуть можно.

Дед Кузьма хоть и самый старый в деревне, лет ему уже, поди, под девяносто, а память — дай бог всякому. Так вот он рассказывал, как в первую мировую войну в плену у немцев побывал, а там работником жил в таком чистом доме, что ему всегда на пол плюнуть хотелось. Ну точно как у Анны — половина бед у нее от этой проклятушей чистоты.

— Ой неправда,— говорила жена деда, бабка Степанида, почти слепая, всегда сидевшая с полуприкрытыми глазами.— Все беды пошли у ней оттого, что первого ее да любимого мужа убили. Потом уж так жила, без любви. А без любви жить грех.

Да ну ее, эту бабку! Стара больно. Такое наговорит. Ее и слушать никто не хотел в деревне. Только Анна к ней и ходила. Возвращается — глаза красные. Видать, плакалась. А так слез у нее никто никогда не видел.

И со скотиной Анне не везло — что правда, то правда.

Первую корову змея ожгла. Вторая хворая попалась. А с третьей вроде удача. Белая корова, холеная. Молодец Анна! Вот — без мужика, а деловая. На мякине не проведешь.

Мартой звали корову. В первый день не могла Анна ею налюбоваться. Только на второй поняла, что вместо скотины змею ей подсунули. Всю дойку стоит как вкопанная — не шелохнется, мух хвостом не отгонит. А закончится дойка — хватъ копытом по ведру. Уж такого точного и злого копыта ни у одной коровы не сыщешь. Била без промаха. И потекли по двору Анны молочные реки...

Анна в дальнюю деревню к прежней ее хозяйке пошла.

— Что ж ты мне такую корову продала? И у тебя она ведра опрокидывала?

Та отказалась: корова как корова. Прдала, потому как сено готовить неумоготу.

— А почто она у меня ведьмой стала?

И услышала в ответ:

— Может, потому, что ты сама ведьма.

Анна вернулась домой. Неделю старалась корову приручить. Только Марта вела себя по-прежнему. И тогда решила Анна корову на бойню свести.

— Продай,— советовали бабы.

— Кому такая скотина нужна? Меня обманули — так мне других обманывать?

Никто не смог ее уговорить: гордая, упрямая Анна. Да и у Марты гордости и упрямства не занимать.

Кто так обидел Марту, что не захотела она жить с людьми и сама себя обрекла на смерть? Чувствовала ли она конец свой, когда Анна в солнечный, погожий день вела ее на бойню?

Марта трубила на всю деревню. Но крик этот скорее был злорадным, нежели прощальным, будто праздновала она свою победу.

Бабы осуждали Анну уже скорее по привычке. Каждая на ее месте поступила б так же. Но про нее говорили: «Жестокая!»

И только одна бабка Степанида твердила одно: «Неправда, ох неправда!»

Кто знает: попади Марта к бабке Юлии — может, отогрела б она корову?

Сама Юлия, услышав эту историю, сказала глубокомысленно:

— Гордость на гордость вражду дает. Вот если б которая из них подобрей была...

Мы с ней сидели на повети у раскиданного сена, от усталости не шевелясь. А дед внизу уже ворчал:

— Лодырь промеж нас уместился и не пускает. Сено надо в срок убрать. Вот подойдет ильин день, польют дожди.

— До того дня еще далеко,— возразила бабка.

— Ты слыхала, почему в те дни дожди идут, словно небо лопнуло? — спросил меня дед Василий.— Старый бог в отпуск уходил. Молодой на его место заступил. Старый уж далеко был, а молодой-то спохватился, что самое главное у него не спросил, и давай кричать вдогонку: «Когда дождь на землю посылать?» Старый бог ответил издалека: «Когда ждут да просят». Молодой-то, видать, глуховат был, сообразил по-своему: когда жнут да косят.

— Хватит болтать,— смеясь, проговорила бабка, явно довольная рассказом.— Петров день три дня как проводили, а ты уже об ильине печешься. Управимся.— Но тут же добавила: — Ох и время быстрого. Оглянешься — а солнце уже к земле клонится. Вон стадо видать.

Бабка Юлия работала быстро, ловко, до полного изнеможения. И когда бросала вилы или грабли, то брела к озеру и прямо в одежде падала в него. К приходу Зорьки она переодевалась и во всем чистом встречала ее низким поклоном.

Стадо было уже близко. Шло тяжело, поднимая пыль и шум. Коровы двигались с величественной ленью, овцы суетились, блея, беспомощно тычась в чужие ворота. Наконец скотина разбрелась по своим подклетям.

И тогда вдалеке я увидела девочку. Не сразу сообразила, что это Надя. Она ходила за овцами, которые по своей тупости забрели в лес. Теперь вела их домой, дразня краюхой хлеба, которую овцы старались ущипнуть.

Двигалась Надя красиво, словно исполняла какой-то танец, созданный из простых и точных движений. Голова ее в густых льняных волосах казалась большой, непропорциональной ее хрупкому телу и чуть клонилась набок.

Надя росла в большой семье. Ее бабка всегда подолгу жаловалась мне на детей и внуков, убеждая, что все только и ждут ее смерти. «Как народились, так и умирать надо. А не народились, так не надо было б умирать»,— заключала она философски.

Все в этом доме разговаривали визгливыми, обиженными голосами. На всю деревню разносилось с поразительной четкостью: «Иди, иди, кобелина! Да не приходи больше. Чтоб тебе, кобелина, утопнуть!» Это Надина мать кричала вслеп мужу, который тупо и твердо шел к лодке, неся на плече мотор.

Девочка бежала за отцом. Или приводила его сразу, или, садясь с ним в лодку, носилась час-другой по озеру. Потом они возвращались, шагая рядом. Тогда на какое-то время в доме все смолкало.

Надя часто забегала к бабке Юлии. Та встречала ее теми же ласко-

выми словами, какими встречала Зорьку: «Пришла, матушка, вот и хорошо, матушка, что пришла».

Надя усаживалась на лавку, опираясь ладошками о края ее, и внимательно обводила глазами избу, словно прислушиваясь к чему-то. Бабка ни о чем не спрашивала ее, Надя ничего не рассказывала, будто объединяло их молчаливое соглашение и такое понимание, что слова были тяжелы, обременительны для них.

Овцы окружили девочку тесным кольцом, почти сбивая с ног. А она ловко уклонялась от них, перекладывая хлеб из одной руки в другую. Вдруг она побежала стремительно и легко, и стремительно побежали за ней овцы.

Мне было жаль, что сейчас Надя скроется из виду. Загонит овец, пойдет в свою избу, всегда мрачную, наполненную раздражением, которую срубили словно для того, чтобы прятаться в ней от непогоды.

Я сидела на крыльце. Было слышно, как бабка Юлия доит корову, как упругая струя молока ударяет о стенку ведра. Потом звук стал глуше и ласковее, отчетливее бормотание бабки. Она пронесла мимо меня набухшее пеной ведро. Хлопнула дужка, и стало слышно, как она цедит молоко.

Бабка Юлия всегда разговаривала со всеми предметами, окружающими ее. Понятие одушевленного и неодушевленного для нее не существовало. Просто одни предметы были с ней «заодно», а другие «не заодно». Когда в печи не могла она поймать ухватом чугунок, бранила ухват раззявой, чугунок называла вертким. Бурчала, что с утра сегодня с ней все «не заодно».

Вот и сейчас я услышала, как в сенях, споткнувшись о что-то, спросила она строго: «Ну, чего дерешься?» — и вышла на порог, неся прялку, или, по-здешнему, пряслицу.

— Наступила на копыл, она меня и ударила.

Прялка была старая, мрачная, только ножка ее была стройной и держала лопаску, расширенную книзу, на которой было вырезано солнце.

— Бабкина эта пряслица, потом матке моей подарена. А матка мне ее оставила и наказала, чтоб берегла.

Она помолчала минуту, словно размышляя, а стоит ли об этом рассказывать...

— Бабку мою выдали замуж за солдата. Ей было четырнадцать лет, а ему пятьдесят. Люди жалели ее. Солдат добрый оказался, веселый, работающий. Он эту пряслицу и смастерил. Только при солдате она не прядла на ней. Он в поле, она в куклы играет. Умер солдат. Выдали ее замуж за молодого да красивого. Девки ей завидовали. А мужик-то лихой попался. Пил, жену бил. И прясль заставлял с утра до вечера.

Бабка Юлия вытерла лопаску рукавом, и стала прялка другой — не мрачной, а печальной, не грязной, а уплаканной.

— Ведь ударила неспроста. Может, не туда поставила. Может, не вспоминала долго. Вот чары и навела на меня, — сказала бабка Юлия весело.

Она отнесла прялку в сени и, вернувшись, села рядом, вытянув под широкой длинной юбкой худые ноги.

— Бывает, чарами лечат и спасают. А бывает, губят. Вот ты слушай. Парень одну девку полюбил, и она его страх как полюбила. Родные не разрешили на ней жениться. Сами невесту подыскали, свадьбу назначили. Девка что смерть стала — одинаково... Все в лес уходила и там плакала. Однажды в лесу старуху встретила. Та все знала про девкино горе. Сказала ей: «Я тебе помогу. Зазови его в свою избу».

И гостей пригласи. Только чтоб за столом один Иван сидел, чтоб больше Иванов не было. На стол угощенье подай — чай, конфеты. Щуку в пироге непременно запеки. И вот если разломит он пирог с рыбой да крест от хряща ему попадет, так он от тебя не отступится». Она все так и сделала, как старуха ей велела. А он точно крест в пироге переломил. И свадьбу свою порушил, на этой девке женился.

— Так это любовь. Увидели друг друга.

— Нет, — отрезала бабка Юлия обиженно. — Чары это. Если б крест в пироге не отыскал и не переломил — ничему тому и не быть. — Помолчав, продолжила: — Я одну женщину знала — ну чистый дьявол. Грубая, лихая. А мужик ейный тихий, покладистый. И свекровь — мученица. Она своей свекрови так говорила: «Меня, мама, уже два мужика бросили. А вот ваш сын не бросит. Даже если я его до того доведу, что он меня убить задумает». Все знали в деревне, что она бабку приводила. Та по избе пошастала-пошастала, чего-то нашептала. Окаянная женщина ей денег дала, да платье, да кофту крепдешинovou. Вот мужик-тихоня доселе и живет с ней. Наговоры так никто снять и не может. Там, где деньги за чары плачены, добра не жди. Там зло одно. Добрые чары, те за бесплатно, — заключила бабка Юлия.

...В прошлом году примерно в эту же пору тряслась я в кузове грузовика. Сидели со мной подружки и мужик навеселе, в галошах на босу ногу. Машина остановилась. На дороге вырос парень, в поднятой руке транзистор. Рядом чемодан.

Парень забрался в кузов. И тут же поведал нам историю своей жизни. Служил он на Дальнем Востоке и однажды получил письмо от девушки из вологодской деревни Гора. И даже не ему лично письмо было адресовано, а просто парню, который любит лирические песни и задушевные письма. Ее же самая любимая песня — «Синева» в исполнении Галины Ненашевой. Обсудили письмо на комсомольском собрании и поручили ему ответить. Он ей коротко написал, что ему тоже эта песня нравится и в том же исполнении. Вот, мол, какое интересное совпадение. А она это совпадение восприняла как судьбу. Стала ему писать такие хорошие письма, что опять-таки одно из них прочли на комсомольском собрании в пример, как надо писать солдату. По этим письмам он в нее влюбился. Решил жениться по окончании службы. И вот едет в деревню Гора.

— А фото она тебе прислала? — полюбопытствовал мужик в галошах на босу ногу. — Если губы тонкие, не женись, парень, — значит, злая.

Оказывается, получил он от невесты фото любительское. На нем не очень понятно, какие глаза у нее, какие губы. Да ему это уж не так важно.

Мужик откровенно смеялся над парнем. Едет к девке, словно в омут бросается. Но две молоденькие пассажирки прикрикнули на мужика.

Машина остановилась, и шофер, высунувшись из кабины, крикнул:

— Кому в деревню Гора — слазь!

Парень выпрыгнул из кузова. Девушки услужливо подали ему вещи. С лица его на какое-то мгновение сошла мечтательная улыбка и набежала растерянная. Вокруг был дремучий лес.

Шофер объяснил:

— Сюда не ходи. И сюда не ходи. Вот по этой тропинке ступай. Километров пять лесом — лбом в деревню и упрешься.

— Ты, парень, дуреха, — опять заговорил мужик. Он даже привстал, чтобы лучше объяснить жениху его оплошность. — Девка тебя этими письмами, как лисицу в капкан, заманила, а придешь, она и... —

Мужик хлопнул в ладоши, дав понять этим жестом, что капкан захлопнется.— Ты сначала рассмотри ее хорошенько, прежде чем расписаться. Ну, а если тебе невеста не понравится, ты вот этих догоняй,— указал он на двух подружек, которые тщетно пытались заставить его замолчать.— Потому как тебе жениться больно охота! — кричал он, разбивая чары вдребезги, как пустую бутылку.

Мужик наверняка произнес бы еще что-нибудь вразумительное, но машина тронулась и он повалился в кузове на мешок. А парень поднял в знак прощания руку с транзистором. И девушки усердно замахали ему.

— Может, и правда капкан она этими письмами устроила,— проговорила бабка Юлия, услышав эту историю.

И тут же спохватилась: совсем не то плетет, что думает.

— Просто у девки той большое желание ласковые слова говорить. Так ведь надо человека найти, чтоб те слова ему слушать хотелось. Один посмеется. Другой и вовсе без внимания, в ее сторону не посмотрит. Тут не угадаешь, кому чего нужно. Я в каждом человеке доброе найду. Хоть и далеко запрятано, а все равно разгляжу. Потому как в каждом камень драгоценный спрятан. Только сам человек того не ведает. А может, самому поднять не под силу. И потому больно нужно, чтоб другой человек повстречался и помог этот камень достать. Да не у каждого терпения хватит не только достать, но и разглядеть.

Бабка еще долго говорила, путаясь в этом сложном вопросе. А мне вспомнилась женщина, знакомство с которой продолжалось неполный час.

Жила я тогда в маленькой деревушке. И отправилась в большое село за покупками. Идти можно было и речкой и лесом. Хозяйка мне посоветовала рекою — веселее, лес уж больно сутемный.

День выдался паркий. Небо было чистым поначалу, но к полудню спустились темные, густо намешанные облака, закрыли солнце.

Село тянулось вдоль реки, где-то посередине возвышаясь горою, напоминало коромысло.

В магазине торговали чем придется — начиная с хлеба и кончая цинковыми ведрами. Женщина в синем рабочем халате складывала в углу пакеты. Она предупредила меня: сейчас лучше на улицу не выходить — дождь пойдет. И тут же расспросила, кто я, откуда, и, узнав, поспешно сообщила, что стихи пишет.

— Я их в газету посылаю,— доверительно сказала она.— Хотя меня и не просят.

И прочла четверостишие о том, как любит она село, как красиво оно в предутренний час. Потом сказала, что есть у нее стихи, которые она ни в уме, ни в памяти удержать не может. Они в тетрадочку вписаны, сейчас она эту тетрадочку принесет.

Я не смогла удержать ее. Она выскочила на улицу, где уже бушевал ливень.

Женщина снова появилась в магазине совсем промокшая, тетрадка была предусмотрительно спрятана в целлофановый мешочек. Она достала ее и, отставляя подальше от мокрого платья, стала читать стихи. Они не отличались от тех, которые ей удалось «удержать в уме и в памяти», были так же беспомощны.

Удивляла лишь ее потребность рассказывать о селе со всеми подробностями ландшафта, будто только она была зрячая среди слепых, страдала оттого, что вот она видит красоту, а другие просто проходят мимо, стуча перед собой палкой, чтобы не сбиться с пути.

И еще поражала та страстность, с какой ей хотелось говорить стихами, хотя сама она понимала, что стихи плохи.

— Образование у меня четыре класса. Работаю в магазине уборщицей. Вот если б десятилетку закончить...

Не было село в тот миг столь привлекательным, каким представлялось в ее стихах. Текла потоками мутная вода, а в ней радостно, распутив крылья, блаженно барахтались гуси. Дождь перестал, но облака все еще держали замученное вконец солнце, и оно жалко металось среди них.

Бабка Юлия уже дремала, и ее маленькая голова чуть покачивалась. Я сказала:

— Спать пора.

Она послушно поднялась и побрела, сонно бурча, что завтра пирогов мне в дорогу испечет. Это была моя последняя ночь в ее избе.

Я не слышала, как встала она поутру, как возилась с тестом, с печкой, наверное разговаривая с ними. На столе лежали пироги, накрытые браным полотенцем.

Бабка Юлия сняла полотенце, нарезала пироги большими ломтями.

— И с клюквой попробуешь и с рыбицей откушаешь. Дорога дальняя,— пояснила она и, повязавшись белым платком, пошла провожать меня.

Мы шли лесом. Жура бежала впереди. Вдруг она остановилась, закружила на месте: дальше не пойдём. Бабка Юлия стала со мной прощаться:

— Далеко ступать время не велит. Деда одного на сенокосе бросила.

Лес приблизился ко мне, и небо от плотности его показалось темным, преддождевым. Я оглянулась: дорога поворотом смахнула бабку Юлию и Журу. Они исчезли, будто их и не было совсем.



---

---

Л. ДУГИН

★

## ЛИЦЕЙ \*

Роман

2

Ах! Умолчу ль о мамушке моей,  
О прелести таинственных ночей...

«Сон».

**Б**огатая карета, запряженная четверней, на ремнях, заменявших рессоры, с мальчишкой-форейтором впереди, слугой на запятках и кучером, одетым в немецкий камзол и треугольную шляпу, катила, звеня колокольчиком, по булыжной дороге из Петербурга в Царское Село — в начале июня в воскресный день Сергей Львович и Надежда Осиповна Пушкины с двумя детьми ехали навестить сына своего Александра.

Трясая двадцатипятиверстная дорога была утомительной, встать пришлось рано, к тому же накануне от брата Василия Львовича пришло из Москвы тревожное письмо, и это все сказывалось на настроении, особенно Надежды Осиповны. Она сидела, откинувшись на подушках, рядом с мужем — красивая смуглая женщина с вьющимися волосами, с черными локонами, спущенными вдоль ушей, и с завитками над прекрасными, темными, пылкими глазами. Сергей Львович осторожно косился на нее.

Однообразная болотистая равнина, окружавшая Петербург, ожилилась перелесками, а когда подъехали к Средней Рогатке, к развилке между Московской и Царкосельской дорогами, Сергей Львович, глядя в окно, принялся объяснять детям историю мызы и Царского Села.

Дочь Ольга, девятнадцатилетняя девушка с длинным бледным лицом и тонкой шеей, сидя на скамье против родителей, слушала внимательно, но в то же время выразительными своими глазами то и дело поглядывала на мать, как будто чего-то ожидала, как будто знала, что должно что-то произойти. Сын Лев, десятилетний мальчик, смуглый, курчавый, похожий на белого негра, с трудом сидел на месте рядом с сестрой и, плохо слушая, то выглядывал в окно, то поднимал или опускал с громким стуком оконную раму.

— *Reste tranquille!*<sup>1</sup> — прикрикнула Надежда Осиповна.

Уловив в голосе Надежды Осиповны знакомые нотки раздражения, все в карете присмирели.

В самом деле, то, что сообщал Василий Львович, было ужасно —

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

<sup>1</sup>Сиди спокойно! (Франц.)



если он писал правду. После житейских жалоб и приветов от родни Василий Львович сообщал, что готовится указ — ему доподлинно известно, — в котором царь отменит крепостное состояние крестьян, он спрашивал совета: что делать? Да, что делать? Указ грозил разорением. Правда, слухи и раньше появлялись... Но если правда, что крепостное состояние готовят отменить, то не ясно — по каким губерниям? Коснется ли это их? А если коснется, то действительно — что делать?

Все же Сергей Львович попробовал продолжить объяснения: вот эту мызу, которая на шведских картах раньше называлась Славянский погост, великий Петр подарил своей будущей жене Марте Скавронской, в православии Екатерине Алексеевне, и здесь, в скромном дворце, в «каменных палатах», она принимала его...

— Твой брат Базиль — болтун, — сказала Надежда Осиповна резко. — Он ужасный *bavard*<sup>2</sup>. — О Василии Львовиче у нее было весьма нелестное мнение. — Все это, может быть, пустословие...

— Мы сегодня же, мой друг, узнаем... — сказал Сергей Львович и предостерегающе поднял палец с перстнем: слуги могли услышать.

Лошади цокали по булыжнику, карета громыхла колесами и покачивалась, и комары на ходу влетали в карету, кусали и попискивали.

— Вот и Дудоровские горы, значит, скоро Подгорное Пулково, — объяснил Сергей Львович.

— Нет, но как это все же будет? — нетерпеливо воскликнула Надежда Осиповна.

В самом деле, хозяйственные дела были в крайнем беспорядке. Хотя до сих пор как-то сводили концы с концами. Увязали в долгах, но деревеньки все же давали доход, и вот ездили четверней, блистали нарядами, сами веселились на бесчисленных балах и дочь вывозили в свет, старшего сына устроили в лицей, а маленького отдали в петербургский пансион.

Карета пронеслась мимо выселок Верхнее Кузьмино, потом мимо выселок Редкое Кузьмино, потом мимо выселок Александровка вблизи бывшего Зверинца и вот уже выехала на Перспективную дорогу.

У Царскосельской заставы карета остановилась. Унтер-офицер невыразительным, казенным голосом задал обычные вопросы: он записывал в книгу приезжающих в Царское Село и отъезжающих.

— Кто вы-с? Куда изволите-с?

Сергей Львович Пушкин, бывало, на заставах позволял себе озорство: назывался не своим именем. Поклонник французских энциклопедистов, он подобной мистификацией проявлял либеральную оппозицию к строгостям существующих порядков. Однако у заставы Царского Села он такого себе позволить не мог. На дверцах его кареты красовался герб: латы и шлем вокруг царского венца — символ неподкупного и древнего рода Пушкиных.

Шлагбаум поднялся, карета покатила мимо оранжерей и куртин с теплицами, потом проехала под каменной аркой с замысловатой китайской беседкой наверху, потом под меньшей аркой с башенкой — и вот уже совсем близко на холме заблестели крыши дворца...

На просторной площади возле Знаменской церкви стояли ряды карет, дрожек, экипажей, дормезов. Служба окончилась, народ валит из приходской церкви прямо к палаткам, которые раскинули сбитенщики, булочники, кондитеры — торговый царскосельский люд. Здесь было пестро и шумно.

<sup>2</sup> Болтун (франц.).

Пушкины после долгой езды разминали затекшие ноги и спины. Сергей Львович вполголоса сказал жене:

— Автомедон не должен никуда отлучаться...

Автомедоном, возницей Ахиллесовых коней в «Илиаде», Сергей Львович называл своего кучера Филата — рябого и невзрачного малого с сонными глазами, выглядевшего довольно нелепо в своей треугольной шляпе с пером.

Надежда Осиповна ответила мужу выразительным взглядом: беспомощный человек, можешь ты наконец сам командовать людьми?

«Людей» было трое: Автомедон сидел на козлах, мальчишка-фрейтор весьма откровенно ковырял в носу, слуга в ливрее — старик с морщинистым лицом — слез с запяток и теперь с нетерпением ожидал, пока господа уйдут, чтобы после тряской дороги самому отдохнуть в карете. Слуги Пушкиных внешним обличем отличались от остальных слуг — они были безусы и безбороды, ибо так требовала барыня, Надежда Осиповна.

И вот Сергей Львович, в мундире своего комиссариата, с щегольской тросточкой в руках, сопровождаемый Надеждой Осиповной в легком летнем рединготе и высокой шляпке с перьями, дочерью, довольно небрежно одетой, и сыном, направился к лицу.

На высоком крыльце швейцар Василий, особенно степенный в воскресные дни родительских съездов, распахнул створки стеклянной двери, с поклоном в прихожей принял трость от Сергея Львовича и зажал в руке мелкие знаки барской благодарности. Затем Михайло Терентьевич, канцелярский служитель в мундире с шитьем, провел прибывших в приемный зал к регистратору (о каждом посетителе в рапорте доносили министру). Дежурный гувернер Сергей Гаврилович Чириков — в мундире уже с более пышным шитьем не только на воротнике, но и на обшлагах — радушно приветствовал Пушкиных как дорогих гостей и послал дядьку предупредить лицейста. Приемный зал был полон, и многие здесь были в мундирах.

Встреча Пушкина с родителями произошла на лестнице. Он бросился к матери и, подчиняясь неистребимой потребности в материнской ласке, прильнул к шуршащим тканям ее одежды, к теплу ее рук и губ. Надежда Осиповна, однако, ответила сдержанно, посчитав, очевидно, неуместным на людях излишне пылкие проявления чувств; она погладила сына по жестким волосам. Напротив, Сергей Львович широко и несколько театрально раскрыл объятия. Дети на ходу поспешно поцеловались.

Поднялись в коридор спален. Вот навстречу идут Корфы, с которыми в Петербурге они жили в одном доме.

Поклоны, улыбки, приветствия продолжались — матери Дельвига, матери Малиновского, отцу Мясоедова, дяде Горчакова...

А вот и комната номер четырнадцать. Здесь Надежда Осиповна уже поцеловала сына в лоб, Сергей Львович снова широко развел руки, а дети душили друг друга в объятиях, и сыпались восклицания.

— А у Средней Рогатки видели старые фонтаны? — Сергей Львович, придя в хорошее расположение духа, начал каламбурить. — Тебе нравится, маленький наш Лев, эти огромные львы, у которых из пасти льется вода?

— Хочу таких львов у нас дома!

— А куда ты поместишь их? В зеленую гостиную? Или угловую? Или, может быть, в диванную?..

Они говорили о доме, в котором их брат никогда не был. Пушкин жестом показал сестре на комнату: дескать, вот я живу все в той же казенной келье, о которой когда-то писал тебе... Сестра отве-

тила кивком — она поняла: отношения у Пушкина с сестрой были особенно доверительными.

Он вспомнил старый их московский дом — тот одноэтажный, полубрикетный-полудеревянный, с садом, с огородом, с пустырем, на котором паслись коровы... Или другой дом, в Харитоньевском переулке...

— Но это было давно, — резонно заметила Надежда Осиповна, — эти дома давно сгорели...

А Захарово, деревенька бабушки Марьи Алексеевны, — в этой деревеньке они жили каждое лето!..

— Но она давно продана, — объяснила Надежда Осиповна.

— Grand-papa плоха... Бабушка ждет не дожидается тебя... Она спрашивала, когда наконец-то окончишь ты свой лицей... Она тебя не узнает, когда ты явишься..

— В лейб-гусарской форме!

— Нет, мы думаем о статской службе!..

— Нет, военной...

Не успели опомниться, как разговор из благодушной болтовни превратился в ожесточенный спор.

— Я только одного, только одного хочу, — горячо говорил Пушкин. — Вступить в лейб-гусарский полк.

— Почему, однако, лейб-гусарский? — возражал Сергей Львович.

Как почему? Странный вопрос. Да хотя бы потому, что офицеры этого полка его знают и готовы принять. Да хотя бы потому, что он всем уже объявил, что вступает в лейб-гусарский полк. Да хотя бы потому, что он ничего другого не желает...

— Вы разговаривайте спокойнее, — по-французски сказала Надежда Осиповна; она переходила на вы, когда «одергивала» детей, и при этом поджимала губы и пламенными, широко раскрытыми глазами смотрела в упор.

Старший сын считался своевольным, и с этим своевольством родители всегда боролись; сейчас заговорили о будущем — важный вопрос! — и на лицах у всех обозначилось упорное выражение; опять приходилось спорить. Надежда Осиповна иногда считала сына простоватым, а иногда ей казалось, что она не понимает его, но и то и другое ее раздражало.

У Сергея Львовича нос начал морщиться, крылья носа зашевелились — это всегда служило признаком волнения.

— Знаете, какой случай со мной произошел, когда я служил в лейб-егерском полку? — желая отвлечь от спора, сказал Сергей Львович.

И принялся рассказывать: военная служба при Павле была тяжелой, за малейшую провинность — в ссылку. И вот на балу к нему подошел император и спросил: «Почему вы не танцуете, господин офицер?» «Но, ваше величество, я потерял свои перчатки!» И пожалуиста — вот повод, чтобы в кандалах быть отправленным в крепость... Но император соизволил быть милостивым. «Вот вам мои перчатки», — сказал он.

— Почему обязательно быть военным? — сказала Надежда Осиповна. — Иван Иванович Дмитриев, который всегда принимал в тебе участие, советует юстицию...

— Юстицию? — Пушкин вздрогнул от отвращения.

— И многие у вас желают в военную службу? — осведомился Сергей Львович.

Как же: Пущин, Вальховский, Горчаков, Данзас, Бакунин, Есаков — это не все, это лишь те, кого он сейчас вспомнил.

С новой силой разгорелся спор. Нужно, в конце концов, что-то выбрать! Даже если предположить склонность к поэзии, кем-то нуж-

но быть. Державин был министром, сенатором, Дмитриев — министр, Карамзин — царский историограф, Шишков — адмирал, молодой Вяземский пошел служить...

Крики ни к чему не вели, и Сергей Львович вовремя сказал:

— Ну хорошо, решим в другой раз...

Все облегченно вздохнули и вернулись к благодушной болтовне: о Лелькиных проказах, о балах, на которых бывала Ольга, о проделках буфетчика, о новом репертуаре французского театра... Но потом опять все было испорчено. Пушкин рассказал, что вдовствующая императрица заказала ему на празднество в Павловском стихи. Он хотел поразить своих родителей! Но эта новость была принята холодно.

— ...Императрица Мария Федоровна, у которой в чтецах Жуковский и Нелединский-Мелецкий, вряд ли имеет в тебе серьезную нужду, — заметил Сергей Львович.

Надежда Осиповна скептически улыбнулась.

И Пушкин обиделся. Его, как и прежде, дома не принимали всерьез. Радостное оживление исчезло с его лица. Глаза его теперь смотрели насмешливо, он напряженно улыбался.

— Ты, кажется, чем-то недоволен? — сказала Надежда Осиповна, пристально глядя в лицо сына.

Он пожал плечами.

— Чем же ты недоволен?

— Я доволен.

— Но я вижу!..

— Мой друг, — слабым голосом сказал Сергей Львович, опасаясь новых столкновений.

Он робко покосился на свою *belle Créole*<sup>3</sup>, потому что нелепый этот разговор мог перейти в ссору, а при характерах матери и сына такие ссоры могли продолжаться долго — такое уже было когда-то в Москве: Надежда Осиповна целый год не разговаривала со своим старшим сыном.

Но теперь и у Надежды Осиповны испортилось настроение. Критическим взором она оглядела комнату — кровать, застеленную белым бумазейным одеялом, туалетную тумбу с жестяным тазом, кружкой и мыльницей...

— Здесь, однако, не чисто, — сказала она.

И, загнув одеяло и простыни, потрогала тиковый матрац, потом открыла дверцу тумбы, выдвинула ящики комода и осмотрела колпак и летнюю одежду из бланжевой китайки — и всем осталась недовольна.

— Мой друг, где же в России нет беспорядка? — пытался острить Сергей Львович.

В это время в комнату вошел губернатор — он же учитель рисования — Сергей Гаврилович Чириков, человек чрезвычайно любезный, с вкрадчивыми манерами. Семейный характер лица, конечно же, не допускал, чтобы родители, находясь в лицее, не навестили директора. Чириков передал приглашение Энгельгардта зайти побеседовать, пообедать, может быть, остаться переночевать...

И все отправились к Егору Антоновичу.

На этих приемах у директора, если только самую сердечную, любезную, почти родственную встречу можно назвать приемом, непременно участвовала вся семья Энгельгардта. Весь день (иногда и несколько дней подряд) в гостиных уютного дома, специально перестроенного и приспособленного для визитов, журчала и лилась беседа — со статским советником Корфом, с генерал-майором Данзасом,

<sup>3</sup> Прекрасную креолку (*франц.*).

с сенатором Мясоедовым, с чиновником комиссариатского ведомства Пушкиным... Говорили о петербургских новостях, о тряской дороге, о заменах во французской труппе, о небывалой летней жаре, а в это время юные дочери директора уже завладели Ольгой, в уютно отгороженном уголке у них свои разговоры: о последнем романе госпожи Жанлис, о новой вышивке, о модном романсе. А хлебосольная хозяйка Марья Яковлевна уже распорядилась, и несут откушать... О нет, Пушкины обедать не будут. Русская старина с тяжелыми ранними обедами уже отошла в прошлое! Что же прикажете: чай или кофей? Как желаете: на английский манер или по французскому обычаю?..

Когда на короткое время гостиная опустела и Пушкины оказались с директором tête-à-tête, заговорили о предстоящем выпуске. Директор пояснил: государь в безграничном своем благоволении к лицу успевающих выпускников с благонравным поведением удостоивает чином девятого класса, остальных — десятого класса, идущих в военную службу — соответственно с правами гвардейского или армейского офицера. Что же касается Александра Пушкина... откровенно говоря... что же, рассчитывать приходится на десятый класс...

Сергей Львович гневно посмотрел на сына, вскинул голову, прищурил глаза, но вовремя спохватился. Простились с радушным директором и отправились в парк.

В аллеях то здесь, то там мелькали гуляющие петербуржцы, на лето переселившиеся в Царское Село, — Голубцовы, Комаровские, Рихтеры, Огаревы, и опять поклоны, приветствия, улыбки: Пушкины знали всех и их все знали.

Пушкин шел рядом с сестрой. Годы лица их разделили, и в их внутренней связи, позволявшей прежде с полуслова понимать друг друга, пролегла трещина. Теперь при свиданиях они пытались эти сложности преодолеть.

— У меня предчувствие, — сказал Пушкин. Он говорил глухим голосом и то и дело поглядывал на сестру. — У меня предчувствие, что я... долго не проживу...

Когда-то они любили делиться друг с другом предчувствиями, разгадывать приметы, рассказывать сны — так, как это делали все вокруг: няня, бабушка, «люди»...

— Ты видел сны? — деловито осведомилась сестра.

Она была все той же: все так же увлекалась хиромантией, определяла характеры и помнила предания о таинственных голосах, о странных двойниках, о белой женщине, оказывавших роковое влияние на род Пушкиных.

— Не в снах дело, — пытался объяснить Пушкин. — Я чувствую... я никогда не буду счастлив... — В самом деле, в последнее время все чаще приходили минуты безрадостных размышлений.

— Тебе тоже, может быть, встретится белая женщина, — сказала сестра.

Она была выше него, тоненькая, легкая, и шла маленькими шажками. Когда-то она была первым его зрителем и первым ценителем, они вместе читали в диванной, а на подушке лежала закутанная в шаль престарелая моська гувернантки мисс Белли, а учитель Гринвельд нещадно барабанил на клавикордах...

И они принялись вспоминать прежнее московское житье — с шумным разговором и смехом гостей, с сумбуром, криками, ссорами, с обитателями, разбегавшимися по разным комнатам и углам и вдруг собиравшимися все вместе, с неожиданными переменами, с какой-то постоянной неопределенностью, которая чувствуется всеми, когда в доме нет ни твердо заведенного порядка, ни твердой руки хозяина, — со всем тем, с чем они выросли, сроднились и считали неразделимо

своим... Когда-то они играли, отгородившись от всех диваном и стульями, и в отгороженном этом углу создавали свой особенный мир, а потом в этот мир врвался властный голос матери, и тогда глаза у Ольги широко раскрывались и тонкие брови настороженно подымались, а он низко пригибал голову, как бычок, собирающийся бодаться, и испытывал то мучительное внутреннее напряжение, которое потом надолго делало его молчаливым. Мать, в своем шуршащем платье, с пышной прической и спускающимися вдоль щек локонами, властно раздавала детей разным гувернерам и гувернанткам. И он вспомнил сцену: он стоял со сжатыми от бешенства кулаками, а гувернер держал бритвенный ремень, но близко не подходил, боясь его оскаленных по-волчьи зубов, а потом к крикам гувернера присоединились крики отца и матери, и после топания ногами и угроз вся эта тягостная сцена закончилась его слезами...

Они шли вдоль берега пруда. Неподалеку со своими гостями прогуливался молодой князь Горчаков.

— Что ты о нем скажешь? — спросил Пушкин сестру.

— О-о! — Тонкие брови девушки выгнулись дугой, и выражение лица было красноречивее слов.

Вот счастливец этот Горчаков! Как умеет он всем нравиться.

Навстречу по соседней дорожке шел Вильгельм Кюхельбекер, ведя под руки крошечную Mütterchen и рослую Schwester<sup>4</sup>.

— Что ты скажешь о нем? — спросил Пушкин.

Для Ольги натура Кюхельбекера не представляла загадки.

— Это злой человек, — сказала она. — Он злодей. Если с ним встретиться в пустынном месте... он убьет... Он обязательно сделает злодейство, и его повесят...

Это уже было нелепо.

— Нет же, совсем нет! — Пушкин смеялся.

И принялся объяснять сестре натуру Кюхельбекера и свои отношения с ним.

А Сергей Львович, увидев Васильчикова — генерал-адъютанта в парадной форме, с пышными усами, густыми баками и буйной шевелюрой, — торжественным жестом остановил всю семью. Вот кто ответит ему на волнующий вопрос о царском указе!

Вернулся он успокоенный. Васильчиков сам ходил к царю с петицией о частичном освобождении крестьян. Ничего такого не предполагается. Генерал напомнил Сергею Львовичу о сообщении «Санкт-Петербургских новостей»: слухи исходят от злоумышленников, желающих прервать связь крестьян с дворянами.

Надежда Осиповна облегченно вздохнула.

— Так я и думала: твой брат Базиль est un bavard. Un bavard et des bruits...<sup>5</sup>.

Итак, ничего не готовилось. Угроза миновала: Но неожиданно их сын Александр разразился пылкой филиппикой против крепостного права. Рабство — варварство, противное человеческой природе! В силу природного, естественного права человек свободен!

Мальчишка, конечно, повторял лишь то, что слышал! Но именно это и поразило Сергея Львовича: если в императорском лицее учат т а к о м у, к чему это приведет?

Впрочем, теперь речь сына не нарушила того ощущения благополучия, которое охватило Сергея Львовича и Надежду Осиповну.

— Сюда, в эту аллею, — оживленно говорила Надежда Осиповна. Это была аллея, в которой, как известно, государь любил слу-

<sup>4</sup> Мамочку, сестру (нем.).

<sup>5</sup> Болтун. Болтун, и слухи... (Франц.)

шать пение соловья; особенно изысканным считалось прогуливаться именно по этой аллее даже тогда, когда соловьи не пели.

— Здесь прелестно, не правда ли? — восторженно повторяла Надежда Осиповна.

Она развеселилась. Здесь, в этих парках, где воздух был насыщен не только запахами зелени и благоуханием цветов, но и особым придворным духом, ей дышалось привольно. Окруженная тремя детьми, она хотела все еще чувствовать себя юной, красивой, беззаботной.

— Прелестно, прелестно, — повторяла она, и детям в ее поведении почудилось нечто неестественное...

И Сергей Львович воодушевился. Семья была в сборе. Он прочтет сцены из Мольера.

На зеленой лужайке он принялся декламировать. Он был рожденный артист. Пусть талант его блистал лишь на любительской сцене, но это был талант! Как он декламировал! С какой легкостью воплощался то в старика, то в юношу! С каким лукавством изобразил он Жака — этого пройдоху, сумевшего надуть своих господ и получить пятак от скупого. С каким истинным чувством передал вопли Гарпагона, узнавшего, что у него украли заветную шкатулку! Сергей Львович протягивал старческие дрожащие руки. На французском языке он декламировал с той изысканной артикуляцией, которая возможна лишь на родном языке.

Из парка направились к экипажам.

Но что это? Худшие опасения оправдались: кучер Автомедон, мертвецки пьяный, спал под каретой.

— Будить его! — взвизгнул Сергей Львович.

Сергею Львовичу пришлось еще вспомнить, что нужно оставить сыну деньги. На лице его выразилось крайнее утомление — он быстро уставал от житейских забот. И он долго извлекал книжничек из кармана. Пожалуй, никогда не удавалось ему так хорошо изобразить скупого, как тогда, когда он отсчитывал деньги...

Надежда Осиповна, прощаясь с сыном, взяла курчавую его голову в свои руки, желая поцеловать... Но вдруг воскликнула:

— У него усы!.. И он курит!..

Забыв о поцелуе, она направилась к карете.

Весело поблескивая живыми своими глазами, сияя в широкой улыбке белыми зубами, Пушкин махал отъезжающим рукой. Но только сестра, которая знала его лучше других, заметила, что не так уж ему легко и не так весело.

## 3

И вспыхнет брань! За галльскими орлами  
С мечом в руках победа полетит,  
Кровавый ток в долинах закипит,  
И троны в прах низвергну я громами  
И сокрушу Европы дивный щит!..

*«Наполеон на Эльбе».*

Когда-то, когда маленьких лецеистов вели строем по улицам, жители Царского Села выходили из домов, чтобы взглянуть на них. Но прошли годы, лицеисты примелькались, подросли, и когда теперь их повели в Павловское, никто не обратил на них особенного внимания.

Когда-то гувернеры суетились, делали замечания: «Господин Малиновский, идите ровно. Господин Матюшкин, не ловите бабочек. Господин Пушкин, не толкайтесь!» Теперь замечания были все равно

бесполезны, и как только вышли на Павловскую дорогу, от колонны ничего не осталось: кто брел по обочине, кто по зелени луга, кто в обнимку, кто в одиночку...

На улочках городка было многолюдно. По парковым аллеям, посыпанным песком и обсаженным боскетами кустарника, по дорожкам, вьющимся между лужками и рошицами, по горбатым мостикам через речку Славянку нарядная пестрая толпа двигалась к возвышающемуся на горе дворцу, к месту праздника у Розового павильона.

— Господа, будем вместе, прошу не расходиться,— обратился к ученикам Энгельгардт.

И лицеисты тотчас бросились в разные стороны.

Пушкин сновал среди толпы, глаза его разбегались. Толпа пьянила его. Пестрота, оживление, говор заражали и удваивали ощущение праздника. Он бродил среди этих людей — в переливающихся золотом одеждах, со звездами, лентами, драгоценностями, шитьем,— стараясь всюду успеть, все увидеть и услышать в этой толпе, растекшейся по аллеям вокруг павильона с античными портиками.

Чья-то мягкая рука легла ему на плечо.

— Не хочешь меня узнавать?

Он оглянулся и вскрикнул от радости. Рядом стоял толстый человек, затянутый в мундир, приземистый, с массивной головой на короткой шее, со смешно оттопыренными ушами, маленькими глазами и обвислыми полными щеками.

Это был Александр Иванович Тургенев, крупный сановник, добрый человек, давний приятель семьи Пушкиных, помогший ему определиться в лицей — к нему и приехали они когда-то из Москвы с дядей Василием Львовичем.

— Все проказничаешь?

Тургенев большими пухлыми руками сжал его плечи.

— Написал что-нибудь новое?..

Все спрашивали его о новых стихах! Все ждали новых стихов — от сознания этого сердце его тревожно билось. Да, сказал он, да, три стихотворения еще весной он отправил в «Вестник Европы», да, он ждет их в ближайшем номере!

— Прочитаем... понаслаждаемся! — радостно сказал Тургенев и сильнее сжал его плечи.

Парадный мундир Тургенева был с золотым шитьем, воротник душил его, и хотя он не надел парик, но, соблюдая этикет, припудрил волосы.

Озорная мысль заставила молодого человека забыть о поэтической славе. Он выхватил из кармана мелок и принялся белить им свои жесткие кудри. Тургенев смотрел на него, удивленно раскрыв глаза, а потом полный его живот и обвислые щеки заколыхались от смеха.

Кого только не встретишь в толпе — казалось, весь Петербург и все Царское Село собрались в Павловском! Остановившаяся со своими знакомыми, он слышал все тот же вопрос, от которого смущался, трепетал, — о новых стихах!

И вот наконец он увидел Катю Бакунину! Сердце замерло. Она стояла рядом со своей матерью, она разговаривала со своим братом. Шорох рядом заставил его оглянуться — Пушчин вынырнул из толпы... Он что же, дежурил здесь? Странно, соперники обрадовались друг другу! И вместе подошли и одновременно отдали поклоны.

Говорили что-то о Розовом павильоне — о легкости фронтонов, о воздушности купола... Нет, все это было не то, не об этом нужно было говорить...



Он так был напряжен, что не сразу понял, что Александр Бакунин обращается к нему с вопросом:

— Ты помнишь эту историю с Корниловым? Неужели ты забыл эту историю с Корниловым? Как же ты мог забыть эту историю с Корниловым?

Но он вовсе не забыл этой истории! Просто все это было не тем, что нужно говорить.

А Пуцзин и Бакунин наперебой принялись рассказывать: в торжественный день открытия лица после торжественного акта и длинных утомительных речей их наконец повели обедать в столовую, и императрица-мать, Мария Федоровна, подойдя сзади к лицеисту Корнилову и положив руки ему на плечи, спросила на ломаном русском языке: «Карош зуп?» И Корнилов, от смущения чуть не подавившись, ответил: «Oui, monsieur» («Да, месье»), что на долгое время дало ему кличку Месье и служило поводом для шуток.

Бакунина смеялась.

— Все называют ваше имя, — обратилась она к Пушкину. — На ваши слова будет петь хор?

Лицо его запылало.

Но в это время толпа двинулась ближе к Розовому павильону, и Бакунина милостивым кивком простила с лицеистами...

Он оказался теперь рядом со знакомым царскосельским гусаром Кавериным.

— Давно не видно тебя в наших казармах, — дружески сказал Каверин. Он шутливо отдал Пушкину честь, поднеся пальцы к виску.

Рядом с Кавериным сразу стало весело.

— Видел, как ты нес караул возле дамы, — хохотнул Каверин. Ему нравилось смущение юноши.

Гусар был великолепен в своем парадном, сверкающем позолотой мундире. Тонкие кончики его завитых усов подрагивали. Светло-серые глаза весело смотрели на Пушкина.

— Что-нибудь написал новое?

— Может быть... Кое-что будет в ближайшем номере «Вестника Европы», — улыбаясь и как бы между прочим сказал Пушкин.

— Прекрасно... Ждем, — сказал Каверин.

На балконе Розового павильона под специально сооруженным шатром появилась царская семья: император и императрица Мария Федоровна и счастливая супружеская чета — принц Вильгельм Оранский с великой княжной Анной Павловной. Раздались приветственные крики.

Но Каверин именно сейчас стал рассказывать своему юному приятелю подробности удушения Павла.

— Часовой, который стоял у дверей спальни, жив, — сообщил он.

Оркестр заиграл нежную мелодию, на поляну выбежали дети, бросая цветы в сторону царской фамилии.

— Да, матушка Мария Федоровна — верная супруга, — говорил Каверин. — Пятнадцать лет прошло, а и сейчас рядом со спальней, за ширмой, кровать, одеяло и подушка покойного... Я был, видел...

Царская семья, отвечая на приветствия, кланялась и улыбалась.

Каверин наклонил голову к Пушкину и продолжал:

— Наш-то знал... — Он говорил об Александре. — В Михайловский дворец шли вдоль Летнего сада, Уваров вел, а Пален вышел во двор, к гвардейским батальонам...

Александр картинно стоял на балконе. Принц Оранский несколько подался вперед — бравадный военный с бесцветным лицом и пышными эполетами.

— ...Прошли внутренней лестницей, а у спальни — двое часовых. Так вот: один жив до сих пор...

Каверин всем своим видом показывал, что желает говорить то, что хочет говорить, — вскинул красивую свою голову и победно оглядел всех вокруг, как бы отыскивая того, кто посмел бы ему перечить. А потом ухмыльнулся, глядя, как по лицу его юного приятеля пробегают, сменяя друг друга, волны чувств...

Оркестр грянул «Гром победы раздавайся» — и празднество началось.

В лицей вернулись поздно. Каждый закончил этот долгий и веселый день по своему вкусу. Матюшкин, любитель природы, собрал по дороге жучков и бабочек и теперь в своей комнате под номером двенадцать размещал их по коробкам. Комовский, склонный к набожности, горько каялся в грешных мыслях, которые в нем вызвали молодежькие балетные воспитанницы; он хотел было поделиться своими опасениями с Модей Корфом, которого нежно любил, но Корф заперся в своей комнате под номером восемь и не отвечал на его призывы; тогда он написал записку Вильгельму Кюхельбекеру — они часто переписывались, — спрашивая, что делать, если на душе неспокойно. Кюхельбекер ответил ему записочкой, которую бросил сквозь решетчатое окошечко в дверь тридцать пятой комнаты. «Комочек, — писал Кюхельбекер, — я знаю, ты хороший мальчик. Все сомнения и мысли запиши в дневник, и тебе станет легче». И после этого сам сел за «Словарь», который вел уже несколько лет. Это была объемистая тетрадь из плотной синей бумаги; сейчас под рубрикой «Рабство» Кюхельбекер записал из Вейса: «Несчастный народ, находящийся под ярмом деспотизма, должен помнить, если хочет расторгнуть узы свои, что тирания похожа на ярмо, которое суживается сопротивлением. Нет середины: или терпи, как держат тебя на веревке, или борись, но с твердым намерением разорвать петлю или удавиться».

Горчаков, сидя за своей конторкой, писал о подробностях празднества влиятельным родственникам и знакомым.

Но героем дня был все же лицеист из четырнадцатой комнаты, Пушкин. Его стихи были петы хором, и уже стало известно, что вдовствующая императрица Мария Федоровна весьма довольна и со благоволит послать автору при милостивом отзыве золотые часы. По словам директора Энгельгардта, это была честь не только для поэта, но и для всего лицей.

## 4

Мечты, мечты,  
Где ваша сладость?  
Где ты, где ты,  
Ночная радость?

«Пробуждение».

Белое ее платье походило на то, в котором она была на последнем лицейском балу, — воздушно, с ниспадающими, как у античной туники, складками, — и прическа была такой же, как на балу, с вьющимися вдоль лба каштановыми локонами, и в уши были продеты, как тогда, замысловатые серьги. Когда он приблизился, она порывисто обернулась к нему и заулыбалась. «Вы одни?» — спросила Катя Бакунина радостно и удивленно. Он был один и принялся что-то бормотать. Но она почти и не слушала. «Пойдемте», — сказала она. И вот тогда он осторожно взял ее руку. Невозможным было ощущение

ние от тепла тонкой ее руки. Глаза ее теперь избегали его взгляда, в улыбке появилась настороженность, и она предостерегающе поднесла палец к губам. В самом деле, где-то совсем близко были люди, он слышал их неясные голоса, шум, шаги... Шум нарастал, превратился в крик, звон — и он проснулся от звонка утренней побудки и голоса дядьки...

Было совсем светло. Сквозь открытое окно в комнату лилась прохлада раннего утра. Совсем близко, над окном у карниза, раздавалось хлопанье крыльев — там птицы свили гнезда. Из садов несся оживленный птичий гомон. И какие-то трубные звуки слышались время от времени — это трубили, гукали лебеди на Большом пруду. А коридор уже наполнился суетой, возней, голосами... Новый, радостный день ожидал его, и он вскочил с постели.

Весь день он искал встречи. Когда приятели собрались на Розовом поле — обычном месте игр, забав и упражнений в ловкости и силе, — он отправился в город, к тихой Средней улице, застроенной с одной стороны казенными толстостенными экзерциргаузом и дворцовыми кладовыми, а с другой стороны частными особняками, — здесь жила Катя Бакунина.

Между деревянными полуколоннами под мрамор, образующими портик, видна была застекленная дверь. Каждую минуту эта застекленная дверь могла открыться, пропустить ее — в легком летнем рединготе, в шляпке с перьями, с зонтиком, или веером, или сумочкой в руках...

Но застекленная дверь не открывалась.

И он отправился в дворцовый парк — ведь он мог встретить ее и там! По пруду катались на лодках, легкая волна билась о пологий берег, а посередине покачивались, изгибая шею, черные лебеди... Он подошел к самой воде и взглянул на размытое свое отражение. Не красивость его вызывала в нем болезненное чувство и мысли о безрадостном будущем...

Он миновал Гранитную террасу и углубился в лабиринт небольших водоемов, островков и насыпных холмов.

Откуда ни возьмись появилась туча, закрыла полнеба, и вдруг часто забарабанили крупные капли дождя. Он едва успел спастись под густыми ветвями развесистого старого дуба. Сразу потемнело; стал слышнее ветер в листве. А потом так же неожиданно все развеялось, туча пронеслась...

Какая красота в этих парках с их куртинами, дорожками, холмами, озерами и великолепными дворцами, ротондами и мраморными изваяниями! Он рос здесь и эти парки и дворцы видел во все времена года... Коротким летом скудная северная земля отогревалась, оттаивала и одевалась в пышный наряд зелени.

Он сделал несколько шагов по дорожке — и обомлел! Она стояла возле мостика через узкий проток, опершись о гранитную тумбу.

— Вы одни? — спросила Бакунина.

Сон мешался с явью!

— Вы гуляете? — спросила Бакунина.

Он не знал, что сказать.

— Я ищу натуру, — добавила она.

В руках у нее был альбом и коробочка с сепией.

Они пошли по дорожке рядом.

— Вам понравился бал в Павловском? — Ничего больше не пришло ему в голову.

— У нас бал за балом, — сказала она. — Бал за балом, устаешь танцевать, право!

Он плохо понимал ее слова.

— Балы будут, пока не уедут молодые супруги,— живо сказала Бакунина.— От принца Вильгельма Оранского все дамы без ума... Все рассказывают друг другу, как он отличился в битве при Катр-Бра, как был ранен, какую доблесть проявил при Ватерлоо и с какой похвалой о нем отзывался английский главнокомандующий Веллингтон...

Она училась рисованию, и ее учитель, Брюллов, советовал в Царском Селе делать наброски статуй и античных ордоров.

— Вот что я буду рисовать! — воскликнула Бакунина.

Они подошли к скульптуре на известный сюжет Лафонтена «Девушка с кувшином».

Это был тихий уголок. Журчала вода, вытекая из разбитого кувшина; веяло прохладой.

Она быстро взглянула ему в лицо. Она уже поняла: то, что чувствует этот лицеист, серьезно. Его руки судорожно двигались, держались, цеплялись друг за друга, будто старались удержать неумеренные порывы. Лицо его меняло выражение; как озерная гладь отражает движение воздуха, так и по лицу его то как будто пролетал ветер, то поднималась зыбь, то вздымались волны, и все это билось в берега непрочной мальчишеской сдержанности и при более сильном ветре грозило все разрушить, смыть, унести...

Она еще не решила, как будет вести себя с ним, но пока милостиво ему улыбнулась.

И он был счастлив!

— Брат обещал прийти к нам сегодня с приятелями... Вы будете, надеюсь? — сказала она.

Будет ли он? О, конечно... Он будет... будет! И поспешно, почти бегом удалился.

В назначенный для вечерних визитов час, тщательно почищенный, надушенный, в белых лосиных перчатках и фуражке с ярким кантом, в группе других лицеистов он спустился с высокого крыльца. Впереди важно выступал Александр Бакунин; он мог быть твердо уверен, что дом его матери и сестры — лучший из домов, раз вслед за ним постоянно устремлялись многие его приятели: Горчаков, Пущин, Илличевский, Пушкин, Корсаков, Малиновский, Яковлев.

Подошли к калитке в узорчатой решетке.

Из дома уже неслись музыка и пение — Катя Бакунина в одной из гостиных пела нежным своим сопрано, сидя за клавирами, украшенными бронзовыми бляхами. Она приветливо встретила гостей. Нужно было иметь немало такта и выдержки, чтобы под устремленными на нее восхищенными взглядами юношей соблюсти спокойную приветливость и приличествующую живость. Не прошло и нескольких минут, как музицирование и пение возобновились, составились музыкальные партии — на два, на три голоса, — гостиная наполнилась голосами и смехом. Сквозь раскрытые окна доносились голоса, смех, музыка из соседних особняков...

Пушкин беспокойно прошелся мимо высокого, от пола до потолка, зеркала, оглядывая себя. Чей-то голос шепнул ему в ухо:

— Суворов не взял бы тебя на военную службу.

Это был Пущин.

— Почему?

— Да потому что сам Суворов велел занавешивать зеркала, чтобы не видеть себя.

— А-а...

Ему было не до шуток. Он был слишком взволнован. Она обращалась к нему чаще, чем к другим, — что могло это значить?

На ней теперь было скромное белое платье без украшений, с

накинутой на шею и плечи тонкой батистовой косынкой, заколотой на груди булавкой.

Вошла ее мать, хозяйка дома Екатерина Александровна, поздоровалась с гостями. Это была тяжеловесная и малоприветливая особа, она шпионила за лицеистами, рылась в их конторках, отыскивая недозволенные книги, и доносила на приятелей своего сына.

При ней веселье приуменьшилось.

Желая развлечь общество, Катя Бакунина принесла свой альбом. Все сгрудилось над ним. Это был обыкновенный альбом — как у любой барышни. Здесь были стишки, рисунки, шутливые изречения и крылатые фразы. На нескольких листах был длинный разговор между Дамесом и Темирой. Темира задавала Дамесу вопрос: «Чем отличается нынешняя чувствительность от прежней?» Дамес, молодой человек, изверившийся в любви, отвечал: «В наше время чувствительность — лишь искусство, посредством коего женщины стараются казаться прижими и любезными».

«Назовите мне, — вопрошала Темира, — те существа, о которых обыкновение велит заботиться со всей нежностью».

«Собачки, кошки, канарейки», — возвещал неумолимый Дамес.

«Но что нужно, чтобы чувствительность сделалась полной и совершенной?»

«Чувствительность бывает совершенной, когда с ней соединена частица меланхолии».

«Но что есть меланхолия?»

«Меланхолия есть печаль».

И так на трех страницах мелким почерком.

Теперь лицеисты должны были продолжить альбом. Илличевский ловким своим карандашом набросал одинокий домик на вершине утеса, пустынный берег и морские волны...

Потом жизнерадостный Пушкин записал латинское изречение: «Все преходяще в этом мире», — уныние было в моде. Еще кто-то написал: «Когда любовь и дружба царствуют в одном сердце, человек вкушает блаженство богов. Ах, старик Гелиодор был прав, но где оно, это блаженство?» — меланхолия тоже была очень в моде.

Пушкин не написал ничего. Он сел с Бакуниной в углу гостиной за столик играть в шахматы.

— Мой король заранее сдастся вашей даме, — сказал он.

Он следил за тонкими ее пальцами, переставлявшими фигуры, и почти не понимал ходов.

— Пушкин! — Было принято обращаться по фамилиям. — Что Пушкин выбирает: бригадирское шитье или камергерский ключ? Или поэт остается верным музе?

Вот досада! Она считала нужным обращаться к нему как к поэту. Он поспешил объяснить, что пойдет в гвардию, это давно решено, и не просто в гвардию, а в лейб-гусарский полк, стоящий в Софии.

Но беседа уже текла по выбранному ею руслу. Она увлеклась поэтом Батюшковым. Ему пришлось рассказать, что Батюшков год назад навестил его здесь, в лицее. Говорили о молодом поэте Вяземском — он обещал переписать для нее стихотворение.

— Молодые люди не могут быть не влюблены, — говорил он дрожащим голосом.

— Но разве не существует идеальная дружба? — с милой улыбкой спросила она.

— Но зачем идеальная дружба, когда существует любовь?

Она ушла, и партия в шахматы осталась незавершенной. Почему она вдруг ушла? Это было непонятно. Ах, еще мгновение — и он открыл бы ей свое сердце!

В этом доме было так, как во всех подобных домах. После передней, довольно узкой, тянулась парадная анфилада комнат со стенами, обитыми штофом, с картинами и венецианскими зеркалами в простенках.

Семья была близка ко двору, на стене висели копии, сделанные Бакуниной во дворце,— большой поясной портрет дебелой и величественной Екатерины и по бокам маленькие портреты: Александра, улыбающегося шестнадцатилетнего мальчика, похожего на пепельно-кудрую голубоглазую девочку, и его невесты, баден-дурлахской принцессы с кукольным лицом и скромно опущенными глазами. В этом доме боготворили императорскую фамилию.

Пушкин отозвал Александра Бакунина. Он запинаясь. Неловкими, будто случайными вопросами он хотел навести на разговор о его сестре.

Бакунин замигал.

— Понимаешь, я понятия не имею о делах моей сестры. Почему-то полагают, что брат и сестра откровенны и много друг о друге знают... Ты тоже так полагаешь? — Этот резонер готов был проранно рассуждать о чем угодно. Но потом огляделся и сказал конфиденциально: — Все же могу тебе сообщить. Мы сами не свои! — С лица его не сходило самодовольное выражение.— Моей сестре сделано предложение, блестящее предложение... — Он мог быть удовлетворен оглушающим впечатлением, которое слова его произвели на Пушкина.— Но Катиш отказала. И не первый раз. Она всем отказывает..

Кто-то еще любит ее, кому-то она отказала — у нее своя жизнь, но какая, но кому, но отчего?

Под влиянием магнетических сил он следовал за ней по гостиной: она улыбалась — он счастлив, она не заметила, что он рядом,— он несчастлив, она пошутила — он смеется, она задумалась — он готов плакать.

Пришло время прощаться, но ему опять удалось несколько мгновений провести с ней почти наедине.

— Завтра вы опять придете туда же рисовать? — Он спросил это таким голосом, что она не могла не понять тайного смысла.

Но она сказала:

— Прав Брюллов: скульптура учит пластичности....

Придет она или нет?

— Вы не закончили рисунок?

Но она воскликнула:

— Какой прелестный фонтан эта «Девушка с кувшином»!

Придет она или нет?

## 5

Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице,  
Венчанный лаврами, в блестящей багрянице,  
Спесиво развалясь, Вегулий молодой  
В толпу народную летит по мостовой!  
Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;  
Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!

«Лицинию».

Неожиданный инцидент произошел в классе политэкономии.

Адъюнкт-профессор Александр Петрович Куницын, как всегда подобранный, подтянутый, в узких брюках, заправленных в сапожки, быстро вышагивал взад и вперед по возвышению кафедры и звучным своим голосом неторопливо вел объяснение. В классе было

тихо. Никто не позволял себе тех озорных выходок или вольных разговоров, какие случались в других классах. С первого дня открытия лицея, когда Куницын поразил всех присутствующих смелой, без всякого низкопоклонства речью, нравственный его авторитет в лицее был высок. За ним записывали. Печатанных руководств не было, и учить нужно было по записям.

Закончив объяснения, Куницын сказал:

— Господа, будем повторять. Придет день, когда вы покажете, что не теряли времени даром...

Он оглядел учеников, по пять человек сидевших за изогнутыми столами, как будто выбирая, с кого начать.

— Ну-с, господин Данзас...

Если профессор желал выбрать того, кому на будущем экзамене могла грозить наибольшая опасность, он не ошибся. Другие ученики в разных классах занимали разные места — Данзас во всех классах сидел на одном и том же последнем месте.

Рослый, неуклюжий Данзас поднялся, и на лице его выразилось то привычное терпение, с которым каждый раз он переносил процедуру опроса; он ожидал слов: «Садитесь, господин Данзас, вы безнадежны» — или: «Садитесь, господин Данзас, не могу похвастаться, что научил вас чему-нибудь».

— Ну-с, господин Данзас, расскажите нам о ренте...

Данзас молча морщил лоб и смотрел не на профессора, а куда-то в сторону.

— Садитесь, господин Данзас, вы безнадежны,— наконец сказал Куницын.— Не могу похвастаться, что хоть чему-нибудь научил вас...

С облегчением вздохнув, Данзас сел.

— Господин Пушкин, расскажите нам о ренте...

Господин Пушкин, правда, не молчал, но профессор понял, что повторения не получится. И он вызвал Горчакова. Казалось, сложный вопрос об источниках прибыли, стоимости и земельной ренте доставил князю лишь удовольствие, и это удовольствие, когда он отвечал, отразилось в легкой самолюбивой улыбке. Впрочем, в классе политических наук он отвечал с таким же блеском, с каким в классе латинской словесности говорил о римских поэтах.

— Образцово,— похвалил Куницын.— Ну-с, теперь вы, господин Вальховский...

Вальховский во всем был скромен. Тихим голосом, старательно артикулируя — он специально работал над своей дикцией,— он ответил на вопрос, но ответ его не уступал ответу князя. Он рассказал о физиократах, о Кенэ, и все это со многими подробностями, чувствовалось, что он не сказал всего, что мог сказать, и при всем том оставался, как всегда, скромным, непритязательным, ровным:

По классу пробежал шепот восхищения. Недаром давно сложились две партии: за Горчакова и за Вальховского. Кто из них первый? И спор был не пустой, за ним стояли важные принципы — аристократический и демократический. Теперь Горчаков и Вальховский перед всеми предстали в полном блеске, как бы состязаясь. И обе партии ликовали.

По проекту Энгельгардта уже учреждены были медали, и золотая ждала лучшего: на лицевой стороне, на свитке, окруженном дубовыми и лавровыми венками, под лирой Аполлона будет начертано имя победителя. Кто же будет первым? Сын князя Горчакова или щедрый, узкогрудый Вальховский, сын бедного комиссионера восьмого класса? Будет в императорском лицее соблюден принцип демократии?

— Превосходно,— похвалил профессор Вальховского.

Повторение — мать учения. Урок шел прекрасно. Довольный Куницын расхаживал взад и вперед. Он опять вызвал Горчакова и, лукаво прищурившись, задал очень сложный вопрос.

На этот раз Горчаков поднялся нехотя.

— Не знаю, господин профессор,— сказал он спокойно, но надменно.— Прошу извинить, но я не могу ответить.

Что? Не может быть! Мертвая тишина установилась в классе. А потом поднялся шум. Потому что все поняли: Горчаков не хочет унижить себя состязанием с Вальховским. Какая гордыня! Нет, князь молодец! Нет, это свинство! Шум усиливался.

Видимо, и Куницын понял: лицо его омрачилось.

— Что ж, садитесь,— сказал он.

С первой своей речи на торжественном акте открытия Куницын внушал ученикам, что их долг — служить обновленному конституцией обществу. Хотя за протекшие с тех пор пять лет конституция не была принята, а крепостное право не было отменено, он по-прежнему верил, что здесь, в лицее, готовит деятелей для нового представительного правления.

Сколько сил он потратил, чтобы внушить им идеи равенства, внушить, что только личные достоинства красят человека! Может быть, сейчас важнее вернуться к этим идеям, нежели готовиться к экзамену?

Он заложил руки за спину. Его лоб прорезали складки. Он умел заставить себя слушать. Он смело произносил тирады против рабства. Он открыто и просто говорил то, о чем другие лишь шептались. Профессор доказывал, что крепостное право незаконно и для самих владельцев невыгодно.

— В рассуждении первоначальных прав,— твердым, размеренным голосом говорил Куницын,— все люди как нравственные существа между собой совершенно равны. Когда независимые граждане делаются подданными, они состоят под законами верховной власти, но подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния. Они предлагают свои силы в распоряжение общества, но лишь с тем, чтобы эти силы обращены были на общую пользу. Не так ли?

Он остановился у стола, и голос его вдруг зазвенел:

— Господа! Я проходил по вашему коридору и стал свидетелем безобразной сцены! — Лицо профессора от волнения покраснело.— Один из вас позволил себе... — Он недоговорил и глотнул воздуха.— Один из вас позволил себе...

В классе теперь была гробовая тишина. О чем он говорит? О ком? Что произошло?

— Один из вас позволил себе ударить старого служителя! — сказал Куницын.

Послышался неясный шум, будто пронесся вздох, и Куницын с отвращением понял, что это был вздох облегчения. То, что он сказал, не оглушило, не пристыдило, не удивило, а, напротив, успокоило как вполне обыденное?

— Но это постыдно, это незаконно... — настойчиво повторял профессор.— В рассуждении первоначальных человеческих прав...

В это время князь Горчаков поднялся с места и спокойно, полным собственного достоинства голосом сказал:

— Вы меня, очевидно, имеете в виду, Александр Петрович.— Он слегка поклонился.— Да, в самом деле, мой крепостной человек был нерадив, и я его наказал. А что же прикажете: не наказывать?

Но тут раздался возмущенный голос Кюхельбекера, всегдашнего противника Горчакова:



— Свинство, и все тут!

Горчаков сел, не удостоив ни Кюхельбекера, ни других своих противников даже взглядом.

— Я не вас имел в виду, господин Горчаков,— сказал наконец Куницын. Вид у него был удрученный.— Но то, в чем вы признались, дурно. Вы еще спрашиваете: как поступать? Что же, Россия только палкой держится, только дубинкой движется? — Он тряхнул головой, как бы отгоняя ненужные сейчас мысли.— Господин Мясоедов, я вас имел в виду. Встаньте!

Упитанный, краснолицый сенаторский сын поднялся со своего места. Он был из безнадежных, этот Мясожоров, которого на карикатурах рисовали с ослиной головой.

— Наш лицей — привилегированное учебное заведение, в котором отменены телесные наказания,— с каким-то озлоблением заговорил Куницын.— Но вы заставили меня пожалеть об этом, да, да, я в полной мере хотел бы дать вам самому почувствовать сию меру...

Он не мог успокоиться. Глаза его блуждали по ученикам.

— Господин Пушкин, встаньте!

Вот это было совершенно неожиданно. Пушкин с удивлением поднялся со своего места. Некоторое время Куницын пристально смотрел на курчавого шуплого лицеиста.

— Господин Пушкин... Мне сейчас припомнилось... Вам принадлежит напечатанное в «Российском музее» стихотворение на латинскую тему, обращенное к Лицинию. Это прекрасное стихотворение. Соболаговолите прочитать эти строки: «О Рим! о гордый край разврата, злодеянья!..» Да, да, прочитайте, господин Пушкин, это весьма поучительно...

Пушкин смутился, но, подчиняясь профессору, прочитал звонким своим голосом и, по обыкновению, немного нараспев:

О Рим! о гордый край разврата, злодеянья,  
Придет ужасный день — день мщенья, наказания;  
Предвижу грозного величия конец,  
Падет, падет во прах вселенныя венец!

Это стихотворение он написал года полтора назад, а подзаголовок «с латинского» был лишь прикрытием: на самом деле он написал о том, о чем все вокруг него говорили,— о рабстве в России. Нельзя было не догадаться, почему Куницын хотел, чтобы он прочитал сейчас строки из него.

— Падет, падет! — с жаром подхватил Куницын.— И еще вот это: «Исчезнет Рим...» Да, вот это...

Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокой;  
И путник, устремив на груди камней око,  
Речет задумавшись, в мечтанья углублен:  
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

— Свободой Рим возрос, а рабством погублен! — повторил Куницын.— Садитесь, господин Пушкин. Нет, нет, минуточку...— Он внимательно посмотрел на юношу и сказал взволнованно: — Вы, господин Пушкин, не числитесь у меня в классе среди первых. Но я знаю: вы лучше других усвоили суть того, чему я учу...

Но всего этого профессору показалось мало.

— Фотий Петрович! — Он обращался к гувернеру.

Так было заведено с первых лет: приводя лицеистов на лекцию, гувернер оставался с ними в классе.

Калинич поднялся.

— Фотий Петрович, позовите директора!

Энгельгардт явился незамедлительно. Он все понял: и чем взбодражен класс, и чего хочет профессор, и в чем не прав Мясоедов, и в чем правым считает себя Горчаков, и что должен он сейчас сказать. И он сказал, что в лицее все ученики равны и правила лицея запрещают бить не только служителей, но и крепостных людей. Эти неслыханные для России правила, сказал Энгельгардт, утверждены самим государем, и, может быть, они-то и есть первые проявления великих преобразований, которые ожидают Россию.

Но в душе Энгельгардт был смущен. Если планы государя изменились, не слишком ли смелы речи Куницына? Как причудливо все переплелось: в лицейском флигеле дворца самодержца осуждается тиранья...

Но споры и потом не утихли. Кто-то пожимал руку Вальховскому, кто-то поздравлял Горчакова. Кюхельбекер произносил обличительные речи. Горчаков отвечал язвительными насмешками. Кюхельбекер напомнил о новгородской вольнице — казалось, он сам уже не в лицее, а на новгородском вече, казалось, они все на Великой площади перед Софийским собором, и вот-вот зазвучит колокол, соберется народ из разных концов, со своими старостами и тысяцкими, и начнется судилище. Они, молодые люди, живущие во дворце, были заражены вольнодумством. Таков был дух времени! Кюхельбекер и Пушкину бросил в лицо обвинение: тот пишет в угоду царям! Императрица Мария Федоровна прислала ему золотые часы...

Ну, это уж слишком! Пушкин найдет что ответить!

Пушкин и Пущин пошли бродить по аллеям парка. Какое счастье, что есть Куницын у них в лицее. Он почитаемый, он любимейший их профессор! Они вспомнили, как впервые выстроили их в парадных формах в день открытия лицея: читались длинные речи, а потом выступил Куницын... Как бодро, как смело он говорил! Эту речь они потом выучили наизусть! С тех пор все пять лет Куницын разжигал в их душах огонь...

А вот и Розовое поле. Когда-то великая Екатерина на этом поле высаживала розы, теперь здесь луг, окруженный кустарником. За Розовым полем в гуще деревьев стояла каменная скамья. Эту скамью они считали своей. И они направились к своей скамье.

До летних каникул оставались считанные дни. В лицее уже заменили тяжелые малиновые портьеры на легкие занавески—лицеисты знали эти ежегодные перемены. В лицее уже шел летний ремонт: дворцовый мастер Измайлов крепил в зале паркет, заколачивая косячки, кастелянша Надежда Матвеевна была занята бельем, с лицеистов снимали мерки, чтобы обновить обносившееся обмундирование. Уже конференция профессоров составляла характеристики успехов и поведения, чтобы направить их не то прежнему министру графу Разумовскому, не то новому министру князю Голицыну...

Теперь всего лишь год оставался до выпуска... Скоро выпуск! Что будет? Как все будет? Они жили в бурное время. Гроза перемен только что пронеслась над миром и еще не утихла. Падали царства. Менялись законы. Грозные судьбы ожидали их!

Вот об этом они говорили, сидя на своей скамье. Они мыслили одинаково.

— Офицеры генерального штаба неподалеку проводят летние учения,— сообщил Пущин.— Я уже у них бывал... Пойдешь со мной?

Они решили в первые же дни каникул отправиться к офицерам генерального штаба.

На этот раз музы исполнены были гражданским пафосом. И возвестили они о своем прибытии трубными звуками и звоном литавр. О бесценный дар—драгая свобода! Как невозможно дышать без

воздуха, так невозможно жить без золотой вольности. Сколько раз вот в этой своей одинокой келье тайно зачитывался он рукописью, автором которой был Радищев. Теперь музы пели вслед за Радищевым. Он всего лишь студент, всего лишь затворник, но разве не ощутил он пронесшейся над миром грозы? И разве не предвидит грозных судеб, ждущих впереди?

В песнях о свободе музы требовали торжественного слога. Они требовали искусного сочетания старых и новых слов. Они требовали суровой гармонии и высшей красоты.

## 6

Простите мне мой страшный грех, поэты,  
Я написал придворные куплеты...

*«К Шишкову» (варианты).*

Вокруг небольшой деревни, среди чахлой и терпкой зелени болотистых полей белели военные палатки. На выгоне, сразу за домами, в предвечерний час все еще велись строевые занятия. Полковник, стоя в некотором отдалении от фрунта, курил трубку. Возле плетня валялись набитые соломой чучела, предназначенные для учений.

Офицеры жили в деревенских избах. Кое-где перед избами или в палисадниках были поставлены, а где уже и накрыты столы для чаепития; из труб шел дым: издали слышались голоса поющих деревенских девок.

— Вот и пришли,— сказал Пущин, обращаясь к приятелям — Вальховскому, Кюхельбекеру, Дельвигу и Пушкину.

Им открыл дверь не хозяин избы, а молодой подпоручик — широкоплечий, с массивным лицом. Это был Иван Григорьевич Бурцев.

— Прошу, господа...

Офицеры здесь жили особой артелью — «Священной артелью», — и правила здесь были особые. Не случайно в сенях не оказалось денщиков, а дверь открыл сам офицер. Не случайно этот офицер был одет строго по форме, а впустив гостей, поднял колокольчик — довольно большой, вылитый из меди, с клеймом — раздался звон. Здесь следовали правилам новгородского веча! Это колокол призывно звенел!

Иван Григорьевич Бурцев в этот день был дежурным. В эти часы — между закончившимися фрунтовыми учениями и вечерней зарей — по строгому расписанию все занимались: кто, сидя на своей постели и положив книгу на колени, изучал турецкий язык; кто, пристроившись за сбитым из досок столиком, повторял латынь; кто читал новую французскую книгу о новых политических системах... Среди прочих правил было правило всем вместе принимать гостей. Теперь по звону колокольчика все потянулись из своих углов в избе-пятистенке на кухню, отделенную домотканой занавеской между печью и стеной, к длинному дощатому столу. Одеты были по-домашнему...

Первым вышел Александр Николаевич Муравьев — легкий, необыкновенно изящный, с бархатисто-темными глазами. Он был здесь старше всех — уже двадцать четыре года!

— Хорошо, что вы пришли,— сказал он.

Затем вышел его младший брат Михайло Николаевич — шире в кости, с лицом довольно простым. Горло у него было обвязано платком. Затем появились Павел Иванович Калошин (родственник Пущина) и Алексей Васильевич Семенов — совсем молодые офицеры, по возрасту никак не старше лицейцев.

На вечевой этой сходке Бурцев как дежурный председательствовал. Он сказал, обращаясь к лицеистам:

— Вот в Павловском отпраздновали годовщину Ватерлоо. Вот чествовали героя Ватерлоо и согнали баб плясать в хороводах... А в рассуждении справедливости, господа, что за праздник для этих баб? Как говорится, по усам текло, а в рот не попало...

Муравьев-старший, соблюдая правила веча, поднял руку.

— Что за герой, собственно, принц Оранский! — сказал юный Семенов. — Разве что Веллингтон отзывался о нем с похвалой. — Он пожал плечами.

— Господа, слов нет, при Ватерлоо одержана решительная победа, — проникновенным голосом сказал Муравьев-старший. — Однако посудите, господа; жителям Ватерлоо наш государь пожаловал два миллиона рублей. Но Россию ведь спасло Бородино! Для нас, русских, Бородинское сражение — великая победа. Я был в Бородине. Памятника русским нет. Селения вокруг разорены, и, в совершенной нищете, жители живут мирским подаванием. Господа, я сам участвовал в Бородинском сражении!.. — Голос его теперь зазвенел. — Господа, в тринадцатом году на Бородинских полях взошел небывалый урожай — так землю удобрили кровью и телами. Вот только и памятник тем, кто там полег.. Господа, почему же такое пренебрежение?

Александр Муравьев был не только участником многих компаний; он был и масоном, верящим в нравственное усовершенствование человечества. Здесь, в избе, над походной кроватью, повешена была золотая шпага с надписью «За храбрость» и начертан девиз масонской логи святой Екатерины: «Nosce te ipsum»<sup>6</sup>.

Теперь правила веча не помогали, все говорили вместе. Даже юные Калошин и Семенов успели понюхать пороху: Семенов в четырнадцать лет записался прапорщиком в Калужское ополчение, Калошин с тринадцати лет служил квартирмейстером генерального штаба.

— Что мы сами-то знали о нашей России? — воскликнул Калошин. — Что знали о ней?

— Иностранщина, всякая немчизна кругом, — сиплым шепотом произнес Муравьев-младший.

— Государь и Кутузова-то с трудом терпел. Все Пфуль да другие немцы. А Денис Давыдов не в чести, — подхватил Семенов, очень милостивый мальчик, мечтающий перейти из генерального штаба в кавалерию, потому что кавалеристы имели привилегию отращивать усы.

— Вот был случай, — сказал Бурцев. — Однажды в Тюильрийском саду смотрели на лебедей. «Месье, в России лебедей есть?» — спросила дама-француженка нашего офицера. «Нет, — ответил он, — у нас ведь целый год лед и снег». «Мой бог, как же у вас пашут и сеют?» — «Пашут в снег и сеют в снег, и хлеб родится из снега». — «Ah! Ah, mon Dieu, quel pays!»<sup>7</sup> Вот, господа, что о нас думают. Но ведь это оскорбительно... Что же мы, белые медведи?..

Разговор пошел о злоупотреблениях судейских приказных, об унижении достоинства, о несправии, об ужасах солдатской двадцатипятилетней службы... Лицеистам, не выходявшим за пределы дворцовых парков, открывалась несчастная их страна. Пушкин беспокойно ерзал на месте, но слушал молча, как это бывало с ним в обществе малознакомых людей. Его мучило сожаление, что он написал послание «Принцу Оранскому». Иногда он шарил в кармане куртки, в котором обычно были какие-то клочки бумаги.

— Я полагаю, — сказал он тихим голосом, обращаясь к Бурце-

<sup>6</sup> Познай самого себя (лат.).

<sup>7</sup> Ах, ах, боже мой, какая страна! (Франц.)

ву,— невозможно жить в рабском и униженном состоянии. Это против самой природы человека...

— Разумеется! — согласился Бурцев. — Когда-то император возбудил огромные надежды... Обещана была самостоятельность общества. Но даже Государственный совет, им учрежденный, император ни разу не посетил... Теперь Польше дана конституция. А России? Теперь лифляндским крестьянам дается свобода. А русским?.. Для русских он возродил тайную полицию... Это ли не позор!..

Да, Александр, русский царь, презирал русских; на параде в Верту, где был собран цвет союзных войск, он громогласно заявил, что в своей армии порядком обязан иностранцам; он разрешил парижской национальной гвардии брать под арест русских солдат. Разве не оскорбительно это для нашей чести? Император тщеславен и рядом с собой хочет видеть только посредственность — всякий истинный ум его пугает. Он женственно кокетлив: со скромным видом отказался от поднесенной ему георгиевской ленты, а почему? Желтые и черные полосы ему не идут. Да, да — тщеславие и хитрость, хитрость и при творство.

— Я так и думал, я так и думал! — воскликнул Пушкин.

— Я прочитаю акт «Священного союза», — сказал Муравьев-старший.

Он ушел за занавеску и вернулся, держа в руках исписанные листки бумаги. Установилась тишина, и он прочитал акт, в котором государи Европы провозглашали свое право поддерживать порядок в союзных государствах вопреки суверенитету этих государств.

Он только закончил читать, как Бурцев, заметив нового гостя, зазвонил в колокольчик. Под звон этого колокольчика открылась дверь — и кто же вошел? Сам Александр Петрович Куницын. Его встретили радостными восклицаниями. А профессор несколько не удивился, застав своих воспитанников вдали от лица, — так уж повелось, что учителя и лицеисты часто встречались в одних и тех же домах.

Не теряя времени, Куницын принялся — так же, как делал на кафедре, — излагать свою любимую теорию естественного права. Он рассуждал строго научно: скитаясь по лесам, получая пропитание от рыбной ловли и охоты, люди не имели нужды в гражданском обществе и, следовательно, не могли и помышлять об оном. Приобретая собственность и стараясь оную умножить, они испытали потребность во взаимной помощи и создали пастушеское общество. Обработка почвы привела к поземельной собственности, а вместе с ней возникло государство. Собрание людей в государство составляет нацию. Но объединение это произошло добровольно, через договор. И никто не может лишить людей первоначальных естественных прав — свободы личности, свободы слова, свободы совести! Подданство — не кабала. Кабала — беззаконие. Власть без ограничения — тиранство. А тот, кто оное производит, — тиран.

— Что наш крепостной человек? — воскликнул Куницын. — Он не принадлежит себе, дом, в котором он живет, не его, скот, который он пасет, не его, одежда, которую он носит, не его, хлеб, которым он питается, не его!

И опять все заговорили о язвах отечества.

Александр Муравьев со стоном схватился за голову:

— Боже мой, неужели наш русский человек никогда не узнает, что значит быть свободным! Наш православный народ, породивший столько героев, показавший всему миру столько ума, характера, патриотизма, — неужели не достоин он лучшей доли? И неужели наш

народ не будет иметь людей, которые повели бы его к святой цели гражданского счастья?

— Ездишь по России,— говорил Бурцев,— смотришь вокруг... Оттаптываешься на станциях и видишь: везде власть — не законов, а прихоти — и безмолвное повиновение. Господа, злоупотребления сро-слись у нас с общественным бытом...

Пуштин, потрясенный, со слезами на глазах, сказал:

— Я принадлежу к тем несчастным, которые не успели пожертвовать своей жизнью для отечества. Когда наши братья в двенадцатом году проходили мимо стен лицея, нам досталось лишь провожать их и махать руками... Но, поверьте, не было сражения, воззвания, манифеста, которые остались бы нам неизвестны и которые мы сто раз не обсудили и не перечли... Вот так и теперь: мы не можем не жить тем, чем живет, страдает, мучается наша Россия!

Он поглядел на Пушкина, своего друга, чтобы у него найти поддержку. Взгляды их встретились, и он понял, что они чувствуют одинаково.

## 7

Напрасно видишь тут ошибку:  
 Рука искусства навела  
 На мрамор этих уст улыбку,  
 А гнев на хладный лоск чела.  
 Недаром лик сей двуязычен.  
 Таков и был сей властелин,  
 К противочувствиям привычен,  
 В лице и в жизни арлекин.

*«К бюсту завоевателя».*

В «Священной артели» были правы, говоря, что Александр возродил тайную полицию.

Тайный агент, принятый Александром, среди прочих дел сообщил о собраниях офицеров в военных лагерях, о том, что на этих собраниях иногда присутствует профессор лицея Куницын и ученики-лицейсты и речи произносятся противогосударственные и даже оскорбительные для особы его величества.

Государь стоял в кабинете своего дворца неподалеку от мраморного камина в стиле ампир, с богатыми бронзовыми украшениями, и, слушая агента, глядел в открытое окно, выходящее в парк.

Ветерок слегка шевелил зеленым ламбрекеном на окнах. Зеленый цвет здесь был не случаен: мебель в кабинете почти вся обита была зеленым сафьяном, сукно на письменном столе тоже было зеленым — этот цвет успокаивал.

— О чем же говорили особенно много? — Александр был одет для прогулки, в мундире и эполетах.

— Особенно много говорили о Польше,— сказал агент. У него все было записано на бумаге, и листки доклада он держал в руках.— Польше, значит, вашим величеством дарована конституция, а России, дескать, обещана, а не дарована...

— И что же об этом конституционном правлении?

— Во всех подробностях о польском сейме, и как все устроено, и, значит, две палаты, а Россия, дескать...

Агент запнулся, видимо подбирая слова. Именно эта недоговоренность вызвала у императора недовольство. Он покраснел от досады.

— Да говори же! — Видимо, он не оставался равнодушным к тому, что слышал.

— Россия, дескать, оставлена в варварском состоянии. Россия, дескать, в темноте и невежестве... — не очень уверенно сказал агент.

— Ну хорошо, о чем же еще?

— Опять же ссылались на Эстляндию, что там, дескать, крестьянство от крепостной зависимости освобождено, а теперь по повелению вашего величества и в Лифляндии, а в России опять же... В этом вопросе особенно возбуждает господ офицеров профессор Куницын. — Агент заговорил теперь фразами, которые были написаны им в докладе: — Светоч науки в руках, значит, неблагонамеренных обращается в факел зажигательства...

Агент зарпортовался, и Александр поморщился.

— Ну хорошо. Положи свой доклад... — Он указал на высокий пюпитр.

Как только агент, пятясь спиной к двери, вышел, на лице Александра явственнее выразилось неудовольствие.

В каком странном, в каком трудном положении он был! Конституционные эти устремления и проекты крестьянской свободы исходили от него самого. Но печальный опыт правления убедил его, что огромная страна, богом вверенная его власти, вовсе не пригодна для гражданской свободы.

Он подошел к треножнику в углу и повернул большую фарфоровую вазу. Открылась роспись. Он изображен был в преображенском мундире, с аксельбантом на правом плече, в белых лосиных панталонах, корогких ботфортах и высокой шляпе с белым плюмажем и черным султаном — вот каким он явился Европе. Потом подошел к другой вазе: здесь он был на белом коне въезжающим в Париж... На третьей громадной вазе он изображен въезжающим на коне в Варшаву...

Он повернулся к зеркалу и увидел себя всего — от узких носков сапог до зализов лба с нимбом аккуратно уложенных редких волос. Судьба вознесла его выше всех остальных людей. Над ним был только бог.

По особой лестнице Александр спустился в парк.

Здесь, в Царском Селе, он отдыхал от государственных дел. Идеалы его не сбылись, но он хотел сохранить их в душе для самого себя. Он направился к плотине Большого пруда, к птичьему двору. Придворный садовник Ламин уже ждал его. Кормление птиц проходило по определенному ритуалу: Ламин подал перчатку — Александр надел ее, Ламин приподнял плетеную корзину — Александр достал корм и принялся бросать его лебедам, среди которых, кроме белых, были и черные, австралийские...

Возвращаясь аллеей, он встретился с императрицей, Елизаветой Алексеевной, прогуливавшейся с принцессой Амалией, мадам Питт и фрейлиной Бакуниной. Он знал, императрица грустила оттого, что он ее избегал. Брови императрицы были удивленно подняты (но они и всегда были удивленно подняты), глаза смотрели грустно (но эта грусть не трогала его), шея и обнаженные плечи сияли белизной (но эта белизна казалась ему безжизненной и утомительной).

Он любил кокетничать с женщинами. В его движениях появилась изысканность — он поднес к глазу лорнет в черепаховой оправе, отставил ногу, выдвинул вперед плечи...

— Я лелею одну-единственную мечту, — сказал Александр. — Я состарюсь и отрекусь от престола, как Диоклетиан и Карл Пятый. И уединюсь на берегу Рейна...

Это была давняя его мечта — неосуществимая, как все его мечты. И обратился к фрейлине Бакуниной. Эта девушка, по-видимому, была в него влюблена. Цветы, которые она носила в волосах и на груди,

названиями своими составляли его имя: анемоны, лилии... розы — Александр.

— Между вашим домом и моим скоро состоится союз,— шутливо сказал он.

— Я не понимаю, ваше величество! — встrepенулась девушка.

— Как же, мне стало известно, что горничная вашей матушки собирается замуж за одного из пастухов царских меринoсов...

И этой шуткой закончил беседу и последовал дальше.

Неподалеку от дворца он встретил Энгельгардта, но не подозвал его, лишь сухим кивком ответил на приветствие — вот маленькая месть, которую он себе позволил за все то, что агент сообщил о лице...

Потом он принял Аракчеева. Тот пожелал поцеловать у государя ручку, но Александр этого не допустил. Он сам ласково взял Алексея Андреевича за руку, провел по кабинету и усадил в кресло.

Разговор сразу же пошел о докладе агента.

— Я прощаю, совершенно прощаю их за слова, сказанные на мой счет,— говорил Александр.— Дело не в этих недобрых словах...

На самом деле он был уязвлен. Сами разговоры среди офицеров, о которых ему доложили, мало его беспокоили. Он знал свою страну: разговоры ни во что не выльются; он и не запрещал эти разговоры, потому что не хотел прослыть тираном, а, напротив, всем подавал надежды на какие-то недалекие преобразования... Но его поражала человеческая неблагодарность. Его отец, безумный Павел, был деспотом, его все ненавидели, но сам он не походил на отца — и что же: чувствуя его мягкость, все вокруг забывались, все распоясывались... Нет, умеренность и кротость, при помощи которых он когда-то хотел править, не сообразовывались ни с характером русского народа, ни с нравами вверенной ему страны...

Он остановился у окна. Со второго этажа дворца открывался вид на террасы с зеркальной гладью небольших водоемов, на аллеи, окаймленные рядами подстриженных деревьев, сходящихся вдаль у Эрмитажа... Даже в закрытой для посторонних части парка мелькали мундиры лицеистов. Александр пожал плечами. На этих лицеистов, которых он сам собрал сюда, что ни день, сыпались жалобы.

— Эти молодые люди в моем дворце — беспокойный народ,— сказал он.— Вот я скажу Энгельгардту...— И он усмехнулся.

— Можно пресечь,— неопределенно сказал Аракчеев.

— В стране сорок миллионов, а работать не с кем,— пожаловался Александр.— Подлецы, негодяи окружают нас, несчастных государей!

Он любил жаловаться Аракчееву. На глазах его показались слезы — иногда он плакал и испытывал чувство облегчения оттого, что этот сдержанный человек с впалыми серыми глазами, грубым носом и большими мясистыми ушами слушает его и сочувствует.

Стране нужен порядок, но только силою можно русскому народу, упрямому, ленивому, неблагодарному, творить добро! Только деспотическим насилием можно воспитать этот народ для лучшего будущего!.. Какое счастье, что рядом с ним Аракчеев. Пусть этот человек не говорит по-французски, но среди всеобщего хаоса, казнокрадства, взяточничества он один пригоден для дела. Во время войны чему дивились французские маршалы и сам Наполеон? Русской артиллерии! Артиллерию инспектировал Аракчеев.

Дела, с которыми пришел Аракчеев, касались военных поселений. Первые поселения уже строились, и надо было указать губернаторам, что им делать. На столе перед Александром лежали бумаги с пометками Аракчеева; он принялся читать их.



Аракчеев требовал, чтобы новгородский губернатор Муравьев поставил шестьдесят тысяч сосновых и еловых бревен для поселений, и указывал длину — три сажени, и толщину — до семи вершков. Тверскому губернатору Озерову следовало поставить миллион кирпичей. Далее следовал указ о посылке в поселенные батальоны повивальных бабок и указ, повелевавший девкам и вдовам этих деревень выходить замуж лишь за поселенных солдат.

Стране нужен порядок. Идея военных поселений принадлежала самому царю, но мог ли он мечтать о лучшем исполнителе, чем Аракчеев? Он взялся врачевать человечество — и в военных поселениях нашел метод лечения. В самом деле, что могло быть лучше! Каждый хозяин содержит одного-двух солдат, но за это освобождается от повинностей. Солдаты-постояльцы проходят строевые занятия, а в прочее время работают по хозяйству. Они же копают глину. Они же строят дороги. Они обзаводятся семьями, и их дети идут в кантонисты, а во время похода они оставляют жен и хозяйство устроенными. Из курных грязных изб их переселяют в чистые дома. Об их здоровье заботятся — им делают прививки. Они должны быть счастливы. Счастье народа — вот цель военных поселений!

## 8

Помнишь ли, мой брат по чаше,  
Как в отрадной тишине  
Мы топили горе наше  
В чистом, пенистом вине?

*«Воспоминание (К Пущину)».*

Энгельгардт был опечален. Он предвидел, что со старшим курсом будет не гладко, но то, что происходило во время летних каникул, превзошло самые печальные его опасения...

...В один из вечеров из уст в уста шепотом разнесся призыв: «К Медведю!» Малиновский шепнул Брольо, Брольо — Пушкину, Пушкин — Дельвигу, Дельвиг — Пущину... «К Медведю!» Собралось человек двенадцать.

Сидели на кровати, на подоконнике, на стульях, на полу. Что затевается? Сам Медведь — Данзас с многозначительным видом ходил по комнате, видимо кого-то ожидая.

Из-за конторки он достал большой бумажный пакет. В пакете были пирожки. Послышался гул оживления. Все поняли, что затевается пирушка, повскакали с мест.

— Тс-с!..

Вскоре дверь приоткрылась и показалась сначала узкая голова с прилизанными волосами, потом острые плечи, потом худощавая длинная фигура дядьки, вольного человека Кемерского.

— Так много панов? — сказал он с притворным удивлением.

Из-под скюртука он доставал какие-то свертки, пакеты, стаканы, и каждый новый предмет вызывал восторженные, но приглушенные крики юной компании.

— Пшипрашим, панови, — сказал Кемерский. Это был кульминационный момент — он достал флягу.

Сам Кемерский стал в коридоре на часы, на всякий случай еще один из заговорщиков прислушивался у двери, другой следил в окно за улицей. Все делалось мгновенно: вино разлили, залпом выпили, бутылку разбили, осколки и стаканы спрятали, и уже потом пошло безмятежное уничтожение конфет, пирожков и пряников. Двадцать де-

вятый номер, в котором жил Медведь, был удобен тем, что располагался с края, у лестницы.

— А трубку! — вспомнил вдруг кто-то.

— Трубку, трубку!

— Я принесу! — Пушкин вскочил со своего места.

Все пролеты четырех этажей он пробежал, прыгая через ступени. Он наслаждался легким опьянением. Между стеной лицея и забором приходской церкви был небольшой заросший садик, так называемая «ограда», — здесь среди кустов в тайнике была спрятана трубка...

И вот трубка по очереди раскурена. Но неужели нужно теперь расходиться? Нет! Но что же делать? В кондитерской Амбиеля пугать хозяев и лакомиться пирожными? Идти в парки? Кому-то пришла счастливая мысль: ночью идти к царским садам, к теплицам — за яблоками, абрикосами, персиками! Кто идет? Все идут!

— Нет, господа, это неразумно, — сказал Бакунин.

Пушкин вскочил со своего места. Именно перед Бакуниным хотелось ему выгладеть отчаянным, неудержимым!

— Ты так говоришь потому, что боишься! — воскликнул он.

— Я говорю лишь то, что думаю, — ответил Бакунин.

Но Пушкин теперь не мог остановиться:

— Некоторые боятся замарать свое доброе имя... А есть такие, которым уже нечего терять!

...Они стояли на углу Певческого переулка. Ночь была безлунная. Но им и не нужен был свет, они здесь все знали. Совсем близко был директорский дом — с крыльцом и навесом, украшенным изображением лиры, совы и венков. Переулок вел к Средней улице с ее дворцовыми кладовыми и экзерциргаузом. А вдоль канала шла прямая и широкая Садовая улица с оранжереями, теплицами и манежем.

Одни говорили, что нужно пробраться к плодовым садам возле дальнего Александровского дворца, ибо, доказывали они, там меньше стражи. Самые же отчаянные говорили, что нужно идти к главным теплицам на Садовой улице. Дельвиг в храбрости неожиданно превзошел всех.

— Бей с носку, поминай Москву! — говорил он, потирая руки. Он собирался бить и вязать сторожей.

Решили все же идти в глубину парка.

Условились подавать друг другу сигналы свиным криком. Но, очевидно, настоящие совы тоже кричали, поэтому получилась путаница. Потом неосторожно наткнулись на пост — не то лейб-гусарский, не то преображенский, — и пришлось дать кряк. Пушкин оступись, перебираясь через канал. До Александровского дворца было еще далеко, и некоторые повернули обратно. Но отчаянные продвигались вперед.

Вот наконец и широкая аллея вдоль стены бывшего зверинца. С другой стороны аллеи раскинулись цветники, а за ними — обнесенные забором обширные плодовые сады и теплицы. Перескочили через забор. Вот они, деревья, — корявые, низкорослые, развесистые... Вдруг резкий свисток и звуки трещотки нарушили ночную тишину. Слышен топот ног, крик — и все бросились в разные стороны. Пушкин попал кому-то, большому и сильному, в руки, рванулся так, что послышался треск одежды, кого-то толкнул, от кого-то получил толчок...

— Ах, нехорошо, нехорошо, господа лицеисты, — явственно слышалось вслед.

Опять неприятности! Директор проявил столько изобретательности, устраивая отдых воспитанников...

Счастливая пора летних каникул! Лицеистов теперь не поднимали спозаранку; после утренней молитвы их не вели в классы. Они

могли понежиться в постели и не спеша завтракать. Они могли проводить дни по своему усмотрению. Отлучаться из лицея не разрешалось и в каникулы, но дворцовые парки, но зеленые улочки, но живописные окрестности Царского Села были в их распоряжении.

И все же недопустимые истории продолжались. На днях фрейлина Бакунина передала директору одно из писем, которые она получила от его воспитанников. Энгельгардт вызвал к себе Пущина.

— Ты узнаешь это, надеюсь, мой друг? — сказал Егор Антонович мягко, показывая Пущину письмо.

Лицо Пущина стало растерянным и смущенным.

— Но... я писал, однако, не вам, — с обычным прямодушием сказал Пущин.

— Вот именно, мой друг! — воскликнул Энгельгардт. — Как же это получилось?

Пущин молчал.

— Мой друг, может ли мужчина ставить себя в такое положение? Письмо, которое он пишет даме, передают воспитателю?

Что можно было возразить на эти слова?

— Я желал бы, чтобы письма вовсе не было, — сказал Пущин.

Разговор легко сделался откровенным.

— Давай вместе обсудим, что ты пишешь, — говорил Егор Антонович. — Ты пишешь, что в совершенном отчаянии... И грозишь: твоя жизнь на волоске... Ты пишешь, что ты уже мертвец. А между тем посмотри на себя, мой друг. Кто же поверит твоим излияниям?..

Пущин снова узнал, как добр, как сердечен к нему директор, и почувствовал, что имеет в нем друга.

— Значит, ты больше не будешь писать? — спрашивал директор, улыбаясь.

— Я надеюсь... — не очень твердо обещал Пущин.

В глазах Пущина отражалась борьба противоположных чувств. Вероятно, писать он все же будет... Но так нравились директору открытый его характер и прямота, что он даже подумал: как может «золотой» этот Пущин так дружить с Пушкиным? И спросил его о Пушкине.

Пущин горячо принялся защищать своего друга: видимо, своим вопросом директор задел чувствительное место в его душе, видимо, Пущин был сильно привязан к своему другу... Все это с хорошей стороны раскрывало самого Пущина.

Но у Энгельгардта было иное мнение. Потому что неприятности с Пушкиным были совсем другие, хуже, гораздо хуже всего, что случилось в лицее, и в конце концов ускорили выпуск. О этот Пушкин!

...Был жаркий июльский день. Сидя в своей комнате, Пушкин заметил в противоположном дворцовом окне женскую фигуру. Против лица был фрейлинский корпус, и глаза лицейстов не раз жадно подстерегали его милых обитательниц. Пушкин бросился к окну. Он узнал: это была Наташа, молоденькая горничная, хорошо знакомая лицейстам. Вот она показалась во весь рост — в чистеньком фартучке, в белой накрахмаленной наколке, хорошенькая, стройная. Сейчас же он по пояс высунулся из окна, делая ей призывные знаки, и она заметила его и, глядя на машущего руками юношу в лицейском мундирчике, весело рассмеялась. А потом скрылась в глубине комнаты...

— Ах, плутовка! — воскликнул он. — Сейчас я до тебя доберусь!

Об этой Наташе много рассказывали. С этой краснощекой веселой девушкой они часто встречались в дворцовом коридоре, будто она специально выходила навстречу, будто ей нравилось, что юные красавчики не могут спокойно пройти мимо нее. Смельчаки хватали ее за руку («С довольно шершавой кожей», — как потом они со смехом

рассказывали), а Жанно Пуштин клялся, что в темноте коридора поцеловал ее в щечку. Пушкин бросился к дворцовому переходу, ведущему из лицея через библиотеку во фрейлинский флигель.

Коридор, узкий, темный, прорезал весь флигель. Он шел быстро по извилистому коридору, стараясь ступать на цыпочках... Вот послышался шорох — это она! Наконец-то! Он так тихо, так ловко подкрался, что она ничего не заметила, и вдруг обхватил ее со спины. Хотя плутовка притворно отбивалась и не своим голосом вскрикивала, он успел запечатлеть на ее шее, а потом на губах поцелуи. Он хотел еще подержать в объятиях это трепещущее, извивающееся, шуршащее одеждami создание, но ближайшая дверь открылась, осветив коридор, и в этом потоке яркого света он увидел в своих объятиях обезумевшую от гнева княжну Волконскую, фрейлину императрицы, — некрасивую стареющую деву с выдвинутой вперед нижней челюстью и длинными зубами. Руки его разжались не столько от страха, сколько от изумления. С нелепой галантностью, улыбаясь, он что-то пробормотал...

— Это вы, сударь! — вскрикнула она. Лицо ее было искажено бешенством. — *Le misérable!*<sup>8</sup>

Он спасался бегством... Какое несчастье! Куда завели его излишняя пылкость и недостаток осмотрительности!

Коридор выводил на парадный двор. Там, перед гауптвахтой, отгороженной шлагбаумом и полосатой будкой часового, собралась нарядная толпа послушать полковой оркестр — усатые трубачи, флейтисты и барабанщики уже играли марш из итальянской оперы.

В этой толпе Пушкин разыскал Пуштина.

После слов друга Пуштин неудержимо захохотал. Он смеялся так заразительно, что Пушкин тоже начал смеяться, и вся эта история вдруг показалась не столь уж страшной.

Они стояли друг против друга и покатывались со смеху. Наконец Пуштин сделался серьезным. Положение было опасное. Княжна Волконская, старая мегера, славилась злым характером, к тому же она была родной сестрой Петра Михайловича, министра двора, близкого к царю человека.

— Иди-ка, брат Француз, к Егору Антоновичу, — убежденно советовал Пуштин.

Пушкин ответил с ожесточением:

— К кому угодно, только не к нему!

Все же с некоторых пор друзья не во всем понимали друг друга!

В конце концов решили, что нужно написать княжне Волконской и извиниться.

За этим письмом и застал преступника Егор Антонович — за конторкой в «проходной» комнате между актовым залом и классом.

Шила в мешке не утаишь. Слух о несчастном происшествии уже летел из уст в уста. Лицеисты испуганным шепотом передавали друг другу роковое слово «исключение»...

Они сели рядом. И опять — в который раз! — директор заговорил о доверии. Почему не чувствует к нему Пушкин доверия? Может быть, сам того не ведая, он чем-то отвратил от себя дорогого ученика? Но разве не понимает Пушкин, что цель его лишь одна — делать добро для дорогих учеников... Жена, Марья Яковлевна, спрашивает: почему Пушкин и вовсе не посещает их дома? Что может он ей ответить?

Энгельгардт говорил горячо. Он расчувствовался. Будем друзьями! Он этого хочет. Если были какие-то недоразумения — забудем их. С энтузиазмом тяжеловесного, но пылкого идеалиста он широко простер руки, приглашая ученика в свои объятия.

<sup>8</sup> Негодяй! (Франц.)

Может быть, сказались отчаяние и волнение, а может быть, лицеисту в самом деле не хватало тепла и любви: от откликнулся на слова директора и прильнул к его массивной груди.

— Я не знал, я не ценил вас как следует!.. О, Егор Антонович!..— воскликнул Пушкин. На глазах его выступили слезы.

— Теперь о твоей непродуманной шалости,— мягко сказал Егор Антонович.— Я хочу видеть в этом именно шалость, а не испорченность. Не так ли? Теперь будем думать, что делать.— Он заговорщически подмигнул по своему обыкновению.— Вот что: пиши княжне письмо...

— Но вот оно, Егор Антонович!

— Дай мне письмо, мой друг.

Письмо на французском языке было написано по всем правилам — светское извинение перед дамой, как раз то, что нужно.

— Я передам, мой друг, и ты будешь прощен. Главное — твое раскаяние,— говорил Энгельгардт.— Вот тебе моя рука...

Энгельгардт бодрым шагом направился через актывый зал. Но у лестницы остановился. Не нужно ли закрепить эту победу и сразу же пригласить юношу к себе? Заложив руки за спину, Энгельгардт расхаживал по лестничной площадке. А потом вернулся в «проходную»...

Увидев опять директора, Пушкин быстро что-то прикрыл на конторке.

— Что это у тебя, мой друг? — лукаво сказал Энгельгардт.

Смушение на лице Пушкина вызвало желание понять причину.

— Покажи мне, мой друг! — сказал настойчиво Энгельгардт и взял с конторки листки.

Боже мой, он не поверил глазам. Это были стихи — но какие! Одно на французском языке — к княжне Волконской.

On peut très bien, mademoiselle,  
Vous prendre pour une maquerelle,  
Ou pour une vieille guenon,  
Mais pour une grâce, — oh, mon Dieu, non<sup>9</sup>.

И это раскаяние? Какой цинизм, какая черствость!

Но второе стихотворение было еще отвратительней! Оно озаглавлено было «Двум Александрам Павловичам».

Романов и Зернов лихой,  
Вы сходны меж собою:  
Зернов! Хромаешь ты ногой,  
Романов головою.  
Но что, найду ль довольно сил  
Сравненье кончить шпиром?  
Тот в кухне нос переломил,  
А тот под Австерлицом.

Императора он сравнивал с Зерновым, хромым служителем, отвратительным глупцом, позорившим лицей!

Энгельгардт молчал. Он просто не мог найти слов.

— Что же,— наконец сказал он сурово.— Я не изменю намерения и буду за вас ходатайствовать. Но я вижу, что искренность и доброта в людях вам непонятны...

И он ушел. Что мог он ожидать от юноши, испорченного до пос-

<sup>9</sup> Сударыня, вас очень легко  
Принять за сводню  
Или за старую обезьяну,  
Но за грацию — о боже, нет.

тупления в лицей французским домашним воспитанием, в отроческом возрасте получившем свободный доступ к безнравственным изданиям в библиотеке отца. Однако нужно было защищать лицей.

Вскоре произошло неизбежное: встреча с царем. Директору показалось, что царь сам направляется в его сторону.

— Послушай, Энгельгардт, что это вытворяют твои лицеисты? Они снимают наливные яблоки в моих садах, бьют сторожей садовника Ламина... А теперь они не дают проходу фрейлинам императрицы... Что же это будет! Ускорь выпуск, они слишком выросли...

— Государь, я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина: он, бедный, в отчаянии, приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтобы она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление...— И Энгельгардт принялся рассказывать: шалость непозволительная, но понятная в этом возрасте... произошла ошибка: он думал, что это горничная...

Александр, выслушав Энгельгардта, смягчился. Вся эта история, в конце концов, имела смешную сторону. Улыбнувшись, он склонил голову к Энгельгардту и проговорил:

— Пусть пишет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина. Но скажи ему, чтоб это было в последний раз. *La vieille est peut-être enchantée de la méprise du jeune homme, entre nous soit dit...*<sup>10</sup>. Но твоих лицеистов нужно занять: пусть дежурят по очереди у ее величества императрицы...

Энгельгардт осторожно возразил: впереди последний год и выпускные экзамены. Не отвлекут ли эти дежурства от занятий?

— Не очень-то поглощены они занятиями,— сказал Александр.

— Но придворная служба... входит ли она в цели лицея?..

— Мы все ведем с тобой переговоры,— сказал Александр с удивлением. Он никак не мог привыкнуть к тому, что либерализм ведет к возмражениям. И кивком отпустил директора.

Да, слишком взрослым, слишком шумным был лицей. Последовал приказ ускорить выпуск первого курса на три месяца.

## 9

Как рано зависти привлек я взор кровавый  
И злобной клеветы невидимый кинжал.

«Дельвигу».

Да, первый друг не мог его понять!

А между тем в один из дней Пушкину открылось, что пока протодушно он предавался веселью и радостям жизни, злой завистник пытался его погубить, злой интриган плел вокруг него свои сети — это был директор лицея Егор Антонович Энгельгардт. Первый друг не желал этому верить.

Он понял это в тот день, когда хромой софийский почтальон принес письмо из Москвы, от редактора «Вестника Европы» Михаила Трофимовича Каченовского — сложенный узким конвертом лист плотной серой бумаги, запечатанный сургучом, с надписью: «Господину Александру Сергеевичу Пушкину, в Императорский лицей, что в Царском Селе»...

Порядок был давно установлен: дядька пошел за дежурным гувернером, тот будет внимательно осматривать письма и раздавать их...

И наконец письмо в его руках. Он давно ожидал новостей из «Вестника Европы». Почему-то в июньском номере — хотя ему это

<sup>10</sup> Между нами старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека (франц.).

обещали — его стихотворений не оказалось. Что было теперь в этом письме?

Журнальные дела одного лицейского поэта волновали всех лицейских поэтов. Пушкина окружили Кюхельбекер, Илличевский и Дельвиг, и вместе они пошли в его комнату. Что в письме? Что пишет редактор о его стихотворениях «Тень Фонвизина», «Гроб Анакреона», «К Жуковскому»?

Он смеялся, чтобы скрыть волнение, когда ломал сургучную печать. Однако потом и тень улыбки исчезла с его лица. Он не верил глазам! Свидетельствуя свое почтение господину Пушкину, редактор отвергал его стихи как не отвечающие чаяниям журнала... Такого не бывало никогда!

А друзья не поверили. Что? Кюхельбекер почти вырвал из его рук письмо. Потом Дельвиг поднес листок к близоруким глазам (носить очки лицейстам не разрешали). Илличевский прочитал и сделал рукой протестующий жест. Потом письмо вернулось к Пушкину.

— Как так — не отвечает... чаяниям?.. — От возбуждения он комкал слова. Ему хотелось сквозь землю провалиться от стыда и горя. — Раньше моими стихами не пренебрегали, — с трудом проговорил он.

И принялся рыться среди журналов и бумаг на конторке, что-то отыскивая. Но не мог сдержаться: плечи его вздернулись, он руками закрыл лицо и опустился на стул. Когда он отнял руки, лицо было мокрым. Он пригнулся, скрывая лицо, и сидел сторбленным комочком, выражавшим страдание и обиду.

— Непонятная история, — вздохнул кто-то.

— Ежели бы господин Каченовский не обещал! — вскричал Пушкин. — Но вот оно! — Он держал в руках прежнее письмо из журнала. — Вот что он пишет! А вот что писал когда-то господин Измайлов!

Он схватил с конторки журнал «Российский музей», в котором напечатан был восторженный отзыв на его стихи: «За доставление сего подарка благодарим искренно родственников молодого поэта, талант которого так много обещает».

— А я готовился открыть свое поприще сборником стихов... — Он был в отчаянии.

— В журналах бывают свои противоречия, — сказал Олосенька Илличевский. — Помните, я посылал в Петербург свой перевод «L'Oréga comique»<sup>11</sup>, а мне прислали его обратно...

И все принялись вспоминать истории, какие были, когда они посылали для тиснения свои стихи. Да, немало каждый из них пережил!

Илличевский сказал то, что на самом деле думал:

— Пушкин, тебе ли отчаиваться! Когда-нибудь лучи твоей славы будут отсвечивать на твоих товарищах. — И он указал на тех, кто был в комнате.

— А не означает-таки все это нового направления умов и важных политических перемен? — спросил Кюхельбекер. Бог знает что приходило ему вдруг в голову.

Дельвиг молчал, горбился, вздыхал. Потом вскинул голову и посмотрел на Пушкина широко открытыми небесно-голубыми глазами.

— Но кто такой этот господин Каченовский? — спросил он, и почему-то слова эти успокаивающе подействовали на Пушкина. — Он не поэт... (В самом деле, Каченовский был критик, археолог, историк, но не поэт.) Так пусть же он роется в своих архивах... — Дельвиг опять вздохнул.

Лицо Пушкина прояснилось, и он поднялся со своего места.

<sup>11</sup> «Комической оперы» (франц.).

А Дельви́г, зная стихи своего друга наизусть, негромко, нараспев прочитал из «Гроба Анакреона»:

Темных миртов занавеса  
Наклонилася к водам;  
В их сени, у входа леса,  
Чью гробницу вижу там?

— Не глупец ли господин Каченовский? — прервав себя, сказал Дельви́г.

А Илличевский подхватил:

Розы юные алеют  
Камня древнего кругом,  
И зефиры их не смеют  
Святъ трепетным крылом.

Пушкин ожил.

— Значит, не совсем плохо? — спрашивал он. — Вы думаете, не совсем плохо?

В нем совершилось какое-то мгновенное превращение, и он снова был полон веры и сил. И через минуту рассуждал, обращаясь к Дельви́гу:

— Ты поэт. Ты прав: нужно бежать толпы, нужно в тиши вынашивать свои замыслы...

Дельви́г пожал плечами.

— Я ничего теперь не посылаю в журналы, Егор Антонович мне решительно не советовал...

— Со мной Егор Антонович тоже говорил, — подтвердил Кюхельбекер.

— И со мной. Нужно окончить лицей, — сказал Илличевский.

— И со мной он тоже говорил, — задумчиво сказал Пушкин.

Казалось, какая-то мысль поразила его. Он вглядывался, вслушивался в эту мысль... Какими-то рыскающими шагами ходил он по комнате — от окна к двери, от двери к окну... Подозрение возникло мгновенно — и тут же превратилось в уверенность.

— Это он! — закричал Пушкин. — Это он договорился с Каченовским!..

Объяснение было найдено. Он вспомнил, что однажды сказал директору об этих посланных в журнал стихотворениях, а Энгельгардт, отговаривая, советовал ничего не печатать до окончания лицея... А потом он, конечно, договорился с Каченовским! Энгельгардт не верил его высоким порывам. Энгельгардт завидовал его славе. Энгельгардт — тайный его недруг. Бешенство, в которое он пришел, каждую мысль, возникшую в голове, делало совершенно очевидной.

Дельви́г возразил:

— Напечатаны стихи или нет — не все ли равно?

Вильгельм Кюхельбекер рядом с таким огнем не мог не вспыхнуть.

— На нас хотят надеть оковы! — кричал он.

Открылась дверь, и вошел дежурный гувернер Вильм.

— Herr Puschkin, Ihr Vater ist angekommen<sup>12</sup>, — сказал он (сегодня был день немецкого языка).

Сергей Львович расцеловал сына и дружески поздоровался с его приятелями. Те тотчас удалились.

Не замечая возбуждения сына, Сергей Львович заговорил — и легкая улыбка появилась на его тонких губах.

<sup>12</sup> Господин Пушкин, приехал ваш отец (нем.).



Сын в быстроте и напористости речи не уступал отцу, и когда они говорили, третьему человеку трудно было бы вставить слово — их речь лилась двумя потоками, каждый из которых стремился обогнать другой.

Надо наконец решать, нельзя больше ждать, у всех давно решено, он решил окончательно, он пойдет, как раньше уже говорил, в лейб-гусарский полк...

— Да, да, ради этого-то я и приехал, — вздохнул отец. — Хочешь — в пехоту?

Все раздражение, накопившееся в сыне, прорвалось, все обиды всколыхнулись. Он со своим малым ростом — в пехоту!

Сергей Львович изменил тему разговора; ему захотелось взглянуть на часы — подарок императрицы Марии Федоровны.

Он открывал и закрывал щелкающую крышечку, рассматривал расписанный циферблат, читал выгравированную дарственную надпись.

— Ваш директор Энгельгардт est un excellent homme<sup>13</sup>, — похвалил он. — Говорят, это его старания...

Но тут произошло невероятное: часы с тяжким звоном грохнулись об пол.

От неожиданности Сергей Львович лишился дара речи.

С ужасом смотрел он на приплясывающие ноги сына, топчущие обломки часов, и на его искаженное яростью лицо...

Вот почему когда-то они с женой поспешили отправить его из Москвы — к иезуитам, в Петербург, в лицей, куда угодно, лишь бы его могли обуздать!

— Я ухожу. Видно, лицей тебя мало исправил!

А сын его бросился искать Пущина. Потом друзья поднимались и опускались по лестнице, переходили из конца в конец этажи, пока нашли укромный уголок.

— Но в чем ты винишь Егора Антоновича? — рассудительно спросил Пущин.

— Ты не представляешь, какой для меня это удар...

— Но это надо еще доказать!

— Это он... Я знаю, что это он!

Возражать было бесполезно. Страсть лишила Пушкина возможности рассуждать: губы его выпятились и дрожали, глаза горели. Но и Пущин был тоже возмущен: как же так, благородного человека ни с того ни с сего обвинить во всех грехах? Какая неблагодарность! Его возражение вызвало взрыв новых обвинений... Да, с каких-то пор они стали хуже понимать друг друга. В конце концов, противно, заявил Пушкин, что в их дружбе нет равенства, что его учат, как несмышляныша... Но Энгельгардт заботится о тебе! Обо мне? Нет, он заботится о самом себе! Разгорелся спор, вспомнились взаимные промахи — и друзья поссорились.

Как это грустно — в довершение ко всему потерять друга. Проходит минута досады, злость утихает... Уже появляются новые впечатления, а не с кем поделиться. Вертится веселое словцо — но никто его не поймет так, как понял бы друг. И скамья, которую они считали с в о е й, выглядит одинокой, затерянной и похожа на покинутое жилище.

Сидя на той скамье, Пушкин предавался невеселым размышлениям. Но когда он поднял голову, то увидел своего друга — тоже поникшего, — приближавшегося к скамье...

<sup>13</sup> Превосходный человек (франц.).

О, как радостно бросились друзья навстречу друг другу! Как горячо они обнялись! Пусть в мире, в котором они живут, ничто не вечно — кроме их дружбы!

Стремительно неслись дни каникулярного месяца 1816 года.

## 10

Слеза повисла на реснице  
И канула в бокал.  
«Дитя! Ты плачешь о девице,  
Стыдись!» — он закричал.  
«Оставь, гусар... ох! Сердцу больно...»

«Слеза».

С августа начались занятия; сидя на лекциях, он думал о письме, которое написал Бакуниной. Почтой отослать невозможно: почта отходила раз в неделю, отвозилась по понедельникам в Софию и приходила по четвергам из Софии... Нет, только из рук в руки должен он передать письмо...

Когда начинались лекции, солнце скрывало здание дворца, в садах разлита была тишина. Но Царское Село уже не спало: служители, лакеи, адъютанты, комендант — все были на своих местах, ибо государь имел обыкновение рано отправляться на прогулку, и многие гости Царского Села, подражая царю и надеясь встретиться с ним, тоже спешили в парк.

В этот день Пушкин долго разглядывал себя в зеркало... Увы! Он подошел к конторке и на клочке бумаги нарисовал свой профиль — с приподнятой бровью, удлиненным носом, вытянутыми губами... А потом рядом нарисовал себя в высоком кивере и с пышным аксельбантом. Захотелось повидать Каверина.

...Казармы лейб-гусарского полка широкими четырехугольниками замыкали дворы; в каменных одноэтажных зданиях помещались гусарские эскадроны, офицерские квартиры и штаб; рядом были связи деревянных конюшен; в стороне высилась башенка гауптвахты. Посредине стоял нарядный двухэтажный дом полкового командира. А вокруг казарм раскинулись служебные помещения — сенные сараи, кухни, лазарет, обширный манеж — и полосатые будки часовых.

Пахло конюшнями, слышалось ржание лошадей. Откуда-то издали, из полей, донесся звук горна, а по улице, цокая копытами, пронеслись всадники в высоких киверах с развевающимися султанами.

Пушкин подошел к связи, где жил Каверин. Денщик у порога раздувал самовар. Из квартиры слышалось треньканье балалайки.

Каверин — красивый, с холеным лицом и тонко закрученными усами, в восточном халате — сидел на низком диванчике и курил трубку. На столе, залитом вином, стояло много бутылок.

— День и ночь несешь караул возле дома красавицы! — воскликнул знаменитый повеса, шутливо приветствуя щуплого лицеиста в поношенных сюртучке и брючках. Он попыхивал трубкой, выпуская струйки ароматного дыма, и был немного пьян. Завитые кудри, свисая на лоб, придавали его лицу лихой вид, а глаза прямо и напряженно смотрели перед собой, брови с какой-то яростной крутизной взлетали вверх, и в резко очерченном носе с тонкими ноздрями и во вздернутом подбородке были энергичность и властность.

Пушкину сделалось легко и весело. Он даже почувствовал себя счастливым. Недаром мечтал он о военной службе.

У дверей на корточках сидел еще один человек — плотный, с красным угреватым лицом, в шелковой пестрой рубахе и широких плисо-

вых шароварах,— он бренчал на балалайке и напевал себе под нос: «Барыня, барыня» — с припевами и приговорками.

— Солдатский сын, унтер-офицер в отставке,— пояснил Каверин. Вошел денщик.

— Гришка, налей!

Денщик наполнил вином стакан и поднес ему.

Беседы связной не получилось — были каскады веселых слов, и разговор легко и вольно перескакивал с одного предмета на другой, сопровождаемый залившимся, ребячливым смехом семнадцатилетнего лицеиста и удалым хохотком двадцатидвухлетнего гусара.

Беспечность и веселье Каверин сделал правилом жизни, было известно, что в пору учений в Геттингенском университете он преуспевал на шпагах и пистолетах, а на полях сражений удивлял всех своей храбростью.

Денщик время от времени заглядывал в комнату, и каждый раз слышалось:

— Эй, Гришка, налей!

Зная мечты Пушкина о военной славе, Каверин предался воспоминаниям:

— Да, братец, вот как было: расположились мы на кавалерийский бивак — лошади разнузданы, люди спят, а в это время человек сто французов перешли реку и вошли в деревню. Ну, тут крик: «Французы!» — команда: «Мундштучь, садись!» — со всех сторон перестрелка... Началась фланкировка, скачка, атака... Мы свое, а французы: «En avant! Vive l'Empereur!»<sup>14</sup>. Я до этого две ночи не спал, а тут меня отзывает граф Беннигсен и — пакет в руки: к главнокомандующему в штаб! Так, представляешь, я спал на коне, двое казаков поддерживали с боков, на привале положили сонного на землю, потом снова на коня, а я и не проснулся...

Он яростно хохотнул и, вытянув вперед руку, прокричал строчки известного поэта-гусара Дениса Давыдова:

...Я люблю кровавый бой;  
Я рожден для службы царской!  
Сабля, водка, конь гусарский,  
С вами век мой золотой!

А солдатский сын вскочил и, все играя на балалайке и притопывая, начал приговаривать, очевидно, то, что приходило ему в голову:

— У меня нет ни гроша, зато слава хороша! Ба-арыня, барыня...

— Гришка, налей!

— У тебя какие дети — эти, что ли, или эти! Ба-арыня, барыня...

— Ну, как твое сердечко? — Каверин опять хохотнул, любуясь стыдливым румянцем, разлившимся по лицу Пушкина. — Я знаю, кто она, — сказал он игриво. — А мы загудим твоей красавице серенаду...

Этого лицеиста Каверин отличал, потому что и сам писал стихи, но ни в коем случае не мог с ним сравниться в стихах, да, кроме того, юноша был чертовски остроумен, не по годам развит и обладал живым и независимым характером.

В это время в комнату вошел еще один гусарский офицер — коротко подстриженный мальчик лет пятнадцати, с удлиненным разрезом глаз, нарядный, как восточный принц, в красном мундире с шитьем, шнурами, выпушкой и галунами. Это был младший сын знаменитого генерала — Николай Раевский.

— Значит, он влюблен? — смеясь, спросил Раевский, обращаясь к Каверину.

<sup>14</sup> Вперед! Да здравствует император!

— Он мне конфиденции не делал,— сказал Каверин.— Садись, Раевский. Но чего стоит человек, который не влюблен?

Сам он слыл мучителем красавиц, и любовные его истории пользовались шумной известностью. То он заключал рискованные пари, то посылал карету ночью стоять под окнами одной дамы, в то время как сам находился у другой, а однажды, отправляясь на свидание, под воротник мундира подложил горчичники, чтобы слова о страданиях звучали натурально...

Входили офицеры — все знакомые Пушкину. Здраваясь с ним, кто-то произнес с подчеркнутым значением:

— О Рим! о гордый край разврата, злодеянья!

И Пушкин зарделся от удовольствия. Его стихотворение, обращенное к Лицинию, среди офицеров имело особую славу. Строки его — «Край разврата, злодеянья!», «О, Ромулов народ! пред кем ты пал во прах?» — говорили о русском самовластии.

— Пред кем восчувствовал в душе столь низкий страх? — подхватил Раевский.

Потом говорили о том, что император опять надумал изменения в форме: на доломанах и ментиках вместо трех рядов пуговиц — пять, причем один ряд крупных, а четыре мелких; выкладка на панталонах по новому узору; сапоги и кивера выше прежних, и кивера обязательно с плоским, а не с выгнутым верхом...

— Охота императору пустяками заниматься,— гудели недовольные голоса.— А кроме того, господа, и накладно-с каждый раз шить новую форму... Надоели парадеры!..

— Все рассуждаем о погонах, о цвете темляка... А где серьезные материи?

И пошел разговор о серьезном: о бездействии императора, рабстве и невежестве народа, несправедливости судопроизводства, тяжелой солдатской службе...

— Я, господа, какого-нибудь француза или немца приглашал к барьеру, если он мне, русскому офицеру, говорил плохо о матушке России! — воскликнул Каверин.— Но ведь правда...

Как бы между прочим кто-то сказал:

— В таком случае, господа, нужно составить общество и вместе обдумать, что делать...

— *Fils de S-t. Louis, montez au ciel*<sup>15</sup>, — повторил кто-то слова, которыми духовник проводил Людовика XVI на эшафот.

— А знаете, господа, что сказал Беннигсен, когда Павла стукнули по голове? *Quand on veut faire une omelette il faut commencer par casser les oeufs*<sup>16</sup>.

Казалось, сейчас произойдет что-то очень важное! Но нет, офицеры собрались, чтобы играть в карты.

— Составим общество, чтобы метать банк,— пошутил кто-то.

Все уселись за стол.

Провожая Пушкина к двери, Каверин воскликнул:

— Устроим твоей красавице серенаду!

Он внимательно заглянул Пушкину в глаза и сказал со значением:

— Вот те крест — не дам молодцу пропасть!

Пушкин дышал полной грудью. Он знал одно: он будет гусаром!

Затейницы музыки теперь воспевали привольное, бесшабашное житье — кавалерийские наскоки, дружеские пирушки, победы над красавицами — после опасностей войны наслаждение жизнью делалось особенно острым и желанным.

<sup>15</sup> Сын святого Людовика, вознеситесь на небо (франц.).

<sup>16</sup> Когда хотят сделать яичницу, нужно разбить яйца (франц.).

Скорее к ним, немудрым усачам, рыцарям меча,— к вольным просторам, которые так ему нужны.

Кто это — в доломане, ментике и высоком кивере? Это он сам, Пушкин, выпускник лицея, зачисленный в лейб-гусарский царскосельский полк.

Музы в звонких песнях доказывали, что можно быть и поэтом и гусаром.

## 11

Твой голосок, телодвиженья,  
 Немые взоров обращенья  
 Не стоят, признаюсь, похвал  
 И шумных плесков удивленья;  
 Жестокой суждено судьбой  
 Тебе актрисой быть дурной.  
 Но, Хлоя, ты мила собой!

«К молодой актрисе».

Он рано явился к дому графа Толстого, известного владельца крепостного театра. Спектакль начинался в шесть, улочка была пуста.

Но красный ковер уже был разостлан через тротуар к зеркальной массивной двери графского особняка. Сам театр помещался в дощатой пристройке, продолжавшей особняк, и каждый зритель был, таким образом, гостем и в доме графа.

Он стоял у тумбы с афишей, поглядывая на подъезжающие экипажи.

«Крепостными актерами его сиятельства графа Варфоломея Васильевича Толстого будет представлена «Днепровская русалка»... волшеббно-комическая опера с принадлежащими к ней хорами, балетами и превращениями. Часть первая...»

Вот карета остановилась у красного ковра, из нее выплыла необъятно полная дама, а потом выпорхнул старичок в напудренном парике и башмаках — Теппер де Фергюссон, музыкант и лицейский преподаватель пения, со своей супругой.

«...Ах, не все нам горькой истиной мучить томные сердца свои... На минуту позабудемся в чародействе красных вымыслов...» — стихи Карамзина были выведены на афише.

Постепенно Леонтьевская улочка заполнилась каретами, колясками, толпой нарядных людей. Петербургские гости, царскосельская знать, софийские офицеры подъезжали, подходили к театру, зычно покрикивали кучера, суетились, хлопали дверцами, опускали лесенки карет слуги, а лакеи с графским гербом на ливреях предлагали на подносах афишки.

Подъехали супруги Вельо с дочерьми: колеса расцвечены, дуга раскрашена — ради праздника! Девочки заметили Пушкина.

— Господин Пушкин, вы с нами?

— Саша Пушкин, почему вы не идете? Вы кого-то ждете?

— Maman, plus vite!..<sup>17</sup>

Быстрая французская речь слышалась со всех сторон. Недовольный голос произнес:

— Конечно — l'inévitable lycée!..<sup>18</sup>

Лицейстов в толпе было много. Целая их процессия отправилась за Вельо, а он все стоял возле афиши.

<sup>17</sup> Мама, побыстрее!

<sup>18</sup> Неизбежный лицей.

«...Антраша будут вершить Хрипунова Анютка и Антонов Васька (pas de deux), Безногова Аниска, Зорина Донька и Родин Филька (pas de trois)...»

Кареты подъезжали одна за другой: Комаровские, Северины, новый комендант Захаржевский... Известный граф Кочубей — в сюртуке, со звездой, чем-то похожий на Карамзина, но с курчавящимися волосами, с ним его дочь... Особое радостное возбуждение нарастало в душе у Пушкина в напряженно гудящей нарядной толпе.

Вот Раевский замахал ему рукой:

— Идешь? — И сделал многозначительный жест: понимаю, ты кого-то ждешь — une femme...<sup>19</sup>

Да, une femme! Амуры витали в воздухе. La femme... Воздух был насыщен любовью. Не было чувства возвышеннее любви!

И вот показалась карета, которую он ждал. Каждая мелочь теперь казалась значительной: масть лошадей, их желтые зубы, их пышные вскидывающиеся гривы, голубой цвет кареты (как у императрицы), ливрея рослого лакея, спрыгнувшего с запяток. Александр Бакунин вышел из кареты — судьба позволила ему быть ее братом!

Итак, она здесь! Пушкин направился вслед за ней.

Он услышал ее слова:

— Жара утомляет...

И эти слова показались необыкновенно значительными...

Граф и графиня встречали гостей на площадке мраморной лестницы. Граф — в светлом фраке, со складным лорнетом, который он то прятал, то вынимал из переднего кармана узких панталон; каждому он говорил что-то любезное, а дамам целовал ручки. У графини в руках был расписной шелковый веер.

— Неизбежный лицей,— смеясь, сказал граф, оглядывая лицейстов, то здесь, то там мелькавших в толпе гостей.

Толпа медленно продвигалась к театральному залу. Из окна Пушкин увидел театральный двор. Там стояли дощатые сараи, должно быть под рекевизит и жилье артистов. По двору торопливо сновали пестро разодетые, уже загримированные артисты; бородатые мужики тащили раскрашенные доски и размалеванные холсты. Волшебное царство!

В небольшом зале рядами расставлены были кресла; лож не было, окна не закрывали; за балюстрадой, отделявшей оркестр, у ramпы горели масляные лампы. Зал постепенно заполнялся.

Пушкин ходил по залу, раскланивался со знакомыми — все в том же радостно-опьяненном возбуждении — и наконец позаботился о месте для себя. Лицейсты устраивались у стен, позади кресел, в оркестре. Он направился в оркестр за балюстраду, обтянутую красным бархатом. Капельмейстер уже постукивал палочкой по попитру. Это был высокий худой человек в ярко-зеленом фраке и полосатых панталонах, на узком его лице с тонущим в жабо удлиненным подбородком написаны были нетерпение и волнение. Он был из вольных, перед его фамилией на афише стояло «господин», все же остальные оркестранты были крепостными. Пушкин уселся рядом с бородатым флейтистом.

Из-за занавеса доносились торопливая возня, шаги, восклицания. А в зале не прекращался гул голосов, и в лучах солнца, бивших в окна, зал золотился дорогими нарядами и расшитыми мундирами. Наконец капельмейстер взмахнул палочкой и оркестр заиграл увертюру. Но голоса в зале не умолкали и слышалось покашливание, смех, шум отодвигаемых кресел. Наконец пестрый занавес взвился.

<sup>19</sup> Женщину...

Сцена воскрешала Киевскую Русь. Боковые холстяные кулисы изображали лес, посредине синие линии означали Днепр, а вдали высился замок с башнями и крепостными стенами. Охотники — длинноволосые, в картонных средневековых латах, — потрясая картонными копьями и мечами, преследовали медведя. Потом заработала театральная машинерия: где-то застучали металлом о металл, раздался треск, скрип — прозвучал гром. Сцена заполнилась загадочными шумами, на зрителей повеяло романтической таинственностью.

Плавно лилась мелодичная, на итальянский манер, музыка. Вдруг зазвучал марш. Потом скрипки, флейты и кларнеты подхватили мелодию.

На сцене появились русалочки — в коротких белых платьицах, осыпанных блестками, они легко плыли над водами реки... И наконец зазвучала знаменитая, всем известная ария. Бедная девушка, а теперь главная днепровская русалка, Леста, манила в воды Днепра полоцкого князя Видостана, когда-то соблазнившего и покинувшего ее. Чистым, нежным голосом она пела:

Приди в чертог ко мне златой,  
Приди, о князь ты мой драгой!  
Там все приятства соберешь,  
Невесту милую найдешь.

Но у Видостана была невеста — дочь черниговского князя, Милославна. Бравурная музыка, резкое крещендо передали волнение героя.

Раздались аплодисменты, крики «браво!» и «тише, тише!».

Здрав голову, Пушкин следил за сценой. Скрипели рычаги, стучали блоки, тренькали натянутые канаты. С каждой сценой менялась декорация. Хорошенькая дочь днепровской русалки, Лида, одетая как крестьянская девочка — в сарафан, с нитками бус на шее, с множеством разноцветных лент, струившихся по ее спине вместе с косой, — явилась к Тарабару, чтобы узнать о своем отце. Каждое слово этого комического Тарабара вызывало смех в зале.

— Где мой отец, князь Видостан? — спросила она.

И зазвучала еще одна знаменитая песенка — о неверных мужчинах:

Мужчины на свете  
Как мухи к нам льнут,  
Имея в предмете,  
Чтоб как обмануть...

Потом действие перенеслось в замок черниговского князя. Идут последние приготовления к пышной свадьбе. Княжна Милославна выходит замуж за Видостана. Трубы возвещают о прибытии в замок жениха. Хор славит счастливую пару:

В любви, вине вкушай покой!  
Они дают нам рай земной.

Капельмейстер, вдохновенно махая палочкой, успевал время от времени делать угрожающие жесты в сторону кого-нибудь из музыкантов; оркестранты, упираясь бородами в инструменты, водили смычками и нажимали клапаны. В зале дамы обмахивались веерами... Частоккол биноклей, лорнетов и подзорных труб был направлен на сцену.

Действие перенеслось опять на берег Днепра. Печальный Видостан бродит по берегу, вспоминая о любви к скромной девушке, которая когда-то здесь жила и в непогоду укрыла его в своей хижине. Жалуются, плачут скрипки, звучание оркестра нарастает и обры-

вается трагическим пианиссимо. Что это? Слышен голос Лесты. Она появляется среди волн. Она зовет... Он падает без чувств. А русалочки кричат и хохочут — этих русалочек спустили сверху: сначала показались маленькие ножки, белые юбочки, потом ремни и веревки и наконец испуганные детские лица... А гром гремит, молния сверкает, звучат заключительные аккорды — и под аплодисменты, под крики «брависсимо!» закончилось первое действие.

Занавес опустили, и Пушкин бросился в зал. Со всех сторон слышалось:

— После Дюпора и Жорж, конечно...

— Да-с, русская тансерка — приятность, игривость, а натуры нет-с...

Пушкин сновал по проходу среди толпы. Ему встретился медлительный лицеист Тырков, и так хотелось говорить, что он заговорил с Тырковым:

— Тырков, ты заметил у Лесты, днепровской русалки, на левой щеке — мушка! — Его душил смех. — Ха-ха! Ну как же, во Франции во времена Клерон такая мушка на левой щеке означала неприступность. Ха-ха, Леста — и неприступность!

Малоподвижный Тырков с трудом соображал. А Пушкин был уже далеко.

— Ты заметил? — Пушкин бросился к другому лицеисту.

Нет, тот ничего не заметил.

Публика разбрелась по гостиным и аллеям английского сада. Капельдинеры и прислуга торопились всех обнести напитками и фруктами.

Слышались фразы:

— Ну-с — любовь, ну-с — страсть! Но ведь это декламация...

— Помните мадемуазель Жорж?..

Пушкин бросился за кулисы.

Здесь царил оживление. Машинист, безбородый, в длинном синем сюртуке, подпоясанный кушаком, тянул сверху веревки. Ставили декорации, передвигали мебель. Танцор в трико упражнялся в антраша и прыгал так высоко, что голова его уходила в облака сцены. Пахло ламповым маслом. Горели вощанные плоски и свечи.

Он спустился вниз, в полуподвал, в артистические уборные. Артисты и артистки, пригибая головы, бродили по коридору с низким потолком. Суфлер — потный, изнемогший от духоты в своей будочке, — сидя на полу коридора, обтирал лицо тряпицей. Валялся реквизит, обойные гвозди, уборы из «мишурной парчи», пестрядины и кумача... В артистических, низких и полутемных, шла подгримировка, в лапчатых бра перед зеркалами горели свечи.

Он подошел к молодой девушке — тяжелой, большеногой, с пышной грудью. Широкое ее лицо было сильно подмалевано.

— Здравствуй, Наталья. — Он вел себя здесь как человек, привыкший бывать за кулисами.

— Здравствуйте, барин.

Он жадно вдыхал запах пота, помады, красок, исходящий от крепкого ее тела. Когда-то она впервые сделала его сердечкиным: этой Наталье он посвятил первые любовные вздохи... Она в самом деле была недурна, прежде считалась примадонной, но ее тяжеловесность (когда она восклицала «ах», делая вид, что падает без чувств, в зале раздавался смех) и неизменное добродушие обрекли ее на второстепенные роли.

Он не удержался и, протянув руку, коснулся ее мягкого плеча.

— Как живешь, Наталья?



— Хорошо, барин.— Она улыбалась со спокойной приветливостью.

Потом, сидя в оркестре, он подмечал всякую нескромность в ее туалете, всякий жест, который можно было двусмысленно истолковать, и это переполняло его.

При разъезде он, как тень, следовал за Бакуниной. Пока ее мать и брат с кем-то говорили, он умудрился вслед за ней вскочить на подножку.

Она вытянула перед собой руку, будто раскрашенным билетом с надписью «Для входа в театр его сиятельства Варфоломея Васильевича Толстого» пыталась защититься от него.

— О, подарите... на память...

Он схватил билет, вложил в ее руку еще одно письмо — новое письмо, ибо вчерашнее показалось ему вялым,— соскочил с подножки и бросился бежать, чтобы у дома Бакуниной оказаться раньше, чем туда домчат кони.

## 12

С минут бесчувственных рожденья  
До нежных юношества лет  
Я все не знаю наслажденья,  
И счастья в томном сердце нет.

*«Наслажденье».*

Когда-то, в Москве, когда ему было лет девять-десять и его возили в танцевальный класс Иогеля, он заметил хорошенькую девочку в кружевах и бантах — Софью Сушкову — и, встречаясь с ней, испытывал необыкновенный прилив волнения и застенчивости. Все это было давно, это было золотым детством, с тех пор прошли годы, он дожил до семнадцати лет — и не был, все еще не был любим и счастлив! Много раз уже зима сменяла лето и лето сменяло зиму, в Царское Село приезжало много людей, и Царское Село покидало много людей, из лица уезжали профессора, к которым успели привыкнуть, уходили губернеры, а он все эти годы прожил как в заключении — все в том же закрытом лицее, в той же своей спальне, в тех же классах, тех же аллеях парка и улочках города — и не был, не был еще счастлив! Примадонна Наталья? В нее он был когда-то не на шутку влюблен. Но это было давно! Потом предметом его обожания сделалась величавая, малоподвижная девица Вельо — но ненадолго. Он был влюблен в великую княжну Анну Павловну — ту самую, которая теперь замужем за наследником нидерландского престола принцем Оранским...

Но все это было когда-то, а что теперь? Ах, как он ждал счастья! Вот что ему вспомнилось. Это было прошлой зимой, он ждал Катю Бакунину. Он знал, что она приедет к брату, и заранее занял наблюдательный пункт у окна библиотеки. Прямая Садовая улица далеко просматривалась, все было в снегу, и, вглядываясь в зимнюю эту белизну, он выискивал темное пятнышко, которое, приближаясь, должно было превратиться в карету. В библиотеке за круглыми столиками читали, дверцы всех шести книжных шкафов были широко раскрыты, и он тоже для виду держал в руках книгу... В глазах начало мельтешить. Потеряв надежду, он вернулся в свою комнату, бог знает сколько прошло времени, а когда он спускался по лестнице, он внезапно увидел ее: улыбаясь, она шла навстречу — воздушная, прекрасная, придерживая руками оборки черного бархатного платья... Ах, как он ждал счастья!..

В таком возвышенном состоянии явился он к Карамзину.

— Хорошо, что ты пришел,— сказал старый писатель звучным ровным голосом.

Он был в своем кабинете один. Как всегда, множество книг, манускриптов громоздилось на его обтянутом черной кожей столе.

— Прошу садиться,— сказал Карамзин.— Вот, я все пишу...— Он отложил в сторону перо и вздохнул.— И молю господа бога об одном: даровать силы для окончания труда моего...

Он привык к посещениям Пушкина и даже привык работать под взглядами восхищения, которые лицеист бросал на него со своего обычного места в углу дивана. К восхищению он привык. Все восхищались им. Все, кто ратовал за просвещение и новую литературу, стремились к нему. Он создал язык, которым все восхищались,— не высокопарный церковный язык и не грубый язык простонародья, а язык, способный выразить душу чувствительного человека; он ввел в поэзию балладу, послание, мадригал. Он написал «Богатырскую сказку» — и теперь все обратились к богатырским поэмам... Этот лицеист хочет быть поэтом, он тоже, конечно, пойдет по проложенному им пути.

Пушкин сидел, поджав под себя ногу, легкий, подвижный, готовый, как птица, каждую минуту вспорхнуть, чтобы лететь дальше, а глаза его — широко расставленные, ясно-голубые, быстрые, смеющиеся, покрытые влагой от избытка радости — вбирали в себя все, что видели: прямую сухую фигуру Карамзина, аскетическое лицо с запавшими щеками, тонкие, почти прозрачные пальцы, и его кресло с высокой спинкой, и его стол.

Перед ним был великий человек. Этот человек совершил подвиг. Карамзин дарил согражданам историю отечества!

— Я бывал в вашем доме,— говорил между тем Карамзин.— Ты был тогда совсем малыш... Помню, Сергей Львович просил меня почитать, а ты очень тихо сидел в углу и слушал... Какой ты был?.. В детстве еще нет характера... Мы родимся с темпераментом, но без характера. От нашего темперамента зависит способность принимать впечатления, а впечатления формируют постепенно характер...

Потом он снова говорил о тех мытарствах, через которые довелось пройти, чтобы печатать «Историю»... Он был представлен императрице Марии Федоровне, посетил великих княжен Анну Павловну и Екатерину Павловну, месяц обивал разные пороги — все без толку: пока он не поклонился Аракчееву, его не принял государь. Теперь зато отношение двора к нему изумительное, он живет спокойно: встает рано, в любую погоду гуляет пешком или на коне верхом, потом завтракает — совсем скудно, выпивает две чашки кофе и выкуривает трубку табака, потом работает... Вечерами читает...

Ему нравилось, отдыхая, разговаривать с этим лицеистом, который подавал надежды как поэт, был остроумен и любознателен, а главное, жадно прислушивался к каждому его слову. Иногда он читал лицеисту. Память у него была поразительной. Можно было спросить:

— Что у меня сказано о гриднях?

— Болтин ошибался,— отвечал Пушкин.— Болтин думал, что гридняца означает кухню, а это комната во дворце, где собирались телохранители княжеские, гридни... Болтин производил от шведского слова «жарить, печь», и слово в самом деле норманское, но означает «меч»... Сии отборные воины дружины княжеской действительно называли себя мечниками...

— А что я читал тебе из рукописного жития святого Владимира?

— В праздники господние,— наизусть повторял Пушкин,— три трапезы поставяте Владимир: первую митрополиту со епископы и со черноризцы; вторую нищим и убогим, третью себе, и боярам своим,

и всем мужам своим... Владимир велел сварить триста вар меда и восемь дней праздновал...

Иногда Карамзин делился с ним заветными мыслями...

Будто подводя какой-то итог, с выражением усталости и горечи на лице он сказал — так, как старый человек может доверить собственное чувство мальчику, то есть никому:

— Мысль о неизбежной смерти дает особую приятность жизни — все милее оттого, что не вечно... Жить — это больше, чем писать историю, или трагедию, или комедию. Я стараюсь как можно лучше мыслить, чувствовать, действовать, возвыситься душой, а все другое — шелуха, не исключая тех томов, которые я подготовил к печати...

Он и не ожидал ответа.

Впрочем, иногда лицеист спорил, особенно когда Карамзин защищал неограниченное самовластие, — ну да, молодой человек заражен был модным либерализмом. Но его возражения Карамзин встречал снисходительной улыбкой, такой же улыбкой, какой встречал прожекты другого навещавшего его лицеиста, Ломоносова, о реформах денежных систем...

На этот раз их беседа была нарушена новым посетителем. Карамзин любезно представил его и Пушкина друг другу. Это был лейб-гусарский ротмистр Петр Яковлевич Чаадаев.

Пушкин был поражен: как же так случилось, что до сих пор в Софии он не заметил Чаадаева? Не потому, что одет он в яркую, канареечно-пышную форму с золотистыми брандербурдами, золотым шитьем, нашивками. Тончайшие черты его лица скрывала странная неподвижность, и эта неподвижность будто стеной отделяла его от остальных людей. Да, такой человек не может быть у всех на виду, его нужно искать! Воображение Пушкина разыгралось. Даже молчание этого человека казалось многозначительным.

И вдруг на этом бесстрастном, холодном лице появилась улыбка:

— Я имел уже удовольствие много слышать о вас... читать превосходные ваши стихи...

Краска радости разлилась по лицу Пушкина. Вот это и слава! Он не знает этого человека, а тот его знает...

Карамзин заговорил с Чаадаевым — о норманском происхождении Русского государства.

Уже на другой день Пушкин был в Софии, в гостях у Чаадаева. Как прекрасно все складывалось: стихи его знали наизусть и они вызвали восторг; умнейшие люди не пренебрегали дружбой с ним. Казалось, он должен быть счастлив — но где оно, счастье?

Гусарский офицер сидел за туалетным столиком перед цельным венецианским зеркалом, а лицеист устроился на диване.

Драгоценные безделушки, бронзовые и фарфоровые, во множестве разбросаны были на тумбочках, столиках, камине; на стенах висели портреты, а трубки — разной длины, различной формы, в разнообразных оправах — составляли настоящую коллекцию.

Его новый знакомый был богат. Эту квартиру, снятую у софийской вдовы, он обставил так, будто поселился здесь навечно. Служа в полку, он держал свою прислугу, повара и экипаж для выезда. В Москве у Чаадаева был дом, в Нижегородской губернии — большое поместье, а капитал, оставшийся после родителей, достигал миллиона.

С этим человеком необыкновенно интересно было разговаривать. В неподвижности его лица, в холодном, застывшем взгляде серо-голубых глаз был какой-то магнетизм. К нему тянуло, дружеское его расположение льстило и радовало. И возникало ощущение: этот человек что-то знает, чего не знают другие, и говорит не все, что знает. В его голосе была бархатистая мягкость, в неторопливых движениях была

безукоризненная учтивость, и все же, глядя на его удлиненное лицо с молочно-белой кожей и яркими, будто подрисованными кружками румянца на щеках, полузакрытыми глазами и сжатыми тонкими губами, не покидало ощущение: да, этот человек не делится всем, что знает...

На туалетном столике перед Чаадаевым было разложено множество щеточек, пилочек, гребенок, баночек и флаконов с помадой. Чаадаев готовился к прогулке.

— Скажите, когда сделан ваш портрет? — спросил Пушкин, указывая на масляный портрет, висевший на стене.

На этом портрете розовощекий Чаадаев смотрел прямо перед собой строгим взглядом, сжав рот; красивую его голову твердо подпирал серебристый воротник на красной подкладке.

Чаадаев повернулся от зеркала к портрету. Он зашевелил губами, это шевеление будто заменило ему слова. Он долго молчал, все как бы готовясь к ответу. Взгляд его ушел в себя.

— Я был тогда молод, — наконец сказал он со вздохом.

Теперь Чаадаеву было двадцать два года, на портрете он был девятнадцатилетним.

— Я служил тогда в Ахтырском полку, — пояснил он.

Воображение Пушкина работало: вот что в этом человеке необыкновенно — разочарованность! Да, страсти перегорели, и теперь он холодно-спокоен, ко всему скептически равнодушен; чем сильнее водоворот чувств, ожоги страсти мучали самого лицеиста, тем удивительней и заманчивей казалась ему эта охладительность.

— Страсти губят ум, от страстей происходит смешение всех нравственных элементов... — неторопливо говорил Чаадаев проповедническим тоном. — Нет, мудрость велит избрать путь рассудка. Но невозможно быть вместе благоразумным и счастливым. Что же делать? Но что нужно для счастья: быть довольным собой и всеми. Значит, только глупец может быть счастливым. А тот, кто возвышается над толпой, должен стремиться к подвигу, к славе... -

Он рисовал иной путь высокого строя мыслей, духовного горения, уединенного познания — путь недоступный и непонятный толпе. Они оба — избранники судьбы, их обоих ждала слава! В счастливый день они встретились! А что ждет Россию?

— Я напому вам, мой друг, слова мадам де Сталь, — говорил Чаадаев. — «Деспотизм — это новшество, а свобода — это древность». Увы, это не относилось до сих пор к нашей России.

— Да, да! — воскликнул Пушкин. — Значит, нам нужно новое одиннадцатое марта. — Он говорил о дне убийства Павла. — Как можно жить одной славой прошлого? Только стариков до сих пор слепит блеск восемнадцатого столетия! — Он говорил о всеобщем ожидании реформ. — Конечно, когда абсолютная власть всех напугала, пришлось надавать обещаний, но обещать — еще не значит делать. — Он намекал на бездействие Александра.

Необычайный визитер прервал их оживленный разговор. Это был гусарский офицер с тонко закрученными усами и хриплым голосом. Разыгралась сцена, которая привела Пушкина в замешательство.

Речь шла, оказывается, о дуэли. Чаадаева кто-то вызывал на дуэль, а гусарский офицер был послан договориться об условиях. Он отказался сесть, он всем своим видом показывал, что зашел лишь по делу и не намерен вступать в другие отношения, кроме деловых, он перчаткой ударял себя по бедру и ронял коротко:

— Как вчера положено было... от известного вам лица... на известных вам условиях...

Но, видно, и на этого человека неотвратимо действовал исходив-

ший от Чаадаева магнетизм. Лицо Чаадаева, и прежде мало подвижное, теперь будто помертвело — кожа побледнела, а губы сжались.

— Прошу вас передать,— сказал он с силой,— что я не принял вызова...

Офицер сначала горделиво вскинул голову, усы его угрожающе зашевелились, но под взглядом серо-голубых глаз Чаадаева он смешался.

— Дорогой Петр Яковлевич... Вы знаете обстоятельства, которые привели меня к вам... Но вы знаете также искреннюю мою симпатию...— В его голосе было искательство.— Я передам ваш ответ.— И, не желая далее оставаться, он звякнул шпорами и вышел.

Визит этот, очевидно, стоил Чаадаеву всех его сил. Лицо его начало нервически подергиваться, он будто разговаривал сам с собой, не договаривая фраз, и делал странные, неопределенные жесты.

— Нет, ни у кого не иди на поводу!.. Да-с, презирая свет, можно не заботиться о мнении света... Вздор, вздор! Я был в сражениях под Бородином, Малоярославцем, Бауценом, Кульмом, Лейпцигом, железный крест, прусский «roug le mérite», Анна на сабле — вот свидетельства моей храбрости. Если за три года войны я не утвердил за собой нужной репутации, то дуэль, разумеется, мне этой репутации не даст... Нельзя жить мнениями света, нельзя...

Вот необыкновенный человек — он может жить вне общих мнений! Чаадаев кончил тем, что предложил Пушкину перейти на ты. Это было предложение дружбы, Пушкин был польщен и радостно согласился. И вот уже они собрались на прогулку. Чаадаев совершенно успокоился.

— Я подвезу тебя, мой друг,— предложил Чаадаев.

— Благодарю тебя,— ответил Пушкин.

Хотя от дома в Софии, в котором жил Чаадаев, до дворцового парка был всего лишь короткий квартал, но этот квартал они пронесли в карете, запряженной тройкой.

Потом они шли неторопливо по посыпанным песком дорожкам. Какие-то господа и дамы приветствовали Чаадаева, одаривали любезными улыбками, а он отвечал с невозмутимым достоинством, как будто само собой подразумевалось неоспоримое его право на особые приветствия и особые любезности. А как он разговаривал с женщинами! Почтенная фрейлина Плюскова ради него вылезла из коляски. Ее сопровождала очаровательная Огарева.

— Не находите ли вы, милостивая государыня, связи между гением архитектуры египетской и гением германского зодчества? — обращаясь именно к Огаревой, спросил Чаадаев.

Сейчас же прелестное выражение задумчивости появилось на лице молодой женщины: вопрос оказался очень важным. Прекрасные ее глаза вопросительно смотрели на Чаадаева.

Чаадаев продолжал:

— Заметьте геометрическую фигуру — треугольник, в которой помещается и пирамида Египта и шпиль христианских храмов... Не в этом ли общность устремления к богу?

Должно быть, он был прав. Ему была подарена самая соблазнительная улыбка.

Вот искусство, которым Пушкин желал овладеть больше, чем тайнами поэзии!

Он увидел Катю Бакунину и шагнул к ней.

На плечах ее была легкая накидка для прогулок, на голове шляпка с высокой тульей и перьями.

Бакунина расстегнула небольшой ридикюль, и в ее пальцах оказался конверт.

— Возьмите,— сказала она строго.

Он ошарашенно следил за ее руками в высоких белых перчатках. Конверт был точно такой, в каком он передал ей письмо, но на конверте он четко различил почерк Пушкина.

— Но это не мое,— пробормотал он, чувствуя, как краснеет.

— Ах да! — Она опять раскрыла ридикюль, и теперь в ее пальцах оказалось именно его письмо.

Конверт был не распечатан.

— Но... я хотел... очень важно...— пробормотал он.

— Если вы когда-либо захотите что-то сообщить мне,— сказала она,— вы сможете это сделать... через моего брата...

И все. Она ушла, не подарив ему даже взгляда. Он стоял на дорожке, держа в руках нелепое, постыдное письмо... Он был раздавлен, уничтожен. Он был в отчаянии.

О, какой элегической грустью теперь были охвачены музы! Вспорхнув под потолок, музы кружились в медленном хороводе. Мысли о смерти, о безвременной кончине молодого поэта овладели музами, и безрадостные строки одна за другой ложились на большой, грубый, синеватый лист бумаги... Но пусть — смерть! Потому что смерть — избавление от земной юдоли для тех, кому изменила радость.

В горести, в скорби, в тоске пели музы — и все же не забывали неутомимо работать, делая стих легким, благоуханным, прекрасным.

## 13

Вдохнули ль вы, внимая тихий глас  
Певца любви, певца своей печали?  
Когда в лесах вы юношу видали,  
Встречая взор его потухших глаз —  
Вдохнули ль вы?

«Певец».

Он был в отчаянии, и Каверин, глядя в его лицо со втянувшимися, будто от голода, щеками, выпяченными губами и потемневшими глазами, воскликнул:

— Не дам молодцу пропасть!

Было поздно. Гости ушли, комната — с валяющимися на полу бутылками, пролитым на стол вином и опрокинутыми стульями — выглядела будто после разгрома. Возвращаться в лицей не хотелось. Уже прошло время вечерней молитвы, время отбоя — он сидел у Каверина. Впрочем, и прежде случилось ему возвращаться в лицей тайком.

— В атаку! Coup de main! Нападение... Статочное ли дело такому молодцу пропадать! — восклицал Каверин. — Эй, Гришка!

В руках лицеиста оказался полный стакан. Он выпил и сильно побледнел.

— Эй, Гришка!

Стаканы опять наполнились.

Каверин принялся вспоминать, как кутил и проказничал за границей. Он сел на диван рядом с Пушкиным, обнял его, а ногу закинул на ногу, покачивая носком.

— Да, уж я повеселился... Пруссачки любят наслаждаться, поверь мне... Я жил в Hôtel de Russie<sup>20</sup>, гулял по Unter den Linden<sup>21</sup>. Бульвар наипрекраснейший, пропасть народу... Подойдешь к девке, начинаешь

<sup>20</sup> Отель «Россия» (франц.).

<sup>21</sup> Под липами (нем.).

болтать, посидишь с ней на лавке... потом веди ее к себе или иди к ней, и можешь быть уверенным, что не получишь refus<sup>22</sup>. Но зачем в тесноте, за деньги? Можно на чистом воздухе даром!.. Эй, Гришка!

И уже яркая краска сменила бледность на лице Пушкина, глаза, замороженно прикованные к Каверину, зажглись, и неровный громкий смех сопровождал слова гусара.

— Говорят, я дамский фаворит. Все это гиль, чепуха — нужно уметь!.. В Бремене есть городской погреб двенадцати апостолов — каждому апостолу поставлена громадная бочка отличного рейнвейна... Я жил там у бедного аптекаря, у него молодая дочка; одна дверь вела в клистирное заведение, в покои хозяев, другая, со двора, по крутой лестнице ко мне...

И он рассказал любовную историю, которая заставила лицеиста вскочить с дивана.

— А Париж! — вспоминал Каверин. — Как-то в ресторане четверо молодых людей заказали бутылку шампанского и четыре стакана. А я заказал один стакан и четыре бутылки, все за обедом выпил и вышел не шатаясь под их аплодисменты. Могу с утра до вечера бить муху. (Это означало на офицерском жаргоне пить вино.) Ах, Париж!.. В одиннадцать ночи вылезают из своих погребов парижские сирены, манят охотников до наслаждений...

В самых откровенных выражениях бравый гусар описал три к т р а к, что на офицерском жаргоне означало любовь к парижанкам...

Лицо юноши сделалось пунцовым.

А Каверин поднялся с дивана и сказал каким-то иным — деловитым голосом:

— Вот что, поедем-ка к...

— Когда? Куда? К кому? — вскричал Пушкин. Голос у него осел.

— Эй, Гришка, запрягать! Цимлянского три бутылки. Рейнвейнского три бутылки... Конфеты...

Каверин деятельно распоряжался, а Пушкин, понуриив голову, стоял посредине комнаты. Ехать не хотелось.

— Э, хватит быть младенцем! — Каверин хлопнул его по плечу. — Ну-ка выпей. А fond!<sup>23</sup>

Прежде чем пристегнуть саблю, он обнажил ее, вместо зеркала посмотрел в синеватую холодную сталь и браво подкрутил ус.

— Подожди, и я... — сказал Пушкин.

Он тоже поднес к лицу саблю. В матовых гранях плясали красные отблески свечей.

— Ну, едем, едем...

Вышли.

— Посуди сам, — сказал Каверин, — выгоднее держать четверку своих, чем нанимать пару. Посчитай: овса в месяц на четырех лошадей девять мер, это шесть четвертей и шесть четвериков — и дешевле...

Вечер был темный. Неясно громоздился неподалеку Запасной двор с массивными кирпичными казармами, башней гауптвахты, связями конюшен, а дальше — двухэтажный дом полкового командира. Вся эта София, плохо и неровно застроенная, казалась большим пустырем. Огней почти нигде не было видно.

Поскакали быстро. Копыта лошадей, казалось, с грохотом обрушиваются на мостовую.

— Скажи... как же... — неуверенно сказал Пушкин.

— Э, им все уплачено, — небрежно махнул рукой Каверин.

<sup>22</sup> Отказа (франц.).

<sup>23</sup> До ана (франц.).

Нет, ехать не хотелось. Он рад был бы выпрыгнуть из кареты. Его любовь, что будет с ней?

Вот и Царское Село. Мелькали знакомые улицы, знакомые дома... Проскакали мимо особняка графа Толстого и неподалеку остановились.

Гришка соскочил с козел, Каверин и Пушкин вышли из кареты.

Он стоял в темноте, держась рукой за каретный фонарь, и с неожиданной зябкостью ощутил прохладу ночи. Вдоль улицы тянулся высокий забор. Оттуда, из-за забора, доносились голоса — Каверина и чей-то старческий голос, торопливый и заискивающий. Подскочил денщик и ласково сказал:

— Вас просят-с...

Он прошел во двор, потом на крыльцо.

В комнатах было темно. Кресало ударило по кремню, посыпались искры, затлел трут, вспыхнуло слабое пламя серной лучины, и запахло серой, а потом пламя сальных свечей осветило картуз, бороду и долгополый кафтан.

— Прошу, господа,— сказал старик, указывая на диван, и тотчас вышел.

— Обывательский частный дом... Я давно здесь плачу,— сказал Каверин.

В комнате стояли стол, диван с вышитыми подушками, несколько этажерок по углам, на стенах висели потемневшие литографии, а на окнах стояли горшки с цветами. Занавески на окнах были задернуты, дверь в соседнюю неосвещенную комнату открыта.

Денщик расторопно вносил и расставлял на столе привезенные припасы.

Каверин на диване закинул ногу на ногу и, покачивая узким носком начищенного сапога, запел бравый марш немецких кавалеристов:

Kein Stiefel, kein Sporen,  
Standarten verloren!..<sup>24</sup>

Неизвестно, сколько прошло времени — много или мало,—и в комнату вошли две девушки. Они кутали плечи в платки.

Каверин живо вскочил с дивана:

— Мамзели, прошу, проходите.

Они медленно продвигались от порога в комнату, свечи неярко горели, и, глядя на узорчатые платки, скрывавшие их плечи, на тонкие ткани, под которыми видны были вздымавшиеся при дыхании груди, на юбки, колеблемые движениями ног, Пушкин как будто утратил способность соображать, и лишь потом взгляд его остановился на их лицах и он узнал крепостных актрис из театра Толстого: Наталью и вторую — меньше ростом — Машу... Он вскрикнул от неожиданности.

А они, видно, ничему не удивлялись. Низко поклонились и послушно сели за стол туда, куда им указал Каверин.

— Вкусное вино.— Маша облизала губы язычком, как кошечка, и при этом робко улыбнулась.

И Наталья, надкусив конфету, тоже сказала:

— Вкусная конфетка...

Наталья как будто еще больше поширела. Лицо ее было густо присыпано пудрой. Все тот же запах грима, красок исходил от нее, но в театре он кружил голову, а здесь был неприятен. Пушкин даже старался не смотреть на нее. На душе делалось все тягостнее...

<sup>24</sup> Ни сапог, ни шпор,  
И потеряны штандарты!..



Каверин говорил о театральных делах. Вино развязало девушкам языки... Они учили новые роли, но, не зная грамоты, учили с голоса. То и дело слышалось: качука, буф-комик, дивертисмент, дансерка...

Он спросил Каверина по-французски:

— Как же... как все будет?..

Девушки вопроса не поняли, но по дрожащему голосу сейчас же догадались о его неуверенности и волнении, переглянулись между собой и ласково заулыбались.

— А вот как будет,— сказал Каверин и поднялся из-за стола.— Ну-ка, Марья, пойдём с мной.

Он взял со стола одну из бутылок. Марья сейчас же соскользнула со стула и последовала за ним в соседнюю комнату, неся подсвечник с горящей свечой. Дверь за ними закрылась.

Оставшаяся свеча неясно горела, мигая пламенем.

— Я пойду,— сказал Пушкин.

Наталя и этому несколько не удивилась.

— Ага,— сказала она,— уже поздно. А свечу погасить надо, чтобы зря не горела... У них своя есть...— Шумно вздохнув, она задула свечу.

Из темноты комнаты он выбрался в уличную темноту.

### Часть III

#### 1

Все чередой идет определенной,  
 Всему пора, всему свой миг,  
 Смешон и ветреный старик,  
 Смешон и юноша степенный.

«К Каверину».

Со всех сторон слышалось:

— Новость!.. К директору!..

И звенел звонок. Из своих комнат, из коридоров, из «длинной» и «проходной», изо всех уголков спешили воспитанники в зал.

— Господа, сохраняйте порядок.— Гувернер Чириков округлым жестом, соответствовавшим изящной, поэтической его натуре, указывал за портьеру в арочном проходе.

Егор Антонович обратился к Чирикову:

— Вам не кажется?..— И потянул носом.

— Да-с,— согласился Чириков, всем своим видом — выражением лица, наклоном туловища — выказывая согласие: да-с, вы совершенно правы-с.

Печи дымили. Это было бедствием лица. Но во взгляде гувернера из-под опущенных век не было сочувствия. Директор наводил порядок, он, обходя этажи, был как гроза и замечал все: как чистят, моют, метут, как тафель-декеры накрывают столы, куда, зажав бумаги под мышкой, спешат канцеляристы, кого, зачем, когда на хозяйственный двор направляет эконо́м Камараш. Директор лицеистов ласкал (слишком ласкал, по соображениям Чирикова), к прочим был строг (к нему, Чирикову, излишне строг), и Чириков предпочитал Гауеншильда. Энгельгардт предшественников обвинял в развале хозяйства; теперь он хозяйничал сам — и что же? На дворе январь, жестокий мороз, а печи дымят.

— Сохраняйте, господа, порядок...

Воспитанники зыбким, подвижным полукольцом стали перед ди-

ректором. Теперь каждый день приносил новости. Князь Голицын, новый министр, сыпал распоряжение за распоряжением, приказ за приказом.

— Итак... — Энгельгардт с доброй улыбкой смотрел на лицестов. — Итак...

Но еще подбегали запоздавшие, на ходу застегивая форменные сюртучки.

— На этот раз действительно важная новость, — сказал Энгельгардт ровным голосом. — Его сиятельство князь Голицын распорядился ваш выпуск ускорить на месяц... — Он повысил голос, чтобы перекрыть гул. — Следовательно, экзамены в мае, а не... Следовательно...

Но уже трудно было говорить. Посыпались вопросы. Кто-то считал по пальцам: февраль, март, апрель (половину января в расчет можно было не принимать). Кто-то воскликнул, схватившись за голову: «Ужас, ужас!» И в самом деле — ужас! Три месяца — это почти завтра!

— Я прочитаю расписание экзаменов. — Энгельгардт достал небольшой лист плотной бумаги и вооружился очками.

Вид расписания произвел ошеломляющее впечатление. Это уже были не слова, но нечто осязаемое, вещественное.

— Пятнадцатого — латинский язык, — прочитал Энгельгардт.

Вот он, первый камень, о который споткнутся многие! Латынь — что может быть ужаснее!

— Экзамен по латинскому языку первый, именно латынь — основа всякой образованности, — сказал Энгельгардт, самыми интонациями своего голоса стараясь внести успокоение.

Но каждое его слово в двадцати девяти душах отзывалось бурными всплесками. Слухи об экзаменах давно всех волновали, и лицей походил на встревоженный улей. Говорили разное: что вначале будет строжайший частный экзамен, а уже потом экзамен перед государем. Говорили, что члены Академии наук и святейшего синода в огромном числе придут в Царское Село, что государь решил первый выпуск из лицей провести с небывалой строгостью и с небывалой торжественностью.

— Закон божий... Наше мировоззрение — это и есть закон божий...

Уверяли, что государь на экзамены пригласит легитимных монархов — австрийского императора Франца I, прусского короля Фридриха-Вильгельма, князей из Германии...

— По российской словесности... по немецкой словесности... по французской словесности...

Как беззаботно прошла зима прошлого года! Какая была милая пора! Лицей, отрезанный от всего мира, жил своей жизнью: лекции, прогулки, в свое время завтрак, обед, ужин, отбой — свои радости, свои волнения, свои «внутренние происшествия»...

— По географии и статистике иностранной... по политической экономии и финансам... по праву частному и публичному...

Теперь уже казалось, что хочется только одного — пусть останется все по-прежнему: слышать, как ходит с колокольчиком в руках дядька из конца в конец коридора; спешить в столовую, где гувернер наводит порядок, а тафель-декеры, начиная с гувернера, разносят тарелки; совершать обмены возле «программы кушаний», написанной восхитительно неграмотно (например, «аладьи, посипан сахар»), — одному хочется оладий, другому пирожков с капустой, третьему сбитня, а ловкачи «хомяки» успевают получить и то, и другое, и третье; по звонку спешить в классы, торжественным строем в воскресные дни подниматься на почти пустые хоры дворцовой церкви...

— По праву гражданскому и уголовному... по географии и статистике отечественной... по чистой математике...

Но шла уже зима последнего учебного года. И все было иначе. Вдруг перестали пересаживать по успехам с места на место — видно, не было смысла применять поощрительную эту меру. Даже патриархальный гувернер Калинич не говорил уже старшекурсникам «мои пичужки» или «мои буяны», ласковые эти слова оставив для маленьких. А профессеры торопились завершить обязательный курс, чтобы целиком заняться подготовкой к экзаменам. И вот оказалось, что роковые экзамены ближе, чем ожидалось!

— По прикладной математике... по полевой и долговременной фортификации... по физике,— закончил Энгельгардт и спрятал листок.— Все прекрасно,— сказал он спокойно.— Не так ли? — Он подбадривал испуганных.— Все прекрасно, и никто не ударит лицом в грязь, не так ли? — И он пустил в ход все старые свои приемы: смешливость, лукавство, отеческий тон.— Разве ты ударишь лицом в грязь, Данзас? — Добрый директор подмигивал Данзасу.— Разве ты ударишь лицом в грязь, Дельви? — Он обращался к самым последним ученикам. И сказал подчеркнуто раздельно: — А мы подумаем, как сделать так, чтобы каждый хорошо ответил...

Что это? Неужели директор подавал надежду тем, кто давно утратил всякую надежду?

— Каждый знает свои отметки в Таблице успехов,— сказал он.— Занимайтесь.— И покинул зал.

Лицеисты загалдели. Что ожидает их?

— Я... я знаю,— торопливо проговорил Комовский.

Он оказался в центре круга.

Что знает смола Комовский? Что знает лиса Комовский? В этом юноше с ежиком коротких волос и мелкими чертами, которые делали его лицо хрупким и бесцветным, часто подозревали фискала, ему дали грубое прозвище — Недоделанный. То он страшал всех карами за грехи, то бегал облегчать душу доверительными беседами с гувернерами. У Чирикова он был любимчиком. Что же удалось ему узнать? Толпа тесно обступила Комовского.

— Будет так,— говорил Комовский,— каждый заранее выучит билет. Этот билет будет с ним... На экзаменах нужно будет подойти к столу, а номер назвать не билета, который вытащил, а того, который припрятал...

Раздалось дружное «ура». Это было спасением. Уж один-то билет каждый может выучить!

Пушкин и Кюхельбекер отошли к окну.

— Мы живем среди всякой суеты и мало думаем о великом,— сказал Кюхельбекер.— У Шиллера маркиз Поза возглашает: «Век не созрел для моих идеалов»!

Он всегда загорался от строк любимого поэта. Теперь он принялся горячо комментировать Шиллера: вот где могучая торжественность, вот где всемирная значимость! Вот пример высоких устремлений! Вот певец свободы!

— Я часто думаю теперь о назначении жизни,— признался Кюхельбекер.

— И что же? — Пушкин сказал это не очень весело. На душе у него последнее время было сумрачно.

— Как жить, не зная, для чего живешь? — понизив голос до таинственного шепота, сказал Кюхельбекер.

— А как ты узнаешь?

— Этой ночью я плохо спал,— сообщил Кюхельбекер.— Я прислушивался, как будто знал, что вот-вот совершится что-то важное.

Где? Что? Где-то в мире.— Он показал рукой в окно с промерзшим по краям стеклом.— И в самом деле, среди множества звезд я увидел пролетевшую звезду...

— К чему ты все это? — спросил Пушкин.

— А к тому, к тому...— Кюхельбекер, как всегда, когда волновался, начинал задыхаться.— К тому, что там,— он подошел к окну,— своя жизнь. Как я связан с той жизнью? Там тоже душа, а моя душа — лишь часть общей души. Это надо почувствовать! Душа на пути к совершенству поднимается от низшего к высшему...

— Все это схоластика,— раздражаясь, сказал Пушкин.— Ты скажешь так, другой не так, а как проверить, кто прав? Здесь нужны знания, факты.— Его вообще раздражали туманные мудрствования.

— Когда знаешь, что душа устремилась к совершенству, тогда видишь в жизни цель, и эта цель — самоусовершенствование,— горячо продолжал Кюхельбекер.

— А может быть, вовсе и нет никакой цели,— возразил Пушкин.— Ты родишься, живешь и умираешь... Вот и все. Я хочу думать о том, что мой разум может понять... Я хочу ясности, а не туманной схоластики!

Прошел час. Он спускался по лестнице все в том же состоянии сумрачности и раздражения. На изогнутую винтом широкую лестницу доносились, и здесь смешивались, сверху — голоса старшекурсников, снизу — крики младших лицеистов. Придерживаясь рукой за гладкие перила на причудливых балясинах, он быстро спускался и уже миновал середину лестницы, когда вдруг увидел... Навстречу со свитой молодых людей поднималась фрейлина ее величества мадемуазель Бакунина...

Она улыбалась ему как старому приятелю и остановилась поболтать на площадке.

— Мне успели сообщить,— смеясь и рукой указывая на свою свиту, сказала она,— что на месяц раньше, чем можно было ожидать, вы покинете тесные стены школы?

— Oui, mademoiselle, la fin couronne l'oeuvre<sup>25</sup>.

— И что же вас ждет — конная гвардия?

— Но я еще не решил, идут ли мне усы,— отшутился он.

— Ах вот как! — Она рассмеялась.

И все... И как ни в чем не бывало они разошлись.

Глинобитный пол, посыпанный толстым слоем опилок, глушил удары копыт.

С галереи, ожидая своей очереди, он следил, как с привычной неторопливостью скачут по кругу, поднимая серые облачки, кавалерийские учебные лошади... Хлопали бичи. Раздавались команды. Каменное удлиненное здание с закругленными углами сотрясалось.

Объявили смену, служители принялись убирать манеж и посыпать опилками. Пушкин, уйдя в свои мысли, облокотился о перила.

— Господин Пушкин, не свалитесь,— сказал гувернер Вильм, сидевший на складном стульчике неподалеку на галерее.

— Я? Что вы!

— Вы всегда, господин Пушкин, погружены в свои думы,— сказал гувернер.— Вы рассеянный. Ja, Sie sind sehr unaufmerksam... Ihr abwesender Blick...<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Да, мадемуазель, конец — делу венец (франц.).

<sup>26</sup> Да, вы очень рассеянный... Ваш отсутствующий взгляд.. (Нем.)

Пушкин встрепенулся.

— Вы ошибаетесь, господин Вильм.

С галереи видна была вся площадка, взрылленная ударами копыт, кучи опилок, навоз, а вдоль дорожек — прислоненные к беленым стенам щиты, служившие для скачек с препятствиями. Все засуетились, а потом воцарилась тишина: явился сам генерал Василий Васильевич Левашев; он покровительствовал лицею, что было неудивительно, ибо лицею покровительствовал сам император...

Пушкин, стоя на галерее, переминался с ноги на ногу, нетерпеливо ожидая сигнала. И манеж, и верховая езда, и звучные команды, и вся эта военная обстановка нравились ему.

И вот снизу громко объявили:

— Господа лицеисты, замена. Пожалуйте к лошадям!

Пушкин бегом бросился вниз по узкому и пологому пандусу; сапоги стучали о камень, потом увязли в опилках. Ему досталась каурая кобыла. Вставив ногу в стремя, он легким движением поднялся в поскрипывавшее кожей седло, еще хранившее тепло предыдущего седока.

Ощущение легкости и ловкости своего тела было радостным. Но грустные воспоминания и сейчас не отступали... Осень выдалась на редкость хмурая, дождливая, да и всегда разъезд из Царского Села печалью отзывался в лице; уехала княгиня Фольмар с многочисленной свитой, потом Щербатовы и Апраксины, потом с детьми, воспитанниками, домочадцами, боннами и гувернерами — Комаровские; дом за домом пустел — уехали Рихтеры, Новосильцевы, Северины, и по дороге на Петербург тянулись длинные обозы карет и повозок; покинула Царское Село и Катя Бакунина; а в конце сентября уехал Карамзин с семьей... Военный оркестр уже не играл перед вечерней зарей у гауптвахты. Уже не встречались скачущие веселые кавалькады. Аллеи парков, улочки города опустели. Дождь, как водяная завеса, повис в воздухе, иногда проглядывало солнце, потом снова лил дождь — то распыленный на мелкие брызги, то барабанивший крупными каплями; канавки, речки, озера вздулись, искусственные водопады сделались шумнее, на Новом Месте размыло дороги, и лишь на дорожках дворцовых парков песчаный грунт легко поглощал влагу. Все мысли его тогда были о ней...

Рослый усатый берейтор, держа в руке бич, подошел укоротить стремя.

— Она лихая? — спросил Пушкин о кобыле.

Кобыла гнула шею, фыркала и грызла мундштук. Шелковистая гладкая шкура на ее шее подергивалась.

— Вам, господин лицеист, самому надо побезжку ее понять, — неторопливо ответил берейтор.

Пушкин натянул повод.

— Ну-с, господа. — послышался хриплый, низкий голос Левашева. Он стоял посредине манежа — коренастый, плотный, с пышными усами и мохнатыми бровями, с грубоватым лицом лихого рубаки. — Посылайте лошадей!

Началась учебная работа на шагу. Прекрасно выезженная лошадь голову держала неподвижно, а круп ее плавно, мягко покачивался. Делали круг за кругом.

...Мысли тогда были о ней. Он выходил в пустынный, заброшенный парк. Набрякшие, размокшие листья лежали на дорожках. Ветер обдавал лицо мелкими брызгами. Земля, схваченная заморозками и размытая дождями, лопалась, густела, чавкала и налипала комьями. Берега были пусты, вода свинцово отяжелела. Девушка из басни Лафонтена все сидела на камне, подперев голову рукой, следя за во-

дой, с тихим журчанием вытекающей из разбитого кувшина. И с такой отчетливостью воображение представило здесь ее, что захотелось сейчас же увидеть ее. И долго тогда стоял он один в пустынном углу осеннего парка, одетый в серую шинель с алым твердым воротником, глядя на побуревший размытый песок дорожки, на пестрый ковер облетевших листьев, на пожухлую, поникшую траву, будто отыскивая следы ее ног...

Генерал Левашев постукивал стеком по вычищенному до блеска сапогу с узким носком и энергично делал замечания:

— Голень плавает... Господин лицеист, вам говорю: куда нога ушла? Нет, нет, господа, остановить лошадей!

В обширном здании манежа гулко звучал привычный к команде голос недовольного генерала.

— Господа, хотите учиться — милости просим, а гонять лошадей без цели не позволю. У нас так: заслужил стремя, а потом заслужи шпоры — вот так, господа! — Помахивая стеком, он ходил по кругу, оглядывая всех требовательным взглядом.

Сам он был отличным наездником. Иногда в манеже к нему подвели лошадь, и он показывал зачарованным лицеистам высшие элементы выездки: курцгалоп, дыбки, зайчика...

Опять работали на шагу. Потом меняли аллюры, поворачивали лошадей, действовали шенкелями.

— Строгость в каблуках дайте мне! — покрикивал генерал.

Каурую кобылу он хлопнул рукой по шее и сказал Пушкину:

— А у вас — превосходно! Excellent!

— Je vous remercie! <sup>27</sup> — зардевшись от удовольствия, воскликнул Пушкин.

...Летом он стихов почти не писал, но осенью, когда Кати Бакуниной уже не было здесь, чувство о ней воплощалось в стихи. Грусть осени сливалась с его грустью. Казалось, и сам воздух — этот благоуханный воздух царских парков — полон музыки слов. Он писал в эти осенние дни почти непрерывно. Стихи ему снились даже ночью! Он писал элегии, полные тоски неразделенной любви, — эти элегии и были тем единственным, что принесла ему любовь...

Опять объявили смену.

Тяжелая дверь открылась, и в манеж вошла группа офицеров. Генерал их тотчас заметил, а они, не снимая киверов, сделали фрунт.

Левашев подошел упругим и молодцеватым шагом — видно было, что он сердится, и лица у офицеров тоже были озабоченные.

— Господа, — сказал Левашев звучно. — Вы готовите мне величайшее неудовольствие.

Пушкин, стоявший близко, уже в шинели и фуражке, смотрел во все глаза и старался не пропустить ни одного слова.

Вперед на шаг вышел Каверин.

— Ваше превосходительство, — сказал он строго и твердо. — Мы заявляли, что не желаем служить вместе с этим господином. И никто принудить нас не может.

Левашев сделал нетерпеливый жест: неужто здесь, в манеже, заполненном мальчишками-лицеистами, вести такой разговор!

— Но теперь мы собрали подписи, ваше превосходительство, — сказал Каверин. Он дерзко смотрел генералу прямо в глаза.

— Прошу пожаловать вечером ко мне домой, — коротко сказал Левашев.

Пушкин тотчас бросился вслед за Каверинным.

<sup>27</sup> Благодарю вас! (Франц.)

Пошли рядом. Каверин был, как всегда, необыкновенно жизнерадостен.

— Понимаешь,— объяснил он,— мы не желаем служить вместе с грубияном и невеждой... Не так давно по личному ходатайству генерала к нам перевели некоего штаб-ротмистра Кнабенау, немца из мещан. Он пятнает наше общество. А генерал через голову других продвигает его.

Свежий снег покрывал утопанную дорожку, оголенные кусты, и сапоги мягко утопали в снегу. Ветер сбрасывал с веток деревьев хлопья снега.

Каверин остановился.

— Приходи вечером,— сказал он. Сказал это с выражением особой значительности.— Может, закатимся куда-нибудь?..

Он уже научил лицеиста приносить жертвы Вакху и Венере. Теперь они иногда вместе ездили по царскосельским девкам.

— Принесем жертвы...— Каверин звучно захохотал.

Пушкин ответил ему звонким, напряженным, срывающимся смехом.

В лице он опять встретился с Катей Бакуниной. Она разговаривала с братом, стоя в коридоре, и с улыбкой повернула голову к Пушкину.

Разговор завязался пустой. И он внезапно понял, что Катя Бакунина — светская барышня, а лицом похожа на своего брата — и удлиненным подбородком, и разрезом глаз, и даже ямочками на щеках, а брата ее Пушкин всегда терпеть не мог... Колдовские чары рассыпались! Очарование исчезло!..

Она посчитала нужным заговорить на литературные темы. Она читала «Матери-соперницы, или Коварство» госпожи Жанлис — читал ли он? Подписан ли он на «Стихотворения» Жуковского? Подписаться трудно, но ей удалось — а ему удалось? Когда же ожидается второй том?..

Теперь он заметил, что она неумна: да, она даже не могла заметить, что чувства его изменились. Она не могла понять, это видно было по ее поведению. Она не могла удержаться от маленького кокетства: смеялась, откидывая назад голову, а иногда взглядывала на него будто с испугом, словно вот-вот ожидала новых и новых его любовных безумств...

Она весело рассказывала, как некая девица Р. — хорошенькая, но глупая провинциалка, не умеющая танцевать, — приехала на бал, и некоему К. она посоветовала пригласить эту Р. на танец, и потом он ей говорил: «Вы злая, Катиш, право, вы презлая!»

Слушая Катю Бакунину, он взглядывался себе в душу. На душе было сумрачно, и пусто, и больно...

Потом, в своей комнате, он сидел за конторкой, обхватив голову руками. Как жить? Чем жить? Любви, очарования жизни больше нет...

## 2

Что восхитительней, живой  
Войны, сражений и пожаров,  
Кровавых и лустых полей,  
Бивака, рыцарских ударов?  
И что завидней кратких дней  
Не слишком мудрых усачей,  
Но сердцем истинных гусаров?

«В. А. Пушкину».

Дым стоял столбом. Шла карточная игра.

Уже много было выпито — пили à discrétion<sup>28</sup>, ставя под столы ящики с шампанским, — и в комнате Каверина было жарко и накуре-

<sup>28</sup> Вволю, сколько угодно (франц.).

но. Пушкин каждую карту сопровождал восклицаниями, смехом, жестами радости или разочарования, и его шумливость и непоседливость в конце концов надоели солидному офицеру, его партнеру.

— Право, какой вы,— недовольно сказал офицер.— В вашем учебном заведении вас не учат сидеть спокойно?

— Что? — Пушкин в бешенстве вскочил со стула.— Вы вздумали школить меня?

Офицер, не ожидавший этого от щуплого юноши в ученической форме, пожал плечами.

Сидевший с ними Раевский сказал умиротворяюще:

— Господа, ведь мы собрались веселиться, играть в карты.

Но сам воздух, казалось, был раскален и ссоры вспыхивали поминутно: то здесь, то там объяснялись из-за каждого слова, защищая честь, оберегая *point d'honneur*<sup>29</sup>.

Вот и между Кавериним и молодым адъютантом генерала Левашева, князем Лобановым-Ростовским — офицером с тонкими, правильно чертами лица, холеными усами и зачесанными назад темно-русыми волосами,— разгорелся спор: слово за слово — и разговор сделался слишком уж горячим. Остальные поглядывали на их стол и прислушивались.

— Как же так,— говорил Каверин,— все знают, только ты, Лобанов, не знаешь.

— И могу повторить: не знаю об этом,— отвечал Лобанов-Ростовский.

— Ты брось это, Лобанов!

— Господа! — Лобанов-Ростовский обращался ко всем офицерам, как бы желая этим подчеркнуть, что Каверина убедить невозможно.— Послушайте, господа: в этом деле прав генерал.— Он не повышал голоса, сдержанно улыбался, но сквозь его светскую выдержку просвечивали самоуверенность и высокомерие.— Генерал убедительно просит, господа: все дело немедленно прекратить...

— Не можем прекратить, Лобанов,— энергично сказал Каверин.

Было шумно, и Пушкин, взяв сторону приятеля-гусара, с горячей речью обратился к своему партнеру, солидному офицеру:

— Поскольку я могу судить,— говорил он,— прав именно Каверин! Кому же, в самом деле, приятно служить с грубияном, с невеждой! К тому же, говорят, этот штабс-ротмистр Кнабенау нечист на руку...

Но солидный офицер не желал вмешиваться в спор и тем более не желал полковые дела обсуждать с лицеистом. Досадливо поморщившись, он напомнил:

— Все же вы играйте. Ваша карта... Вы изволите рассуждать, а мы ждем...

Раевский находился здесь, казалось, не ради игры и собственного удовольствия, а ради того, чтобы опекать и вовремя останавливать горячего своего друга; успокаивающим жестом он положил руку на руку Пушкина и выразительным взглядом посмотрел ему в глаза.

Между тем Каверин продолжал:

— Как же так, нашего товарища ни за что ни про что снимают с эскадрона и посылают в запасной, а Кнабенау по фаверу, через голову всех повышение! Все знают, что по фаверу, а ты не знаешь.

— Не по фаверу, Каверин, вовсе не по фаверу,— возразил Лобанов-Ростовский.— А дело в том, что генерал знал Кнабенау еще в Псковском кирасирском полку за отличного служаку... Так что ты брось это, Каверин.

<sup>29</sup> Дело чести (*франц.*).



— Ну, хорошо, я брошу.— В подтверждение своих слов Каверин бросил карты на стол. Он залпом выпил стакан вина.— Но за Василь Васильевичем (он говорил о генерале Левашеве) и в прошлом водились грешки... Вы помните, наверное, господа, историю с ремонтером Масюковым? Масюков еще только вез ремонт, а уже лошадей записали на приход, стало быть, и фураж на них получали. А потом Василь Васильевич ремонт забраковал, а на Масюкова две тысячи записал — так Масюков хотел застрелиться! А уж генерал на этом ремонте неплохо руки погрел.

— А ты свои слова повторишь генералу? — спросил Лобанов-Ростовский.

— Запомни, Лобанов: за свои слова я всегда отвечаю!

Уже на всех столах прекратили игру, следя за словесной дуэлью. В общем-то, дело было не в существовании спора, а в том, что Каверин нарочно злил Лобанова, который по должности адъютанта считал нужным защищать своего генерала, и все это понимали, и сам Лобанов тоже понимал, но он не мог ни остановиться, ни найти правильный тон. Сидевший вместе с Лобановым-Ростовским и Кавериним офицер решительно проговорил:

— Черт побери, господа, мы будем играть? Или давайте расходиться.

И игра возобновилась. Установилась тишина. Теперь то здесь, то там только и слышалось:

— Прокинь...

— Ротмистр, не зевайте...

— Иду дольщиком...

Денщик суетился, вынося пустые бутылки, осколки разбитых стаканов. А за окном мело, порывы ветра бросали снег в низкие окна. В дымном чаду мигало пламя ламп.

Пушкин напевал марш немецкой конной гвардии, которому научился у Каверина. Каждую карту он сопровождал восклицаниями, которые тоже перенял у Каверина: «Эх, последняя копейка ребром!.. Эх, убили Турухана — свергнули тирана! Метать так метать, как велел царь Фараон!» Солидный офицер терпел, крепился, но потом опять сказал:

— Эх не надоело вам повторять одно и то же. Уж если по молодости петь хочется, зачем в карты играть?

— Что вы хотите сказать, милостивый государь? Вы желаете меня оскорбить?

Раевский пытался вмешаться, но это было не просто.

— Я не оскорбить вас желаю, я спокойно играть желаю,— сказал солидный офицер.

И опять Пушкин запел фразу из конного марша. Лицо офицера побагровело: лицеист, может быть, специально ищет ссоры? Тот в самом деле поглядывал хладнокровно и пылливо. Но не доводить же дело с мальчишкой до дуэли!

Четвертым с ними играл офицер, который выглядел пожилым среди гусарской молодежи. Когда он пил вино, то морщился, будто принимал лекарство.

— Чего ссориться, господа,— пробормотал он.— Ведь все при своих...

Но в это время с новой силой вспыхнул спор за соседним столом.

— Василь Васильевич, правда, пригласил нас к себе...— говорил Каверин.— Он пригласил, а сабли снять не предложил!

— А это потому, что Василь Васильевич в сабле видит честь офицера,— возразил Лобанов-Ростовский.— Он сам мне рассказывал: ко-

гда-то опоздал к чистке лошадей и за это эскадронный командир приказал арестовать его; так он плакал, когда у него отнимали саблю...

Но Каверин в ответ разразился хохотом.

— Меня могут арестовать, — сказал он, — отнять саблю, но вместе с саблей разве я отдам свою честь? А уж если бы я заплакал, господа, то скорее о глупости начальника, арестовавшего меня за пустяк...

Все же выдержка начала изменять Лобанову: лицо его побледнело и напряглось.

— Не знаю, чего ты хочешь, Каверин, — сказал он. — Брось это.

— Я брошу! — Каверин опять бросил карты. И опять выпил залпом стакан вина. А потом встал из-за стола и вышел на середину комнаты.

Вслед за ним вышел из-за стола и Лобанов-Ростовский. А в комнате установилось молчание. В этом молчании, казалось, решался вопрос: будут ли противники вот так же стоять друг против друга, но уже с оружием в руках?

Каверин вдруг вскинул голову, и глаза его яростно округлились.

— Ты, Лобанов, обещал выехать мою лошадь, — сказал он. — А ты только испортил мою лошадь!

— Милостивый государь, я вам не берейтор! — в бешенстве воскликнул Лобанов-Ростовский.

И как только Лобанов-Ростовский перестал сдерживаться, лицо у Каверина приняло выражение непроницаемого, каменного спокойствия.

— А я говорю, вы испортили мою лошадь, — повторил он.

— Вы провоцируете меня? Вы... просто хотите дуэли!

— А я говорю, вы испортили мою лошадь.

— Вы... вы... — Из-за раздражения Лобанов-Ростовский с трудом подбирал слова. — Вы... изволите болтать!

— Вы сказали, что я болтаю?

— Да, я сказал. — И Лобанов-Ростовский резко повернулся, вышел и хлопнул дверью.

Теперь дуэль была неизбежна.

— Отнесешь ему шпагу, — обращаясь к приземистому широкоплечему татарину, сказал Каверин.

Это был вызов.

Игра расстроилась. Игроки перемешались и громко разговаривали.

Каверин, довольно потирая руки, расхаживал по комнате.

— Пастух гоняет овец по своему капризу, — разглагольствовал он. — Пастух управляет овцами при помощи собак... и овцы слепо повинуются. Но людей создал бог. Кто я — человек или овца? Нет, я человек, нет, законы божественные в моем сердце, нет, своей судьбой я сам могу распорядиться...

Несколько офицеров затеяли спор о служебной инструкции. Государские эскадроны несли в Царском Селе разные караулы; офицерский караул во дворце, ефрейторский караул на въездах, караул в Павловском у Марии Федоровны и, кроме того, по очереди для разъездов посылался эскадрон в Санкт-Петербург. Так вот, если офицер отряжен на отдельный пост, должен он следовать инструкции или должен действовать по своим соображениям?

Пушкин и Раевский сели в углу.

— Я почему хочу в гусары, — объяснял Пушкин. — Потому что хочу вольности!

— Вот именно — вольности! — подхватил Раевский.

Вино действовало на них обоих.

— Береги честь, пиши стихи, люби друзей — и ты от всех незави-

сим. Вот почему я хочу в гусары. Не бойся в сражении умереть — и все прекрасно!

— Мы не побоимся умереть! — подхватил Раевский.

— О нет, умереть не побоимся... Потому что жизнь — что такое жизнь? Жизнь стоит чего-нибудь лишь тогда, когда ярко горишь...

— После дела при Дашкове отец спросил меня: «А знаешь, зачем я повел тебя с собой в атаку перед полком?» «Oui, papa, — ответил я, — c'est pour mourir ensemble»<sup>30</sup>.

— Счастливцев, ты был в деле!

— Я был в деле. Я с отцом жил в военных лагерях еще в турецкую кампанию...

— Но посмотри, кто нас окружает... — Все же вино привело Пушкина в возбуждение. Он насмешливо говорил, указывая то на одного, то на другого офицера: — Этот давно пропил свой ум... А у этого и ума-то никогда не было: мысли только о крашенных усах... А этот разбойник, с ним страшно встретиться на дороге.

— А не уйти ли нам? — предложил Раевский.

— Нет, я хочу играть!

В самом деле, все скоро вернулись к игре. Снова слышалось: «Эх, попотеем на листе!», «Последняя копейка ребром!», «Царь Фараон велел играть двадцать четыре часа!»

— Вы, однако, не зарывайтесь, — не удержался от замечания солидный офицер: юный лицеист неумеренно увеличивал ставки.

— Играйте, ротмистр, — сказал Пушкин.

— Нет, увольте, играть не стану...

— Почему же?

— А потому что наличных у вас нет, а записано за вами порядочно.

— Что это значит?

Напрасно Раевский пытался утихомирить своего друга. Тот готов был требовать сатисфакции.

Подошел Каверин.

— Люблю матушку Россию, — сказал он, с довольным видом потирая руки. — Всегда в каком-нибудь углу дерутся.

— Знаете, он сильно под каплей, — сказал офицер.

— Ты, брат, в самом деле грузен? — Каверин увлек Пушкина от стола к дверям.

— Да, пойдём, пойдём, — сказал Раевский.

— А как же он войдет ночью в свой лицей?

— А очень просто войду... — ответил Пушкин. — Всего лишь маленький трингельд швейцару...

— Значит, швейцар ваш берет по-немецки — понемногу? — сказал Каверин.

— А что это за лицей? — спросил кто-то. — То же, что университет?

— Нет, это не университет.

— То же, что кадетский корпус?

— Нет, это не кадетский корпус.

— И не гимназия, и не семинария?

— Нет, это — лицей!

Раевский вывел своего приятеля.

На свежем воздухе Пушкин пришел в себя.

— Сколько же я проиграл? — И остановился. — Как же я отдам такой долг?

Долг был огромный: несколько сот рублей.

<sup>30</sup> Да, papà, чтобы вместе умереть (франц.).

## 3

Почему, когда вкушаю  
 Быстрый обморок любви,  
 Иногда я замечаю  
 Слезы тайные твои?

«К молодой вдове».

Он рассмеялся. Ему представилось, как стройная, туго затянутая в корсет молодая особа прочтет строфы, предназначенные ей, и какое выражение появится на ее живом, хорошеньком личике.

Чернила еще не высохли и в красноватом пламени свечи жирно поблескивали в каллиграфических завитках. Он присыпал лист песком.

Теперь нужно решить: клеить ли конверт или нет? Нет, конверт не нужен. И он свернул листок трубочкой.

Было тихо. За окном непроницаемой толщиной лежала мгла. Чувствовалось, как окреп мороз: ледяная корка стянула стекло, а в щели форточки вырос иней. За дощатой неполной перегородкой в комнате Пущина не слышалось ни звука; он взглянул на потолок — отсветов свечи над перегородкой не было. Он ударил рукой в стену — условный знак! — ответа не было. Не известно, что делал в воскресный этот вечер Пущин!

Он открыл дверь в коридор и тотчас увидел лицеистов, направлявшихся к застекленным дверям, к лестнице.

— Эй, вы куда? — крикнул он. — К Тепперу?

Теппер де Фергюссон — лицейский преподаватель музыки и пения, житель Царского Села и давний знакомый директора Энгельгардта — давал сегодня в своем особняке небольшой семейный бал с танцем и мюзик. Да, они идут именно к Тепперу!

— Я тоже! — крикнул Пушкин.

Но они ждать не собирались.

Он вернулся в свою комнату, щипцами снял нагар со свечи на конторке — пламя вспыхнуло — и приосанился, разглядывая себя в зеркало.

Когда он торопливо шел по коридору, дежурный гувернер внимательно взглянул на него, но ни о чем не спросил: при Энгельгардте ученики пользовались свободой. На площадке второго этажа тузили друг друга младшие лицеисты. Грузный швейцар Василий величественно сидел на своем стуле, покуривая сигарку.

На улице мороз дал себя знать: он сковал тело и стеснил дыхание. В уличной темени едва мерцали редкие фонари, белый пар зыбко поднимался над ними.

Но идти было недалеко, он пошел быстро, почти побежал — мимо дома директора, потом пустынной улочкой, потом через вымощенную булыжником площадь позади Знаменской церкви. Вот и причудливый особняк Теппера: окна в двухсветном зале ярко светились.

Теппер де Фергюссон — старичок в пышном парике, густо посыпанном пудрой, — один мог всех занять и всех развеселить. То он музицировал, то уносился в танце, подпрыгивая и пристукивая на старинный манер.

— Мадемуазель! — восклицал он, приглашая к танцу, смешно пригибая колено.

Его жена — грузная особа, родственница все тех же многочисленных Вельо — лишь время от времени заглядывала в зал: из скупости она сама распоряжалась буфетом, мороженым и прохладительными напитками.

В доме Теппера зал был небольшой: квадратный, с искусно инкрустированным паркетом, с парадными росписями и лепниной на потолке — зал, в котором белая мебель, обитая желтым тисненым шелком, и белые переплеты окон с желтыми шелковыми занавесками создавали особый семейный уют.

На этом балу неизвестно почему был профессор математики Карцов. Впрочем, преподаватели ходили друг к другу в гости. Он сидел в стороне, вдавив в кресло грузное тело, и поглядывал на сновавших вокруг лицейстов, будто желал сказать обычную колкость: «Ну что, А плюс В равно красному барану? Ну что, тят да ляп — и построили кораб?»

С Пушкиным у него завязался разговор — и о чем: о французской поэзии!

В этом Пушкин чувствовал себя как рыба в воде и сыпал словами: *poésies fugitives, poésies légères*.<sup>31</sup>... Шапелль. Шолье, Лафар, Грессе, Парни — он знал множество их стихов наизусть, мельчайшие подробности их биографии. Карцов смотрел на него с любопытством.

Среди гостей была молодая и хорошенькая особа, нарядно одетая в розовое платье из легкого, шуршащего шелка, с открытыми руками и шеей и поблескивающими в свете люстр драгоценностями. И Пушкин следил за ней глазами, выбирая момент, чтобы подойти. Слышался ее смех. Она танцевала со всеми. Наконец ради нее он покинул Карцова, а профессор погрузился в обычную свою мрачную меланхолию.

Это была прелестная француженка с пухлыми губами, небольшой головкой, звонким голосом — гостившая у директора Энгельгардта его племянница, Мария Смит. Вот за ней он теперь ухаживал.

Видимо, она и сама с нетерпением ожидала, когда же он подойдет. Живость характера проглядывала в ее движениях. Между ними уже установились вполне дружеские отношения, даже некоего рода соревнование на первенство в *jeux d'esprit*, выдумках, шутках.

Она спросила:

— Pourquoi si tard? Почему так поздно?

Они разговаривали по-французски.

У него лежало в кармане приготовленное для нее послание. Момент казался благоприятным, но он все не решался передать...

В прошлую встречу они договорились написать куплеты на заданные слова. Она спросила:

— Вы написали?

Отошли в сторону. Он начал первый, в русском переводе куплеты звучали примерно так:

Когда поэт в восторге  
Читает вам свою оду или поздравительные стихи,  
Когда рассказчик тянет фразу,  
Когда слушаешь попугая,  
Не находя ни слова смешного,—  
Засыпаешь, зеваешь в платок,  
Ждешь минуты, когда пора сказать:  
«Jusqu'au plaisir de nous revoir,  
До приятного свидания».

Она наклоном головы показала, что оценила изящество стиха. Подвижное ее личико разрумьнилось. Быстрыми, легкими движениями она обмахивалась веером. Мимо в танце проносились пары. Теперь она прочитала свой куплет:

Я с восхищеньем вам внимаю,  
Стихи изящны, спору нет,

<sup>31</sup> Мимолетная поэзия, легкая поэзия... (Франц.)

И я смиренно преклоняю  
 Пред вами голову, поэт.  
 Мне с вашей силой дарованья,  
 Увы, соперничать не след.  
 И вот теперь пишу куплет,  
 Чтобы сказать вам «до свиданья».

И он немедленно всем видом своим показал, что побежден, сражен, сдается.

Но им помешали. Ее пригласили к танцу. Танцуя, она подала ему знаки, чтобы он ждал, чтобы не уходил. И вот она опять подпорхнула к нему.

Теперь была его очередь.

Друзья, жизнь мимолетна,  
 И все уходит вместе с временем.  
 Любовь тоже непостоянна.  
 Это наша весенняя пташка.  
 Слишком рано она исчезает, смеясь украдкой,  
 И навсегда — прощай надежда.  
 Когда она упорхает, не скажешь более:  
 «Jusqu'au plaisir de nous revoir,  
 До приятного свидания».

Теперь сам Теппер увлек ее. Он подвел ее к клавибордам, и Пушкин издали следил, как старый музыкант, склоняя будто в поклоне голову, что-то говорил, должно быть упрасивая петь, а она отрицательно качала головой.

От окна, у которого он стоял, до клавибордов было несколько шагов.

Племянница Энгельгардта была вдовой, недавно потерявшей супруга, и его послание к ней было безрассудно-смелым, вызывающе-откровенным. Он обращался к ней как к своей возлюбленной, уговаривая не бояться тени ревнивого супруга... Вот так решил он теперь обращаться с женщинами!

Но когда он подошел к ней, смелость его оставила. А она снова продекламировала свой куплет:

Мне с вами хочется, не скрою,  
 На рифмах копыя обломать,  
 И я бы не сдалась без боя,  
 Но Феб судил мне замолчать.  
 Сказал, что тщетны упованья,  
 Что я рискую проиграть.  
 Что ж! Остается написать  
 В своих куплетах: «До свиданья».

Он опять выразил свое восхищение.

— Как прекрасен ваш французский язык, — в свою очередь похвалила она.

— Среди приятелей у меня кличка Француз, — смеясь признался он.

— Вот как?

— Но Вольтер, вы знаете, характер французов определял как смесь обезьяны с тигром. И это вторая моя кличка. — О том, что у него есть и третья, просто обезьяна, он умолчал.

— О, я должна вас бояться.

— Совсем нет!

Их опять разлучили.

Он упрекал себя в нерешительности. Слишком долго он был робок и страдал от безответной любви. Нет, только так нужно вести себя с женщинами — смело, прямо, решительно!

Вошел слуга и объявил, что посыльный с запиской спрашивает господина Пушкина.

Записка была от Николая Раевского. Он просил своего друга незамедлительно по важному делу прийти к нему в казармы. Вот как? Превосходно!

Пушкин вернулся в зал.

— Я прощаюсь,— сказал он, подойдя к Марии Смит.

— Я сожалею,— ответила она.

Их соревнование в куплетах еще не закончилось.

На какое-то мгновение к нему вернулось сомнение: все же она племянница Энгельгардта! Но желание передать ей дерзкие стихи было слишком сильным. Отступить было поздно.

— Здесь вам стихи,— сказал он таинственным полупшепотом.

— Мне?

— Да.— И он передал листок, свернутый трубочкой, с посланием «К молодой вдове».

Оглянувшись в дверях, он успел заметить: она развернула послание, чтобы прочитать.

Шестнадцатилетний Раевский жил при казарме. Деревянная связь с квартирками для офицеров примыкала к каменному зданию Запасного двора. Кресла, стулья, диван с бархатной обивкой, крытый кожей письменный стол с ящиками, и бюро, и буфет, в котором хранился неперменный запас бутылок с вином,— так выглядела квартира Раевского.

Раевский давно был убежден в том, что его приятель-лицеист — необыкновенный человек, об этом свидетельствовали не только его стихи или его мысли, но и его страсти, которые так сильно отражались на его лице.

— Я имею для тебя приятное известие.— Раевский долго и крепко жал руку Пушкина. Он улыбался, и от улыбки верхняя полная его губа несколько вывертывалась.

Но сначала он разлил по бокалам вино, и приятели раскурили трубки.

Он объяснил, в чем дело: отец прислал ему деньги и эти деньги, несколько сот рублей, он может одолжить — на любой срок! — Пушкину.

Речь шла о карточном долге.

— Как я благодарен тебе! — в искреннем порыве воскликнул Пушкин.

В самом деле, карточный этот долг стал кошмаром. Речь шла о его чести. Где мог он взять огромные эти деньги? Обратиться к отцу немислимо; в памяти еще жива была недавняя сцена. Сергей Львович топал ногами, хватался за голову — и все из-за каких-то двадцати пяти рублей. Он мог скорее обратиться к бабушке, Марье Алексеевне — она была всегда добра к нему и вместе с горячими приветями иногда посылала в лицей немного денег, — но бабушка почти при смерти... Что же делать? Он уже стыдился приходить к Каверину.

— Ты не можешь вообразить себе, какую важную услугу мне оказал! — воскликнул Пушкин.

— Никакой услуги. Просто я знаю, как для тебя это важно.

Приятели, разговаривая, опоражнивали рюмки.

— Мой отец,— говорил Раевский,— присылает время от времени деньги и никогда не требует отчета. И как раз сегодня деньги пришли! Но мне не нужно, я старые не все потратил.

— И у меня есть свои деньги! — воскликнул Пушкин.— Когда из Москвы с дядюшкой Василием Львовичем я уезжал в лицей, одна из

тетушек подарила мне сто рублей.— Он прекрасно это помнил: уже поклажа была уложена, все вышли к карете.— Но Василий Львович взял их взаймы...

— Мой отец сейчас командует в Киеве корпусом. Ты не представляешь, что за необыкновенный человек мой отец! Я тебя обязательно познакомлю — и с ним, и с татан, и с братом и сестрами.

Раевский умилился, говоря о своей семье, и показал другу медальон с портретом отца, знаменитого героя двенадцатого года генерала Николая Николаевича Раевского. В медальоне хранилась маленькая белая косточка, когда-то извлеченная из раны генерала.

Опять заговорили о деле при Салтыковке, прославившем семью Раевских. Этот подвиг — генерал, а по бокам его два сына, и он ведет колонну в атаку на французов — был воспет Жуковским, изображен на бесчисленных лубочных картинах, табакерках, фарфоровых сервизах, гравюрах, и Академия художеств объявила конкурс на этот сюжет... Молодой ротмистр Николушка Раевский был знаменитым героем.

— Да, да, я познакомлю тебя с моим отцом, со всей моей семьей! — объявил Раевский.

— Никогда, никогда я не забуду твоей услуги, — повторял Пушкин.

И так довольны они были друг другом, так расположены друг к другу, что после какой-то рюмки каждый захотел оказаться на месте другого: Пушкин — офицером в казарме, а Раевский — учеником в лицее; он был склонен к серьезным занятиям, увлекался ботаникой и разводил цветы.

Поздно и изрядно под каплей возвратился Пушкин в лицей. Окна громадного здания темнели ровными рядами: небольшие окна верхнего этажа, за которыми в своих дортуарах спали сейчас воспитанники; высокие окна и балконные двери актового зала, пустого и холодного теперь; окна столовой на втором этаже и канцелярских помещений на первом — все огни были погашены, только с крыльца сквозь застекленные закрытые двери виден был слабый свет лампы в глубине прихожей. Он постучал в стекло и ждал, слушая переключку часовых и трещотки сторожей.

Долго не показывался швейцар, и он опять постучал. Толстая пачка денег была спрятана у него в кармане, а для швейцара он приготовил маленький трингельд. Наконец в полумраке показалась грузная фигура швейцара — он поднял свечу и приблизился к двери. Пушкин скользнул в прихожую. Но Василий преградил ему путь.

— Нельзя-с, — сказал Василий натужным голосом.

— Ты что, Василий...

Вдруг из-за его спины выросла величественная фигура директора Энгельгардта.

Что все это значило? Василий высоко держал свечу, и Пушкин увидел в руках директора... Не могло быть сомнения, это было его послание «К молодой вдове».

— Хотел бы я знать... — Энгельгардт старался говорить ровным голосом, но, не справившись, задышал шумно. — Хотел бы я знать, существуют ли для вас законы, правила поведения... Для меня давно не тайна ваши похождения... Но я не знал всей степени вашего падения! — Он повысил голос. — Для вас нет ничего святого! Ваше сердце холодно и пусто, в нем нет ни любви, ни религии! — Он протянул листок. — Карцер! — смог только выдохнуть он.

Дежурный гувернер Калинич и двое дядек, заранее предупрежденные, выступили из темных углов вперед. Пушкина под конвоем повели наверх, в карцер.



Раскаяния он не чувствовал. Нет, так, только так и дальше будет он вести себя с женщинами. Но теперь он радовался тонкой язвительности своих стихов. Что же касается директора Энгельгардта — по какому праву тот считает себя судьей? Разве знал директор о его страданиях, о всем, что он пережил? В душевной горечи черпал он мысли, но облегчение не приходило, на душе было беспокойно и холодно...

Он ворочался на тюфяке, брошенном на пол, и думал о том, когда же наконец окончит он лицей! Скорее бы... Лицей был ему тесен! Он перерос лицей!

Узкое окошечко напоминало древнюю бойницу. Тусклый лунный свет лился в карцер. Он поднялся и подошел к оконцу. В свете луны серебрились купола Знаменской церкви. Пелена снега покрывала сады. Этот лунный свет, таинственно растекшийся по снегу, преобразил знакомый пейзаж, делал его воздушным... Воображение разыгралось. Старинные крепости, сказочные хоромы вознеслись вдали...

Дела давно минувших дней... Неведомо откуда нахлынули силы — казалось, своими могучими плечами он может раздвинуть каменные тесные стены карцера...

Преданья старины глубокой...

Бумаги с ним не было. Огрызком карандаша он размашистым почерком написал на стене:

Дела давно минувших дней,  
Преданья старины глубокой.  
В толпе могучих сыновей,  
С друзьями, в гриднице высокой  
Владимир-солнце пировал...

Вот оно, начало богатырской поэмы, которое он долго не мог найти!

В эту ночь он не мог уснуть. Пришли успокоение и радостная легкость. Представилась завтрашняя встреча с насмешниками-одноклассниками. Но он думал об этом легко и весело. Он им скажет, что никогда так хорошо не проводил время, — и укажет на стену...

## 4

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,  
Исписанный когда-то мною,  
На время улети в лицейский уголок  
Весильной, сладостной мечтою.

«В альбом Пушину».

День бежит за днем, неумолимо приближая важный рубеж — выпуск.

И вот уже май. Царское Село снова в зелени, и экзамены уже не где-то впереди — они на носу! Неужели окончился бесконечно длинный последний год? Неужели окончен лицей?

Снова Царское Село превратилось в Петербург в миниатюре, снова улочки и парки заполнены парадной гуляющей толпой, снова проносятся кавалькады на финских лошадях и гремит военный оркестр у гауптвахты. И снова лицеисты бывают у давних друзей: Комаровских, Голубцевых, Бакуниных...

— Ну, Александр, скоро ты дома! — воскликнул Сергей Львович и оглядел узкую, как пенал, лицейскую комнату сына с таким видом, как будто он сам провел здесь шесть лет и теперь прощался с казенной ее обстановкой. — Дома тебя ждут не дождутся.

Он привез из Петербурга поцелуи Лельки и сестры Ольги, наказ тапан быть аккуратным, надежды больной бабушки Марьи Алексеевны скоро увидеть внука и добрые пожелания старой няни Арины Родионовны.

В восторге сын подскочил к отцу.

Для него это звучало: «Скоро ты на свободе!» Он горел нетерпением оказаться на свободе.

— Все обсудим, все успеем, — рассудительно говорил Сергей Львович.

Но сына уже сейчас беспокоило, как будет с каретой, и вовремя ли ее пришлют, и кто из людей будет послан... Правда, до отъезда оставался по меньшей мере месяц и половину этого месяца занимали экзамены — но экзамены уже ничего не могли изменить; от самого директора было известно: погибнуть не дадут никому, выпущены будут все — даже Брльо, даже Данзас.

— Карету пораньше утром, — торопливо говорил Пушкин. — Тогда я успею в Петербург не поздно днем...

— Но, топ шаг, об этом успеем, — сказал Сергей Львович. Он был доволен. Кто мог бы сделать для сына больше? И он сказал с чувством — так, чтобы сын понял его волнение: — Да, Сашка, ты скоро дома... — Голос его артистически задрожал. Он был искренне рад, но просто не мог отказать себе в маленькой сценке...

Потом они вышли в коридор. После яркого солнца комнаты здесь казалось полутемно. Улыбаясь, Пушкин следил за необычной картиной. Такого в дортуарах никогда не было. Обычный распорядок рухнул, занятия окончились, расписания не было. Кто-то торопливо бежал по коридору с тетрадями в руках. Кто-то брел, на ходу читая записи лекций, никого вокруг не замечая... Несколько профессоров — здесь, на четвертом этаже, в дортуарах! — беседовали, став в кружок: де Будри из серебряного портсигара то и дело доставал понюшку табаку; сухопарый Гауеншильд горделиво запрокидывал голову и высокомерно поглядывал вокруг; историк Кайданов о чем-то говорил с выражением крайнего ожесточения... Нет, такого никогда не было, все нарушало привычные правила...

Не очень широкий коридор, прорезавший здание посередине этажа, с обеих сторон заканчивался двустворчатыми застекленными дверьми, которые вели на лестничные площадки. Эти двери непрерывно открывались и закрывались. И во многих комнатах двери были настежь открыты. Теперь ввиду возможного визита в лицей важных гостей что-то переставляли, чинили, подкрашивали. Гувернеры Чириков, Калинин, Вильм — как будто одного дежурного было уже недостаточно — громко командовали служителями. Сквозь открытые двери можно было увидеть во всех комнатах одно и то же: кровать, или тумбу-умывальник, или тумбу-комод, или конторку...

Пушкин повернулся и сквозь окошечко в двери посмотрел в свою комнату. И здесь были кровать, тумбочки и конторка... Окно комнаты было открыто, и лучи солнца падали на стекло и яркими пятнами ложились на белое бумазейное одеяло. На конторке лежали книги, бумаги... Книги лежали и на подоконнике, и на кровати, и на полу возле конторки... В чернильнице торчало гусиное перо... Полусторевшая сальная свеча наклонялась в медном подсвечнике... Вот это и было его жилище в течение шести лет!

...Потом они шли рядом по оживленным, еще не совсем обсохшим улочкам — всюду дворники под строгим надзором самого полицеймейстера Бехте убирали и подчищали; отец и сын ради тепла, безоблачного неба и солнца сделали небольшой крюк по дороге к карете на площади возле Знаменской церкви. Говорили все о том же: о выпуске

из лица. Сергей Львович побывал у директора Энгельгардта и всем был доволен. Сын будет служить в Коллегии иностранных дел, оставались хлопотные заботы по экипировке, но директор Энгельгардт — истинный благодетель — все взял на себя, достал материал, добыл мастеров, объяснил что и как, и теперь Сергей Львович с видом опытного человека делился с сыном расчетами: нужно четыре аршина пике по десять рублей... черного казинира два с половиной аршина да белого столько же... шить только у Штинера... из пике пять жилеток, из казинира — пара мундирных белых и пара черных штанов... нужно заказать фрак, достать шпагу, вышить воротник мундира, купить белье, приобрести башмачные пряжки — в общем, много хлопот! Разговоры о будущей своей гражданской службе Пушкин встречал презрительной улыбкой — видимо, еще не оставил мечты о военной службе.

А Сергей Львович шурил глаза и тонко улыбался. Хорошее настроение у него было еще и потому, что недавно он вышел в отставку (с чином пятого класса) и теперь готов был всего себя посвятить служению музе. Ибо он сам — поэт. Ибо все известные литераторы — и Нелединский-Милецкий, и Жуковский, и Батюшков, и Карамзин — были его давними знакомыми... И он теперь писал исследование о русской литературе — правда, на французском языке, которым владел лучше, чем русским.

Хорошее настроение Сергея Львовича всегда выливалось быстро журчащей речью. Он принялся вспоминать свою службу в Варшаве — начальником комиссариатской комиссии резервной армии... Кстати он вспомнил одну из лучших своих острот. Дородная польская дама спросила его: «Est-ce vrai, M-n Pouchkine, que vous autres Russes, vous êtes des anthropophages : vous mangez de l'ours ? » «Non, madame, — без всякого промедления ответил Сергей Львович, — nous mangeons de la vache, comme vous »<sup>32</sup>.

Тонкий писк слышался в воздухе. Неужели уже комары? И, воспользовавшись игрой французских слов, Сергей Львович сравнил cousins, комаров, с cousins, родней, столь же надоедливой. Кстати, сказал он, Василий Львович пишет, что будет читать стихи племянника в заседании «Общества любителей российской словесности» и надеется скоро его обнять...

Автомедон уже сидел на козлах. Лакей почтительно открыл дверцу. Но Сергей Львович не торопился. Глядя на своих лошадей, на свою тяжелую, пышную, но уже обветшалую карету, он вспомнил еще одну свою остроту... Как, сын не знает? Однажды он шел пешком, а известный N. N. — полудохлые его клячи едва-едва тащили карету — предложил подвезти. «О-о, благодарю, — ответил Сергей Львович, — но я спешу!» Острота обошла весь город.

Сергей Львович смеялся, и сын смехом вторил отцу. В этой семье ценилось красное словцо.

Уже поставив одну ногу на ступеньку кареты, Сергей Львович спросил как бы между прочим:

— Надеюсь, у тебя нет долгов?

Лицо сына мгновенно изменило выражение... Можно ли предположить, что у него нет долгов? Даже на бал по подписке он не смог внести столько, сколько внес Горчаков!

Сергей Львович превзошел самого себя: из объемистого книжника он извлек деньги...

Дверцы захлопнулись. Автомедон натянул вожжи, мальчишка-

<sup>32</sup> «Правда ли, господин Пушкин, что вы, русские, антропофаги: вы едите подобных вам медведей?» — «Нет, мадам, мы едим лишь подобных вам коров» (франц.).

форейтор крикнул звонким голосом, и карета тронулась. Пушкин смотрел вслед карете, как будто в воображении уже сам совершал путь из Царского Села в Петербург...

Он направился в лицей, но его окликнули. К нему приближался, сильно прихрамывая и опираясь на трость, молодой господин в цилиндре и прогулочном рединготе. Он был тонколиц, и нервное лицо его подергивалось; протянув Пушкину руку, он вскинул умные голубые глаза и дружески улыбнулся. Это был младший брат Александра Ивановича Тургенева, в Царском Селе имевшего свою квартиру,— Николай Тургенев, недавно закончивший за границей университетский курс.

Они пошли по улицам дальше от дворцовой, парадной части, к окраинной ремесленной слободе. И здесь былолюдно. Мимо них по неширокой мостовой шли подвыпившие ремесленники, один из них — щуплый, рябой, с пожелтевшей кожей заскорузлых ладоней — снял прохудившуюся свою шляпу и кланялся направо и налево, радостно при этом улыбаясь.

Тургенев сказал:

— Господи, наконец-то я в России, наконец-то вижу русских...— И тут же принялся с жаром ругать французов и немцев.— Поверьте мне, в характере французов — вздорность,— говорил он.— Да, да, в характере французов все перемешано — добро, зло, легкомыслие, практичность, а политические мнения их так неуловимы, так изменчивы, что многого ожидать от них не приходится. Поверьте, это народ *sans principes*<sup>33</sup>. Он слишком любит веселиться. А немец? Немец неловок, тяжеловесен, скажет *Plattheit*<sup>34</sup>, а думает, что сказал *bon mot*<sup>35</sup>. Нет, русскому человеку там не хватает воздуха... Я счастлив, о, я счастлив, что дышу наконец русским воздухом, что опять вижу русские лица, что я опять в России!

От наплыва чувств он иногда даже вскрикивал, даже останавливался, даже стучал тростью по плитам тротуара, но лицо его с правильными чертами оставалось при этом красиво-строгим, а голубые глаза холодными. Сильные чувства не могли изменить его внешности, но они направлялись внутрь; он был из тех, кто страдает тиком, головными болями, расстройством пищеварения,— все под воздействием страсти, которая ими владеет. У него была одна страсть — любовь к России.

И он заговорил о политическом бесправии в России.

— К другим народам судьба мирволит,— горячо говорил он,— они живут среди свободных установлений... Вы не можете себе вообразить... нет, не можете вообразить, что чувствует человек, возвращаясь в Россию и видя ее в рабстве... Рабство всюду, во всем: в походке, в опущенных головах, в лицах, во взглядах — всюду печать рабства.— Голос его сделался сдавленным, волнение мешало ему говорить.— Людей продают семьями и в розницу, борзых щенков отдают на вскармливание грудью, невинность похищается, жены крестьянские развращаются...

Он с жаром принялся обсуждать способы освобождения крестьян: личное освобождение без земли ничего не даст, нет, нужно освобождать с движимостью, домом, усадьбой, пусть помещики уступят четвертую часть своей земли, а рощи, леса, рыбные ловли пусть останутся у помещиков...

У Тургенева был свой план — выкуп государством крестьян с землей; пусть правительство сделает за границей заем, скажем, по пять

<sup>33</sup> Без принципов (франц.).

<sup>34</sup> Пошлость (нем.).

<sup>35</sup> Остроту (франц.).

процентов, пусть правительство ссужает крестьян, скажем, по семь, даже по восемь процентов. Можно подсчитать, сколько нужно лет, чтобы все крестьяне в России сделались свободными...

Пушкин слушал внимательно.

У обочины дороги они увидели небольшой обоз крестьянских телег — лошади тянулись к ящикам и выдирали сено, а впереди стоял, поправляя на лошади хомут, рослый мужик с густой черной бородой, и лошадь мягкими губами подбирала клоки сена на его одежде.

— Эй, мужик! Ты чей, ты кто, ты откуда приехал? — неожиданно обратился к нему Тургенев. От волнения голос его ослабел. — Ты чей?..

Мужик то ли оробел, то ли не мог понять, чего барин от него хочет; послышалось басовитое невнятное бормотание:

— Намнясь... значит, того... лесину...

Опираясь на палку, Тургенев быстро увлек Пушкина вперед.

— Какая силища, какой богатырь! Русский народ добр, справедлив! — На глазах его показались слезы. — Да, наш народ с сильной душой, с пылким воображением! И что за страна наша Россия! Она богата всеми климатами, протянулась от Апшеронии до льдов Лапландии, от Бессарабии до Сибири... И в этой стране что за доля у земледельца! Я повторяю за Тацитом: говорить опасно, а молчать бедственно...

Это было уже какое-то исступление!

Пушкин вернулся в лицей потрясенный. Там, в огромном мире, зрела буря, там нетерпеливо ждали его прихода. Смелые, благородные люди готовились к борьбе. И он был их поэтом, он был им нужен...

Он спешил в свою комнату — заново перебрать, заново пересмотреть все написанное. Но по лестнице спускались человек десять лицестов с линейками, циркулями, листами бумаги — это были те, кто готовился к военной службе, они шли в класс, чтобы под руководством громогласного инженерного полковника барона Эльснера строить хитроумные фортификации и посылать в противника ядра по строго рассчитанной траектории. А он и часа не высидел бы за математическими расчетами!

К нему подошел Илличевский — он тоже испытывал отвращение к математике.

— Как скучна математика! — Высокий узколицый лицейский поэт горбил по привычке спину. — Всю горечь неизъясимой скуки, кажется, заключила природа в математике! — Он обращался к Пушкину как поэт к поэту. — Математик, составь прогрессию, — сострил он, — чем мы ближе к пределу учения, тем от нас больше требуется прилежания...

Новая группа лицестов шла к директору Энгельгардту; это были будущие секретари консульств и посланники; они шли учиться писать депеши, вести журнал, делать конверты без ножниц; заботливый Энгельгардт с разрешения царя получил у министра иностранных дел Карла Васильевича Нессельроде переписку русского и берлинского дворов... Пушкина тоже ожидала служба в Коллегии иностранных дел. Но клеить пакеты, вырезать конверты — это было бы еще скучнее, чем вычислять артиллерийские траектории.

Горчаков тоже определялся на статскую службу.

— Да, я долго колебался, какой род службы мне избрать, — объяснил Горчаков. — Конечно, молодому человеку необходимо начать с военной службы... Но все же я избираю дипломатику. Так мне посоветовал мой дядя Пещуров. Да, да, я решительно избираю статскую как более сходную с моими способностями, образом мыслей, здоровьем... — Он кашлянул, намекая кашлем на слабость груди. — Ну, а привлека-

тельный военный мундир я оставляю всем им... Конечно же,— прибавил князь,— при обстоятельствах, подобных двенадцатому году, и я променяю перо на шпагу...

Наконец Пушкин уединился в своей комнате. На конторке лежала большая, в лист величиной, тетрадь. На первой странице каллиграфическим почерком, с завитушками, которым лицеистов обучал Калинин, было написано: «Стихотворения Александра Пушкина». Он составлял первый сборник стихов! Он отбирал лучшее из написанного, чтобы показать Жуковскому, и почти все лицеисты участвовали в переписывании набело его стихов. Он листал тетрадь и узнавал ровный почерк Пущина, мелкий почерк Илличевского, четкий почерк князя Горчакова, узнавал руку Вальховского, Яковлева, Дельвига, Кюхельбекера, Корсакова, Ломоносова, Есакова, Матюшкина, и даже тупица Мясоедов переписал его стихотворение.

Здесь было около ста тридцати стихотворений и много начатого и незаконченного; он начал и не закончил философский роман «Фатам, или Разум человеческий», пятиактную комедию «Философ», поэму из русского эпоса, подобную «Бове» Радищева,— его давно влекло к крупным формам.

Но ему помешали работать. Торопливо открыл дверь и вошел Кюхельбекер. Он казался безумным. Глаза его таращились, рот кривился, тонкая шея не держала клонившуюся голову.

— Я должен тебе сообщить важную новость!

И он сказал глухим голосом: он женится! Да, да, тамап против, из-за этого произошла ссора, она решительно против, но ему все равно, иначе он не может...

Есть д е в а, милая, прекрасная особа, бедная родственница, с которой узами дружбы он был связан еще до лицея, их разлучили, но иногда они переписывались, и вот теперь они решили...

...Лицей бурлил. И лишь один уголок, кажется, оставался в лицее, тихий уголок, куда не достигали бурные волны,— комната номер тридцать три. Когда Пушкин вошел сюда, Дельвиг, лежа на своей постели, преспокойно читал. Для него не существовало житейских тревог. Он загнул бумазейное одеяло так, чтобы оно закрывало ему ноги. Пуховые подушки он подложил под спину, чтобы было приятно, хорошо... Из-за близорукости книгу он подносил близко к лицу.

Это был сборник стихов недавно почившего в бозе Гаврилы Романовича Державина; Дельвиг не расставался со стихами Державина. Некоторое время они молчали.

— Забавно,— вздохнул Дельвиг. Ни к чему определенному это не относилось, просто это было его любимое словцо.

И на душе у Пушкина вблизи Дельвига сделалось особенно хорошо. У него тоже было любимое словцо.

— Пора, пора,— сказал он энергично.

Они как будто передали друг другу свои настроения. И поняли друг друга.

— Ходить в канцелярию вместе с челядью, ханжами, подьячими — не буду,— глядя в потолок беспомощными подслеповатыми глазами, звучным голосом сказал Дельвиг.— Переписывать, выписывать, исписывать кругом целые дести бумаги — не буду... Забавно...

И Пушкин подтвердил:

— Пора, пора.

Приоткрылась дверь, вошел Кюхельбекер.

И они заговорили о русской литературе, о литературе восемнадцатого века — о Тредиаковском, об одах Сумарокова, об эпистолах Хераскова, о поэме Майкова, о баснях Хемницера, о Новикове, Богдано-

виче, Капнисте, Львове, они так хорошо знали поэтов восемнадцатого века от великих до малых, что даже Нарышкина упомянули: он писал сонеты.

Умер Державин! Кто же выйдет теперь на великую сцену литературы? Они выйдут. Это было очевидно, и эта мысль так их взволновала, что Дельвиг даже вскочил с постели. Они взялись за руки. Они пойдут по трудной, тернистой дороге поэзии...

— Братья! — Ликованье шло из глубины души Кюхельбекера. — Братья, по святому, избранному пути — всегда вместе, всегда-таки рука об руку... Мы вместе! Да!

В этот миг они были счастливы.

Но сюда ворвалась со своими альбомами и тетрадями толпа лицейстов. Один называл свою тетрадку «Дух лицейских трубадуров», другой — «Собрание лицейских стихотворений», третий — «Лицейская антология», четвертый собирал лирические стихи, пятый — только эпиграммы на Кюхельбекера. А кто-то еще хотел записать все национальные песни. Как не увезти в своем альбоме знаменитый куплет, составленный из тяжеловесных восклицаний Калинича:

Читали ль, Россияды,  
Вы новый перевод?  
Прилежнее буквальность  
Извольте замечать!

Или не менее знаменитый куплет на Гауеншильда:

В лицейской зале тишина.  
Диковинка меж нами;  
Друзья, к нам лезет сатана  
С лакрицей за зубами...

Когда собиратели стихов убежали, Кюхельбекер пришел в ярость: его стихи мало переписывали... Он забегал по комнате. Его не понимают, его преследуют, над ним глумятся! Даже басни Яковлева, даже безделушки Илличевского, даже стихи Корсакова — переписывают! Жизнь невыносима для него, недаром он написал стихи:

Взирай на сей, прохожий, камень,  
Под ним мой мирный тлеет прах,  
Взирай! — и твой потухнет пламень:  
Тебе ко мне единый шаг.

Но и над этими стихами смеются — их находят неуклюжими, громоздкими. А ничтожный замысел никого не пугает. Он бросил эти слова Пушкину; может быть, он говорил о нем?

Вот, оказывается, что было у него на душе...

Когда-то, еще детьми, они втроем начали поэтический путь. Когда-то именно к Кюхельбекеру, «к другу-стихотворцу», обратился Пушкин в первом напечатанном своем стихотворении, которое подписал «Александр Н. к. ш. п.», — казалось, он предупреждал о неблагоприятном пути поэта; «Хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейну французам побеждать...» О да, нелегкий они выбрали путь. Куда этот путь приведет их? На этом пути у каждого из них уже были свои поражения и свои победы.

Кюхельбекера с трудом удалось успокоить.

Поглядывая то на Дельвига, развалившегося на постели, то на Кюхельбекера, напряженно вытянувшегося вблизи окна у конторки, Пушкин невольно думал о разнице между своими друзьями. Дельвиг высок, недостижим, это гений, это Моцарт, беспечный, ленивый, ничего не ведающий, кроме своего искусства, кроме гармонии... А на

лице Кюхельбекера — странном лице, как будто сильно вытянутом вперед за кончик носа, — и сейчас написаны были подозрительность и боль. Он в мучениях учился писать стихи, может быть, он и научится, но этот тяжкий труд отяготит жизнь и иссушит душу.

А он, он был полон сил, великолепного ощущения молодости и таланта.

...Лицей гудел и бурлил; кто-то в отчаянии учил латинские фразы, кто-то примеривал заблаговременно сшитый мундир, кто-то собирал стихи и песни для альбома — возбуждение нарастало и неизбежно должно было во что-то вылиться.

За ужином, проходившим и в прежние дни шумно, теперь все стучали ложками, толкались, бранили дурные блюда и требовали эконома. Никто не хотел слушать губернатора. Самые отчаянные кидались друг в друга пирожками, выкрикивая:

Ты выдумал похабны яства,  
Запрятал в пироги лекарства!..

Пирожок попал в Кюхельбекера, он раскричался; буйный Малиновский схватил тарелку и опрокинул ее содержимое на голову соседа... Бывает момент, когда человек желает свести счеты с судьбой! Кюхельбекер с громким воплем бросился прочь из столовой. Испуганный губернатор, почуяв недоброе, закричал:

— Господа, остановите, остановите его!

Лицеисты бросились за Кюхельбекером, но он был быстроног, скачками покрыл немалое расстояние и на глазах потрясенных свидетелей бросился в пруд...

Неужто под конец лицейских дней могло случиться такое?

Кюхельбекера вытащили из пруда в беспмятстве от нервного возбуждения.

Но и весь лицей был почти в беспмятстве в эти дни.

## 5

Он вышней волею небес  
Рожден в оковах службы царской;  
Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес,  
А здесь он — офицер гусарской.

*«К портрету Чаадаева».*

Карамзин через головы слушателей обращался еще к кому-то, кого видел за ними, — к России, к векам. Он сидел в кресле на подушечках, сам был высок и еще тянул вверх, запрокидывая, голову... Листы рукописи держал перед собой. Голос у него был удивительно громкий при сухой, легкой фигуре — будто голос усиливался в худой грудной клетке...

Гости заполняли небольшую гостиную Китайского домика. Гостиная не была предназначена для больших сборищ: дом был казенный и список казенной мебели еще и сейчас висел в сенях. Но здесь было уютно: привезли и свою мебель из Петербурга; на круглом столе — вязаная скатерть; от свежей мастики на полу — специальный дворцовый служитель следил за полом — пахло чистотой; уютно струился пар от самовара — чай одного и того же сорта выписывался всегда с Макарьевской ярмарки.

В какой-то момент из смежной комнаты вышли две девочки — чистенькие, хорошенькие, в опрятных домашних платьицах. Но хозяйка, Екатерина Андреевна, младшей велела удалиться, а старшую, свою падчерицу, усадила за стол — помогать разливать чай. И присутствие



девочки, Софьи, усилило ощущение домашнего, не официального собрания.

В гостях были офицеры и друзья семьи. Пушкин вначале сидел на диване, но место ему показалось слишком на виду, и он перебрался в угол — между круглой тумбой с вазой и косяком фальшивой двери; отсюда видны были все в гостиной.

На сосредоточенных лицах было жадное внимание. Столько толков было о необыкновенном сочинении великого писателя. История России! После войны двенадцатого года у всех явился интерес к истории страны, поразившей мир.

Но Карамзин хотел подчеркнуть свою главную мысль. Эта мысль была о том, что Россия не может существовать без сильного и безраздельного единовластия. И с этой его мыслью многие были не согласны.

Пушкин старался не пропустить ни слова, но молодая энергия, собственные мысли и впечатления отвлекали его. Напротив в кресле полусидел-полулежал не по летам грузный Александр Иванович Тургенев, свесив тяжелую голову, утопив жирный подбородок в пышном жабо. Иногда он поднимал голову и одинаково добро поглядывал на всех маленькими заплывшими глазами. В «Арзамасе» он носил забавное прозвище — Эолова Арфа, и за что! — за бурчание в животе. Вот смешной пустяк, который может отвлечь от серьезных мыслей... А однажды у Тургенева Пушкин застал приехавших из Петербурга арзамасцев, и эти арзамасцы — Резвый Кот, Старушка, Кассандра — вместе с Эоловой Арфой сочиняли протокол заседания, якобы состоявшегося в карете по дороге из Петербурга в Царское Село. Над кем же они смеялись? — над Ватрушкой, Василием Львовичем... Василий Львович был постоянным предметом их шуток. Во время приема его в «Арзамас» все друзья, и с ними Жуковский, устроили настоящий спектакль: Василия Львовича заставили лежать под душной грудой шуб (намек на «Шубы» Шаховского), бороться с чудовищем, пройти множество мистификаций; ему присвоили кличку Вот-я-вас (угроза в адрес «Беседы») и каждый раз повторяли: «Вы видели Вот-я-васа? Вы слышали о Вот-я-васе?»; в наказание за плохие стихи его кличку переделали в обидную Ватрушку; в поощрение за хорошие стихи ему вернули звание Старосты и кричали: «Он не Ватрушка, он Член, он Староста, он Вот-я-вас опять!»... Глядя на Тургенева, Пушкин весело думал о том, как он, свободный поэт, явится на заседание «Арзамаса», наденет красный колпак, скажет надгробное слово по одному из «покойников» «Беседы»...

Неподалеку на диване, строго откинувшись к спинке, сидел Чаадаев. Даже молчание Чаадаева было многозначительным. Лицо его — лицо молодого офицера с бледной кожей и яркими кружками румянца на щеках — и сейчас сохраняло странную свою неподвижность. Казалось, такого лица вообще быть не может, оно выдуманно, оно нарисовано; оно было необыкновенно красиво. И Пушкин замечал, как дамы исподтишка поглядывают на Чаадаева... Нет, не гусарский мундир нужен такому человеку — он выше, неизмеримо выше обыкновенных буйных гусар, может быть, это — великий мыслитель, государственный деятель... Когда Чаадаев говорил, негромкий его голос был слышен и при общем шуме...

Рядом с Чаадаевым скромно сидел на диване юный Раевский.

А на низком пуфе сидел человек, которого Пушкин увидел сегодня в первый раз. Это был Михаил Орлов — герой войны, любимец царя, известный тем, что в 1814 году уполномочен был подписать акт капитуляции Парижа... Он совсем недавно вернулся из-за границы.

До начала чтения осанистый генерал с решительными чертами крупного лица сам подошел к Пушкину и, с любопытством вглядываясь в него, сказал громогласно: «А я имел удовольствие заочно знать вас по превосходным стихам!» Голова кружилась от такой похвалы.

Сам Карамзин вызывал в Пушкине то восхищение, то протест, и трудно было в этих чувствах разобраться. Вот Карамзин поднялся с кресла, обитого красным сафьяном, прошелся по комнате и остановился у стены неподалеку от Пушкина. Высокая, легкая его фигура, иссеченное глубокими морщинами лицо, воздушный венчик редких седых волос отразились в овальном стенном зеркале. Глядя на это отражение, Пушкин подумал: этот человек совершил подвиг; дар Карамзина — история России — неоценим...

...И в то же время он уже не ловил, как когда-то, каждое его слово. Уже в Карамзине он видел не бога, а всего лишь человека... Недавно Карамзин рассказал о чаепитии на острове с государем и государыней, и он невольно подумал: чем же гордится Карамзин? Разве историограф не должен быть независимым? Или вот еще: недавно он показал Карамзину свою эпиграмму на поэтессу Пучкову. В журнале напечатано было уморительное стихотворение перерзлой девы Пучковой под забавным заглавием: «Экспромт тем, которые упрекали меня, для чего я не написала стихов на кончину Г. Р. Державина». Там были строки:

Деве ли робкой  
Арфой незвучной  
Славному барду  
Песнь погребальну —  
Деве ль бряцать?

И он ответил эпиграммой:

Зачем кричишь ты, что ты дева,  
На каждом девственном стихе?  
О, вижу я, певица Ева.  
Хлопочешь ты о женихе.

Эта эпиграмма была стрелой во вражеский стан, и он ожидал от Карамзина одобрения, смеха. Но оказалось, что Карамзину ни с того ни с сего эпиграмма не понравилась, он даже произнес нотацию: «Полагаю, у тебя это вовсе не удачно... Полагаю, есть вещи святыя; смерть почтенного Гаврилы Романовича — наше общее горе, а не повод для шуток...»

Протест против Карамзина где-то в глубине души сплелся с другим — с мыслями о прекрасной молодой жене Карамзина. О, как мог он раньше проходить мимо красоты этой женщины с необыкновенной белизной кожи, с мраморной четкостью профиля, с завершенностью линий и античной величавостью движений! Пушкин теперь с волнением следил за ней; он читал по ее лицу все, что в ней происходило; она была полна забот о муже, уставшем от долгого чтения... О, какое счастье быть любимым такой женщиной!

Лицо Карамзина и в самом деле от утомления побледнело и осунулось. Но спор продолжался. Мыслящие люди, которые у Карамзина собирались, не хотели с ним соглашаться, не могли примириться с главной его мыслью: в России невозможны и никогда не будут возможны свободные установления. Они возражали — кто пылко, кто веско, кто обдуманно, кто торопливо...

Александр Иванович Тургенев был настроен миролюбивее других.

— Главное, господа, была бы любовь к отечеству,— сказал он.— Любовь к отечеству поможет найти истину... Я думаю, что потрясение, причиненное войной, освежило Россию и пробудило в ней силы... Мы как будто очнулись от сна, взглянули на себя с изумлением и задаем себе вопрос: а что же мы есть?

Но даже юный Раевский позволил себе возразить Карамзину.

— Свобода присуща натуре человека,— сказал он не то вопросительно, не то утвердительно.

Чаадаев сказал негромко, но сразу всем было слышно:

— Законы вообще нужно выводить из природы человека. Но неужели в русской натуре заложено рабство? Подумать только — идея представительства никогда не существовала в русской жизни...

Пушкин закивал: ведь они об этом прежде уже говорили.

Непримиримей всех был Орлов.

— Печальную мысль вы проводите! — воскликнул он.— Россия немалым без деспотизма! — Орлов сильные свои руки упер в колени, воротник мундира твердо подпирал его подбородок.— А верховный суверенитет народа? А естественное право — сопротивляться тиранам?

Он был очень пылок и громогласен, этот Орлов, что-то в этом ростом, мощном мужчине казалось Пушкину забавным — может быть, герой войны забывал, что гостиные не поле сражения? Но нельзя было не отдать должного пылкому его красноречию.

Карамзина, видимо, потрясло, что все эти блестящие офицеры, да и вообще молодые люди, не желают следовать за ним; он еще больше начал сутулиться, как бы под непосильным грузом.

— Вы набрались чужих мыслей, господа,— заговорил он.— Все теперь стараются быть гражданами мира. И при этом забывают, что мы все же граждане России. А Россия идет своим путем. И прошлое у нее особое и будущее особое... Я занимаюсь историей и от истории требую истины, а не направления. Тем более я не терплю модного направления... Да, господа, форма правления в России лежит в ее истории. И за тысячу лет мы успели узнать, да, за тысячу лет мы узнали, в чем источник народного блаженства! — Он даже всплеснул руками.— Ведь это удивительно! Ведь это единственный, беспримерный случай: славяне добровольно требуют государей от варягов... Как могло это произойти? А вот как: это инстинкт, верный инстинкт вывел нас на правильный путь. Коротко сказать: отечество наше — слабое, разделенное на малые области до восьмисот шестьдесят второго года, обязано и бытием и величием введению монархической власти! И я повторяю, господа... — он передохнул,— я повторяю: если бы Россия была единодержавным государством от пределов Днестра до Ливонии, до Белого моря, Камы и Дона, мы не испытали бы ига татарского... Я повторяю,— с силой воскликнул он,— всякое иное правление в России, кроме единовластия, приведет к распаду и анархии! А я считаю, что уж хуже анархии ничего нет...

Орлов возразил ему:

— Нет-с, Россия до Рюрика была уже республикой. И потом история дает примеры, как народ наш собирался на вече по призыву колокола для рассуждений об общественных делах. Новгород — бесценный тому пример...

— Вы приукрашиваете-с! — Карамзин начал горячиться.— Народ новгородский был вздорен, да-с, бессмысленно мятежен и мешал единению России. Ярослав Великий даровал им свободу избирать князей, но предвидел ли сей бессмертный князь, что народ, упоенный самовластием, будет ругаться над священным саном государей?

Все же здесь никто не мог сравниться с Карамзиным в обширности и глубине знаний. Его слушали.

— «Не вели им — новгородцам — князи крест преступати...» — так сказано в летописи. А они изгнали князя Владимира: дескать, не блюдет он простого народа и непостоянен в мыслях... Потом изгнали князя Святополка, а княгиню сослали в монастырь. Призвали внука Мономахова, Ростислава, — и еще хвалились мудрой своей политикой — а Ростислав, не снеся распрей, ушел к отцу... Потом изгнали Давида. Потом Мстислав Георгиевич сам бежал от них. И вся история этого буйного города такова...

Карамзин замолчал.

— Господа! — Екатерина Андреевна вмешалась в разговор. — Прошу, господа, пить чай.

Но ее и не слушали.

— Вы верите в возможность гражданских свобод в России или нет? — прямо спросил Орлов, обращаясь к Карамзину.

— Но они не нужны! — Карамзин поднял вверх руку со сложенными перстами, как проповедник. — Поймите, России не нужны гражданские свободы! Славянский народ, когда был дик, не терпел над собой никаких властителей. Но дикая простота нравов только и прилична дикому народу... Сильная власть создала наше государство. И просто по размерам своим Россия никогда не сможет быть республикой. А тираны — даже тираны нам не помешали. Я говорю о самодержце-мучителе Иване Грозном. Что же, Россия устояла, ибо верила, что это бог насылает и язву, и землетрясение, и тиранов... Зато этот тиран сослужил России великую пользу, он приобрел для нее новые земли — Казань, Астрахань, Сибирь... Наш народ буен — ему лишь буйство и пьянство. Дайте русскому человеку свободу — она ему не нужна, он не знает, что с ней делать. И я вам укажу на добровольное холопство в России. Да, да, когда холопов освобождали по духовному завещанию, многие искали новых господ и шли к ним в кабалу: им чужда свобода, они предпочитают легкую службу и беспечность...

— Хорошего же вы мнения о своих соотечественниках! — воскликнул Орлов с гневом. — И к чему привел прославляемый вами деспотизм? Возвращаясь в Россию — и вместо конституционного правительства находишь татарщину пятнадцатого века, несправедливость, притеснения, рабство, низость, бесчестие... Что нашли мы в своем отечестве? Власти — снизу доверху — сплошь взяточники, дворяне — духовные невежды, все остальные костенеют и пресмыкаются в рабстве. Поверьте, я предан великой славе отечества. Но время ли сейчас самих себя превозносить? Язвы рабства безобразят нашу страну...

Пушкин не мог удержаться. Он вскочил со своего места и, обращаясь к Карамзину, воскликнул:

— Но вы рабство предпочитаете свободе!

Карамзин вдруг загорелся гневом. Ответил он, обращаясь именно к Пушкину:

— Вы на меня возводите клевету!

Спор зашел слишком далеко.

Екатерина Андреевна сочла нужным вмешаться. Пили чай, и Карамзин говорил о своей работе, жаловался на усталость. Восемь томов его истории должны были вот-вот выйти — но каких усилий это стоило! Впрочем, он уповал на бога и на государя. Почти ежедневно он встречал государя во время прогулок — его величество эти встречи называл встречами в зеленом кабинете, посреди аллеи... Старый историограф был полон умиления; государь покровительствовал его трудам, значит, его труды нужны государю!

Утомленный, усталый вышел Карамзин в этот вечер в садик, призывающий к домику. Те, кто с ним спорил, увы, не были мудры. Они не знали, что перемены не приносят ни улучшения, ни счастья. Но измена Пушкина особенно сильно поразила его. Да, молодые люди пойдут своим путем, они совершат безумие — но к чему это безумие приведет?

Когда-то он сам писал:

Цепь составьте, миллионы, дети одного отца!  
Вам даны одни законы, вам даны одни сердца!

Но теперь он не верил в утопию о будущем братстве людей, не верил в «золотой век». Люди несовершенны, страсти их изменны, и единственное, что нужно, это просвещение. Да, только просвещение может помочь России!

Он взглянул на окно своего домика. Там, в его кабинете, зажженная свеча бросала на стол узкий круг света. Каким слабым был этот круг в сплошной ночи! Но он звал его. Там было его место.

Он вернулся в дом. Старая, он хотел спокойно созерцать мир, и всякое бурление молодежи в этом мире мешало созерцанию.

А тот, кто так огорчил старого писателя, унес из его дома томительное волнение сильной, но еще неясной, ни на чем не остановившейся влюбленности — и последние лицейские дни тратил не на занятия; он вышагивал рядом с Михаилом Федоровичем Орловым по царскосельским улочкам.

Этот громогласный и величественный флигель-адъютант с золотыми вензелями императора в погонах, оказывается, готовил императору петицию. Генерал Васильчиков в прошлом году потерпел крушение. Но Орлов верил, что царю благоугодна идея освобождения крестьян, и собирал подписи, чтобы составить общество, иначе говоря, комитет. Он обходил влиятельных помещиков и теперь шел к графу Варфоломею Васильевичу Толстому.

Говорить о царе на улице было неудобно, но все же, понизив голос, Пушкин говорил:

— Неужели вы думаете, что эта идея царю благоугодна?

Сам он все хуже относился к царю, это его мнение крепло от многочисленных рассказов о двуличии царя.

— Но просвещенный монарх, конечно же, понимает, что рабство пятнает нашу честь, — отвечал Орлов. — К тому же государь недвусмысленно обещал...

— Обещал! — воскликнул Пушкин. — Если полагать, что люди глупы, достаточно время от времени им о б е щ а т ь.

Но Орлову не хотелось на улице обо всем этом говорить. Он переменял тему.

— Итак, что думает делать в Петербурге поэт, выпорхнув из лица?

— Я? О! Закажу обед у знаменитого Тардифа в Hôtel de l'Europe... Потом маскарад у Фельетá... Потом театр... балет... — Он с лукавством взглянул на Орлова. Нет, он совсем не желал ни с того ни с сего рассказывать о себе.

Орлов поморщился, но понял: у лицеиста был норовистый характер.

А вот и знакомый особняк, в котором граф Варфоломей Васильевич уже столько лет тешил царскосельскую публику театром...

Граф встретил их с раскрытыми объятиями. Графиня была нездорова и не могла выйти, но Варфоломей Васильевич был счастлив.

Он был хлебосолом и гордился искусством своего повара не меньше, чем искусством своего театра.

В любое время он сажал гостей за стол. И сейчас в ту же минуту был накрыт стол. Сегодня граф угощал необыкновенной кулебякой. Загибая пальцы, он перечислял: во-первых, отварные крупы, затем рубленые яйца, семга, фарш из телятины, слой из стерляди, слой из налимовой печенки, фарш из щук, мозги из говяжьих костей — слоев не меньше десяти.

Нужно было в эту минуту видеть лицо графа Варфоломея Толстого: оно светилось. Все пальцы оказались загнутыми — и казалось, что граф зажал в кулак само счастье. Пушкин засмеялся, может быть не очень кстати.

— Граф, я к вам по делу,— сказал Орлов и принялся рассказывать о петиции и о комитете.

— Многие, говорите, подписали? — удивился Толстой.

Орлов назвал известные фамилии.

Граф развел руками.

— Но помилуйте... Как же это вдруг взять и отдать своих крестьян?

Но Орлов с горячностью пустился в доказательства: читал ли граф труды Адама Смита? Совсем недавно вышел перевод. Так вот, крепостное право невыгодно самим помещикам. И «Вольное экономическое общество» на своем заседании уже обсудило этот вопрос... Вот поэтому многим русским помещикам не противна мысль об освобождении крестьян. На известных, понятно, условиях. И многие подписались...

— Но позвольте,— недоумевал граф.— Ну хорошо, пусть вы правы, пусть прав ваш Адам Смит и помещик выгадает, когда отдаст землю в аренду свободным хлебопашцам. Но ведь потом вы скажете: освободи и дворню!

— А на что вам дворня? — ответил Орлов.— Это варварство наше российское, за границей в богатом доме всего два-три человека для услуг.

— Позвольте-с,— сказал граф.— Но как же без дворни? Я, например, выезжаю в карете, так у меня кучер, и два фореитора, да ливрейные лакеи на запятках; и в доме у меня повара, камердинер с помощниками, дворецкий, парикмахер, портные, горничные и прочее и прочее... Вы пришли, вы мои дорогие гости, я сажаю вас за стол... А если вы лишите нас, дворян, дворни — значит, вы уничтожите в нас и страсть к гостеприимству! Что же вы делаете с русским человеком!

Но и Орлов был красноречив. И так горячо говорил о позоре рабства, о подвиге, который совершил русский народ в Отечественной войне, что Толстой умилился.

— Сам государь, завершив войну великой победой, пожелает обесмертить царствование освобождением своего народа! — горячо убеждал Орлов.

— *C'est vrai!*<sup>36</sup> — повторял граф, и в выражении его лица появилась даже восторженность. Речь шла о государе!

— Наша Россия примкнет к цивилизованным государствам,— проповедовал Орлов.

— *C'est vrai!*..

И с выражением просветления Толстой огляделся вокруг; взгляд его упал на молодого слугу, который в это время входил с подносом.

<sup>36</sup> Это правда! (Франц.)

— Пантелей,— сказал граф, протягивая руку и пальцем показывая на слугу,— даю тебе вольную, ты свободен! — И, будто обессилев от собственных слов, уронил руку.

Не поняв барина, слуга с полотенцем через плечо и подносом в руках стоял посреди комнаты.

— Барин вольную дает тебе, дурак. Кланяйся барину,— неторопливым, густым басом сказал другой слуга.

Парень все стоял неподвижно.

— Кланяйся же в ноги, дурак, благодари барина.

Поднос накренился, посуда поехала на пол; парень бросился на колени — непонятно, то ли собирать осколки, то ли благодарить.

— Итак, граф, вы желаете подписать петицию? — спросил Орлов.

— Никак нет, не подпишу-с,— отвечал Варфоломей Васильевич. Орлов резко откинулся к спинке стула.

— Но почему?

Восторженность графа уже остыла.

— И объясню почему! — Он ткнул пальцем в ползавшего по полу парня.— По моему глубокому убеждению, ваше превосходительство, дворяне и крестьяне — это совершенно разные расы. Наши крепостные — это потомки Хама. А дворяне произошли от двух старших братьев... Но вы, господа, меня обижаете. Едите мало, не спрашиваете ничего о театре...

И, может быть опять не вовремя, Пушкин рассмеялся. Он смотрел на генерала, на графа, на слуг живым взглядом... Он смотрел вокруг — будто горизонты раздвинулись, раздались...

На этот раз музы особенно долго не покидали его кельи. Их лица — классические лица с ниспадающими на лоб завитками — были задумчивы. И в их движениях — взмахах широких крыльев, в кружении, в полете — была сдержанность. Их легкие одежды выглядели строгими. И лира звучала по-новому...

Россия, необъятная страна, смутно вырисовывалась вдали — и нужно было о многом подумать. И вот уже как будто раздались новые, прежде неведомые звуки, чуткое ухо спешило уловить их... О чем они? О преданьях старины? О сладостных снах сердца? О новых картинах жизни?

## 6

В последний раз, в сени уединенья,  
Моим стихам внимают наш пенат.  
Лицейской жизни милый брат,  
Делю с тобой последние мгновенья.

«Разлука».

В просторном кабинете появился новый шкаф.

Сидя у торца массивного стола, Пушкин смотрел на этот шкаф — его стеклянные дверцы, еще плохо пригнанные, были приоткрыты; здесь будут хранить кондуиты, награды и списки тех, кто придет в лицей после них...

Со своего места за столом директор поглядывал на ученика. Оба молчали.

— Я хочу повторить еще раз,— наконец сказал Энгельгардт.— В прощальной песне отразится братский дух нашего лицея. Прощальная песня должна воспеть наше лицейское братство.— И добавил: — Что за вечер без прощальной песни?

Ученик смотрел куда-то в глубь кабинета и, видимо, был в нерешительности.

— Я просил бы,— сказал Энгельгардт,— сохранить в этой прощальной песне такое содержание: ученики покидают лицейские стены, их зовет служба отечеству; но шесть лет они были вместе; и они дают клятву всегда, всегда быть верными заветам дружбы... Ты подумал?.. Ты решил?.. Выпуск будет перед царем.

— Но... Я полагаю...— Пушкин бросил быстрый взгляд на директора.— Я думаю, что в лицее есть более достойные...

— Ты первый лицейский поэт, не так ли? Именно тебе и предложена честь написать прощальную песню... Ты обдумал?

Опять молчание.

— Боюсь, право же, боюсь, что во мне неостанется сил...

— Я не настаиваю.— Тень разочарования и горечи промелькнула по лицу Энгельгардта.

Взгляды директора и ученика встретились. Увы, их отношения так и не наладились. Да теперь и незачем было их налаживать: уже директор мог равнодушнее смотреть на явные недостатки ученика, а ученик мог спокойно относиться к недолгой власти директора.

— Я не настаиваю,— повторил директор.— Все же я думал, тебе захочется оставить память о себе в лицее...

Да, их отношения не стали лучше. Уже давно Энгельгардт знал каждого ученика. Он вполне, например, оценил честную душу Пушкина, его высокие устремления и в своих записях о Пушкине сделал пометку: «Золотой». Горчаков — блестяще способный, бесконечно тщеславный, оскорбительно заносчивый... Он знал все о Мясоедове: никто так хорошо не одевался, никто не умел так изящно пользоваться своим лорнетом, и при всем том никто не был так безнадежно туп... О лицейских поэтах Энгельгардт был невысокого мнения. Иличевский — слишком худосочен, похвалы только вскружили ему голову. В Дельвиге — малая крупица таланта, но что ожидать от рыхлого рослого юноши, который и сейчас, накануне выпуска, бродит погруженный в незрелые свои мечты, вдруг останавливается и бормочет: «Корабль Одиссея, бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся...» Пожалуй, в Кюхельбекере больше, чем в других, сердца, больше благих порывов, но беспокоит странный его нрав. «Тебе не хватает такта, меры,— не раз убеждал его директор,— ты говоришь не у места, без расчета — überspannt, преувеличенно».

А про Пушкина директор твердо знал: где нет нравственности и добрых устоев, не может быть доброго гения. Способности, конечно, были, а великого быть ничего не может.

— Итак, вы не желаете,— уже переходя на официальный тон и поддавшись раздражению, сказал Энгельгардт.— Что же...— Он помедлил, будто все еще ждал, что ученик одумается.

— К великому сожалению...— Пушкину было неловко.

— Что же, идите,— сказал Энгельгардт.

И Пушкин вышел из кабинета. Закрыв за собой дверь, он вздохнул с облегчением. Не мог он заставить себя послушаться Энгельгардта. Не мог — и все!

Прощай кабинет... Прощай директор — честный, но тяжеловесный педагог, преданный своим принципам, но не желающий за взбалмошным поведением увидеть нечто другое — тончайшее, легчайшее, прекраснейшее...

Энгельгардт не нравился ему. Энгельгардта он не любил. Он не забыл удара, который нанес ему Энгельгардт. У него не было твердых доказательств, но все же он был уверен, что именно Энгельгардт помешал ему напечатать стихи в журнале у Каченовского...



Он бросился искать Пушкина. Сейчас им редко удавалось поговорить. Они бывали в разных местах, встречались с разными людьми. Один — у гусар, другой — у офицеров Генерального штаба; новые знакомые и новые дела увлекали Пушкина, а может быть, он был занят, готовясь к экзаменам.

Пушкин нашел своего друга в рекреационном зале: здесь былолюдно, шумно... Шло прощание с лицедем.

— Яковлев, давай! Яковлев, еще! Ну, Яковлев! — слышались со всех сторон крики.

Яковлев — известный лицедей — исполнял свои номера. Даже его лицо — с полными яркими губами, круто разлетающимися бровями и веселыми глазами — вызывало ожидание чего-то забавного, смешного... Недаром у него была кличка Паяц — Двести Номеров! Среди его номеров были такие знаменитые, как «Открытый рот», «Я пьян», «Дети Энгельгардта», «Петух и курица»...

— Яковлев, душа моя! Яковлев, ну пожалуйста! Давай Калинича!

Не очень рослый, он выгнул грудь колесом, а на его лице, сделавшемся остолбенело-неподвижным, появилось глупое выражение. Яковлев прошел взад и вперед тяжелым шагом, бормоча: «Пичужки вы мои, пичужки...» И его руки задвигались, выделявая какую-то работу, а в складке у переносицы, в сомкнувшихся губах появилась глубокая дума: это Калинич чинил для своих учеников перья.

Смех, ликование, крики! Прощай Калинич! Прощай великан-гувернер, когда-то в свои сильные и ласковые руки принявший маленьких, испуганных, тоскующих лицеистов. Прощай глупый детина, учивший чистописанию, подписям, росчеркам, лизоблюд, преданный слуга Гауеншильда, неременный участник хора Теппера, собиратель сплетен и податель доносов. Но лицеисты и растроганы, у некоторых даже слезы на глазах...

— Яковлев, давай... Теперь давай Кайданова!

— Что такое реформация? — воскликнул Яковлев, подражая мало-российскому говорку историка Кайданова. — Ну, господин скотина, господин животина, что такое реформация? Долго заряжали пушку. Наконец пришел Лютер и сделал — паф! Вот это и есть реформация...

Опять хохот, крики! Прощайте наставники, прощайте профессеры, классы, лекции, кафедры!

— Яковлев, еще!

Став кружком, они принялись сочинять куплеты. Это куплеты про список воспитанников, который после экзаменов должна составить конференция? Что это за список!

Кто-то первый выкрикнул:

Этот список суши бредни,  
Кто тут первый, кто последний...

И пошло, и пошло!

Покровительством Минервы  
Пусть Вальховский будет первым...

Про Дельвига:

Дельвиг мыслит на досуге,  
Можно спать и в Кременчуге...

Дельвиг после выпуска хотел уехать в Кременчуг, где служил его отец.

## Про Пущина:

Не тужи, любезный Пущин,  
Будешь в гвардию ты пущен...

И каждый куплет песни заканчивался разудалым припевом:

Мы ж нули, мы нули,  
Ай люли, люли, люли!

Все в их лицее было необыкновенным! Дворцовые крыши и парковые павильоны когда-то, при Елизавете, были сплошь позолочены... А лицейский старик повар когда-то был поваром Суворова... А Теппер — ведь он знаменитый европейский музыкант! Прощай, лицей!

Потом Пушкин и Пущин пошли бродить по окрестностям лицея. На улочке показались приятели-лицейсты. Впереди выступал Бакунин.

Как много значил для них совсем недавно этот дом с высокой черепичной крышей, этот сад, эта узорчатая решетка... Теперь они равнодушно шли мимо... Да, их любовь погибла; любовь возникла и прошла у них одновременно — будто в душе у обоих звучала одна и та же струна... Они годы прожили вместе, вместе росли, вместе учились, вместе болели, в одно и то же время чувствовали голод и сытость, они вместе влюблялись и вот одновременно разлюбили — их близость не могла пройти до конца жизни! Они говорили о том, что дружба их вечна. Что ждет их впереди? О, что бы ни ждало — их союз нерасторжим!

Они перешли через Баболовскую дорогу, спустились к Розовому полю, постоянному месту игр, и нашли свою скамью.

Вот что удивительно: шесть лет соединения; и вот теперь на пороге новой жизни, после общих игр, после общих занятий, общих споров оказалось, что каждый из лицейстов пришел к чему-то своему. Разве не удивительно? Один спешит надеть нарядную форму, чтобы щеголять на параде, и как только напялит на голову кивер — забудет обо всем, чему его учили. Другой мечтает о карьере и вскоре займет свое место в передней важного вельможи — как Модя Корф, который в день рождения сестры императрицы поспешил записать свое имя в книге поздравляющих. Вот что значит делать карьеру! Горчаков готовится предстать перед статс-секретарем по иностранным делам графом Каподистрия. А скромный Матюшкин бродит по берегу Большого пруда, разглядывая шляпы и боты, — он решил посвятить себя морским путешествиям. Дельвиг же равнодушен к деловой суете... И Кюхельбекер готовит себя к какой-то высокой миссии...

— Да, брат, пора младенчества прошла, — сказал Иван Пущин.

Теперь это был коренастый, крепкий молодой человек с энергичным подбородком, добрым лицом и щеголеватой внешностью, о которой весьма заботился. Теперь он был серьезнее, собраннее, хотя на открытом и энергичном его лице по-прежнему была разлита веселость.

— Виделся я с офицером Генерального штаба Бурцевым, — сказал Пущин. — Помнишь, из «Священной артели»?

Как же, Пушкин, конечно, помнил.

— Мы говорили с Бурцевым... Так, как сейчас, оставаться не должно... — Видимо, Пущин готовился сообщить нечто важное. — Император Александр, если не принудить, обещаний выполнять не будет.

О, с каким гневом заговорил Пушкин об императоре Александре. Вот настоящий деспот! Да, он ненавидел императора Александра, но

жена его, императрица, казалась ему очень соблазнительной. С какой радостью наставил бы он рога плешивому императору!

Пушкин взглянул на своего приятеля с удивлением: не шутит ли он? Нет, Пушкин готов был считать себя соперником царя!

В разговоре произошла какая-то заминка.

И как всегда, когда Пушкин испытывал неловкость, он щекотал, обнимал, подталкивал своего друга. Ах, Жанно иногда был несправедлив к нему. Жанно вел себя как старший, как судья. Но Жанно был не прав: можно было догадаться, что Пуштин хочет вступить в общество, может быть в «Священную артель». И что же? Пушкин и сам готов вступить в «Арзамас». В «Священной артели» говорили, говорили, говорили — осуждая царя. Но он уже писал эпиграммы на царя!

Вскоре друзья расстались. Пушкин остался один. Он огляделся вокруг. Прощай лицей, прощайте царские чертоги и сады! Он пошел по дорожкам, по которым ходил сотни раз. По крутому склону, продираясь сквозь кусты, цепляясь за каменные уступы, Пушкин взобрался к Большому капризу; отсюда открывался прекрасный вид. За Розовым полем, за липами Центральной аллеи, за гранитной террасой и прибрежными деревьями и кустами просвечивала озерная гладь. А на холме поблескивали крыши Большого дворца. А еще дальше со всех сторон расстилались неоглядные дали — там, в этих далях, его ожидала новая жизнь.

Внизу он увидел колонну лицеистов младшего курса. Он глядел на мальчиков. Вот кто будет теперь хозяевами лицея. Они выглядят очень счастливыми, эти мальчики. Кто-то смеялся, кто-то громко разговаривал... А вот двое держатся за руки — может быть, это неразлучные друзья! Кто из них займет его номер в дортуаре?

Вот так же давным-давно он шел в строю товарищей, толкал то Пуштина, то Малиновского, и это сначала было шуткой, а потом перешло в драку, и когда гувернер отвернулся, друзья схватили его с двух сторон за руки и принялись дубасить по спине. Это когда-то стоило ему слез; теперь воспоминание вызвало счастливую улыбку...

И еще великий момент в его жизни — приезд Державина. Старик в тяжелой шубе едва переступал ногами, с трудом поднялся на крыльцо — и тут же обратился к швейцару, не в силах скрыть старческой своей немощи. А потом сидел за экзаменационным столом, лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли... Жалкие обломки былого величия! Зачем долго жить? Нет, сверкнуть кометой — и уйти...

Пушкин направился к домику Карамзина. Вот игрушечный домик. Он заглянул в открытое окно — Екатерина Андреевна обернулась, увидела его курчавую голову и заулыбалась. Она была в комнате одна.

Потом она подошла к окну — и вдруг... Какая-то записка из рук юноши перешла в ее руки, а сам юноша стремглав бросился прочь, продрался сквозь садовые кусты, перепрыгнул через невысокую ограду на Баболовскую дорогу и скрылся...

Он вернулся к дому минут через двадцать. В нерешительности остановился у дверей...

Он постучал в дверь. Открыла Екатерина Андреевна. Она внимательно посмотрела на него — поток признаний полился из его глаз в ответ! Но что это — она в комнате была не одна?

Да, справа, возле стола, стоял Карамзин, и записка была у него в руках. Брови у Карамзина недоуменно поднялись вверх, а на лице было грустное, даже скорбное выражение.

— Что это значит? — тихим голосом спросил Карамзин.  
Отступать было некуда.

— Я, простите, не понимаю вашего поступка,— сказал Карамзин тихим голосом, стоя спиной к юноше.

Что было делать? Куда увлек его необдуманный порыв? Схватившись руками за голову, Пушкин, шатаясь, прошел по комнате и опустился на диван. Плечи его задергались — он заплакал...

— Нам всем даны и чувства, и темперамент, и разум — от рождения... Но разумом мы должны направлять свои поступки — это зависит от нас,— дошел до него приглушенный голос Карамзина.

Плечи его задергались от рыданий сильнее.

Некоторое время никто не произносил ни слова.

— Тебе нужно успокоиться,—наконец сказала Карамзина. Все же по возрасту Пушкин как раз годился ей в сыновья.

Но он не отвечал. Екатерина Андреевна и Николай Михайлович уже в некоторой растерянности взглянули друг на друга. Этот юноша в их доме был совершенно *comme l'enfant de la maison*<sup>37</sup>, и они привыкли видеть его всегда веселым; он только и искал случая, чтобы залиться звонким смехом.

— Нужно давать себе труд подумать, прежде чем поступать,— уже смягчаясь, сказал Карамзин.

А он не отвечал. О, они не могли понять, отчего он плачет... Они не могли понять, что жизнь наносит ему удар за ударом.

— Нужно успокоиться,— утешали его Николай Михайлович и Екатерина Андреевна.

Он встал с дивана. Закрывая руками лицо, он направился к двери... Прощайте, он уходит. Он уходит, уходит, уходит — в новую жизнь...

С 15 до 31 мая 1817 года были экзамены первого выпуска Императорского царскосельского лицея. Директор Энгельгардт сдержал обещание: двойные билеты помогли, выпущены из лицея были все. Члены Академии и члены синода со своих мест за длинным столом, покрытым красной скатертью с кисточками, видели, как ученики подходят, берут билеты, а потом с удовольствием слушали бойкие их ответы.

Пушкин на экзамене по российской словесности прочитал свое стихотворение «Безверие» — о страданиях неверующих, о пустоте, которая его гнетет, о том, что его не ждут ни утешение, ни отрада, ни надежда на будущее блаженство... Директор, может быть, не случайно задал эту тему Пушкину. Двойные билеты ему плохо помогли, по многим предметам Пушкин выказал весьма посредственные познания — нет, он совершенно не был сейчас в состоянии овладеть школьной премудростью. Впрочем, и на протяжении всех лет учения он блистал лишь по русской словесности, по французской словесности да показал исключительные успехи, неустранимость и ловкость в фехтовании... На экзаменах хуже его были Дельвиг, Данзас и Брольо.

Большую золотую медаль получил Вальховский: все же он обогнал Горчакова, показав лучшие знания по классу военных наук — по современной и полевой фортификации. Горчаков удовлетворился малой золотой медалью. Кюхельбекер и Пуцин удостоились серебряных медалей...

Государь изменил свое намерение — гостей на торжественном акте почти не было. Рядом с Александром сидел новый министр, князь Голицын... Государь был мрачен. Говорили, что он разочарован в ли-

<sup>37</sup> Как член семьи (франц.).

щее. Говорили, что он встревожен беспорядками в стране. Стало известно, что он отказал Михаилу Орлову в его петиции.

Директор Энгельгардт сказал короткую речь. Куницын прочитал отчет конференции. Потом каждого лицеиста представили царю. Как шесть лет тому назад, Пушкин вышел из рядов своих товарищей и поклонился царю.

Что же ждет его впереди? Что ждет его в Петербурге?

Царь выказал высочайшее благоволение: профессорам были розданы ордена, служителям — награды.

И вот пропели прощальную песню, написанную Дельвигом и положенную на музыку Теппером, и оставили записи «на память» в большой книге в кожаном переплете у Энгельгардта. Прощай, лицей! 11 июля 1817 года в карете — не в собственной, а наемной — вместе с Комовским, Масловым, Ломоносовым, Брольо, Бакуниным и Кюхельбекером Пушкин отправился из Царского Села в Петербург.

Впереди и позади тоже катили наемные кареты.

И всю дорогу, когда за окнами тянулись ровные, однообразные поля и когда мелькали деревеньки и появились шлагбаумы и полосатые будки, возвещая приближение Петербурга, они высовывались из окна, оглядывались назад, будто высматривая оставшееся позади Царское Село, и от наплыва чувств кто-то шептал слова прощальных стихов Пушкина:

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,  
При милых ли брегах родимого ручья,  
Святому братству верен я.  
И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),  
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

---

Л. И. Дугин, 1919 года рождения, по профессии врач. В годы войны работал хирургом в полевых госпиталях. В настоящее время врач одного из медицинских учреждений Москвы.



---

---

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

★

## МЕТЕЛЬ

### ОЖИДАНИЕ ЕЛКИ

Благоволите, сестра и сестра,  
дочери Елизавета и Анна,  
не шелохнуться! О, как еще рано,  
как неподвижен канун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,  
не понукайте мгновенья, покуда  
медленный бег неизбежного чуда  
сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трехглавая тень,  
Пущин минует сугробы и льдины.  
Елизавета и Анна, едины  
миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!  
Зверь добродушный, пришелец желанный,  
сжался над Елизаветой и Анной,  
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!  
Все вам верну, ничего не отнявши.  
Грозно живучее шествие наше  
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,  
изнемогая и свет исторгая.  
Елизавета и Анна, какая  
радость — мучительно радости ждать!

Древо взирает на дочь и на дочь.  
Надо ль бедой расплатиться за это?  
Или же, Анна и Елизавета,  
так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь, и страданье, и все это — ей,  
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.  
Кто это?  
Елизаветы и Анны  
крик: — Это ель! Это ель! Это ель!

## АДА

Что в бедном имени твоём,  
что в имени неблагозвучном  
далось мне?  
Я в слезах при нём  
и в страхе неблагополучном.

Оно — лишь звук, но этот звук  
мой напряжённый слух морочил.  
Он возникал — и кисти рук  
мороз болезненный морозил.

Я запрещала быть словам  
с ним даже в сходстве отдалённом.  
Слова, я не прощала вам  
и вашим гласным удлинённым.

И вот, доверившись концу,  
я выкликнула имя это,  
чтоб повстречать лицом к лицу  
его неведомое эхо.

Оно пришло и у дверей  
вспорхнуло детскою рукою.  
О, имя горечи моей,  
что названо ещё тобою?

Ведь я звала свою беду,  
свою проклятую, родную,  
при этом не имел в виду  
судьбу несчастную другую.

И вот сижу перед тобой,  
не смею ничего нарушить,  
с закинутою головой,  
чтоб слез моих не обнаружить.

Прости меня! Как этих рук  
мелки и жалостны приметы.  
И ты — лишь тезка этих мук,  
лишь девочка среди планеты.

Но что же делать с тем, другим  
таким же именем, как это?  
Ужели всем слезам моим  
иного не сыскать ответа?

Ужели за моей спиной  
затем, что многозначно слово,  
навек остался образ твой  
по воле совпадения злого?

Ужель какой-то срок спустя  
все по тому же совпаденью  
и тень твоё, как бы дитя,  
рванется за мою тенью?

И там, в летящих облаках,  
останутся как знак разлуки  
в моих протянутых руках  
твои протянутые руки.

\* \* \*

Жила в покое окаянном,  
а все ж душа — белым-бела,  
и если кто-то океаном  
и был — то это я была.

О, мой купальщик боязливый,  
ты б сам не выплыл — это я  
волною нежной и брезгливой  
на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобой!  
Как позабыла в той беде,  
что стал ты рыбой голубою,  
взлелеянной в моей воде!

И повторяют вслед за мною,  
и причитают все моря:  
о, ты, дитя мое родное,  
о, бедное, прости меня!

\* \* \*

Он поправляет пистолет,  
свеча качнулась, продержалась...  
Как тяжело он постарел,  
как долго это продолжалось.

И вспомнил он издали —  
там, за пределом постаренья,  
знамена своего полка,  
сверканья, трубы, построенья.

Не радостно ему стареть.  
Вчера побрел, побрел далеко  
на первый ледоход смотреть,  
стоял там долго, одиноко.

Потом направился домой,  
шаги тяжелые замедлил  
и вдруг заметил, боже мой,  
вдруг эту женщину заметил.

И вспомнилось — давным-давно,  
гроза, глубокий след ботинка,  
ее плечо обведено  
оборкой белого батиста.



Зачем она среди весны  
о той весне не вспоминала,  
стояла просто у стены,  
такая жалкая стояла.

И вот непоправимый гром  
раздастся, задевая рюмки,  
стемнеет, упадут на гроб  
жены его большие руки.

Придет его старинный друг,  
успевший прочитать в газете.  
Для утешенья этих рук  
он поцелует руки эти.

Они нальют ему вина,  
и глянет он непринужденно,  
как на подушке ордена  
горят мертво и отчужденно.

### МЕТЕЛЬ

Переделкино снег заметал.  
Средь белейшей метели не мы ли  
говорили, да губы немые  
целовали мороз, как металл?

Не к добру в этой зимней ночи  
полюбились мы пушкинским бесам.  
Не достичь этим медленным бегством  
ни крыльца, ни поленьев в печи.

Возносилось к созвездьям и льдам,  
ничего еще не означало,  
но так нежно, так скорбно звучало:  
мы погибнем, погибнем. Эльдар.

Опаляя железную нить,  
вдруг сверкнула вдали электричка,  
и оттаяла в сердце привычка:  
жить на свете, о, только бы жить.



# О ЧИ Е Р К И    И    Ж А Ш И Х    Д Н Е Й

ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ

★

## ПОРТ В БУХТЕ ВРАНГЕЛЯ

**Э**то очень далекая бухта. Одна из самых далеких в нашей стране. Но для меня она близкая, многое в моей жизни связано с ней. Чуть севернее бухты вдается в море мыс Поворотный. Там в туманные ночи 1945 года нес дозор сторожевой корабль «Вьюга», на котором служил я радистом. Двое-трое суток мотались мы по волнам, потом нас сменяла «Метель». Третий сторожевик — «Молния» — стоял в капитальном ремонте.

Здесь, у мыса Поворотного, отличился мой друг радиометрист Саша Куколев, вместе с которым мы несли вахту в рубке такой тесной, что едва помещались вдвоем. Светловолосый, застенчивый Саша был человеком незаурядным. В шестнадцать лет партизанил под Воронежем, потом попал на флот в учебное подразделение. Образование имел небольшое, но занимался настолько упорно, что овладел радиолокационной станцией лучше других. И вообще был на ты с техникой, мог починить все что угодно — от часов до сложной аппаратуры. Сам монтировал на корабле радиолокационную установку.

Локация была тогда делом новым, к ней только привыкали, присматривались. Аппаратура иногда подводила. Вахтенные офицеры по старой памяти больше доверяли сигнальщикам, а из техники предпочитали бинокли и дальномеры.

Темной ночью Александр Куколев заметил на экране локатора какие-то странные всплески. Что это? Какой предмет может оказаться здесь, в открытом море?

Доложил по переговорной трубе на мостик. Получил ответ вахтенного офицера и на этом мог бы успокоиться. Обязанность свою выполнил. Но Саша напряженно думал, глядя в экран: что же это там, среди волн?

Корабль быстро несся к невидимому предмету. Вахтенный офицер надеялся на зоркие глаза сигнальщиков, но те ничего не могли рассмотреть в тумане. И вдруг Сашу осенило, он бросился к переговорной трубе, крикнул взволнованно:

— Мостик! Прямо по носу мина!

Корабль резко изменил курс. Так резко, что я едва удержался на стуле. Вспыхнул прожектор. Луч света уперся в черный лоснящийся шар, который уплывал за корму.

У меня даже холодный пот выступил: смерть прошла совсем рядом. Если бы не Саша, так и оказались бы мы всем экипажем на морском дне.

О бдительности и мастерстве Александра Куколева я написал тогда в «Боевую вахту» — газету Тихоокеанского флота. Первая моя корреспонденция, появившаяся в печати.

Через год товарищи по кораблю, с которыми я служил и воевал, приняли меня в партию. После собрания, возбужденный и радостный, вышел я из душного кубрика на палубу. И первое, что увидел — знакомые очертания пустынной бухты. Сторожевик, бросив якорь, плавно покачивался на волнах.

Целое воскресенье мы провели на пляже и в тайге, подступавшей к самому берегу. Было жарко и тихо. Мы купались в прозрачной воде, ловили больших непуганых крабов. В сумерках, когда занимали места в шлюпках, услышали рев тигра. Вероятно, рассердило «хозяина тайги» наше вторжение в его владения.

Много воспоминаний связано у меня с далекой бухтой. И вот недавно вновь побывал в дорогих сердцу местах, увидел, какое строительство развернулось сейчас там, познакомился и подружился с людьми.

На стройку я приехал вместе с секретарем Приморской писательской организации Львом Николаевичем Князевым. Мы с ним ровесники, оба любим Дальний Восток, оба приняли крещение в соленой тихоокеанской купели. Он во время войны, подростком, ходил на торговых судах, а я служил на кораблях военного флота. Он был среди тех, кто высаживал десант на курильский остров Шумшу, а я в те же дни высаживался с десантом в Северной Корее. У обоих за спиной годы странствий, газетной работы. Как корреспондент «Водного транспорта», Лев Николаевич побывал в Америке, в других дальних краях. В Приморье хорошо известны его повести «Поворот на шестнадцать румбов» и «Крайняя мера».

Естественно, у нас с ним нашлось много «точек соприкосновения», быстро сложились дружеские отношения. Князев высок, плечист, полон энергии. Скуластое лицо и узкий разрез глаз он унаследовал от отца-удмурта. А от матери — русской учительницы — у него доброты, терпеливость. Подперев щеку ладонью, он может долго сочувственно слушать человека, сетующего на свою судьбу.

Вообще мне повезло, что я приехал в бухту Врангеля вместе с Князевым. Он не первый раз на этой стройке, его встречали как своего. В Находке он желанный гость. В этом городе живут его мать, старший брат с семьей, тут могила отца. Здесь, в Находке, он после института работал на заводе. Отсюда по призыву партии отправился как тридцатитысячник в деревню поднимать сельское хозяйство.

Еще до встречи с Князевым я, разумеется, имел представление о Находке, о бухте Врангеля, но в разговорах со Львом Николаевичем выяснились некоторые новые подробности. Прежде всего мы вспомнили, конечно, полулегендарную историю, приключившуюся в июне 1859 года с пароходо-корветом «Америка». Корабль следовал на юг из Татарского пролива, имея на борту генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского, который намеревался осмотреть залив Петра Великого (вскоре после осмотра в этом заливе, в бухте Золотой Рог, был основан город Владивосток).

Жестокий шторм обрушился на пароходо-корвет. Такой жестокий, что ветер рвал паруса, волны перекатывались через палубу. Поврежденный корабль едва держался, команда была измотана. Близилась ночь, которая наверняка стала бы для судна последней. И тогда командир пароходо-корвета Новицкий принял смелое решение: идти к гористому берегу, видневшемуся вдаль, искать там спасения и в крайнем случае выбросить корабль на сушу.

Крутые сопки высились впереди, не суля ничего хорошего. Но странное дело: едва корвет приблизился к ним, они словно бы расступились, открыв довольно широкий проход. Подгоняемый ветром корабль стремительно промчался мимо губительных утесов и оказался в просторном заливе.

Командир повернул судно влево, за мыс, и вскоре пароходо-корвет вошел в очень удобную тихую бухту, надежно защищенную от волн и ветра. Просто не верилось, что совсем близко, за мысом, свирепствует море. «Это же находка для нас!» — воскликнул кто-то из корабельных офицеров.

Так и назвали эту бухту — Находка. А залив в честь пароходо-корвета, нашедшего здесь спасение, окрестили заливом Америка.

Если бы командир судна, спасаясь от волн, повернул не влево, а вправо, корабль все равно оказался бы в тихой, удобной для стоянки бухте. Но он по воле случая повернул в Находку. А другую бухту, врезавшуюся в восточный берег залива Америка, исследовали лишь через несколько лет. Ей дали имя известного российского мореплавателя адмирала Ф. П. Врангеля.

После Великой Отечественной войны в заливе быстро вырос красивый город Находка, население которого давно уже превысило сто тысяч. На территории, отвоеванной у сопки и моря, сооружены рыбный и морской порты с хорошими причалами. Сотни советских и иностранных судов швартуются здесь ежегодно. В 72 страны мира

пролегли отсюда водные дороги. Практически нет ни одной морской державы, чей флаг не побывал бы в этом молодом городе. А он действительно очень молод, совсем недавно отметил свое совершеннолетие — ему исполнилось восемнадцать лет.

По переработке грузов порт Находка занимает второе место в нашей стране. Но поток грузов увеличивается быстро, растет очередь судов на рейде.

Рабочие порта делают все что могут, стараясь сократить эту очередь. В особо напряженные дни для ускорения обработки судов составляются бригады из портовых служащих. Но положение этим не спасешь. Выход один — скорее строить новый, глубоководный, механизированный порт в бухте Врангеля. А когда строительство будет полностью завершено, когда вступят в строй угольный и лесной комплексы, причалы для перегрузки контейнеров и технологической щепы — тогда порт Восточный обгонит Находку. К его бетонным стенкам, оборудованным по самому последнему слову техники, смогут швартоваться суда-гиганты водоизмещением в 100—120 тысяч тонн.

Создать такой порт — задача государственной важности. Трудно здесь работать, но зато дело почетное. Мы с Князевым как раз говорили об этом, когда юркий катерок «Вихрь» стремительно несся мимо судов, дремавших на рейде.

Впереди справа и слева виднелись два высоких зеленых мыса с серыми осыпями на откосах. Кое-где среди зелени выделялись проплешины полей, тянулись просеки с рядами столбов. За мысами — бухта Врангеля. Над ней длинная сопка с характерной трехглавой вершиной. Показался земснаряд, углубляющий дно. Навстречу нам шли дизельные шаланды, вывозившие грунт.

И позавчера, и вчера, и сегодня видел я с моря гигантскую панораму стройки со множеством кранов, бульдозеров, автомашин. Весь дугообразный берег бухты изрыт, перекопан. Лишь справа, где крутые склоны начинаются почти от самой воды, есть ровные участки, уже подготовленные под причалы. Повсюду трудятся люди, много людей. И, глядя на них, я невольно задумывался: а где же они живут, отдыхают?

Мне довелось побывать на многих больших стройках, где все начиналось с нуля. Помню, как рос и развивался город Мирный. Там сразу решили не строить временок, справедливо полагая, что избавиться потом от барачков и деревянных хибар будет трудно. «Даешь дворцы, долой временки!» — с таким на первый взгляд шутивным, а по сути дела очень серьезным лозунгом работали строители. И возвели в глухом краю, на вечной мерзлоте красивый современный город.

Или — Талнах. Там, едва был заложен первый рудник, сразу принялись строить жилые дома со всеми удобствами. Быстро строили и аккуратно, разумно, учитывая особенности рельефа. Старались не повредить деревья — лиственницы, которые растут в тех заполярных местах очень медленно. Одним из первых зданий, сооруженных там, был Дом культуры.

А бухта Врангеля... Строительство ведется здесь уже несколько лет, но почти не видно жилых зданий. Лишь в одном месте между сопками стоит несколько пятиэтажных домов, а возле них столько же новых незавершенных коробок. Вот и весь поселок. Да еще кирпичное двухэтажное общежитие на склоне сопки, рядом со столовой. Но этого очень мало!

— Есть несколько барачков, — ответил на мой вопрос Лев Николаевич. — Вагончики есть. Пароход. Некоторые строители в деревню ездят, некоторые в Находку...

— Ближний свет!

— А что поделаешь. Это здесь сложный вопрос.

— Не сложнее, чем в других местах.

— Побудете подольше — сами узнаете, — сухо отозвался Князев.

Я не стал больше спрашивать. Тем более что мы приблизились к берегу.

— Куда подходить? — крикнул старшина катера.

— К конторе восемнадцатого стройотряда! — показал Лев Николаевич.

Утро в бухте Врангеля разгорается необычно. Вот уже рассвело, уже залит ярким светом противоположный берег обширного залива — там угадываются очертания города Находки. Стройка же еще в тени: солнце томится за громадами лесистых

сопок. Медленно выплывает оно из-за темных вершин. И сразу согревают бухту теплые лучи, до дна пронизывают мелководье.

Женщина вышла из каюты на палубу парохода. Остановилась у борта, глядя вниз. Там, словно в расплавленном хрустале, колебались водоросли, сновали между камней стайки мелких рыбешек. А вот и покрупней рыба показала свою темную спину. Бросилась в стороны молодь.

С женщиной рассеянно поздоровался рыболов, перегнувшийся через борт. Прошли двое мужчин, пробежали ребятишки. Никто не обращал на нее особого внимания. Привыкли. А первое время поглядывали с любопытством. И действительно: сооружать новый порт приезжают главным образом парни и девушки, а ей уже явно за тридцать. Строительной специальности нет. Пошла подсобницей в бригаду штукатуров. Работа у отделочников не очень чистая, а на ней всегда белый платочек, под грубой, заляпанной раствором курткой — отглаженная свежая кофточка. Лицо продолговатое, смуглое. Волосы черные. Когда улыбается — оживают, блестят карие глаза. Но случается это не часто.

Поселили женщину на пароходе «Приморье», который намертво приткнулся к берегу возле стройки. Жила в тесной каюте, работала в молодежной бригаде, вместе со всеми ходила на объект, в столовую и как-то затерялась среди девчат — стройная, порывистая, стремительная. Вроде бы помолодела возле новых подруг.

Девушки привязались к ней, перестали удивляться некоторым странностям. Тому, что не пишет писем и сама не получает их.

В работе угнаться за ней нелегко. Через несколько месяцев стала таким штукатуром, будто всю жизнь держала в руках мастерок и затирку. Даже самые опытные отделочницы хвалили ее.

Спустя некоторое время женщину назначили бригадиром, и два десятка девчат охотно признали старшинство недавней подсобницы.

Когда с ней знакомятся, спрашивают ее имя, она отвечает: «Зовите меня Катей». Так ее и зовут.

— Иди скорей, ждем! — окликнули ее с берега.

— Бегу, девочки!

Спустилась по крутому трапу, догоняя подруг.

— Иллюминатор не закрыли?

— Нет. Жаркий день будет.

— Ой, девчата, до чего мы к морским словам привыкли, теперь всю жизнь будем окно иллюминатором, а пол палубой называть!

Со смехом вбежали в столовую, поднялись на второй этаж в зал самообслуживания. Народу немного. Суббота, отсыпаются люди. Только отделочники пришли как всегда. Даже раздатчица удивилась:

— Что, работаете ночью?

— Нет.

— А зачем по-будничному?

— Штукатурить идем.

— Ну вас, чего темните?

— Девочки правильно говорят, — подтвердила Катя и понесла к столу поднос.

На дороге за окном призывно просигналила автомашина.

— Геля, посмотри.

Ангелина Позевалова откинула со лба прядку светлых волос.

— За нами. Шофер и тот раньше обычного раскачался.

— Всегда бы так, а не только по праздникам.

— Да разве праздник сегодня?

— Праздник, праздник, — кивнула Катя, озабоченная одним: только бы не совралось!

А срыв уже был... Поначалу все шло хорошо. Штаб ударной комсомольской стройки разработал положение о соревновании за звание «лучший по профессии». Каждый, кто принимает участие в этом своеобразном конкурсе, должен иметь не толь-

ко практические навыки, но и теоретические знания, строго соблюдать правила техники безопасности и выполнять работы с отличной оценкой. При подведении итогов учитывается также состояние рабочего инструмента. Участникам соревнования, занявшим первое и второе места, повышается рабочий разряд.

Почти все отделочники решили участвовать в конкурсе. Особенно загорелась молодежь. Хотелось девчатам себя показать, помериться силами. Но состязание перенесли раз, другой... Кое-кто поостыл, разуверился, перестал готовиться. Катя говорила по этому поводу с начальником комсомольского штаба, с главным инженером строительного-монтажного отряда. Нынче последний срок.

Когда приехали на объект, комиссия собралась в полном составе. Главный инженер Крайнев, подвижный и худощавый, что-то сердито говорил медлительному, поноватому начальнику участка Кононюку. Крайнев резко, коротко взмахивал правой рукой, будто рубил ладонью воздух. Кононюк кивал, соглашаясь.

Катя подошла ближе. Вот оно что: рабочие места не готовы, раствора нет. И что же теперь? Назад ехать? Крайнев предлагает подготовить все силами участников соревнования и членов комиссии. Иного, пожалуй, и не придумаешь.

Начальник участка Ростислав Михайлович Кононюк поспешил за лопатами. Главный инженер сбросил старый, лоснящийся на локтях пиджак, засучил рукава белой сорочки.

— Будем готовить раствор!

— И сразу закачивать? — спросил кто-то.

— А что вы посоветуете? — быстро повернулся к говорившему Крайнев. И, не дождавсь ответа, добавил: — Сам знаю, что свежий раствор жидкий, работать с ним трудно. Но другого выхода сейчас нет. Условия у всех участников одинаковые, а это главное. Давайте без болтовни.

Владимир Иванович Крайнев — сгусток энергии. Сам не стоит и другим стоять не дает. Замелькали лопаты. Грузный Кононюк опять побежал куда-то, вытирая со лба пот. Катя с двумя членами комиссии осматривала места, где будут состязаться отделочники. Прозвучало сообщение о том, что через десять минут начнется жеребьевка.

Сами бригадиры в состязании не участвовали. Катя сейчас была просто «болельщицей». Волновалась за своих девочек. Первый раз они на таком конкурсе, как бы не подвели нервы. А дело девочки знают. К тому же последнее время еще и еще раз отшлифовывали наиболее трудные приемы, где требуется не только мастерство, но и соображений. Углы, откосы — к ним по шаблону не подойдешь...

Ровно в одиннадцать часов шесть пар отделочников заняли отведенные им места. Осмотрелись, подготовились и... начали!

Девчата взяли сразу такой темп, что Катя засомневалась: долго ли выдержат? Но минуты бежали одна за другой, а скорость не только не снижалась, но и возростала.

У Гели сосредоточенное, строгое лицо, светлые волосы выбились из-под кепки. Работает легко, руки взлетают будто бы сами, без всяких усилий. Словно песню поет вместе со своей напарницей Надей Барминой.

Первая стена у них уже полностью готова. Опустила Геля мастеров, засмеялась негромко, довольная. И смутилась, увидев бригадира.

— Катя, раствор кончается.

— Сейчас закачают.

Катя прошла по комнатам, поглядела, как трудятся Ольга Машаргина и Тамара Митяева, Надя Ручко и Тамара Бусел. Они не меньше сделали, чем Геля, если не больше. Просто молодцы девочки!

— Товарищи, не мешайте. Не отвлекайте, — понизив голос, говорил Крайнев. — Потом поглядим, подсчитаем. А сейчас все на улицу.

Катя, зажмурившись, подставила лицо солнцу. Ласковое оно здесь, в Приморье, осенью. Щедро отдает людям тепло после сырой весны и туманного лета.

Члены комиссии укрылись в тени. У них свои заботы. Беспокоятся насчет премии. Для второй пары приз универсальный, кому угодно годится. Каждой девушке чайный сервиз на четыре персоны. А для той пары, которая займет первое место,

куплены туфли. Красивые, дорогие. Тридцать пятого размера. Только сгодятся ли? На всякий случай условились с продавщицей: если потребуются, сразу же обменяют на другой размер.

Чуть в стороне еще одна группа ожидающих. Среди них Владимир Иванович Крайнев и начальник участка старший прораб Кононок. С добродушной хитринкой слушает прораб быструю речь Людмилы Брызгалиной. Прицепилась к нему: почему лестничные марши и подоконные блоки лежат навалом? Возле фундамента детского комбината кирпич сброшен кучей, сколько его придется списать как брак!

Людмила — сотрудница многотиражной газеты. Живет она здесь, на стройке, в одном из первых домов. Каждое утро берет своего двухлетнего малыша и отправляется «на прогулку». Объекты разбросаны на многие километры, и везде в любую погоду можно встретить Брызгалину. Всегда бодрая, глаза черные, круглые, вроде бы озорные. А волосы седые — не дань моде, ранняя седина.

Кажется, нельзя представить себе стройку без Людмилы Брызгалиной — настолько она знает тут всех и ее все знают. Дотошная, откровенная, она критикует в своей газете нерадивых. На должности не смотрит. За это и недолюбливает ее кое-кто. Вот и сейчас — к Крайневу и Кононку:

— Нет, вы скажите, проверка была? Была. Акт был? Был. В газете печатали? Печатали. А ни один оконный проем до сих пор не огражден. На три траншеи возле дома единственный переходный мостик, а в других местах шаткие досточки наспех положены. Какая же это техника безопасности?!

— Главное мы сделали, — отбивается Кононок. — Блоки и плиты теперь в порядке лежат, территория очищена. И до мелочей доберемся.

— Ростислав Михайлович, вы же лучше меня знаете, что в технике безопасности нет мелочей!

Соревнование близилось к концу. Началась проверка. Тщательно, до квадратного сантиметра, замеры оштукатуренную поверхность. Больше всех успели сделать Ольга Машаргина и Тамара Миняева. 40,1 квадратного метра. У Ангелины Позеваловой и Нади Барминой чуть поменьше, но зато качество самое высокое.

По всем итогам та и другая пара набрали одинаковое количество очков, и та и другая выполнили норму на разряд выше своей. Кому же отдать предпочтение?

В комиссии голоса разделились. Начался прения. Девушки истомились, ожидая решения. Наконец лучшими по профессии были названы Ангелина Позевалова и Надя Бармина.

Радовались девочки, и Катя радовалась не меньше их: первое место завоевали представительницы ее бригады.

Геля и Надя не мешкая примерили полученный приз. Туфли обоим пришлось по ноге.

В каюте четыре койки двумя ярусами (глубокие морские койки — из таких не вывалишься при качке во время шторма), возле иллюминатора маленький столик, ну, еще полочка, вешалка — вот и вся обстановка. Маловато для четырех женщин. И тесновато — полтора квадратных метра на каждую. Когда утром встают все сразу, в каюте не повернешься. А сейчас набилось в нее человек двенадцать. Тем, кто сидит на нижних койках, видны только юбки да ноги стоящих.

Никто не звал девочек — сами пришли поделиться впечатлениями. И получилось вроде бы производственное собрание. Говорили сразу несколько человек, перебивая друг друга.

— Это же каторга — сиди и жди: привезут плитку или не привезут, будет работа или не будет работы. Сколько часов пропадает...

— А деньги? Если работать, как сегодня, насколько больше получить станем!

— Тебе бы всё деньги...

— А тебе нет? Святым духом живешь?

— Деньги нужны, верно. Хотя и не в них одних дело. Ехали сюда с какой мыслью? Работать изо всех сил! А мастер ходит, посвистывает. Ждите, мол, девоньки, не пыхтите! Средний заработок все одно выведу. Какой уж тут энтузиазм — будто холодной водой окатывает.

— Правда, руки опускаются.  
 — А ей не одну себя, ей дочку кормить надо. Одеться, обуться двоим опять же...  
 — Не платила бы втридорога за краску для век. На барахолку махнула, не по-  
 ленилась...

— Как не взять — из Гонконга!

Катя помалкивала, слушая девчат. Нынешнее соревнование всколыхнуло то, что назрело давно, что тревожило их и Катю — организация производственного процесса. Кате-то есть с чем сравнить. Работала она на большом станкостроительном заводе, где все было точно отлажено, каждая операция продумана и выверена. А тут...

Правда, за последнее время кое-что изменилось к лучшему. Раньше все строительные материалы доставляли за сорок километров, из Находки. Даже раствор для штукатуров оттуда везли. В плохую погоду и морское и сухопутное сообщение с городом прерывалось. Стройку лихорадило. То одного нет, то другого. Иногда целую смену рабочие зря просиживали в бытовке.

Сейчас в бухте Врангеля есть свой бетон. Раствор приготавливается на месте. Теперь многое зависит непосредственно от строителей, от организаторов производства. Но среди них есть и такие: день прошел — и ладно. Одному зеленый змий мешает, другой молод, знаний не накопил.

Приезжал недавно корреспондент из столичного молодежного журнала. Неделю ходил со строителями на объекты, кирпич разгружал вместе со всеми и с часами в руках подсчитал, как и куда расходуют отделочники свое время. Выяснилось, что две пятых рабочего дня пропадает у них зря. На вынужденный простой, на проезд до столовой и обратно, на «раскачку».

Две пятых! Значит, если работать в полную силу, количество людей в бригадах можно сократить почти наполовину. Ко всему прочему, вынужденное безделье расколаживает девушек. Сегодня они поработали напряженно, с радостью. А завтра что? Опять то аврал, то затишье? И минимальный заработок...

— Катя, ты у нас бригадир?

— Пока да.

— Депутатом в Совет мы тебя выбрали?

— Было такое.

— Потребуй у мастера, чтобы работать всегда, как нынче!

— У него в одно ухо влетает, из другого выскакивает.

— Ты требуй, а мы все поддержим.

— Решено, — кивнула Катя.

— Чего вы пыхтите? — искренне удивился мастер, выслушав бригадира. — Раствор вам подай, краску доставь, рабочее место обеспечить...

— Это твоя прямая обязанность.

— Мало ли у меня обязанностей!

— А главная...

— Сам знаю, что главное, а что нет! Ну, чего тебе надо? Чего еще надо? Работаете вы или баклаши бьете, все равно я вам четыре с полтиной выпишу.

— А мы больше хотим.

— За это «больше» знаешь как вкалывать надо?

— Знаем. И предупреждаем последний раз: работать без наряда больше не станем. Чтобы все было указано по порядку: объект, норма, задание, расценки. Тогда мы с удовольствием.

— Это что же, забастовка? — насторожился мастер.

— Ты такими словами не швыряйся, — ответила Катя. — Мы требуем, чтобы ты выполнял свои обязанности.

Девчата, слушавшие разговор, начали расходиться по рабочим местам.

— Сделает он? — спросил кто-то.

— Не думаю, — ответила Катя. — Он просто не способен гореть, не тот материал.

— А мы как же?

— В партком надо... Хотя нет. Парторг новый, приезжий, его только что избрали, ему с делом знакомиться надо...



- А выше парткома кто?
- Горком партии в Находке.
- Давай прямо в горком махнем! Выложим все как есть. И про соревнования и про заработки.
- Не всей же бригадой.
- Несколько человек, ладно?
- Поедем втроем,— согласилась Катя.

Пароход «Приморье» считался ветераном еще до войны. Многие его сверстники либо покоятся на дне, либо пошли на слом, а он все еще продолжает свою затянувшуюся вахту. Проржавевший, обшарпанный, с облупившейся краской, он дает людям не только приют и тепло, но даже и маленькую роскошь: на пароходе исправно работает машина и почти всегда есть горячая вода в душе. Девушки привыкли к своему пароходу-общежитию, даже сетуют: построим, дескать, настоящее общежитие, переберемся туда, а «Приморье» пустят на металлолом. Сразу и вид бухты изменится, и романтики меньше станет.

Вдали, на рейде, один за другим вспыхивали огни, световым пунктиром обрисовывались силуэты судов. Их много. Они вытянулись в длинную линию, словно дома вдоль улицы. Разные суда: и наши, и японские, и немецкие, и еще бог весть какие.

На палубе отдыхает после работы Катя. Подошел Володя Карпинин, известный на всю стройку бригадир комплексной комсомольско-молодежной бригады. Поинтересовался:

- Вечерняя прогулка?
- Огнями люблюсь. На город похоже, верно?
- Да, длинная очередь.
- Красиво,— сказала Катя.
- Конечно, если просто смотреть. Когда бульдозер простаивает, трактор или грузовик — это происшествие. Убыток. А тут не бульдозеры, не грузовики — тут океанские теплоходы... Я вчера с катера восемнадцать судов насчитал. Вот и торопят нас: даешь первый причал к концу года, даешь первую очередь порта к концу пятилетки!

Катя соглашается — все правильно. Володя умеет сразу ухватить самую суть. Худощавый, по-военному подтянутый, решительный в поступках, он в то же время еще по-юношески застенчив: за двадцать ему, конечно, перевалило, но двадцати пяти еще нет. Он и на собраниях — Катя замечала — старается держаться в тени, хотя уж ему-то есть с чем выступить, есть о чем рассказать. Хотя бы о том, как завоевывала его бригада не один раз переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Но когда речь заходит о нем, Володя не очень словоохотлив.

- Ты ведь в общежитии живешь,— вспомнила она.— Чего к нам пожаловал?
- Я к Саше Копылову посоветоваться.

...Собственно, посоветоваться с друзьями-приятелями Володя Карпинин мог бы и на берегу, в общежитии, но его потянуло сегодня именно сюда, на этот проржавевший корабль, который был для него родным домом в самое трудное время. Строго говоря, Володя и самостоятельную жизнь начал именно здесь, в бухте Врангеля, на «Приморье».

Среднюю школу он окончил в городе Рубежном. Отец — художник на химическом комбинате, мама работала там же в цехе. После десятилетки Володя пошел электрослесарем на ТЭЦ. Затем служба на границе.

К концу службы Владимир решил испытать себя на большом трудном деле. 11 воинов, в том числе и Карпинин, выбрали самую далекую стройку. И отправились туда по комсомольским путевкам. По дороге к ним присоединилась еще одна группа парней — бывших пограничников. Всего их набралось 25 комсомольцев.

Прибыли в бухту Врангеля весной 1971 года, когда зазеленела тайга. Увидели возле берега старый пароход, вдали на пологом берегу маленькая деревенька. Справа

крутые обрывы сопки и единственный каменный дом на склоне. Несколько просек в лесу, барак среди деревьев — вот, пожалуй, и все.

Пограничники оказались почти первыми. Раньше сюда прибыли 150 одесситов, громко именовавших себя «одесским десантом». Они-то и начали расчищать площадку на берегу, заложили несколько фундаментов. Сняли с «Приморья» тяжелый якорь, втащили его на сопку, водрузили на груде камней, над которой развевался флаг стройки. Оборудовали «пяточок» для танцев, развесили фонарики, сработанные «под старину», и дали красивое название — «Каравелла».

Но под натиском однообразно-суровых будней «одесский десант» начал нести большие потери. Через несколько месяцев почти половина ребят возвратилась к родным пенатам. Однако многие выдержали первые, наиболее трудные испытания. Постепенно разъехались и они. Через три года остался только один — кудрявый конопатый Александр Раппопорт, комсомольский активист и мастер на все руки: и сварщик, и монтажник, и каменщик, и заядлый турист. Закрепились в бухте Врангеля пограничники и те строители, молодые и пожилые, которые начали прибывать сюда вскоре после них. Невзгод было много. Холода, бураны, туманы, слякоть. В любую погоду ходили прорубать просеки, прокладывать линии связи, строить первые здания. Выдержали и самое тяжелое испытание, когда во время шторма прекращалось всякое сообщение со «столицей» — Находкой. По несколько суток жили без хлеба...

Находка рядом. На другой стороне залива. Рабочие руки там тоже нужны позарез. Условия гораздо лучше. Но пограничники не поддались соблазну, не бросили стройку. Первое время трудились главным образом в лесу с топорами. Потом из них создали учебную бригаду, возглавил которую старый опытный строитель Иван Емельянович Белкин. Учились и работали — вели монтаж материального склада. Осенью Володя и его друзья получили строительную специальность. Карпинин сдал экзамен на каменщика, монтажника, бетонщика. Вскоре ему доверили комплексную комсомольско-молодежную бригаду.

Ребята постепенно определялись, находили, кому что по душе. Володиных друзей Анатолия Милько и Василия Белого — оба бывшие проводники служебных собак, старшие сержанты — послали под Москву, в Раменское. Там они окончили курсы бульдозеристов, вернулись водителями мощных машин. Бывший ефрейтор Миша Зеленин теперь шофер.

Бригада Карпинина строила очистные сооружения, теплотрассу, второй этаж производственно-технического училища. Работали везде отлично. Но ребятам хотелось возвести «свое» здание полностью, от нуля и до крыши. В конце концов поручили им построить целиком блок подсобных помещений, да не где-нибудь, а на первом причале нового порта.

И вот здание почти закончено, работы осталось на несколько дней...

Сашу Копылова, комсорга бригады, к которому пришел посоветоваться Володя, ребята иногда называют замполитом. В бригаде он если не самый высокий, то уж наверняка самый сильный. Но уважают его не за силу, а за доброту, справедливость, немногословие.

Саша — коренной сибиряк, из самой что ни на есть таежной глуши — из Качугского района Иркутской области. Служил на Дальнем Востоке, на границе с Китаем. В бухте Врангеля на пароходе «Приморье» свела его судьба с Ниной из Томска. Составили бывший сибиряк и сибирячка дружную семью.

Саша Копылов знал, что привело к нему в эту позднюю пору бригадира.

— В Хабаровск, значит? — спросил он.

— Да, на факультет промышленного и гражданского строительства. По направлению стройки.

— Наша профессия, — сказал комсорг. — Лучшего и желать нечего.

— Ты мою мечту знаешь. Хочу здесь с начала и до конца...

— Инженером вернешься.

— Эге-е-е, — протянул кто-то. — Вернется через пять или шесть лет.

— Тут и на десять работы хватит, — возразил комсорг.

— Работу не переделаешь, факт. А вот к концу пятилетки первую очередь порта сдадим без него, и останется он при собственных интересах. Награждать будут, это уж как пить дать! Володя у нас капитальный парень, ему бы самый красивый орден на грудь. Только он в ту пору над учебниками тосковать будет. А какой-нибудь шкет придет ближе к концу, повкалывает год под занавес — и нате вам! С заслуженной наградой, товарищ!

— Слышишь, Володя? — толкнул его локтем Александр Копылов.

— Я еще не решил ничего. Сказал, что подумаю. Трудно корни рвать, Саша.

— Зачем рвать? Ты учишь, а корни не рви, — рассудительно заметил комсорг.

Главный инженер плавучего строительного-монтажного отряда (ПСМО-18) Владимир Иванович Крайнев встретил нас сдержанно. Предложил задавать вопросы, придвинул к себе лист бумаги, сказал коротко:

— Буду записывать все.

Причина чрезмерной официальности выяснилась довольно скоро. Оказывается, Владимир Иванович рассердился на прессу. Тот самый корреспондент молодежного журнала, который провел хронометраж рабочего времени отделочников, упомянул в своем очерке и главного инженера. С похвалой вроде бы упомянул. Написал, что Владимир Иванович — завзятый рационализатор, внедрил много ценных предложений. Он, дескать, все может модернизировать. Носил свой берет, пока не выцвел. Потом вывернул его наизнанку и пришил хвостик. Берет стал как новый. Корреспонденту рассказали об этом в шутку, а тот погнался за образностью, вставил лыко в строку и ослабил инженерский берет на всю страну. Крайнев обиделся и отныне решил беседовать с журналистами только о конкретных делах, фиксируя каждый вопрос и каждый ответ. Чтобы не было никаких шуточек и всяких там расплывчатых формулировок. Однако главный инженер не учел некоторые существенные факторы. Ведь нашему брату зачастую важны не столько официальные данные (их можно взять из служебных бумаг, отчетов), сколько поведение человека, его реакция на вопросы, его слова, вся обстановка.

Беседа наша протекала несколько необычно. Владимир Иванович неутомимо конспектировал все сказанное той и другой стороной. Князев, подперев ладонью щеку, задавал вопросы и смотрел на собеседника грустным внимательным взглядом. Изредка делал пометки в блокноте. Я же вообще, как правило, ничего не записываю. Давным-давно мой первый начальник в газете учил: настоящий журналист должен все держать в памяти. Ручка и бумага сковывают собеседника, душевный разговор не получается. Лучше просто так посиди, потолкуй, покури. Это только зеленые юнцы носят с собой наборы авторучек, а по нынешним временам еще и магнитофоны...

Интересно было наблюдать за Владимиром Ивановичем. Человек темпераментный, резкий, он с трудом удерживался в тех рамках, которыми сковал сам себя. Увлечется, заговорит горячо, быстро, из-за стола встанет, но тут же спохватится и опять за бумагу.

Костюм на нем старенький, потертый. Чувствуется, что при необходимости главный инженер не чурается черной работы. Сам наладит двигатель, прыгнет в траншею, проверит кирпичную кладку. Деловой человек, опыт у него порядочный, в Приморье трудится много лет. Вот и хотелось мне узнать его мнение по поводу одной серьезной проблемы.

Приморский крайком комсомола распространил среди молодых строителей порта анкету. 47 процентов рабочих ответили в ней, что они «полностью не удовлетворены организацией труда». Правда, с той поры кое-что изменилось, но проблема по-прежнему оставалась острой. (Беседуя с Крайневым, мы не знали, что в это же время бригадир Катя со своими девочками отправилась в Находку в горком партии, чтобы поговорить там о наболевшем.)

Нам все же удалось «расшевелить» Владимира Ивановича. Не в служебном кабинете, а по дороге в столовую и в самой столовой за столиком возле широкого окна с видом на бухту.

Как я понял, одна из причин организационных неурядиц в бухте Врангеля — отсутствие единого административного руководства, которое четко направляло бы

и координировало деятельность многочисленных строительных подразделений, принадлежащих различным ведомствам. Дирекция строящегося порта Восточный представляет интересы заказчика — Министерства морского флота. Дирекция контролирует расход средств, следит за качеством сооружаемых объектов, принимает их, когда они готовы. Из числа подрядных организаций значительный объем работ производит 18-й плавстройотряд. И как-то само собой получилось, что этот отряд заботится и о жилье и о быте на стройке, туда идут с жалобами на неполадки. При нас земснаряд, принадлежащий Дальтехфлоту, порвал кабель. Но не на земснаряд и не в управление технического флота, а к главному инженеру Крайневу явились хозяева кабеля с актом о повреждении.

Кроме 18-го отряда, в бухте Врангеля трудятся многие коллективы. Причалы сооружают плавстройотряды №№ 22 и 23. Транспорт и механизмами распоряжается управление механизации. Иногда целый день приходится тратить только на то, чтобы согласовать переброску бульдозера с одного участка на другой.

Когда Крайнев перечислил десять организаций, строящих порт, и начал перечислять второй десяток, мы с Князевым взмолились: хватит, все равно не запомним!

— Видите, — сказал Крайнев, — даже запомнить трудно, а нам приходится со всеми с ними дело иметь. До курьезов доходит. Три зимы управление механизации возило горячую воду из Находки, чтобы заливать ее по утрам в радиаторы. Каждое утро! За сорок километров. Вода на морозе остывала, привозили чуть теплую. Водовозка, как правило, запаздывала на полчаса и больше, техника простаивала. Такая водичка, наверно, по цене золотому песку равнялась. Сколькo говорили об этом, сколькo нареканий от рабочих было, а в управлении механизации один ответ: в бухте Врангеля греть воду негде!

— А на фронте как грели? А на стройках Севера?

— Вот именно, — усмехнулся Крайнев. — В конце концов нашлась смышленная голова. Есть у нас тут Брызгалина в многотиражке. Написала в своей газете: это, мол, безобразие. Возле берега стоит пароход «Приморье», непрерывный производитель кипятка. Механизаторы мучаются, строители нервничают, а горячая вода рядом. Ею пользуются жители поселка, оттапливается растворный узел. Управлению механизации надо только договориться с Дальтехфлотом — и проблема, опостылевшая всем за три года, решится сама собой.

Крайнев умолк.

— Владимир Иванович, трудно здесь?

— Что? Здесь? — Он нахмурился. — Да, на новом месте всегда нелегко. Иной раз измучаешься — бросил бы все, уехал в город. В Партизанск или в Находку.

— А вот не едете?

— Как бы это объяснить... Хочу встать в одно прекрасное утро, подняться на сопку и посмотреть вокруг. Вот тут везде причалы будут, — показал он. — Шестьдесят девять причалов. Механизированных, почти без людей. Сотни судов возле стенок. Вон там, на той стороне, белый город среди зелени... Дома в пять, девять, двенадцать этажей. В устье реки парк с каналами для катания на лодках. Вон на том утесе — танцевальная площадка над водой, ресторан.

— И когда же наступит такое утро?

— Лет через пять, может быть через шесть. Но очень хочу, чтобы оно было, хочу видеть свой след на земле. — Он понизил голос, смутившись от собственной увлеченности: — Не одного меня такое желание здесь удерживает. Вы с молодыми ребятами поговорите.

— С Володей Карпининым?

— И с ним. Многие так думают.

Крайнев встал и надел свой берет, едва не поспоривший его с прессой. Главный инженер торопился. Время его рассчитано по минутам.

Старенький автобус доставил на обед рабочих с дальних объектов. С ближних люди пришли в столовую сами. Не увидев среди них Володю Карпинина, мы решили заглянуть в соседний дом, в общежитие.

Дверь из длинного коридора ведет в небольшой тамбур-прихожую, где на са- модельных полках лежит зимняя одежда, где ребята сбрасывают, вернувшись с работы, спецовки. Дальше — довольно просторная и очень чистая комната с тремя кроватями, заправленными так аккуратно, что не придаться самому въедливому старшине.

Над койками — зеленые фуражки пограничников.

Парень, оказавшийся в комнате, сказал, что Карпинин на обед не приходил. Скоро сдают блок подсобных помещений, у бригадира дел по горло.

— Где его койка?

— Вот эта.

Я посмотрел корешки книг, стоявших на полке у изголовья. Художественная литература. Учебники. Наиболее толстый том — самоучитель английского языка. Открытки с видами Берлина.

— Скажи, какие у тебя книги, и я скажу, кто ты, — перефразировал известную поговорку Лев Николаевич. — Пойдем на берег, самого поищем.

Карпинина мы нашли возле почти завершенного здания. По пояс голый, он возился около костра, пристраивая над огнем большое черное ведро. Поздоровался, не спеша натянул рубашку. От загара, от огня лицо его казалось медным, с резко отечканенными чертами.

Пригласил нас в бытовку — вагончик. Сели на лавку возле самодельного стола.

— Володя, что же вы про фестиваль нам не сказали?

— Ведь не спрашивали.

— Интересно там было?

— Очень, — оживился Карпинин. — С немецкими товарищами у нас давнее знакомство. Приезжали сюда кинооператоры из Германской Демократической Республики, снимали фильм: первая комсомольская свадьба в бухте Врангеля. Как раз наш Коля Герасимов женился. Его зафиксировали. А потом немцы сюда ленту прислали. Ну, а летом меня с приморской делегацией в Берлин отправили.

«Делегат X Всемирного фестиваля молодежи и студентов», — записал в блокноте Лев Николаевич. Я дождался, когда он поставит точку, и спросил Володю:

— Что вам больше всего запомнилось?

— И, пожалуйста, с самого начала, — подсказал Князев.

— А если до начала? — улыбнулся Карпинин.

— Давайте до!

— Я про Потсдам сказать хочу. Жили мы в этом городе. Приехали туда за двое суток до официального открытия фестиваля. На автобусах от самого Киева. Устали, конечно, ночь темная, дождь проливной хлещет. Ну, думаем, доберемся до места — и спать! Кто в такую погоду встречать будет? А они, — у Володи заблестели глаза, — а они ждали! Девушки, парни не уходили домой с самого вечера. Мокрые, замерзшие, но хоть бы что! Мы из автобусов высыпали — и сразу объятия, рукопожатия. Значки, сувениры, конечно! Какой тут отдых, всякую усталость забыли! Прямо под дождем открылся митинг, потом песни принялись петь. И знаете — получилось! Они нам подпевали, мы им. В общем, здорово было! И как начался у нас праздник дружбы, так до самого последнего дня. Нашли мы общий язык. Ведь немецкие ребята, с которыми мы встречались, не меньше нашего фашизм ненавидят.

Начальник второго участка старший прораб Ростислав Михайлович Кононюк посоветовал нам:

— С Катей побеседуйте. Хорошо работает. Только по-настоящему ее не Катей зовут... Ну, это уж вы сами. Вон платок ее у подъезда белеет...

Издали она показалась нам совсем юной. Стройная, гибкая, она быстро пробежала по дощечке над глубокой траншеей, остановилась на минуту возле грохочущего движка и вернулась прямо к нам. Мы представились, сказали, что послал к ней прораб. Катя спросила:

— Разговор неизбежен?

— Абсолютно.

— Ну что ж, — вздохнула она, — пойдемте в каптерку.

— Куда?

— Это мы между собой бытовку называем так. В ней тише, чем здесь.

Обогнули строящееся здание, вошли в подъезд и оказались в квартире, почти готовой для заселения. Пол подметен. На столе, сбитом из досок, букетик цветов.

— Это и есть каптерка,— пояснила Катя.

Лев Николаевич, пока шел, заметил в коридоре лепешки засохшего раствора. Опустился на скамью и, держась правой рукой за грудь, привычно массируя сердце, начал рассуждать о том, что вот раньше, когда раствор возили из Находки, штукатурки дорожили им, экономили, берегли каждую каплю. А теперь раствор готовят на месте, теперь, значит, и экономить не надо? Самим же трудно будет пол очищать.

Катя слушала очень внимательно, потом сказала с легкой иронией:

— Стены вертикальные.

— Что?

— Стены вертикальные, часть раствора стекает.

— Пойду сам погляжу,— встал Лев Николаевич.

— Стены?

Он не понял или не захотел понять насмешки, ответил ворчливо:

— Взгляну, как работают.

— Только осторожно, чтобы на вас не попало,— напутствовала его Катя. Повернулась ко мне: — Любознательный товарищ. А раствора мы действительно больше нормы сейчас расходует. Временно. Раньше вручную работали, а теперь добились — технику нам дали. Девочки соплование осваивают. Вибратор теперь у нас. Бывает, что и капризничает. То густой раствор идет — шланги забиваются. А если жидкий — много на пол стекает.

Тут ее как раз и позвали с улицы к вибратору. Опять что-то случилось там. Вернулась она минут через десять.

Глаза у Кати пытливые, строгие. Под распахнутой рабочей курткой — белая блузка. И вся она какая-то аккуратная, чистая. На черных волосах, выбившихся из-под платка, на смуглых щеках, на лбу белеют снежинками мелкие капельки извести. Среди них затерялась едва приметная одинокая родинка.

Привлекают внимание ее руки. Те самые руки, которые хорошо знакомы с мастерком и затиркой, с краской и кистью, которые недавно налаживали вибратор и что-то исправляли в движке. Красивые, я бы сказал, интеллигентные руки с длинными пальцами, с неброским розовым маникюром на тщательно ухоженных ногтях.

— Часто бываете в парикмахерской? — не удержался я от вопроса.

— Парикмахерской здесь еще нет.— Катя убрала со стола руки.— В Находку не наездишься. У нас девочки сами следят за собой.— В голосе ее прозвучали горделивые нотки. Однако тотчас добавила строже: — Спрашивайте о деле. Что вас интересует? Передовики производства? Культурный досуг? Соревнование на лучшего по профессии?

Мне казалось, что она смеивается надо мной, наперед зная все, с чем обращаются в таких случаях журналисты.

— Давайте о вашей работе поговорим, о вашей жизни,— предложил я.

— Обо мне говорить нечего. И не хочу. Был у нас недавно корреспондент из молодежного журнала. Обещал не называть мою фамилию, а сам назвал. Мне его похвала хуже горькой редьки. Хорошо хоть, что пожилым людям этот журнал в руки не попадает. Дайте слово, что фамилию мою вы измените, иначе и говорить не буду!

— Даю слово. Но что за тайна?

— Никакой тайны. Мне пришлось порвать с близкими, с родней. Не хочу, чтобы они знали, где я. Не хочу давать весть о себе.

— В наше время нетрудно выяснить.

— Пусть выясняют, коли есть желание. Это их личное дело. Меня это не касается — вот и все. Договорились?

— Ладно. Как по-настоящему звать-то вас?

— Все зовут Катей,— усмехнулась она.— Разве плохое имя?

— Очень хорошее.

— Ну и превосходно. Теперь наконец перейдем к культурному досугу и передовикам производства? — И вдруг, глядя на меня прищуренными глазами, сказала совсем

Другим тоном — будто нечаянно выплеснулось у нее: — А я с девочками в горком партии ездила.

— Вызывали?

— Нет, сами решили.

— Зачем?

Катя принялась рассказывать мне о тех возможностях повышения производительности труда, которые выявило соревнование, о желании девочек работать красиво и быстро, о равнодушии мастера, о том, как расколаживает девчат отсутствие твердого задания, учета, незнание норм. И о том, что зарабатывать они могут значительно больше, чем сейчас, а это тоже не самое последнее в жизни.

— Не самое последнее, — согласился я. — А что сказали в горкоме?

— Выслушали, пообещали разобраться.

— Вот и хорошо. Чего же тревожиться?

— Неловко как-то. Вроде бы через головы своих начальников. Хоть мы им и говорили раньше.

— Почему неловко? Вы же не куда-нибудь, а в горком пошли, к партии обратились. А в горком всегда можно, по любому вопросу.

Поездка в горком, разговор с нами, всколыхнувший прошлое, — все это, как рассказала мне потом Катя, выбило ее из привычной колеи. Захотелось побыть одной, в тишине. После работы она отделилась от девушек, свернула в сопки. Не спеша поднималась по каменным осыпям среди изреженного дубняка. Старых деревьев здесь почти не осталось. Кроны молодых дубков пригнуты, будто приплюснуты — это от сильных ветров, налетающих зимой с моря.

Вот поляна. Отсюда видна голубая ширь бухты. Катя присела на шершавую колодину. Посмотрела — цветов вокруг почти нет. Осень. Да и пришла она как раз на Раино место. Ну, конечно, какие уж здесь цветы! Рая Федорова по утрам встает раньше всех, бежит с парохода на сопку и приносит свежий букет своей дочке Оленьке. А весной она встретила тут олененка. Без матери он, видно, остался. Доверчиво вышел к Рае, ткнулся мордочкой в ее руку. Почувствовал, значит, человеческую доброту.

А вот там, за грядой сопок, бродит семья тигров. Ребята видели их следы. Но к стройке тигры не приближаются. Шумно.

Тайга нравится Кате, но еще больше нравится море. Какая в нем неиссякаемая новизна, всегда оно разное, без конца можно любоваться им. Могучее и величавое, оно благотворно действует на людей, смывает с души горькую накипь будней, возвышает и успокаивает.

Девочки знают Катину пристрастие к морю. В столовой стараются занять для нее место возле окна — спиной к залу, лицом к распахнутому простору. Если бы не море, Кате гораздо труднее было бы выдержать первые месяцы в этой бухте. Слишком уж резким, слишком болезненным был переход от прошлого к новой жизни.

После станкостроительного техникума она поселилась на Северном Кавказе. Потом Новосибирск. Занимала там инженерскую должность. Работа сложная, интересная, приносящая удовлетворение. Любила театр, много читала. Была ли счастлива? Да, какое-то время. Потом пришло тяжкое разочарование. Человек, в которого верила, которого считала лучше всех, дороже всех, открылся ей вдруг с другой стороны, о которой она и не подозревала. Рухнуло все хорошее, что соединяло их. И Катя поняла — возврата к прошлому нет. Надо рубить одним махом и начать жизнь заново.

В семье она не нашла поддержки. Даже брат не понял ее. Ну что же, она одна справится со своим горем... Наутро услышала по радио передачу о строительстве порта Восточный. Звали туда, но предупреждали: трудно.

В тот же день она подала заявление об уходе с завода. И уехала, ни с кем не простившись, оборвав сразу все нити.

Бухта Врангеля встретила ее ярким солнцем и ласковым морем. Оказалось, что расположен этот район гораздо южнее Новосибирска, примерно на широте Крыма. Но старожилы предупреждали: широта-то действительно крымская, зато долгота крымская. Вскоре начались затяжные дожди, туманы. Все разбухло, размокло. Машины

останавливались метрах в трехстах от строительной площадки — не могли преодолеть жидкое разрезженное месиво. Все грузы пришлось носить на плечах.

Не столько физическая усталость угнетала Катю, сколько сырость и грязь. Возвращалась на пароход заляпанная с ног до головы. Весь день на холоде, в мокрой одежде, а посушиться как следует негде. Одно спасение — горячий душ.

Когда ее спрашивали, крепко, мол, достается тебе, подсобница, она отвечала с улыбкой: «Ничего, как в песне — в пасмурный день вижу я синеву». Но если сказать по совести, синева эта виделась далеко не всегда.

Зима на берегу океана оказалась неустойчивой. Ветры дули такие, что ходить страшно было: того гляди сшибет с ног, закрутит и унесет в воду. Ветер сметал с сопки неглубокий снег, твердела подмороженная земля, легче становилось работать. Но вскоре опять напозлали сырые туманы, опять раскисала грязь.

А длинные зимние вечера, когда над мачтами воеет пурга, когда носа не высунешь на палубу! В хорошую погоду хоть пройтись можно, постоять возле борта. А в плохую? Только спать, что же еще? Клуба нет, кино раз в неделю. Есть телевизор, но кают-компания на пароходе маленькая, туда не пробьешься. В библиотечке за книгами очередь. К тому же Катя давно прочитала все, что там есть.

Девчонки бегают на свидания. Летом иногда танцуют на «пяточке». Отбиваются от комаров, от мошки, но танцуют. А у Кати возраст не тот.

До самой весны сомневалась она — правильный ли сделала выбор? Все, кроме моря, казалось здесь чужим и холодным. Она и весну заметила не сразу. Пропустила то время, когда зажурчали в ложбинах и распадках ручьи. Скромные подснежники неразличимы были среди кустов. Но вот однажды теплым солнечным утром вышла Катя на берег, вдохнула чистый, напоенный весенними запахами воздух, оглядела привычную уже синеву моря, скалы над водой и едва сдержала возглас удивления: склоны сопки стали сиренево-розовыми. Это зацвел невысокий кустарник — рододендрон. А на полянах распустились анемоны, хохлатки, гусиный лук.

Подернутый зеленой дымкой лес звенел от птичьего пения, и Катя с наслаждением слушала ликующие звуки весны, сердцем впитывала свежесть и красоту, испытывая странное, радостное чувство обновления. Это ощущение радости и новизны так и осталось в ней, хотя через несколько дней опять поползли туманы, посыпалась с низкого неба мелкая нудная морось...

Трудно обжиться на новом месте женщине, даже если она одна, без детей. А каково было Рае Федоровой? Распалась у нее семья. Муж пил, руку поднимал на молодую жену. Рая с виду тихая, а хватило у нее душевных сил: взяла маленькую дочь и ушла из дома. Бесповоротно. С Украины, с другого конца страны добралась до бухты Врангеля. По дороге продала все, что успела забрать с собой: туфли, платье, обручальное кольцо. Явилась нежданная на старый пароход. Дали ей койку в каюте. Когда Оленька заснула, поднялась Рая на палубу, осматрелась и засмеялась сквозь слезы, радуясь концу своих мытарств.

Сбежала на берег, принесла дочке цветов. И потом каждое утро успевала до работы собрать букет.

Вскоре Рая стала одним из лучших бригадиров, соревновалась с Володей Карпининым. Но Володя сам себе голова, а у Раи ребенок. Ни яслей, ни садика нет — брала Олю на работу. И другие матери тоже. Присматривали по очереди. Отцы-шоферы приноровились, возят детей при себе в кабинах машин. Всю смену.

Много парней, много девушек и женщин приезжают в бухту Врангеля. Часть их не задерживается долго. С жильем пока трудно. Вот и отправляются люди искать лучшей доли. Поэтому и текучка и нехватка квалифицированных кадров.

Оседают здесь только самые настойчивые и упорные.

Ко мне в гостиницу пришел пожилой, очень застенчивый инженер, угловатый, будто подросток. Извинившись за вторжение, спросил, буду ли я писать только о хорошем, что есть в бухте Врангеля, или по-настоящему, обо всем?

Узнав, что «обо всем», инженер оживился:

— Понимаете, я не верю тем, кто пишет лишь о светлом и радостном, — сказал он. — Жизнь, как диалектика, — единство противоположностей. О негативных сторонах



умалячивают либо духовные дальтоники, которые воспринимают только один цвет, либо лгуны и приспособленцы... Больше того,— продолжал он.— Там, где тишь да гладь, там застой. Где кипит жизнь, где созидание, там всегда борьба старого с новым, плохого с хорошим. И чем активней процесс созидания, тем больше нерешенных проблем, тем ощутимей болезни роста.

— Закономерно,— согласился я.

— Такие проблемы, такие болезни — они неизбежны и исправимы. Но бывают ошибки, которые ничем и никак не исправишь. Их просто нельзя допускать. Вот я и прошу от лица ревнителей дальневосточной природы, чтобы вы написали, привлекли внимание общественности...

То, о чем принялся рассказывать инженер, не явилось для меня новостью. Какая уж там новость, если об этом факте люди толковали повсюду — и в Находке и в бухте Врангеля.

Суть такова. В северо-восточную часть залива Америка впадает довольно крупная река Сучан. Это словно бы естественная граница между бухтой Врангеля и Находкой, между сложившимся городом и будущим портом.

В самом устье реки высятся три сопки удивительнейшей красоты. Их называют Брат, Сестра и Племянник. Похожи эти замечательные творения природы на египетские пирамиды, только, конечно, гораздо больших размеров. А еще напоминают они шлемы-богатырки, в каких сражались красноармейцы в годы гражданской войны.

Три сопки — любимое место жителей Находки. Чудесный вид открывается отсюда. Если смотреть прямо на юг — за зелеными склонами гор синееет вдали Японское море. На север узкой полосой уходит долина реки Сучан, которую называют жемчужиной Приморья за ее красоту и природные богатства.

Художники выходят сюда на этюды. Восхищенные туристы щелкают фотоаппаратами. Для жителей Находки Брат и Сестра — природная эмблема их города, тесно связанная с революционной историей края.

Недавно реку Сучан переименовали в реку Партизанскую. Я вообще не сторонник изменения географических названий: такие изменения зачастую ничего не дают, кроме путаницы и лишних расходов на переиздание карт. Но река Партизанская — это, пожалуй, естественно. Ведь как раз здесь, в этих местах, велись бои с белогвардейцами и интервентами, о которых так ярко рассказал в своих книгах «Последний из удэге» и «Разгром» Александр Фадеев.

Вот один эпизод тех давних событий.

Рано утром 18 апреля 1919 года партизаны, наблюдавшие с вершины сопки за морем, увидели корабли, приближавшиеся к берегу. В бинокль можно было различить английские и французские флаги. Возглавлял эскадру американский крейсер «Кент». Вслед за военными кораблями двигались транспорты с солдатами. Часть вражеского десанта буксировали на баржах.

Сделав поворот, эскадра вошла в залив. Громыкнули тяжелые орудия интервентов. На берегу взметнулись черные конусы разрывов. Дымом, пылью окутались три сопки, где находились основные позиции партизан. Правее их, в Находке, держал оборону Первый сучанский революционный отряд, которым командовал отважный сын немецкого народа, революционер-интернационалист Эмиль Либкнехт.

Несколько суток длилась в заливе неравная битва. Вражеские артиллеристы не жалели снарядов. Раз за разом поднимались в атаку интервенты-десантники. Их было значительно больше, чем партизан, они были гораздо лучше вооружены, но партизаны защищали свою землю, свои дома, свою власть. На смену погибшим братьям приходили в окопы их сестры. Матери и жены выхаживали раненых, дети ползком доставляли на передовую еду и боеприпасы.

На четвертый день, так и не пробившись в долину Сучана, интервенты, потерявшие сотни солдат, с позором вернулись на корабли и отбыли восвояси. А три сопки в устье реки превратились с той поры в символ мужества, незабываемой стойкости. И еще осталась в народе красивая легенда о том, как погибли в бою три партизана — брат, сестра и племянник, не отступив ни на шаг, и как после смерти превратились они в величественные сопки-утесы, прикрывающие вход в одну из богатейших долин Приморья.

Неподалеку от Сестры есть памятник, на котором высечены слова: «Героям-партизанам, отдавшим жизнь за власть Советов, за наше счастье. От молодежи города Находка».

Побывали здесь и молодые строители из бухты Врангеля, возложили к памятнику цветы.

И вот в один отнюдь не прекрасный день сопка Брат вновь окуталась дымом и пылью. С грохотом взлетели вверх камни. А когда пыль рассеялась, удивленные жители увидели, как движутся по склонам сопки бульдозеры и автомашины. И выяснилось, что знаменитую высоту разрабатывает трест Дальморгидрострой. Причем действовал трест быстро и решительно. Пока местная общественность уяснила, в чем дело, и забила тревогу, бутощебеночный карьер «Брат» уже полным ходом давал свою незамысловатую продукцию...

Как же это случилось, что в наше время, когда партия и правительство принимают специальные решения об охране природы и окружающей среды,— в это самое время буквально стирается с лица земли уникальная сопка, замечательный революционный памятник? И как же это можно — создавать карьер, вести разработку известняка в черте города? Разве крайняя необходимость заставила сделать это? Да ничего подобного! Почти все сопки, мимо которых проложена железная дорога из Находки в долину реки Партизанской, сложены из известковых пород. Просто взяли то, что ближе лежит (а ближе уж некуда!), подошли к делу бездумно и безответственно. А в горсовете просмотрели, не приняли своевременно решительных мер.

— Понимаете, не поздно еще и теперь остановить разрушение, перенести карьер в другое место,— горячо доказывал мне инженер.— Можно еще сохранить природный историко-географический ансамбль. И сделать это нетрудно. Надо разровнять площадки и со временем создать на них скульптурные группы, посвященные героической борьбе партизан. Краеведческий музей можно там построить...

Он совершенно прав, этот пожилой инженер, глава большой семьи. Он вырастил троих хороших сыновей, умных и работающих. Он по собственному опыту знает, как воспитывать подрастающее поколение, передавать по наследству то лучшее, что было накоплено старшими.

Людей, встревоженных судьбой трех сопок, много. Они обращаются в горсовет, пишут письма в редакции, требуют, чтобы Брат, Сестра и Племянник были сохранены. И я тоже присоединяю к этому требованию свой голос.

Директор строящегося порта Виктор Алексеевич Яценко внешне мало похож на сложившийся в наших умах (фильмы ли тому причиной?) образ руководителя крупной стройки. Он невысок ростом, круглолиц, весьма подвижен. Галстук завязан не очень умело, уголки воротничка топорщатся. Все это делает его похожим на студента старшего курса или на молодого инженера. Лишь когда пристальнее всмотришься в лицо, заметишь и морщинки, и волевою складку возле губ, и озабоченность.

Задумается вдруг глубоко, отрешившись от окружающего, и тут уж перед тобой не студент, а человек, отягощенный большой ответственностью. Потом встрепенется, расправит плечи — и снова он одессит с неиссякаемым юмором и запасом историй на все случаи жизни.

В помещении дирекции, в аккуратном белом домике неподалеку от причала, заставить Виктора Алексеевича трудно. Я, во всяком случае, ни разу его там не застал. То он отправился на катере к земснаряду, работающему в канале, то осматривает готовый к сдаче объект, то на каком-то совещании сражается с подрядчиками и субподрядчиками, то среди ночи на машине двинулся в далекий путь по горным дорогам: помчался во Владивосток на доклад к начальству.

Разговаривали мы с ним либо поздно вечером в гостинице, либо на ходу.

— Виктор Алексеевич, хотелось бы посмотреть завтра канал.

— Вот этот лайнер вас устроит? — Он показал на маленький катер.

— Вполне.

Яценко что-то прикинул мысленно.

— В восемь двадцать катер будет возле крана. Не задерживайтесь.

Мы не задержались. А катер появился минута в минуту.

— Виктор Алексеевич, кто и откуда обращается с просьбой принять на стройку?

— Подберу вам наиболее типичные письма.

Я решил: не буду напоминать ему про это обещание. Забудет свою фразу, сказанную вскользь где-то на крутом каменистом спуске или не забудет?

Совершенно случайно узнал я одну интересную подробность. Лет семь или восемь назад Виктор Алексеевич увидел на причале в порту знакомого капитана-пенсионера. Поразило его лицо старика, та тоска, с которой смотрел он вслед уходящему судну: раньше сам водил его по морям-океанам. Когда теплоход дал гудок, старый капитан вытянулся и вскинул руку к широкому козырьку фуражки с потускневшей эмблемой.

Глубоко тронула Виктора Алексеевича эта картина. Так глубоко, что пришел он домой, взял бумагу, излил свои впечатления. И получился маленький рассказ, который Яценко так и озаглавил: «Старый капитан». Он был опубликован в газете «Тихоокеанский моряк».

Это первый и пока что последний опыт Яценко на литературном поприще. Сам он считает появление рассказа случайностью. А по-моему, нет. Когда говоришь с ним, невольно обращаешь внимание, сколь образна его речь.

Спрашиваю:

— Как вы стали директором порта? Охотно?

— Под сильным нажимом.

— С чьей стороны?

— Начальства, конечно. Решили, что я молод и полон сил. Ну и карты, мол, в руки. А я отказывался. Обжился в городе с семьей, работа хорошо шла. В моем ведении портовые краны были. Я их изучил лучше, чем самого себя. Все их болячки знал, у кого какое настроение, какой кран в какую погоду капризничает. Придет, бывало, ремонтный мастер: так, мол, и так — барахлит кран. «Который? Ах, этот...» И сразу конкретно — какой узел надо проверить. Почти никогда не ошибался.

— Спокойно работалось?

— Пожалуй, слишком спокойно. Сам чувствовал — перерос свою должность. Ну и подумал: вот повзрослеют сыновья — их у меня двое — и спросят отца: какое важное, большое дело сделал в своей жизни? У писателей, говорят, бывает главная книга, в которую они всю душу, все мастерство вкладывают. И у каждого человека главное дело должно быть.

— Приехали, значит, сюда...

— Приехал. Красотища неопишная. Сопки, скалы. Вода в бухте прозрачная, незамутненная. Курорт. И пустота, тишина. Пошел по линии, где железную дорогу наметили проложить. Глядь — одинокая покосившаяся избушка. Завернул туда. Грязно, полутемно. Две женщины, одной лет под пятьдесят, другой тридцать. Мать и дочь. Мужчин нет. Изредка, говорят, прохожий заглянет. Детишек человек семь или больше. Спрашиваю, чьи ребятишки. Старшая женщина говорит: «Моих трое, а остальные-то дочкины». А девочка малая серьезно так поправляет: «Нет, мамка, нас у тебя четверо». Так у меня сердце тогда защемило. Живут на отлете, школа далеко, кроме тайги, ничего не видят. «Ладно, — говорю, — скоро здесь рельсы проложим, хибару вашу снесем, в большой дом поселим со всеми удобствами. Даже с ванной». А они не верят. «Откуда, — удивляются, — дом-то?» «Город здесь будет, — говорю. — Красивый город, со школами, с магазинами, с Дворцом культуры». Рассказываю им, а они не верят. А я, знаете ли, впервые осознал тогда: будет, все будет на этом пустом берегу! Вечером возвращался в Находку. Даже не вечером — совсем уже ночь была. Дорога некудышная. Машина с трудом поднялась на перевал. Впереди Находка вся в огнях. А позади крошечная тьма. Мрак, как в огромной глубокой яме. И очень захотелось скорее свет там зажечь.

— А та семья, где много детишек, что с ней?

— В один из первых домов переселили, — улыбнулся Яценко. — Квартира со всеми удобствами. Аборигены ведь они как-никак. Теперь у нас на стройке работают.

После этого разговора прошло дня два или три, мы с Виктором Алексеевичем не виделись, и я начал подумывать о том, что он забыл свое обещание. Но нет. Поздно

вечером заскочил к нам с какого-то заседания, из рук в руки передал мне пачку писем и телеграмм.

В каждом письме — человеческая судьба, а то и несколько судеб. Когда читаешь такие послания одно за другим, постепенно начинают вырисовываться определенные закономерности.

Значительная часть писем принадлежит девушкам, недавно окончившим школу или производственно-технические училища. Парни пишут реже — у них путь определен: военная служба. Девушки же согласны на любую работу, на любые условия — только пришлите вызов. Письма их эмоциональны, иногда наивны и трогательны: «Вы можете сделать нас счастливыми»; или: «От Вас и только от Вас зависит все мое будущее, зависит осуществление всех моих сокровенных желаний».

Как я понял, к письмам подобного рода в дирекции относятся без особого энтузиазма. Приедут, мол, зеленые юнцы, не имеющие ни стажа, ни опыта, не знающие толком, почем фунт лиха. Много мороки с ними.

Правильно, мороки порядочно. Тем более что такие девушки и такие парни приезжают иногда самостийно, без вызова. Надо пристроить их, обучить специальности. Но вот что интересно. Как раз такая молодежь, особенно от тех, кто приехал в бухту Врангеля на свой страх и риск, — как раз эти девушки и парни в основном и оседают на стройке, постепенно превращаясь в квалифицированных рабочих.

Это первая группа писем.

Горячо просят принять на стройку люди, у которых почему-либо не сложилась жизнь. Молодожены — квартировать у матери невесты, разрешите приехать! Женищина, потерявшая всякую надежду обзавестись семьей в своем маленьком городке. Но подобные просьбы, так сказать, не очень характерные, одиночные.

Наиболее благожелательно администрация относится к деловым, конкретным предложениям, с которыми обращаются в дирекцию люди, имеющие солидный трудовой стаж. Как правило, у таких товарищей две, три, а то и четыре специальности. Краповщик, бульдозерист, шофер в одном лице. Или газосварщик, каменщик, плотник. Кажется, чего бы еще желать: вызывай такого универсала на стройку — и дело с концом. Но универсалы знают себе цену. Они просят ответить: каковы льготы, каковы условия труда, есть ли детский сад, школа, поликлиника, место в общежитии? И обязательный вопрос — скоро ли можно получить квартиру?

Увы, администраторам остается только вздыхать и рассчитывать в основном на молодых энтузиастов. Но молодежи не хватает мастерства, она далеко не всегда добивается лучшего качества. Самый верный вариант — сочетание опыта и молодого задора. Все, с кем доводилось мне встречаться и беседовать на стройке, хорошо понимают это. Но...

Вот об этом пресловутом «но» как раз и предстояло нам поговорить в Находкинском городском комитете партии.

Кабинет первого секретаря горкома выходит окнами на залив. Белые чайки парят над водой. В ясную погоду вдали, на горизонте, видна длинная сопка с характерной трехглавой вершиной, замыкающая бухту Врангеля. Видна Евгению Петровичу Гайдамаченко и цепочка судов, ожидающих на рейде. Маячат они перед глазами, постоянно напоминая о том, как нужен стране новый Восточный порт.

Мой коллега Лев Николаевич Князев и первый секретарь Гайдамаченко оказались старыми знакомыми. Вместе когда-то вели комсомольскую работу во Владивостоке, потом Гайдамаченко был там секретарем райкома партии, потом уехал учиться в Академию общественных наук, и пути их разошлись. А теперь вновь перекрестились в Находке, где Князев бывает часто, о людях которой пишет в своих очерках. Естественно поэтому, что беседа наша сразу началась по-деловому, в товарищеском ключе.

Евгению Петровичу около сорока лет, но выглядит старше. Очень высокий, покрытый загаром лоб, густая седина на висках, очки. А свежий голос, энергичные движения, быстрота реакции говорят о том, что человек этот полон нерастратенных сил, молодого задора, который многие руководители, получившие закалку в комсомоле, сохраняют до преклонных лет.

Прежде всего я спросил, как в горкоме отнеслись к инициативе отделочников из бухты Врангеля, к их неожиданному визиту в Находку. И получил совершенно определенный ответ. Вопрос об организации труда отделочников поднялся не случайно. Он назрел, и его надо решать без промедления. Администрация плавсройотряда в курсе дела и считает, что пришла пора переводить бригады на работу по аккордным нарядам. Это решение наиболее правильное.

Мне оставалось только порадоваться тому, что мнение рабочих из бригады Кати и мнение горкома полностью совпадают. А Евгений Петрович продолжал между тем говорить о том, что в бухте Врангеля требует рассмотрения и принятия мер еще целый ряд проблем.

— Мы создаем первоклассный порт на уровне последних десятилетий нашего века, с расчетом на следующий век, на следующее тысячелетие, мы закладываем город будущего минимум на шестьдесят тысяч жителей, а делаем это пока не самыми лучшими способами.— Голос Гайдамаченко звучал сердито и устало.— Вы сами заметили, наверно, неполадки на стройке. Текучесть кадров, недостатки в организации труда. Нам это тем более обидно, что вообще-то у нас в Находке темпы роста производства и производительность труда выше, чем в других районах Приморского края. И в бухте Врангеля наши достижения могут быть значительно лучше.

— А причина?

— Вот о ней и хочу сказать. Знаете, как теперь начинают у нас в стране большие стройки? Возьмем, к примеру, Запсиб или КамАЗ. Первым делом создается производственная база, прокладываются дороги, коммуникации. Строительство жилых массивов, школ, больниц опережает строительство промышленных объектов. И это самый правильный метод, самый гуманный. А в бухте Врангеля получилось наоборот.

— Почему?

— Я и сам задаю подобный вопрос: из каких соображений исходил заказчик— Министерство морского флота,— когда с самого начала отпустил лишь пятьдесят процентов средств, необходимых для создания производственной базы? Получилась экономия наоборот. Все, почти все — от кирпича и панелей до гвоздей и хлеба везли в бухту Врангеля из Находки. А представляете, что было, когда раскисали дороги, когда поднимался шторм? Люди неделями сидели без работы, снижался заработок. Много нам здесь, на месте, потребовалось сил и нервов, чтобы в какой-то степени исправить допущенные ошибки. Однако до сих пор не решена главная проблема: кто и как будет строить новый город. Министерство морского флота затягивает этот вопрос до бесконечности.

— А пятиэтажные корпуса в бухте Врангеля?

— Их возвели строительные организации для своих рабочих. Без связи с генеральным планом, на глазок, как говорится. Должны же люди жить в нормальных условиях! Лишь на днях получили проект первой очереди будущего города. Надо начинать с водопровода, канализации, очистных сооружений. Обязательно с этого. Но, повторяю, кому строить? Наш Дальморгидрострой — специализированная организация для гидротехнических сооружений. Она просто не справится с большим объемом работ. Да и базы для этого у нас нет. И мы и краевой комитет партии обращались по этому поводу в Министерство морского флота, в контролирующие органы. Добиваемся создания промышленной базы.

— Если можно, конкретней,— попросил Лев Николаевич.

— Есть у нас кирпичный завод. Растет комбинат крупнопанельного домостроения с проектной мощностью восемьдесят тысяч квадратных метров в год. Ну, первое время он больше шестидесяти тысяч не даст. А мы по плану должны в семьдесят четвертом году ввести в строй сто сорок тысяч квадратных метров жилой площади. И с каждым годом увеличивать эту цифру. Нам совершенно необходим еще один крупнопанельный комбинат. Без него положение не улучшится. Этот комбинат обеспечил бы потребности нового города в бухте Врангеля. Но Министерство морского флота не финансирует такой комбинат. У министерства свои ведомственные интересы. Ему нужен порт, и все. Я специально ездил по этому поводу в Москву, доказывал с цифрами в руках... Знаете, это такой наболевший вопрос, что мне даже по ночам снится,— невесело усмехнулся Гайдамаченко.— Сплю и вижу новый комбинат.

- Такое впечатление, что вы экономист?
- Да,— кивнул Евгений Петрович.
- Кандидат экономических наук,— уточнил Князев.

— Но сейчас я говорю прежде всего как секретарь горкома. Вы ведь знаете, что решение создать в бухте Врангеля морской порт, оснащенный и оборудованный по последнему слову техники, записано в Директивах Двадцать четвертого съезда партии. Решение это имеет силу закона. Предусмотрены соответствующие средства из государственного бюджета — надо только разумно распределять и использовать их. Можно не сомневаться, что решение партийного форума будет выполнено. И дело сейчас не в том, чтобы выполнить, а как выполнить! На этот счет съездом тоже даны ясные указания: создать условия для дальнейшего притока населения в районы Дальнего Востока и Восточной Сибири, с закреплением кадров в этих районах; опережающими темпами развивать жилищно-бытовое и социально-культурное строительство. Опережающими,— подчеркнул Евгений Петрович.— А у нас здесь, несмотря на все наши старания, два министерства никак не могут договориться, кому что строить.

Ребята из бригады удивились бы, увидев Володю Карпинина на объекте. Что здесь делать вечером, тем более если объект сдан? И без того знаком тут каждый кирпич, каждая доска — все сработано собственными руками.

Давно ли, кажется, мечтали ребята о таком объекте? Требовали у администрации: хватит нам на чужих домах крыши ставить, дайте здание, чтобы от и до. И вот готов на причале блок подсобных помещений. Долго будет стоять он здесь как своего рода памятник комплексной комсомольско-молодежной бригаде, основу которой составили бывшие пограничники. Конечно, это не высотное сооружение, выглядит блок довольно скромно, но ведь он первое самостоятельное здание бригады.

Однако сейчас, глядя на свое детище, Володя испытывал не только гордость и удовлетворение. Блок подсобных помещений — пройденный этап. А что дальше? На стройке закладываются более сложные и масштабные сооружения, готов ли он работать на них как бригадир, как руководитель? Ведь здесь, на блоке, он не раз ощущал, что ему не хватает знаний.

Вон высится на берегу огромная металлическая эстакада, доставленная из Японии. Предназначена для внутрпричалных перегрузок леса. Как установить эстакаду на фундамент, смонтировать, подготовить к действию?

Володя вышел на бетонный оголовок причала. Темные волны, накатываясь из мрака, тяжело и размеренно бились в незыблемую преграду, такую мощную, что она даже не вздрагивала от ударов. Вода шпшела и пенилась, на поверхности ее плясали, дробясь, лучи прожекторов и огни работавшего вблизи крана.

Раньше простирался здесь пустой берег, волны свободно гуляли по мелководью, лениво выплескивались на сушу. Земснарядам, землечерпалкам пришлось много потрудиться. Углубили дно настолько, что скроется пятиэтажный дом. И не только углубили, но и выровняли, не оставили бугров и выступов. Лишь после этого «предъявили дно» строителям. Те проверили и взялись за свое.

Плавающий кран вбивал в грунт длинные металлические шпунты. Десятки, сотни шпунтов. Сцепленные один с другим, они надежным стальным барьером отгородили участок бухты, определив границы причальной стенки. Одновременно создавали и территорию причалов. В одном месте намывали со дна морской песок, в другом сыпали щебень и камни. Потом укладывали массивные бетонные плиты, бетонировали фундамент под краны и различные сооружения. Прокладывались коммуникации, железнодорожные рельсы.

На соседнем причале монтируется контейнерный терминал: специализированный комплекс для погрузочно-разгрузочных работ; этот комплекс будет за короткий срок обслуживать самые крупные в мире суда-контейнеровозы.

Сколько во все эти сооружения заложено идей, мыслей, точных расчетов! Конечно, при всех достижениях современной техники, при всей механизации и автоматизации, не обойтись и без тех простых построек, одну из которых закончила бригада Карпинина. Но ведь и самому хочется попробовать себя в сложной работе. И если он сейчас испытывает недостаток знаний, то что будет через несколько лет?

Впереди еще вся жизнь, впереди большие стройки. И в бухте Врангеля и, может быть, в других, более суровых, более трудных районах. Чтобы шагать в ногу со временем, нужно учиться, нужно поступить в институт.

Старшего прораба я перехватил возле бытовки. Спросил:

— На каком объекте сейчас Катя?

— Что, с мастером хотите поговорить? — усмехнулся прораб.

— Нет, с Катей, с бригадиром.

— Была бригадиром, теперь мастер.

— Давно?

— Вот уже несколько дней командует.

— Ну и как? Получается у нее?

— Хотела работать по-новому, сама и налаживает. Образование ей позволяет, энергия есть...

Я поторопился к новому мастеру и обрадовался, увидев издали стройную женщину в белом платочке, пробежавшую от подъезда к вибратору.

Беседовали мы все в той же каптерке, в комнате, готовой встретить новоселов. На дощатом столе свежий букет осенних цветов.

В этот раз Катю чаще отрывали от разговора. К ней обращались не только отделочники, но и плотники, и монтажники, и шоферы, доставившие плитки и краску.

— Ну и как? — спросил я. — Нелегкая ноша?

— Вживаюсь, — коротко ответила Катя.

— Вы чем-то озабочены? Неприятности?

— Это не связано с работой, с передовиками производства и с культурным досугом, — прищурилась она.

— И все же?

— Женщины ко мне приходили в обеденный перерыв. Как к депутату. История, в общем, не новая. Насчет магазина. Мяса вот опять нет. Сыр на что уж недефицитный продукт, везде на витринах лежит, а к нам опять не завезли. Снова ругаться пойдут, — вздохнула она.

— Из-за сыра?

Катя недовольно повела плечами:

— Из-за порядка. Бывают в магазине нужные вещи: туфли, кофты хорошие, плащи, сапожки. Продают днем. Естественно, их расхватывают те, кто ближе к магазину. А мы возвращаемся вечером с дальних участков — пустые полки. Обидно женщинам, они тоже одеться хотят. В Находку на барахолку не наездишься, да и дорого там.

— Что же вы предлагаете?

— Очень просто. Пусть ходовые товары продают пропорционально количеству работающих на каждом участке. Чтобы явились наши женщины вечером, а им говорят: пожалуйста, эти товары для вас! Разве трудно?

— Лишняя забота продавцам, согласятся ли?

— Будем требовать.

— Значит, новые хлопоты у вас? Скучать некогда?

— Ой, некогда, — улыбнулась она.

А я вдруг спросил неожиданно для себя:

— Зовут-то вас как?

— Фатьма, — привычно вырвалось у нее, но она сразу же спохватилась, сдвинула брови. Подумала, махнула ладонью. — Ну, это не столь важно. Только вы все-таки фамилию не называйте.

Юркий катерок «Вихрь» покачивался возле причала. Старшина катера, увидев меня, укоризненно показал на часы.

Я помахал прощально рукой. Всего хорошего вам, мои новые знакомые! До свидания, далекая и желанная гавань!

Вот таким лирическим мажорным аккордом я и хотел закончить очерк. Но едва завершил его, узнал новость, которая очень удивила меня и заставила написать еще одну главу.

Катя (к другому имени я не привык) подала заявление об уходе с работы, намекаясь уехать из бухты Врангеля. Сначала я даже не поверил.

Конечно, жизнь не стоит на месте, в любом коллективе происходят изменения, тем более на стройке. Главный инженер Владимир Иванович Крайнев, работник инициативный, энергичный, трудолюбивый, получил повышение, возглавляет теперь строительно-монтажный отряд. Закономерно? Вполне. Распространялся со своей бригадой Володя Карпинин, уехавший в институт. Тоже естественно. Нашел другую работу Ростислав Михайлович Коношук.

Но Катя?!

Она сроднилась со стройкой, начала здесь свою вторую жизнь. Дела у нее шли хорошо, отделочницы охотно работали с новым мастером. Под ее руководством подготовили и сдали несколько домов, у нее появился опыт, уверенность в своих силах. Катя повеселела, часто слышался ее смех. Даже письма писать начала. В этом я убедился, получив ответ на свое письмо. И вдруг — заявление об уходе!

Я сразу же обратился к Кате с вопросом: что случилось? Она сообщила — виноваты крысы... Она, мол, давно мечтает о нормальных жизненных условиях, но что поделаешь, приходится мириться с тем, что есть. И мирилась, когда впереди была какая-то надежда. Как и другие строители, она притерпелась и к тесноте и к духоте в каюте. Но на «Приморье» появились крысы. Эти злобные существа вызывают у нее омерзение...

Горечь звучала в письме Кати, и шутки ее были грустными. Я подумал, что дело, наверное, не в крысах. Не теряя времени, еще раз написал Кате, связался со своими знакомыми на стройке, пытаюсь добраться до истины. И вот что узнал.

В метельные дни перевозимья строители порта отмечали важное событие. Вступило в строй первое гидротехническое сооружение — причал № 11. Рабочие закончили оформление прикормочной линии. Быстро обжили этот первый свой «плацдарм» в бухте портовки-эксплуатационники. Появились здесь портальные краны. Загудели тепловозы, залязгали буферами вагоны, доставившие из тайги большую партию леса.

27 декабря 1973 года, как и было предусмотрено планом, к причалу подошло первое судно, и началась погрузка древесины, закупленной японскими фирмами.

Торжественный митинг на причале собрал всех строителей. Пришла и Катя со своими отделочницами. Люди чувствовали себя именинниками. Гордились, что преодолели все трудности, сумели в срок сделать главное. В бухте Врангеля, посреди многокилометровой строительной площадки, появился кусочек действующего порта. «Уютный уголок», как назвала его в одной из корреспонденций Людмила Брызгалина.

Весьма радостным было это событие. Но вскоре настроение многих строителей омрачила неожиданная новость. Впрочем, не такая уж она и неожиданная. В бухту Врангеля приехали специалисты-портовики, которые будут эксплуатировать возведенные сооружения. Им, разумеется, надо обеспечить нормальные бытовые условия на длительное время. Но домов-то для них нет! Где взять жилую площадь? Поселили портовиков в квартиры, которые строители готовили для себя. Строители обиделись: возможность получить комнату отодвинулась на неопределенное время. Некоторые подали заявление об уходе. Подала заявление и Катя.

Новый начальник строительно-монтажного отряда Владимир Иванович Крайнев прекрасно понимал состояние Кати, когда пригласил ее к себе на беседу. Он не стал тратить лишних слов. Сказал, что ей как хорошей работнице, как мастеру, как ветерану стройки выделена жилая площадь в так называемом «малосемейном» доме.

И Катя осталась. Она продолжала трудиться, как и прежде, вкладывая в работу всю душу, не давая покоя ни начальству, ни своим девочкам.

Катя осталась. Но проблема с жильем не решена. В 1973 году в бухте Врангеля сдан один причал. В 1974-м сдаются несколько. И чем дальше, тем больше.

Виктор Алексеевич Яценко ехал из бухты Врангеля в Находку. Навстречу, ныряя в ухабы, ползли самосвалы, груженные щебнем. Давая им дорогу, Яценко прижимал «Волгу» вправо, ближе к скале. Быстро надвигалась ночь. Темные силуэты судов, ожидавших на рейде, расцвечивались огоньками.



На заднем сиденье машины — старый знакомый: Валентин Демьянович Петков. Они с Яценко окончили один и тот же Институт инженеров морского флота, только Петков на несколько лет раньше. Потом судьба свела их на Дальнем Востоке. Валентин Демьянович много времени провел в арктических районах. Работал в Магадане, в порту Нагаево, затем его направили еще дальше на северо-восток, в места, о которых говорят: там начинается день. Петков был главным инженером, а затем и начальником порта Провидение.

Валентин Демьянович никогда не отличался многословием, к тому же и Арктика наложила свой отпечаток: он молчалив, сдержан, улыбается редко.

Весна только набирает силу, еще холодно, Яценко в теплом пальто, а Валентин Демьянович в легкой куртке, голова не покрыта. Конечно, после Чукотки здешние морозы кажутся пустяковыми.

Весь день Яценко и Петков провели на стройке, а у Валентина Демьяновича не заметно ни малейшей усталости. Покуривает, думает о своем. Не очень трудно догадаться, о чем именно. Большая ответственность ложится на его плечи. Отныне он директор строящегося порта Восточный. Принял дела у своего друга. А Виктор Алексеевич Яценко «пошел на повышение», уезжает во Владивосток заместителем начальника Дальневосточного морского пароходства.

— Ну, что скажешь? — нарушил молчание Яценко. — Что, по-твоему, сейчас самое важное на стройке?

— То же самое, что и по-твоему.

— Люди?

— Люди, — ответил Петков.

Яценко остановил машину на перевале. Друзья вышли поразмяться. Впереди протянулись длинные многоточия огней. Это Находка, прижатая сопками к воде, вытянулась вдоль берега.

Виктор Алексеевич посмотрел назад, на бухту Врангеля. Там тоже сверкают сотни огней. Их еще не так много, как в Находке, но уже можно определить, где поселок строителей, где готовый причал. Ярко горят прожекторы кранов на строительных площадках.

— Вот какое наследство тебе оставляю, — сказал Яценко.

— Основа, — кивнул Валентин Демьянович.

— Что?

— Основа заложена, — повторил Петков.

— Да, это только основа, — согласился Яценко. — Главная работа еще впереди.

Приморье — Москва,  
сентябрь 1973 — апрель 1974.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

**РАИС БЕЛЯЕВ,**  
*первый секретарь*  
*Набережночелнинского горкома КПСС*



### КАМАЗ В БИОГРАФИИ МОЛОДЫХ

**К** амазовцы — в числе тех, кто ныне делает историю нашей Родины. Это историческое место строителей КамАЗа в великом созидании нового общества определила партия.

На торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном двадцатилетию освоения целины, Генеральный секретарь ЦК партии Леонид Ильич Брежнев оказал: «История нашей социалистической Родины делалась и делается людьми труда. Она делалась и делается теми, кто строил ДнепрогЭС и Магнитку, прокладывал Турксиб и Каракумский канал, кто превратил в цветущий оазис Голодную степь в Узбекистане, кто возводит ныне корпуса КамАЗа и добывает тюменскую нефть...»

Всюду, где трудятся советские люди, творится история первого на земле социалистического государства, высшим мерилom почета стал труд. Мы знаем: всякий труд в любом уголке нашей Родины почетен и важен. Но слово «камазовец» произносится сегодня с особой гордостью.

Камазовцев можно увидеть во многих уголках нашей страны — ездят они за передовым опытом, бывают на заводах-поставщиках, и всюду наших людей, куда бы они ни приехали, где бы ни появились, встречают как самых близких и дорогих.

«Мы с КамАЗа». Эти слова сегодня воспринимаются как когда-то в огненные годы — «Мы из Кронштадта», «Мы с Перекопа», «Мы с переднего края». Да, люди КамАЗа — это бойцы переднего края. Но камазовцы — это не только 130 тысяч, что находятся в Набережных Челнах. Это сотни тысяч людей, около 900 предприятий, помогающих строить КамАЗ. Это лучшие представители рабочего класса всех пятнадцати союзных республик, создающие для КамАЗа станки, машины, оборудование. Это армия конструкторов, инженеров, архитекторов, несущих на КамАЗ достижения передовой технической мысли, органически соединяющих в единый оплав лучшее, что накопилось в каждой национальной республике. Это люди, круглосуточно ведущие поезда, самолеты, автомашины, пароходы с грузом на строительные плацдармы КамАЗа. Это мастера и педагоги, обучающие почти в 50 городах посланцев КамАЗа — будущих командиров автомобильного комплекса. Это и многие, многие представители других областей жизни, деятели литературы, культуры. Все они в той или иной мере причастны к великой стройке. Поистине — вся страна строит КамАЗ, один из редутов переднего края борьбы за светлое будущее. Какой же невиданный исполин должен вырасти, если для его создания потребовались усилия всей Родины!

Действительно невиданный и действительно исполнин. Мы знаем немало великих строек. Вся наша история — это грандиозная стройка. Но таких строек, как КамАЗ, не было. Не случайно представители промышленного капитала наиболее развитых стран Запада единодушно заявили, что ни одному из них, ни их объединениям не под силу подобная стройка.

Не хочется приводить много цифр, свидетельствующих о масштабах строительства. Может быть, реальнее встанет картина КамАЗа, если привести один-два факта, на мой взгляд, весьма показательных. Однако некоторых цифр не избежать, но, думаю, они не покажутся скучными.

Вместе с товарищами из «Нового мира» мы вошли в столовую ремонтно-инструментального завода (РИЗ) — первенца автомобильного комплекса — за пять минут до начала обеденного перерыва. В двух залах, размером превышающих хоккейное поле на 300 квадратных метров, не было ни одного человека. В 12.30 начался обеденный перерыв. 2500 человек направились в столовую. Никто не бежал, не спешил. Никакой суеты или толкотни. Люди спокойно занимали свои места, как посетители в театре. Отсутствие спешки объясняется тем, что у каждого свое постоянное место. Не спешили еще и у станков, когда только был дан сигнал на обед, потому что от самого дальнего из двух тысяч рабочих мест до второго этажа в столовую не больше двух—пяти минут хода, потому что в центре залов рядом со столовой, как распутившиеся исполинские лилии, стоят сверкающие белой эмалью полуавтоматические умывальники, где места хватает всем. Не спешили, потому что знали — второе каждый получит тотчас же, как съест первое, но на всякий случай оно будет накрыто сферической крышкой, как в ресторане высокого класса. И обед будет вкусным и горячим.

Мы засеки время. Люди пообедали за семнадцать минут. Но 2500 рабочих, покинувших столовую, не пошли к станкам. Обеденный перерыв длится час. Настольный теннис, шахматы, шашки, домино, можно и почитать и отдохнуть как кому хочется.

Я привел лишь один пример, показал лишь полчаса жизни только одного уголка РИЗа, ибо и столовая, и гардеробная с душами и умывальниками, и стеклянные помещения заводоуправления размещены в одном здании завода, занимая под его кровлей лишь очень скромное место. Все цеха находятся под той же кровлей особого профиля, позволяющего дневному свету проникать во все уголки завода, где сегодня трудятся пять тысяч рабочих. Для них уже стройка закончилась. Грунт, экскаваторы, грязь, монтаж железобетонных и стальных конструкций, бытовки в вагончиках остались для них где-то далеко позади. Наступила новая жизнь.

Идешь на завод, как в сверкающий дворец. И бесчисленное количество станков и машин самых различных конфигураций и размеров, расположенных то ровными рядами, то асимметрично, кажется лишь украшением дворца. И будто не конструкторы и технологи расставляли их, исходя из интересов производственной целесообразности, а художники, заботясь лишь об эстетической стороне дела.

Вся эта красота не может не оказывать воздействия на людей. Никому не придет в голову бросить на пол тряпку или клочок газеты, никого не увидишь в старой, а тем более замасленной или рваной «робе».

У маленького станка девушка нарезает метчики. На ней красивая красная блузка, черные отглаженные брючки, белые лакированные туфли на низком каблучке. Она работает не отвлекаясь, изящно, проворно и почти каждый раз, откладывая в сторону готовую деталь, улыбается. Может быть, радуется плодам своего труда, возможно, вспоминает что-то приятное. Несомненно одно — работа приносит ей радость. Она совсем молоденькая, но этот красивый станок принадлежит ей, он подчиняется ее воле, она управляет им и, конечно же, холит и лелеет его.

А рядом стоят у станков такие же девушки, как и она, — яркие цвета их одежды видны повсюду, куда хватает глаз.

Где-то опытные модельерши разрабатывают типовые образцы красивой и удобной рабочей одежды, и, наверное, это правильно, наверное, так и должно быть, но мне будет жаль, если исчезнет этот живой цветник на фоне зелено-салатной, весенней окраски станков. Может, лучше, если каждая станет одеваться на работу, как ей самой нравится, носить то, что ей больше всего идет, ибо условия работы позволяют это.

На станках, где при обработке деталей появляется металлическая пыль, стоят глухие вытяжные трубы, иные узлы станков заключены в прозрачные герметические колпаки, и в самую палящую жару в помещении будет прохладно, а в суровые морозы — тепло, и все пять тысяч рабочих и работниц будут дышать свежим и чистым воздухом: на территорию завода, включая столовую и решительно все остальные помещения, подается кондиционированный воздух.

Но я, кажется, увлекся РИЗом, желая показать хоть один из нескольких объектов, уже вступивших в строй. РИЗ — один завод из шести, составляющих наш автомобильный комплекс, площадь которого в двадцать раз больше территории автозавода в Тольятти.

На площадках будущего гиганта еще властвуют строители. Их сегодня 100 тысяч человек. Еще не везде пройдешь и проедешь в распутицу, еще стоят голые остовы зданий, но в корпуса всех заводов зимой подвели тепло. Есть цеха, где идет монтаж оборудования, где-то устанавливаются станки и прессы, буквально на глазах ввысь и вишьрь растет город. Типичная картина огромной стройки. И хотя сейчас не увидишь больших скоплений людей перед отделами кадров, как два-три года назад, но люди очень нужны. Далеко не для всех созданы нормальные бытовые условия — в этом главная причина текучести кадров. Только настоящие ребята и девушки, кто видит, что трудности временные, что пока надо мириться с теснотой в общежитиях, испытывать другие неудобства, накрепко связывают свою судьбу с КамАЗом. Эти люди и составляют нынешний интернациональный коллектив КамАЗа, объединяющий представителей 70 национальностей, посланцев всех республик Союза, многих городов и областей.

По-прежнему нам очень помогают партийные и комсомольские организации всей страны. Вот и недавно мы приняли очередной отряд из 15 республик, сформированный ЦК ВЛКСМ.

Посвящение в камазовцы — акт значительный и торжественный. Мы встречаем новичков во Дворце культуры. Мрамор разных цветов на полу, мраморные колонны, яркие витражи, дорогие сорта дерева на отделке, мозаика — все это неожиданно для них.

Волнующе звучит камазовский комсомольский марш, под звуки которого выносят на сцену знамя. Волнующи и слова руководителей стройки, партийных работников, комсомольских вожаков, тех, кто непосредственно строил этот дворец. Новички смотрят полнометражный фильм «Сказ о КамАЗе», созданный на нашей любительской студии, фильм, рисующий и великие трудности, и великую радость побед создателей.

Не стану подробно описывать весь вечер посвящения в камазовцы. Скажу только, что перед новым пополнением мы не скрываем трудностей, которые им предстоит преодолеть, на примерах ветеранов КамАЗа показываем, какие перспективы открываются перед теми, кто готов, кто способен бороться за новую жизнь.

Судьбы людей... Как они сложатся? Активно влиять на процесс формирования людских судеб — в этом одна из главных задач, которые ставит перед собой городской комитет партии, все партийные и комсомольские организации стройки, промышленного комплекса и города.

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что тысячи и тысячи юношей и девушек нашли свое подлинное призвание на КамАЗе, познали радость свершения задуманного, осуществления своей мечты. Они неузнаваемо выросли и поднялись, обрели неистребимую веру в себя, в коллектив, в еще лучшее завтра.

Помню, в начале строительства я случайно познакомился с одним пареньком. Звали его Раис Ганеев. Он окончил школу, хотел поступить в летное учи-

лице, но не прошел медицинскую комиссию. И можно понять юношу, страстно мечтавшего о небе, когда решил, что ничего хорошего ему уже не ждать от жизни. Ему было все равно, где работать, и он приехал на нашу стройку. И хотя он не прошел медицинскую комиссию для того, чтобы стать летчиком, воля у него оказалась крепкой, душа широкой, ум гибким. Трудностей Раис не боялся, инкубаторную жизнь презирал, за удобствами быта не гнался.

Сегодня Раис Ганеев — член партии, один из лучших бригадиров стройки, лауреат премии Ленинского комсомола, делегат XVII съезда комсомола. Он говорит: «КамАЗ дал мне все. Работу по душе, друзей, научил работать с людьми... Мы вправе считать свою стройку местом рождения молодежных встречных планов. Одобренные ЦК ВЛКСМ, они стали символом нашего самоутверждения: 132 бригады обязались выполнить пятилетку в этом году, а 18 комсомольско-молодежных коллективов уже рапортовали о ее завершении».

Какой же огромный путь прошел на КамАЗе Раис Ганеев! От юноши, потерявшего интерес к будущей профессии, до вожака передовой бригады, до лауреата премии Ленинского комсомола, делегата съезда ВЛКСМ. Да, он прав — КамАЗ дал ему все, но и он не жалел сил для стройки.

А вот судьба еще одного паренька. В 1969 году на строительной площадке Автозаводстроя он робко остановил меня. Хожу, говорит, третий день, не могу устроиться на работу. Даже отдел кадров не найду. Вид у парня беспомощный, удрученный. К слову скажу, этот случай натолкнул нас на многое.

Чтобы не бродить людям по огромной территории в поисках нужного объекта, мы разместили возле управления кадров Камгэсэнергостроя в специальных вагончиках отделы кадров 30 подразделений. При управлении стройкой была создана специальная комиссия горкома партии, занимавшаяся кадрами, а комсомол организовал общественные отделы кадров во всех подразделениях. Мы встречали новые отряды добровольцев в речном порту и в аэропорту, помогали им лучше обосноваться на новом месте.

Но вернусь к пареньку, о котором начал рассказывать. Зовут его Виктор Шатунов, приехал из Воткинска, профессии нет, делать ничего не умеет. Разговаривает робко, стесняется. А работать, чувствуется, хочет. «Буду стараться», — говорит. Весь он открытый, бесхитростный, с чистой душой. На таких ребят мы обращали особое внимание. Видно, что не за длинным рублем приехал, не в поисках приключений. Приехал, чтобы тверже встать на ноги, быть участником великой стройки. Таких ребят было немало. И еще тогда, в самом начале строительства, когда они ничего не умели, мы делали все, чтобы поддержать их, помочь им, воспитать в них лучшие качества, приблизить к комсомолу и партии.

Десятки примеров тому, что расчеты эти оказались правильными. Виктора Шатунова взяли в бригаду, которая прокладывала первую в наших местах дорогу — от деревни Орловка к пустырю, где намечалась первая строительная площадка. Виктор мог бы многое рассказать о том, как увязали в грязи не только гусеничные машины, но и тонули в пучине целые участки дорог.

Далеко ушли те дни. Далеко шагнул и Виктор Шатунов. Сейчас он один из лучших бригадиров КамАЗа, член комитета комсомола стройки, член партии. Именно он и его бригада были зачинателями передовых починов, не раз занимая первые места в соревновании. Он привез сюда мать, здесь женился, получил в новом городе квартиру. Его имя неизменно стоит рядом с именами прославленных строителей, приехавших к нам уже с солидным опытом.

Кстати, и об их судьбах на КамАЗе есть что сказать. И они не стояли на месте. Я уже не говорю о таких, как Герой Социалистического Труда Алексей Новолодский или Раис Салахов. О них знает страна. Но вот, например, Виктор Филимонов. Он приехал к нам из Темиртау, где несколько лет проработал бригадиром строителей. На КамАЗе его опыт умножился, Виктор вывел свою бригаду высотников-монтажников в число самых передовых. Первые дома новых серий поручали строить ему. С великой радостью и гордостью принял он сообщение о том, что ему поручается воздвигнуть здание общетехнического факультета Казанского

института в Набережных Челнах. Этот институт мы организовали на втором году стройки, но помещения не было, лабораторий не было, ютились, как говорится, где придется. Да и деньги на такой «незаконнорожденный» факультет министерство не могло отпускать. А мы ждать не могли, надо было готовить кадры для будущего завода, надо было предоставить возможность людям получать образование.

Дожили мы до радостного дня, когда Виктор Филимонов уложил первый бетон в фундамент здания института. И вот огромное пятиэтажное здание готово. Кто-то подает мне ножницы, чтобы разрезать алюю ленту у широкого входа. А я смотрю на улыбающееся лицо студента третьего курса Виктора Филимонова. Никогда я не видел его таким счастливым: ни в дни побед бригады, когда чествовали ее, ни в день, когда он получил ордер на квартиру...

Я передаю ему ножницы. Своим трудом, своей инициативой, всем существом своим он заслужил честь разрезать ленту. Виктор смущен, делает над собой усилие, чтобы как-то собраться, а выражение счастья не сходит с лица.

Я очень верю в этого человека, одного из лучших бригадиров великой стройки, члена бюро горкома партии.

В новом здании сегодня учатся более двух тысяч студентов и слушателей подготовительных курсов.

В постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании» говорится: «Могучим рычагом дальнейшего развития экономики страны является, как и прежде, массовое социалистическое соревнование, повышение на его основе творческой инициативы трудящихся».

Жизненность этих слов ярко видна на примере КамАЗа. Сегодня социалистическое соревнование на стройках и заводах Набережных Челнов приобрело особенно широкий размах.

Мы имеем замечательный опыт организации боевого соревнования на предприятиях Казани, среди коллективов нефтяников, нижнекамских химиков и строителей. Нам знаком опыт сооружения крупнейших объектов в стране — таких, как Магнитка, Днепрогэс, Братская ГЭС, Волжский автомобильный завод в Тольятти.

На КамАЗе получили распространение различные виды соревнования: личные и коллективные творческие планы, состязание по профессиям, шефство ветеранов над новичками, конкурсы мастеров, общественные смотры резервов производства и другое. Организуя соревнование среди молодежи, мы учитываем возраст и различный уровень квалификации. Например, для новичков главное условие — кто быстрее овладеет навыками труда, получит разряд. Для тех, кто поопытней, задача сложнее: это борьба за повышение производительности труда, за экономию и бережливость, за высокое качество работ...

Лучшие черты личности раскрываются в социалистическом соревновании, которым охвачены две тысячи бригад строителей, рабочих заводов.

Хорошо, когда соревнуются между собой крупные коллективы. Но все внимательнее мы относимся к соревнованию отдельных бригад, отдельных мастеров. Это, во-первых, приближает социалистическое соревнование непосредственно к рабочим и, во-вторых, позволяет лучше выявлять опыт новаторов производства, делать его достоянием всех.

Прекрасные слова о тех, кто идет в первых рядах всенародного движения за досрочное выполнение пятилетнего плана, сказаны в Обращении Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу: «В могучем потоке социалистического соревнования родились новые замечательные начинания, выдвинулись тысячи и тысячи ударников и героев труда. В народе их справедливо называют новаторами, передовиками. Это — люди, овладевшие новой техникой, они показывают образцы высокопроизводительной работы, своим примером меняют устаревшие представления о нормах выработки, формах и методах организации производства. Их достижения — источник вдохновения для новых свершений и массового героизма в созидательном труде».

Обращение Центрального Комитета КПСС нашло самый горячий отклик в сердцах наших людей.

Евгения Вдовина из СМУ-5 Промстроя, передав бригаду своей воспитаннице Любе Лабарешных, возглавила коллектив выпускников профтехучилища. Девушки оказались толковыми, вскоре Женя сказала:

— Давайте вызовем девчат Любы Лабарешных на соревнование!

Это было замечательное соперничество подруг, которое еще сильнее сдружило девушек двух бригад.

«Центральный Комитет КПСС,— говорится в Обращении,— призывает работников всех отраслей народного хозяйства сосредоточить особое внимание в социалистическом соревновании на ускорении роста производительности труда, повышении эффективности общественного производства».

Именно на это направлен почин бригады молодых монтажников домостроительного комбината Ранса Салахова. Рабочие решили — выполнять задания каждого дня, каждой недели, каждого месяца не меньше чем на 130 процентов, с высоким качеством работ и закончить пятилетку к 7 ноября 1974 года. Этому примеру последовали десять бригад. «Каждый день на строительстве КамАЗа и Нового города — день ударного труда! Вдвоем трудиться за троих, пятилетку за четыре года!» Многие бригады откликнулись на этот патристический почин.

Свои герои — инициаторы новых починов появились и среди автозаводцев. Токари ремонтно-инструментального завода Мударис Исламгалиев и Владимир Ватагин решили: будем выполнять задание шестидневки за пять дней. Одним из первых инициативу своих товарищей поддержал коммунист Василий Рогачев, он только уточнил: всю сверхплановую продукцию сдавать с отличным качеством! Сотни рабочих поддержали его.

В Обращении Центрального Комитета КПСС сказано: «Бороться за повышение эффективности производства — значит снижать себестоимость, уменьшать материалоемкость продукции, строго соблюдать режим экономии, бережно и рачительно расходовать материалы, особенно металл, топливо, энергию, каждый рубль капитальных вложений».

Бригадир завода крупнопанельного домостроения Юрий Бохонько взял личное социалистическое обязательство: сэкономить сто килограммов электродов. Слово свое он сдержал. На сэкономленных Юрием электродах сварено более пяти тонн арматуры. Бригадир вместе со своими рабочими сконструировал станок, который позволил увеличить производительность труда в пять раз.

Подобные примеры, а их сотни, говорят об одном: призыв партии всколыхнул рабочий народ КамАЗа, тронул душу, и люди делом показали, как горячо приняли его. Огромный трудовой энтузиазм строителей Камского автозавода и города, новая техника, передовая технология и организация производства, помощь всей нашей многонациональной страны, повседневное внимание к нуждам стройки со стороны Центрального Комитета партии, Советского правительства, Татарского областного комитета КПСС — все это является надежной гарантией того, что ответственное задание партии и правительства будет выполнено.

До приезда на работу в Набережные Челны мне пришлось побывать почти во всех уголках Татарии. То были годы, когда у нас мощно и стремительно развивалась нефтяная и химическая промышленность. Тысячи, десятки тысяч сельских жителей приобщались к индустрии, становились ее творцами.

Прежде замкнутые в однородной деревенской среде, они выходили на городские просторы, вливались в многонациональную семью рабочих людей. Но таких сдвигов в социальной структуре населения, какие происходят в связи со строительством КамАЗа, республика еще не знала.

Вчерашний житель села сегодня строит завод, а завтра он высококвалифицированный рабочий, техник, инженер промышленного предприятия. Культурно-техническая оснащенность людей в наше время — неперемное условие их духов-

ного развития. Между уровнем познаний человека, его квалификацией и трудовой и общественной активностью существует прямая связь.

На строительстве КамАЗа формируется интернациональный коллектив, происходит наглядное сближение и взаимное духовное обогащение представителей различных национальностей. Это отрадная тенденция, имеющая объективную природу. Крупные экономические и социальные преобразования в нашей республике нельзя представить без совместного труда людей различных национальностей, без той огромной помощи, которую оказывают нам предприятия и инженерно-технические центры всей страны.

Еще одна важная грань КамАЗа — это утверждение творческой и гражданской зрелости советской молодежи. С начала стройки мы получили 90 тысяч писем от юношей и девушек, желающих испытать себя на КамАЗе. Кое-кто думает о современной молодежи: дескать, нужды и горя она не видела и потому на глобальные дела у нее пороку не хватит. Ну что же, тем, кто думает так, я бы посоветовал приехать в Набережные Челны и посмотреть, на что способны ребята. Трудностей здесь пока хоть отбавляй, а ведь молодежь не унывает, не пасует, рвется к большому самостоятельному делу.

Почему из-под родительского крыла, нередко меняя уютные квартиры на вагончики, парни и девушки едут в неведомое? Все те же всезнайки говорят, что молодежи свойственна романтика, разумея под этим костры и палатки. Но романтика революционная, вдохновляющая на подвиги, ныне рождается ясным пониманием значимости и величия творимого дела, это и привлекает молодежь больше, чем любые традиционные атрибуты романтики.

Роль бригадира на стройке чрезвычайно велика — именно в бригаде люди, приезжающие в Набережные Челны из разных республик и областей страны, познают азы производства и дух соревнования. Проблема бригадира остается острой. В нынешних условиях, чтобы работать с людьми, тем более имеющими довольно высокий общеобразовательный уровень, нужна немалая культура, широкий кругозор. По инициативе партийных организаций была открыта специальная школа бригадиров. Принимают в нее лучших производственников. Особое значение имеет тот факт, что, кроме подготовки по строительному делу, будущий бригадир получает знания основ педагогики.

Во всех строительно-монтажных управлениях, в трестах, наконец в масштабе всей стройки созданы советы бригадиров. Диапазон деятельности советов весьма широк. Это обмен опытом, подведение итогов соревнования, контроль за использованием рабочего времени и многое другое. Придавая большое значение советам бригадиров, городской комитет партии, партком стройки повседневно оказывают им помощь и поддержку.

Почти три четверти наших рабочих и служащих имеют образование не ниже восьмилетнего. При несоответствии квалификации образованию у ребят возникает неудовлетворенность работой. Стало быть, надо шире механизировать строительные работы, еще лучше наладить профессионально-техническое обучение. Школы и курсы тем более необходимы, что примерно четвертая часть молодых людей приехала на КамАЗ, не имея строительной специальности. Многие из них — вчерашние школьники или демобилизованные солдаты. Рабочие профессии они приобретают в учебном комбинате Камгэсэнергостроя. Комитет комсомола стройки призвал специалистов — инженеров и техников — помочь юношам и девушкам освоить профессии. Этот призыв нашел горячий отклик специалистов.

Учатся люди в бригадах, где наставничество старших, шефство над новичками приобретает черты устойчивости, я бы сказал, камазовской традиции. Например, Георгий Геворгян — опытный бригадир каменщиков управления строительства города. Он приехал в наши места, когда только-только началось строительство Нижнекамской ГЭС. Его бригада закладывала фундамент первого дома в поселке гидростроителей, который теперь стал частью Набережных Челнов. Сейчас в бригаде Геворгяна 36 каменщиков — представителей шести национальностей. Все они владеют несколькими строительными специальностями, учатся в



школе рабочей молодежи, в техникумах. В прошлом году бригада выполнила задание пятилетки и сейчас работает в счет 1976 года.

Десятки молодых людей научились делу у заслуженного строителя Татарской АССР коммуниста Геворга Геворгяна.

Таких ветеранов, взявших шефство над новичками, на стройке более восьмисот. Только в центральных ремонтных мастерских производственного управления автомобильного транспорта 46 кадровых рабочих взяли под свою опеку 118 выпускников профтехучилища. Ребята освоились в коллективе, по-доброму работают, и ни один из них не уволился из мастерских.

С начала стройки и по нынешний день на КамАЗе стали квалифицированными рабочими около 20 тысяч парней и девчат. На производственно-технических курсах, курсах целевого назначения, в школах передового опыта, в строительном институте, автомеханическом техникуме и в профтехучилищах сегодня обучается более десяти тысяч человек.

Опыт показал: новичкам надо предоставлять по возможности большую свободу выбора профессии. Поэтому на стройке с пониманием относятся к ребятам, желающим сменить специальность. Лучше попробовать использовать работника на другом участке строительства, чем потерять его совсем. Правда, некоторые хозяйственники предпочитали черкнуть свою подпись на увольнительном листе, чем «возиться» с человеком. Поэтому горком партии предостерег подобных администраторов: ведь речь в большинстве случаев идет о юношах и девушках, искренне ищущих свое призвание. Тут надо учитывать характер и способности каждого. Городской комитет партии поставил перед первичными организациями, хозяйственными руководителями, комсомольскими и профсоюзными комитетами задачу — дойти до каждого строителя, знать его запросы и нужды, оказать ему необходимую помощь. Лишь тогда можно воспитать в молодом рабочем чувство гордости за свою профессию, чувство причастности к содружеству рабочих людей.

Нас радует атмосфера товарищества и взаимного уважения, создавшаяся в коллективах. Вот еще одна цифра КамАЗа, самая маленькая: число уволившихся из-за плохих отношений в коллективе составляет только один процент...

Набережным Челнам триста пятьдесят лет. Автоград совсем еще молод. Он строит и празднует свадьбы. Только в прошлом году — две с половиной тысячи свадеб, пять тысяч новорожденных.

Камазовцы много читают. Недавно в городе открылся новый книжный магазин, литературы было завезено, как нам казалось, уйма. Но буквально за два дня все книги были распроданы...

Новый человек, свершающий трудовые подвиги, нравственно здоровый и граждански зрелый, с широким эстетическим кругозором, поднимается на КамАЗе. Мы рады тому, что, например, любители живописи, чеканки, скульптуры организовали в одном из общежитий художественный клуб «Радуга», в другом общежитии — клуб «Искатель», участники которого пишут историю стройки, ищут и находят первых комсомольцев города, героев Великой Отечественной войны, которые трудятся на КамАЗе. Любители музыки создали свой клуб «Асоль» — они встречаются с композиторами, искусствоведами, спорят о классической и современной музыке, выступают перед молодежью стройки.

Есть и другие клубы по интересам, например «Филателист», «Молодая хозяйка» и другие.

В честь пятидесятилетия образования СССР в Набережных Челнах прошел фестиваль союзных республик. Думаю, такие фестивали станут традиционными на КамАЗе.

Очень популярны у нас грандиозные праздники песни, мы проводим их каждый год. Тысячный сводный хор, танцоры, певцы и музыканты, яркие мелодии разных народов — незабываемое впечатление!

А вот сабантуй — праздник плуга. Татарские хлеборобы издавна отмечают его по окончании полевых работ. Национальная борьба, состязания на ловкость,

быстроту и смекалку, конные скачки — очень динамичное и яркое зрелище. Сабантуй у нас превратился в братскую встречу сельчан с рабочими КамАЗа.

Чествование ударников строительства и батыров полей, песни и танцы разных народов — все это обогатило праздник, придало ему новые краски и оттенки. Теперь это не просто праздник татарских хлеборобов, а праздник дружбы разных народов.

Отрадно, когда люди локоть к локтю трудятся, вместе поют, крепко дружат... Помните, я говорил о том, что в прошлом году поженались две с половиной тысячи пар? Так вот, почти в половине браков муж и жена — разных национальностей...

Обычаи и традиции, оригинальные черты характера и психологии разных народов скрестились в Набережных Челнах. На КамАЗе, как повсюду, складываются общие черты характера, психологии, нормы поведения, присущие советскому народу как новой исторической общности.

Мне думается, что КамАЗ не только в труде, но и в сфере духовной успешно создает свои традиции, рожденные именно интернациональной сутью коллектива. Для этого мы не жалеем труда — проводим вечера, семинары и теоретические конференции, посвященные дружбе народов, циклы лекций об осуществлении ленинской национальной политики в Татарии, организуем читательские конференции, создаем клубы интернациональной дружбы.

В лучших комсомольско-молодежных бригадах рядом с камазовцами незримо присутствуют те, чьи имена стали символом мужества, стойкости, непревзойденного героизма, — Александр Матросов, Муса Джалиль, Юрий Гагарин... Вот выписка из протокола недавнего собрания одной из бригад: «Зачислить товарища Сальвадора Альенде почетным членом бригады плотников-бетонщиков с отчислением заработной платы в фонд мира».

Бессмертные люди выходят на трудовую вахту, и их норму с гордостью берут на себя члены бригады. Разве это не яркое свидетельство политической зрелости наших коллективов?

КамАЗ — не только огромный индустриальный, но и социальный комплекс. Работать здесь нелегко, зато необычайно интересно. Подготовка к монтажу и монтаж технологического оборудования, проблема коммуникаций, создание пригородной зоны снабжения — и все направлено на то, чтобы жизнь челнинцев была полной, интересной, плодотворной. Чтобы каждый из них нашел свое призвание, свое место на КамАЗе.

Задачи перед нами стоят большие, и не все еще у нас хорошо. Но мы знаем свои слабые стороны, и все усилия коммунистов стройки и города, всего нашего многотысячного коллектива направлены туда, где решается исход дела.

Кажется, совсем недавно, да и действительно недавно, мы ехали на санях по снежной, местами всхолмленной равнине по будущим строительным площадкам. В этих местах высятся сейчас корпуса РИЗа, автосборочного, литейного, кузнечного и других заводов. И мы твердо знаем — недалек тот час, когда бесконечным потоком поплывут с конвейеров мощные машины с гордой маркой на груди — «КамАЗ».



---

---

ИВАН ЛАПОНОВ

★

## СОЦИАЛИЗМ В НАСТУПЛЕНИИ

*СЭВ: проблемы, события, люди*

### ШАГИ В БУДУЩЕЕ

**Л**первые шаги были сделаны давно. В последние годы они становились все более широкими и продуманными, научно обоснованными. И поэтому все более эффективными.

Речь идет о шагах социалистической экономической интеграции. В них воплотилась открывшая В. И. Лениным тенденция «к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого». Эта тенденция, учил Владимир Ильич, была «вполне явственно обнаружена уже при капитализме и безусловно подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при социализме»<sup>1</sup>.

Важную роль в осуществлении интеграции играет Совет Экономической Взаимопомощи. Созданный в 1949 году группой европейских стран социализма, СЭВ отмечает ныне свое двадцатипятилетие.

...Почти три десятилетия минуло с тех памятных дней, когда отгремели бои в Европе и освобожденные народы ряда стран вступили на новый путь. То были годы «воплощения в жизнь ленинского учения о революционном процессе, сознательной и целеустремленной социалистической политики, упорного труда миллионов людей, созидающих материальную и моральную мощь мирового социализма... Социализм находится в историческом наступлении»<sup>2</sup>.

В братских социалистических странах буквально на глазах возникал и возникает новый мир, о котором мечтали поколения революционеров, тех, кто, подобно Лайошу Кошуту, осмелился, по выражению Маркса, «поднять во имя своего народа перчатку отчаянной борьбы». Продолжением дела Октября, воплощенного в победе социализма в СССР, стало формирование мировой социалистической системы.

Не одинаков был путь вступающих сегодня в четвертое десятилетие новой жизни Польши и Чехословакии, Венгрии и Югославии, Болгарии и Румынии. Как не одинаковы и сами страны. И все же когда думаешь об этом пути, невольно вспоминаются слова Анри Барбюса, назвавшего Болгарию «страной феодальной отсталости», а Румынию — «самым страшным из Дантовых кругов балканского ада».

А вот более позднее свидетельство. В западногерманском журнале «Шпигель» опубликованы заметки скульптора Франца Вайделя о туристической поездке по дунайским странам. «Для того, кто жил до войны в восточноевропейских странах и видел массы оборванных, спившихся людей, все происшедшее здесь за последние годы кажется подлинным чудом».

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 164.

<sup>2</sup> Тезисы ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Братское сотрудничество в рамках СЭВ явилось могучим ускорителем индустриального роста государств — членов этой организации, способствовало неуклонному повышению уровня жизни их народов. История этих государств не знала такого стремительного развития производительных сил. За период 1950—1972 годов страны СЭВ увеличили промышленное производство в 8 раз, в то время как страны развитого капитализма — в 3 раза. Объем национального дохода стран СЭВ в 1973 году по сравнению с 1950 годом вырос в 5,7 раза, а в развитых капиталистических странах лишь в 2,8 раза.

Но не только в этом проявилась великая сила содружества социалистических государств. Продолжается постепенное сближение и выравнивание уровней экономического развития. Как и предусмотрено Комплексной программой, этот процесс идет по двум линиям, неразрывно связанным между собой: максимальная мобилизация собственных ресурсов и усилий каждого члена СЭВ, углубление и совершенствование международного социалистического разделения труда. Выразительные цифры были опубликованы к двадцатипятилетию Совета Экономической Взаимопомощи: если четверть века назад в содружестве преобладали аграрно-промышленные и аграрные страны, то в настоящее время члены СЭВ большую часть своего национального дохода получают от индустрии.

«До 1945 года,— писала недавно «Обсервер»,— такие страны, как Румыния, Болгария, Венгрия, производили сельскохозяйственные товары и сырье и продавали их в промышленно развитые страны Запада... После войны восточноевропейские страны создали свою собственную тяжелую индустрию... Сегодня экономическая обстановка заставляет бизнесменов по-новому смотреть на Восток. Неожиданно социалистические государства на Востоке стали казаться привлекательными... Сегодня социалистический блок начинает спасать западный капитализм, страдающий от инфляции...»

Комплексная программа социалистической экономической интеграции была принята на XXV сессии СЭВ в июле 1971 года. А год спустя очередная сессия Совета Экономической Взаимопомощи констатировала: координация народнохозяйственных планов социалистических стран позволяет уже теперь видеть общие очертания грандиозной программы развития содружества наций с населением в 382 миллиона человек. Есть все основания считать, что через пятнадцать—двадцать лет эти страны будут представлять собой один из самых высокоразвитых индустриальных районов мира.

В здании СЭВ обращает на себя внимание большая красочная карта, отражающая коллективные усилия членов этой международной организации в подъеме экономики социализма. И когда рассматриваешь условные знаки, которыми густо усеяна карта, кажется, будто читаешь увлекательную книгу великих свершений строителей нового общества.

Через всю карту с востока на запад протянулись, то сближаясь, то пересекая друг друга, две трансевропейские артерии — нефтепровод «Дружба» и газопровод «Братство». Они уже стали решающими факторами быстрого индустриального роста каждой из стран, через которые проходят. С их помощью страны СЭВ успешно решают одну из актуальнейших проблем современности — топливно-энергетическую.

В Москве рядом с многоэтажной громадой гостиницы «Россия» находится диспетчерское управление нефтепровода «Дружба». Круглые сутки непрерывно поддерживается оперативная связь со всеми важнейшими пунктами магистрали, протянувшейся более чем на четыре с половиной тысячи километров — с волжских берегов через территорию пяти стран: Советского Союза, ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии. Решение о строительстве нефтепровода было принято на X сессии СЭВ в 1958 году. По мере его продвижения от белорусского города Мозырь на северо-запад, за пределы СССР, в братских странах создавались центры большой химии.

Более 270 миллионов тонн нефти было перекачано по нефтепроводу «Дружба» за время его эксплуатации. Сейчас сооружается вторая очередь — как и первая, при техническом и финансовом участии всех заинтересованных стран. Вырос источник этой могучей нефтяной реки: теперь по трубам «Дружбы» идет не только нефть из Поволжья, но и сибирская нефть из Самотлора. Нефтяной поток из Советского Союза увеличился почти в два раза.

Сырье для химической промышленности и дешевое топливо приходят в социалистические государства по газопроводам «Братство» и «Восток — Запад».

Большинство братских стран не располагает собственными источниками природного газа и потому может добиваться совершенствования топливно-энергетического баланса лишь при содействии Советского Союза, используя его колоссальные запасы ценного сырья.

В решении энергетических проблем странам — членам СЭВ помогает также энергосистема «Мир». Эта система позволяет братским государствам осуществлять взаимные поставки электроэнергии, которые растут с каждым годом. Объединение усилий оказалось весьма продуктивным: страны, пользующиеся энергосистемой, лежат в разных временных поясах, и часы пик в потреблении электричества у них не совпадают. Система «Мир» дает возможность координировать потоки энергии в разное время. Кроме того, иногда возникают ситуации, требующие дополнительной, так сказать, внеплановой, поставки электроэнергии в ту или иную страну.

Такая ситуация сложилась, например, зимой 1971 года, когда снежные заносы временно вывели из строя карьеры открытой разработки угля в Польше и Чехословакии. В те дни Советский Союз предоставил этим странам дополнительно 17 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Результаты совместной деятельности объединенных энергетических систем оказались настолько значительными, что теперь в странах СЭВ едва ли можно было бы найти сторонника изолированной работы национальных энергосистем. Достаточно сказать, что обмен электроэнергией между странами СЭВ в 1973 году превысил 19 миллиардов киловатт-часов, это составляло 6 процентов от общей выработки электроэнергии в братских странах. Обмен электроэнергией обеспечивает странам СЭВ ежегодную экономию около 1 100 тысяч киловатт-часов зимой и 1 800 тысяч киловатт-часов летом.

Большое значение имеют регулярные плановые поставки электроэнергии в страны, испытывающие дефицит в топливе. Импорт электроэнергии из Советского Союза, например, помогает Венгрии покрывать значительную часть всех ее энергетических потребностей. Электричество советских станций поступает также в энергосистемы Болгарии, Чехословакии, ГДР.

...В Будапеште, на углу улиц Абони и Часар, стоит четырехэтажное здание с вывеской на нескольких языках — здесь разместился штаб «Интерметалла», организации по сотрудничеству в черной металлургии. Ее члены — Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Советский Союз и Чехословакия; сотрудничают с ней Югославия и Румыния.

«Интерметалл» создан летом 1964 года — это была одна из первых специализированных организаций СЭВ. С годами он стал играть все более заметную роль в расширении сотрудничества металлургов. Еще в 1969 году взаимные поставки металлургической продукции между социалистическими странами составили 100 тысяч тонн, а в 1972 году — уже более 2 миллионов тонн.

Значение «Интерметалла» возрастает по мере общего подъема металлургической промышленности стран СЭВ. А ее успехи значительны: как отмечалось на международной конференции металлургов, состоявшейся в Москве в конце 1972 года, производство стали в регионе СЭВ за последние два десятилетия увеличилось в 4,5 раза, а его доля в мировом балансе возросла с 18,9 процента в 1950 году до 28,1 процента в 1971 году. Эти успехи государств СЭВ — в значительной мере результат их сотрудничества. Здесь и совместная разработка проектов, и строительство металлургических предприятий, и поставки сырья, и обмен готовой продукцией.

Особое место в работе «Интерметалла» принадлежит Советскому Союзу с его высокоразвитой индустрией, богатыми сырьевыми ресурсами, опытными кадрами. При содействии СССР в странах СЭВ введено в строй или сооружается более 40 металлургических комбинатов и крупных заводов; некоторые из них уже получили мировую известность. В настоящее время идет подготовка к совместному строительству

заинтересованными социалистическими государствами гигантского металлургического комбината на базе Курской магнитной аномалии в СССР. Его проектная мощность 10—12 миллионов тонн стали в год.

Кстати, это не единственный случай, когда строительство крупных промышленных объектов на территории Советского Союза и других стран — членов СЭВ намечается осуществить совместными усилиями нескольких заинтересованных государств. Шесть стран — членов СЭВ подписали соглашение о сооружении в СССР Кiemбаевского асбестового горнообогатительного комбината, семь — о строительстве Усть-Илимского целлюлозного комбината в Сибири. Болгария строит на своей территории совместно с Советским Союзом и Венгрией крупный завод по производству кальцинированной соды.

...Есть еще одна международная организация СЭВ в столице Венгрии — «Агромаш». Ее задача — объединять и координировать усилия братских стран в механизации производственных процессов в овощеводстве, садоводстве и виноградарстве. Только за 1970—1972 годы в Венгрии, Болгарии, ГДР и Советском Союзе, являющихся членами «Агромаша», для этого были осуществлены взаимные поставки 75 образцов новых машин и целых комплексов сельскохозяйственных орудий.

Более 20 разных специализированных международных организаций действует в рамках СЭВ. И у всех одна цель: расширение сотрудничества между братскими странами, создание наиболее благоприятных условий для повышения эффективности этого сотрудничества, всемерное стимулирование социалистической интеграции. Такую же цель преследует и деятельность Международного инвестиционного банка СЭВ, созданного в самом начале 70-х годов. Он финансирует строительство крупных промышленных объектов, в которых заинтересованы все или группа стран — членов СЭВ. За первые два года своего существования банк отпустил средства для строительства и реконструкции 26 объектов на общую сумму около 280 миллионов переводных рублей. В их числе реконструкция знаменитого автобусного завода «Икарус», который выпускает комфортабельные международные машины не только для Венгрии, но и для Советского Союза, других стран СЭВ, а также модернизация завода грузовых автомобилей «Татра» в Чехословакии, строительство ряда новых предприятий в Болгарии, Венгрии, Румынии и других странах.

Опыт членов СЭВ неопровержимо свидетельствует, что в условиях социализма межгосударственная специализация и кооперирование производства не только не противоречат комплексному развитию хозяйства отдельных стран, а, наоборот, способствуют созданию национальных комплексов.

Разумеется, проблема межгосударственной специализации весьма сложна. Ее решение связано со многими объективными и субъективными факторами. Сегодня очень важно разнообразить формы экономического сотрудничества, чтобы они исходили из позиций социалистического интернационализма и в то же время отвечали национальным интересам разных государств.

...В последние месяцы войны и в дни мира много раз доводилось мне бывать в странах Восточной Европы, расположенных на берегах Дуная. И каждая новая поездка, каждая встреча с партийными и хозяйственными деятелями этих стран еще и еще раз убеждает в том, какие замечательные плоды приносит братская взаимопомощь социалистических государств. О трех таких поездках и пойдет речь.

## В БРАТСКОЙ ВЕНГРИИ

Венгры всегда радушно встречают друзей. Особенно тех, с которыми их объединяет многолетняя революционная борьба. В этом еще раз мог убедиться каждый, кому довелось присутствовать в Будапеште в ноябрьский день 1972 года, когда советскую партийно-правительственную делегацию принимал «Красный Чепель».

Там, в рабочей цитадели венгерской столицы, особенно весомо и проникновенно прозвучали слова главы советской делегации Л. И. Брежнева о нерушимой дружбе наших народов.

— Советским людям не нужно пояснять, что такое Чепель,— сказал Леонид Ильич.— Со школьных лет наши люди знают, что здесь на «Красном Чепеле» была рабочая демонстрация в поддержку революции тысяча девятьсот пятого года в России. У нас в стране помнят, что именно чепельская радиостанция приняла в марте тысяча девятьсот девятнадцатого года послание Ленина героической Венгерской советской республике.

Зал долго и горячо аплодировал товарищу Брежневу, высоко оценившему заслуги венгерских революционеров, которые здесь, на берегах Дуная, установили советскую власть, осуществив вслед за пролетариатом России еще один прорыв капиталистической системы в самом центре Европы. И столь же горячо одобрили ветераны венгерской пролетарской революции, их дети и внуки слова товарища Яноша Кадара — в работе и борьбе за построение социализма большую силу придает трудящимся Венгрии сознание того, что всегда и во всех обстоятельствах, как верный друг, рядом с нами стоит великий советский народ, Советский Союз.

Наши народы действительно многое связывает — и в прошлом и сегодня, когда революционное развитие общества, сознательная и целеустремленная социалистическая политика наших государств, созидательный труд миллионов людей поставили нас рядом в историческом наступлении социализма.

К двадцатилетию освобождения страны венгерские кинематографисты выпустили документальный цветной фильм с весьма примечательным названием «Вместе». В нем речь шла о совместных усилиях Венгрии, Советского Союза и других социалистических стран в различных областях экономики. Разумеется, выдающихся успехов за годы свободной жизни эта страна добилась, используя прежде всего инициативу и труд своего талантливого народа. Вместе с тем Венгрия получает помощь братских стран, тесно сотрудничает с ними, применяет у себя их опыт и достижения в области производства, науки, техники.

Видный государственный деятель Венгрии Антал Апро привел как-то очень интересные данные о своей родине и ее сотрудничестве с другими государствами.

Венгрия — сравнительно небольшая страна с высокой плотностью населения (111 человек на квадратный километр), располагает развитой промышленностью и крайне ограниченными сырьевыми и энергетическими ресурсами.

— Поэтому,— сказал Антал Апро,— так много значит для нашей страны всестороннее экономическое сотрудничество с другими государствами, прежде всего с социалистическими. Объем венгерского экспорта превышает треть ее национального дохода, почти четверть населения занята в производстве продукции на экспорт. Значительную часть сырья, материалов и электроэнергии Венгрия вынуждена импортировать. Дальнейшее развитие производительных сил, повышение жизненного уровня народа могут быть обеспечены только благодаря еще более активному участию нашей страны в международном социалистическом разделении труда.

Советский Союз для Венгрии — самый крупный торговый партнер. На его долю приходится более 35 процентов внешнеторгового оборота ВНР против 0,1 процента до войны и 13 процентов в 1947 году. Венгрия вышла на пятое место среди торговых партнеров СССР. Долгосрочное соглашение на 1971—1975 годы предусматривает дальнейший рост советско-венгерского товарооборота — до 9,3 миллиарда рублей за пятилетие.

Структура советско-венгерского товарооборота отражает природные и экономические особенности каждой из стран. Например, Венгрия, которая славится своими автобусами «Икарус», обеспечивает почти 50 процентов нашего импорта в автобусах<sup>3</sup>, около 30 процентов медицинского оборудования и инструментов, на производ-

<sup>3</sup> В середине ноября 1973 года в Москве у здания посольства ВНР состоялась торжественная церемония передачи двадцатитысячного автобуса, изготовленного в Венгрии по заказу Советского Союза. «Социалистическая интеграция и специализация,— сказал на церемонии торговый советник Миклош Кадала,— позволили расширить контакты наших стран и сделали возможным массовый выпуск автобусов с применением самой современной технологии. «Икарус» ныне является одним из самых крупных автобусов в Европе».

стве которых венгерская промышленность специализируется уже много лет. Кроме того, Венгрия вывозит в СССР более 90 процентов экспортируемой продукции судостроения, свыше двух третей средств связи, более половины продукции приборостроения.

Советский Союз поставляет взамен машины, топливо и сырье. Машины и различное оборудование составляют примерно 28 процентов венгерского импорта из СССР. Советские поставки сыграли важную роль в индустриализации Венгрии. Без этого, как не раз отмечали венгерские друзья, их страна не смогла бы решить за сравнительно короткое время серьезные задачи развития промышленности и всего народного хозяйства. Важное значение имеют для ВНР и советские поставки сырья: из СССР Венгрия получает 78 процентов необходимой ей руды, 56 процентов нефти, 64 процента хлопка.

Особенно большое значение имеют для ВНР советские поставки электроэнергии по высоковольтной линии передач, объединяющей энергетические системы СССР и Венгрии. Венгерские электростанции не в состоянии удовлетворить быстро растущие потребности промышленности и бытовые нужды населения. Поэтому страна вынуждена более 10 процентов потребляемой электроэнергии импортировать — в основном из Советского Союза. Кроме действующей уже электролинии системы «Мир», строится еще одна высоковольтная линия электропередач. Ее протяженность пятьсот километров.

Одновременно в самой Венгрии ведутся поиски более эффективных источников топливной энергии, чем венгерские угли, отличающиеся крайне низкой калорийностью. На первое место выходят нефть и газ.

Большое значение придают венгерские экономисты и энергетики сооружению первой атомной электростанции мощностью 800 тысяч киловатт. Венгрия строит ее с помощью Советского Союза. Это будет усовершенствованная копия Нововоронежской атомной электростанции.

Сооружается она в городе Пакш, на берегу Дуная, по советским проектам. Значительную часть оборудования для станции и техническую документацию поставляет наша страна. Советские специалисты будут помогать венгерским строителям и монтажникам в возведении электростанции. Пуск ее намечается на 1980 год. По предварительным подсчетам, атомная электростанция уже на первых порах будет давать 15—16 процентов потребляемой в стране электроэнергии, это значительно улучшит энергетический баланс Венгрии.

...Цепь невысоких гор, которая заканчивается у юго-западной оконечности озера Балатон обширным горным массивом Баконь, подходит к самому Дунаю. Здесь колоссальная подземная кладовая бокситов. По запасам этой ценной руды Венгрия занимает одно из первых мест в мире, и добыча бокситов, уже достигшая уровня миллиона тонн в год, растет.

Однако переработка бокситов в алюминий требует огромного количества электроэнергии. На производство тонны алюминия ее затрачивается в 50—70 раз больше, чем на выплавку тонны стали. Венгерские специалисты подсчитали, что плавильный завод средней мощности в Бакони потребует электричества больше, чем весь Будапешт вместе с городским транспортом. Между тем Венгрия и без того испытывает недостаток в электроэнергии и не смогла бы, как заявил однажды в интервью Антал Апро, решить задачу экономического использования запасов бокситов, если бы опиралась только на собственные силы.

На помощь пришел Советский Союз. Руководствуясь принципами международного социалистического разделения труда и взаимной помощи, наша страна обязалась переплавлять венгерские бокситы на алюминий, используя собственные источники электроэнергии. В начале 1967 года вступило в действие заключенное между СССР и Венгрией соглашение о сотрудничестве в развитии венгерской алюминиевой промышленности. Так сложился советско-венгерский алюминиевый конвейер Дунай — Волга — Дунай. В чем его выгоды для Венгрии и для Советского Союза? «Значительным преимуществом соглашения, — писала по этому поводу венгерская газета «Непсабашаг», — является то, что мы сможем предлагать на мировом рынке не сырье, а полу-



фабрикаты и готовую продукцию». Насколько это выгоднее, видно из приведенных той же газетой цифр: тонна глинозема в 4 раза дороже тонны бокситов, тонна алюминевых слитков — в 10 раз, полуфабриката — в 16, а готовой продукции — в 36 раз. До освобождения Венгрия вывозила 92 процента бокситов в виде первичного сырья, то есть по самой дешевой цене. С 1945 по 1964 год 60 процентов всего производства этой отрасли промышленности все еще составляли бокситы, 30 процентов — глинозем и лишь около 10 процентов — полуфабрикаты и готовая продукция. Соглашение позволит стране увеличить к 1980 году долю этой наиболее ценной продукции почти до 60 процентов.

Все расчеты между двумя странами производятся на основе существующих взаимовыгодных цен. В оплату пойдут традиционные товары венгерского экспорта.

Так братское сотрудничество с социалистической страной позволило венгерскому народу на основе взаимной выгоды решить одну из своих крупнейших народнохозяйственных проблем.

— Здесь, у себя дома, мы создаем социализм, — заявил Первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Я. Кадар, выступая по советскому телевидению в октябре минувшего года. — Есть у нас трудности, но мы их преодолеем, и есть у нас достижения. Строительство социализма у нас, в Венгрии, мне видится обеспеченным и с международной точки зрения. Гарантия этого — венгеро-советское сотрудничество, одна из сильнейших наших опор.

Мне вспомнились слова Шандора Петефи, написанные более ста лет назад: «У нас нет в мире народа-брата, которого мы могли бы просить о помощи, который бы нам помог; мы одиноки, как дерево в пустыне». История Венгрии полна драматических событий: столетия чужеземного господства, опустошительные набеги монгольских орд Батая, сто пятьдесят лет турецкого владычества, почти четыреста лет господства династии Габсбургов.

Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, разгромлен гитлеризм, пришла свобода на венгерскую землю. И как бы отвечая Шандору Петефи, его соотечественники говорят сегодня устами Яноша Кадара:

— Венгерский народ, историческое прошлое которого было исполнено стольких невзгод, бурь и трудностей, в лице Советского Союза обрел друга и союзника, опираясь на которого, сотрудничая с которым, он может быть уверен в социалистическом будущем нации.

...Напротив Дунайвароша, нового города на Дунае, раскинулись земли Кишкуншага, родины великого Петефи. Здесь он создал свои лучшие стихи. С любовью обращая Шандор Петефи к родному краю, к просторам Альфельда, частью которого является Кишкуншаг, где «колосятся нивы, версты пастбищ тянутся меж Тисой и Дунаем», но где

Народ среди нив богатых  
ходит сиротой в заплатах...

Этот край на протяжении всей истории Венгрии славился революционными традициями. Впервые я услышал об Альфельде еще в дни войны из уст человека, имя которого останется в памяти поколений.

В один из ноябрьских дней 1944 года, когда я спешил в штаб фронта, только что переехавший в село Тисафельдвар недалеко от Сольнока, у меня вышла из строя машина. На командно-пропускном пункте возле городка Сентеш пожилой солдат с окаяющим говорком волжанина успокоил меня:

— Ничего, товарищ корреспондент, я вас быстро устрою на попутную, тут они часто проходят.

Действительно, вскоре остановилась старая полуторка, и, забравшись в кузов, я начал знакомиться со своими попутчиками. Мне запомнился молодой офицер с капитанскими погонами. Едва машина тронулась, как он обратил мое внимание на степные просторы, раскинувшиеся по обе стороны дороги.

— Альфельд... В далекие времена здесь была глухая степь, сюда убегали венгерские крестьяне, не желавшие мириться с господским гнетом.

Он рассказал мне, что в XVI веке именно здесь поднял восстание крестьян народный герой Венгрии Дьёрдь Дожа. А в начале XVIII века по дорогам Альфельда шагали отряды куруцев — участников освободительной борьбы венгров против Габсбургов под водительством Ференца Ракоци. На их знаменах было написано «Сабадшаг!» — «Свобода!». О подвигах Ракоци и его соратников слагались предания и песни, которые потом передавались из поколения в поколение. Неоднократно вспыхивали здесь восстания и позже, когда сформировался и встал во главе революционных боев венгерский рабочий класс. Некоторые районы Затисья из-за этого получили название «уголков бурь».

Я слушал, заражаясь волнением моего попутчика. У меня уже не было сомнений в его национальной принадлежности. Конечно, венгр, мысленно решил я.

Молодой человек в форме советского капитана, как я потом выяснил, был Миклош Штейнмец. Он сражался в Испании в интербригаде легендарного генерала Лукача. Впоследствии я еще раз услышал о венгре Миклоше Штейнмце. Он стал жертвой чудовищного злодеяния гитлеровцев. Под самым Будапештом, на Дебреценском шоссе, он был убит предательским выстрелом в спину.

...В первые месяцы после освобождения страны проявились революционные традиции крестьянства Альфельда. Затисские крестьяне по призыву компартии активно включались в аграрную революцию. Я видел, как в феврале — марте 1945 года они явочным порядком, не ожидая правительственного декрета, конфисковывали и делили помещичьи земли. А во время первых послевоенных парламентских выборов «уголки бурь» почти целиком голосовали за списки Коммунистической партии Венгрии. Они знали, за кого голосовать: только теперь, при народной власти, за которую боролись коммунисты, осуществилось то, о чем веками мечтало венгерское крестьянство, о чем мечтал вдохновенный певец венгерского народа Шандор Петефи. Сегодня его словами можно сказать о долине Дуная и Тисы:

Ветру бросив  
Океан своих колосьев,  
Зыблется и колосится  
На полях ее пшеница.

И не только пшеница. В краю песчаных земель, где раньше рос лишь можжевельник и «где даже птица пролетала с плачем», раскинулись виноградники, растут обширные сады. В 14 селах Кишкуншага, насчитывающих 64 тысячи жителей, производится четвертая часть всего товарного вина Венгрии. Выращиваемые здесь сочные, крупные абрикосы и вишни широко известны за пределами страны.

Раньше этот богатый сельскохозяйственный район страдал от недостатка влаги, особенно в засушливые годы. Здесь под высоким безоблачным небом, в знойной степи родилась венгерская пословица: «Каждая капля воды стоит золота». На огромном пространстве между Дунаем и Тисой нет ни одной сколько-нибудь значительной реки. Те речушки, которые направляются к Дунаю или Тисе, обычно теряются в бугристых песках. Осадки выпадают редко. Сильная жара и горячие ветры вызывают такие интенсивные испарения, что они в иные годы превышают количество выпадающих осадков. Лесов мало.

В пустынную, почти бесплодную степь превратилась знаменитая Хортобадь, самая засушливая часть Альфельда. На 600 тысячах хольдов<sup>4</sup> раскинулась вдоль Тисы эта «голодная степь», как прозвали ее венгерские крестьяне. Сильные ветры и летний зной в течение многих столетий иссушили и разрушили ее почвы, и она отказалась служить человеку.

Выдающийся венгерский писатель Жигмонд Мориц писал в 1935 году после по-

---

<sup>4</sup> Хольд равен 0,57 гектара.

сещения Хортобады: «Горькое чувство ходить летом по опавшей листве. У травы сохранились лишь засохшие стебельки, пожалуй, не найдешь даже сухой былинки. И сейчас, когда один за другим проходят табуны, стада, отары, им уже нечего есть, они хватают корешки соленых трав, лижут землю. Спасите травы, и вы спасете нацию!»

Прогрессивные ученые в старой Венгрии могли только мечтать о возрождении Хортобадской степи. Венгерские правители считали их планы и проекты несбыточной затеей. «Хортобадь,— говорили они,— уголок совершенно дикий и деяниям цивилизации недоступный». И Хортобадь, воспетая в стихах и песнях, славилась разве что фантастическими миражами. Полюбоваться этими первобытными степными просторами в самом центре современной Европы да экзотической одеждой хортобадских табунщиков приезжали скучающие путешественники-иностранцы. У истосковавшегося по земле венгерского крестьянина пустынная Хортобадь вызывала лишь горечь.

Только с переходом власти в руки народа государство приступило к преобразованию «голодной степи».

Почти на сто километров через Альфельдскую степь вытянулась нить Главного восточного канала. От него идут во все стороны многочисленные ответвления, питающая тисской водой плодородные земли междуречья. Долина Дуная и Тисы стала теперь поистине долиной плодородия, житницей страны. Много сельскохозяйственной продукции поступает отсюда в Будапешт и в промышленные центры страны по железной и автомобильным дорогам. По Дунаю эти грузы доставляются и в соседние страны. А навстречу от дунайских пристаней, от железнодорожных станций, по автомобильным дорогам идет поток сельскохозяйственных машин и орудий, минеральных удобрений. И на этих грузах нередко можно увидеть марки предприятий братских стран...

Летом 1966 года Государственное собрание Венгрии обсуждало итоги второго пятилетнего плана и наметки на третье пятилетие. В одной из его комиссий докладывал министр земледелия Пал Лошонци, мой старый знакомый по бурным послевоенным годам, когда началось возрождение страны. Характерна биография этого мужественного человека, выдвинутого революцией из народа на столь высокий государственный пост.

Лошонци родился в 1919 году в бедной крестьянской семье и до 1945 года был безземельным батраком. После освобождения Венгрии он обрабатывал участок земли, выделенный ему по земельной реформе. В 1948 году по его инициативе в селе Барч, на юге страны, был создан один из первых сельскохозяйственных кооперативов «Вёрёш чиллаг», что в переводе на русский язык означает «Красная звезда», где Лошонци стал председателем.

В этом кооперативе, земли которого раскинулись у самой границы с Югославией, на реке Драва, мне довелось побывать по приглашению Пала Лошонци летом 1966 года, когда сам Лошонци уже был министром земледелия. Замечательные успехи этого передового хозяйства известны не только в Венгрии. Здесь проявился незаурядный организаторский талант нынешнего главы венгерского государства, его твердая вера в социалистический путь развития сельского хозяйства.

Мне рассказывали в Венгрии, что глубокие, дельные замечания, с которыми председатель кооператива Лошонци обычно выступал на различных совещаниях, обратили на него внимание руководителей партии и правительства.

— Знаешь, товарищ Лошонци,— сказал ему однажды Янош Кадар,— ты хорошо критикуешь других. А не попробовать ли тебе самому взяться за руководство нашим сельским хозяйством?

В начале 60-х годов, когда я встретился с Лошонци в Тюрингии, где мы отдыхали по приглашению друзей из ГДР, он уже два года возглавлял венгерское министерство земледелия. С присущим ему чувством юмора этот не очень разговорчивый и несколько стеснительный человек рассказал, что, когда его назначили на столь высокий пост, он был в Будапеште, на Всевенгерском совещании председателей кооперативов.

— Говорят, тебя посылают в другое место? — спросил один из председателей.

— Это правда.

— А большое хозяйство?

— Да, не маленькое...

А когда часа через два радио сообщило о назначении Лошонци министром, его давешний собеседник крепко пожал руку и с улыбкой сказал:

— Да, хозяйство действительно не маленькое. Так что поздравляю...

— Основная цель минувшего пятилетия в области сельского хозяйства, — рассказывал министр, — состояла в том, чтобы обеспечить страну хлебом собственного производства. Эта задача решена.

Несколько дней спустя мне довелось беседовать с Лошонци и его сотрудниками в старинном здании министерства на Придунайской площади. Они рассказывали о больших структурных сдвигах в сельском хозяйстве Венгрии, происшедших после войны. Почему так остро встал вопрос об обеспечении собственным хлебом этой страны, которая до войны немалое количество зерна постоянно экспортировала?

— Эта проблема, — сказал Пал Лошонци, — имеет два аспекта. Социальный аспект ясен: в старой Венгрии производителями товарного хлеба были почти исключительно помещики и кулаки — и те и другие, продавая хлеб за границу, не интересовались, что будет есть население Венгрии. После освобождения получили землю триста семьдесят тысяч безземельных батраков и двести двадцать тысяч малоземельных крестьян — зачем, спрашивается, им продавать хлеб, если они сами впервые получили возможность вдоволь поесть? Второй аспект более сложный. Пшеница, которая всегда была в Венгрии основным злаком, до войны занимала три и девять десятых миллиона гектаров, а в шестьдесят четвертом году — всего два и четыре десятых миллиона. В то же время производство фуражного зерна заметно увеличилось. Видимо, это было связано с ростом удельного веса животноводства, которое в шестьдесят четвертом году составляло более сорока процентов сельскохозяйственного производства. Увеличились посевы не только кормовых, но и технических культур, площади под виноградниками и садами. Вот почему Венгрия в течение ряда лет вынуждена была ввозить хлеб. Потребовались немалые усилия, чтобы компенсировать сокращение посевных площадей под зерновыми культурами более высокими урожаями.

Об успехах венгерских хлеборобов министр земледелия доложил на заседании одной из постоянных комиссий Государственного собрания летом 1966 года, когда страна уже третий год не импортировала зерна. Средний урожай главной зерновой культуры — пшеницы составил за пятилетие (1961—1965) 10,7 центнера с гектара против довоенных 7 центнеров. В 1968 году, несмотря на засуху, урожай пшеницы составил в среднем 14,5 центнера с гектара, а в 1969 году — 16 центнеров. Таких урожаев страна еще не знала.

— Открываются возможности для экспорта хлебного зерна, — заявил корреспонденту венгерского телеграфного агентства МТИ заместитель министра сельского хозяйства Габор Шоош. — Я убежден, что при мелком сельском хозяйстве таких результатов достичь было бы невозможно.

В 1972 году, несмотря на сложные метеорологические условия, Венгрия собрала рекордный урожай: общий сбор зерна впервые превысил 10 миллионов тонн. Это позволило не только удовлетворить внутренние потребности, но и выделить определенное количество хлеба на экспорт. В минувшем году был выращен самый высокий в истории страны урожай колосовых культур — пшеницы, ржи, ячменя и овса. Озимая пшеница, основная культура, дала 19,4 центнера с гектара, или 34,7 центнера с гектара.

Но вернемся к 1966 году, когда министр сельского хозяйства ВНР впервые после войны смог доложить правительству, что страна обеспечила себя хлебом собственного производства. В то лето мне довелось побывать в кооперативе «Вёреш чиллаг», который в течение десяти лет возглавлял Пал Лошонци. В село Барч мы приехали в жаркий июльский полдень. Здесь в это время находился председатель одного из кубанских хозяйств Василий Соболенко, прибывший в Венгрию по приглашению Лошонци, который во время поездки по Советскому Союзу посетил и колхоз имени

Ленина на Кубани. Постоянным собеседником нашего председателя был его коллега — председатель Барчского кооператива Михай Лошонци, младший брат министра, принявший от него как эстафету руководство хозяйством.

Долго осматривали богатое хозяйство, и Соболенко дотошно, со знанием дела выспрашивал все детали, время от времени бросая мне на ходу:

— Это интересно, надо и нам применить.

Попугно он рассказал о своем колхозе. Потом все мы пошли к Палу Лошонци в его домик.

— И не собираюсь его бросать, — как бы отвечая на недоуменный взгляд Соболенко, сказал министр, разливая по бокалам замечательное венгерское сухое вино. — Я тебе скажу, Василий: каждый человек должен иметь корень. Вот мой корень здесь, в этом кооперативе, где бы я ни работал...

Примерно через год после нашей встречи в Барче радио Будапешта сообщило о том, что сессия Государственного собрания избрала Пала Лошонци Председателем Президиума Венгерской Народной Республики. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Иштвана Доби, выдающиеся заслуги которого в строительстве новой Венгрии были отмечены присвоением ему звания Героя Социалистического Труда.

«Назначение на пост Председателя Президиума ВНР представителя трудового крестьянства Пала Лошонци, — писала тогда газета «Непсабадшаг», — является продолжением старой традиции, выражающей рабоче-крестьянский характер нашего государства».

И мне вспомнились любопытные данные, опубликованные в «Вестнике венгерского парламента» за 1931 год: в составе парламента было 18 графов, 9 баронов, 61 крупный помещик, 15 банкиров и фабрикантов. И ни одного рабочего или бедного крестьянина, не говоря уж о батраках.

В последние годы на страницах венгерских и зарубежных газет довольно часто можно увидеть сообщения об аудиенциях, которые дает Пал Лошонци иностранным дипломатам и прибывающим в ВНР официальным представителям различных государств. Нередко и сам Лошонци выезжает с официальными визитами за рубеж. В последнюю нашу встречу в Будапеште Лошонци показал мне номер венгерского юмористического журнала «Лудаш мати».

— Вот своеобразный отчет о моей недавней поездке в Иран и встрече с шахом персидским, — с улыбкой сказал Лошонци, указывая на обложку журнала.

Художник изобразил нынешнего Председателя Президиума Республики в одежде батрака, каким он и был до освобождения, во главе группы крестьян, вышедших обрабатывать землю, полученную в ходе земельной реформы. Помещик спрашивает Лошонци с издевкой: «Что-о? Говорите, в этой стране наладится жизнь? Может, заодно скажешь, что будешь обедать с шахом персидским?»

Мы сидели у телевизора в гостиной небольшого особняка в Буде, где теперь жил Лошонци. Жена его Анна накрывала на стол. В чем-то она изменилась за годы, прошедшие после нашей встречи в Барче, ее родном селе, где мне рассказывали о ней как лучшей звеньевой производственного кооператива. Но по-прежнему оставалась Анна приветливой и радушной, по-крестьянски гостеприимной.

В Будапеште я оказался в эти дни по приглашению друзей из Венгерского радио; они же вручили мне официальный приглашенный билет на прием в здании парламента, устроенный Председателем Президиума Республики в честь двадцатипятилетия освобождения Венгрии. Сплошным потоком по широкой ковровой дорожке, под высокими сводами великолепного Аворда неторопливо шли гости — прибывшие из братских стран, а также партийные и государственные деятели, знатные люди Венгрии. Останавливались возле Лошонци и его супруги, чтобы пожать им руки, поздравить с праздником, и проходили дальше. Я тоже протянул было руку Палу Лошонци, но неожиданно оказался в его дружеских объятьях.

— Не по протоколу, зато по-братски, — заулыбались мои коллеги, советские и венгерские журналисты, когда я к ним подошел; они стояли группой неподалеку и наблюдали эту сцену. — Высокий пост не помеха сердечным, дружеским отношениям...

Мне вспомнилось письмо, которое я получил из Будапешта от Лошонци вскоре после его избрания Председателем Президиума ВНР в 1967 году. «Дорогой Иван, —

писал он тогда,— я надеюсь, что наши отношения, так хорошо сложившиеся, останутся такими же и теперь». По его просьбе я разыскал и сообщил ему адреса советских офицеров, с которыми он был знаком по военным дням. Один из них, полковник в отставке С. Г. Стариченко из Донбасса, потом писал мне, что Пала Лошонци, «или просто Павло, как мы его называли в нашем славном 73-м гвардейском полку, я знаю как скромного и в то же время смелого боевого разведчика... Бои на дальних и ближних подступах и в самом Будапеште были упорными и жестокими. Враг стремился во что бы то ни стало задержать наше наступление на Будапешт, освобождение венгерской столицы от фашистских оккупантов. И воины-разведчики полка, среди которых был и наш Павло, день и ночь вели разведку, столь необходимую для успешного наступления полка... Уже в самом Будапеште разведчики первыми ворвались в королевский дворец и захватили гитлеровского генерала. Его мы допрашивали вместе с Павлом, который помогал как переводчик.. Передайте товарищу Лошонци большое боевое спасибо за то, что он, несмотря на важную государственную работу, которая теперь возложена на него, не забывает и своих боевых товарищей по совместной борьбе против фашистских захватчиков, пытавшихся поработить наши народы. Я очень рад за него и желаю ему крепкого здоровья, больших успехов на высоком государственном посту и долгих лет жизни».

Когда при встрече я рассказал Лошонци о своей переписке с полковником из Донбасса, он сказал, что уже послал С. Г. Стариченко письмо с приглашением посетить Венгрию.

И подумалось: глубоко правы те, кто утверждает, что дружбу народов наших стран питают не только официальные связи различных организаций, но и такие вот личные контакты между людьми.

## У ЖЕЛЕЗНЫХ ВОРОТ

В югославской столице мне случайно попала на глаза любопытная почтовая марка: на ней было изображено знаменитое дунайское ущелье Железные Ворота, стоимость марки была указана в валютах двух государств — югославских динарах и румынских леях.

— Такую же марку можно купить и в Румынии, она выпущена в обращение обеими странами,— объяснили мне белградские друзья.— Мы ведь совместно строим гидроэнергетический комплекс на Дунае у Железных Ворот.

Живописнейшее горное ущелье — знаменитая дунайская теснина Катаракты протянулась на десятки километров от старинной югославской крепости Голубац почти до румынского города Оршов.

В одном придунайском селе возле Турну-Северина мне рассказывали партизанскую быль. Гитлеровцы, отступая под ударами советских войск, пытались «закрыть» Железные Ворота, взорвать скалы с обеих сторон реки, чтобы они перегородили Дунай, по которому шли вверх военные корабли Дунайской флотилии. Долго не смогли бы плавать корабли по Дунаю, если бы фашистам удалось осуществить свой план. Но им помешали югославские партизаны. Они совершили внезапный налет на гитлеровских подрывников и сбросили их в Дунай...

Тесно и неудобно Дунаю в этом каменном ложе: ширина русла реки здесь всего сто пятьдесят метров, глубина — более пятидесяти. Потому так круто меняется в районе Железных Ворот нрав в общем-то спокойного Дуная. Потому и мечется он, и кипит, и кидает суда от одной скалы к другой, кружит их в водоворотах. Пронзительный ветер поднимает встречную волну. Не раз жители прибрежных селений были свидетелями кораблекрушений, не раз спасали гибнущие экипажи...

Живет одна древняя дунайская быль, оставившая свой след у Железных Ворот. На правом берегу вдоль Катаракт вьется узкая тропа, высеченная в отвесных скалах римскими завоевателями в начале нашей эры, когда Дунай стал ареной кровопролитных войн. К тому времени римские завоеватели вышли к Дунаю в районе Железных Ворот. Так появилась среди суровых теснин правого берега тропа шириной в полтора-два метра. Проложил ее римский император Тиберий, но стратегическое значение она приобрела позже, когда император Траян продолжил тропу вдоль скалистого

правого берега, а затем дал ей выход на столь же недоступный левый берег, перекинув в 105 году нашей эры деревянный мост через Дунай, соединивший правобережное Кладово с левобережным Турну-Северином.

Этот мост на 20 быках — по мнению специалистов, шедевр античной техники (1135 метров в длину, 14,7 метра в ширину, 18 метров в высоту) — строил знаменитый Аполлодор из Дамаска, единственный архитектор начала нашей эры, имя которого известно нам. И сегодня еще можно видеть у Турну-Северина остатки знаменитого деревянного моста, разрушенного новым римским завоевателем императором Адрианом, который таким способом рассчитывал предотвратить вторжение готов.

Неподалеку от того места на крутой скале видна хорошо сохранившаяся памятная доска Траяна — «Tabula Traiana». Рядом установлен большой белый камень с надписью, которая тоже войдет в века — на ней начертано, что 7 сентября 1964 года было торжественно начато строительство гидроэнергетической и навигационной системы Железные Ворота — символа дружбы и сотрудничества между румынским и югославским народами. Дунай, превращенный чужеземными завоевателями в начале нашей эры в этнографический барьер между придунайскими народами, стал при социализме рекой их дружбы и сотрудничества.

Именно здесь и перегородила могучий Дунай гигантская плотина. Подготовка к ее строительству началась давно.

В середине 50-х годов на одном из заседаний Дунайской комиссии постоянный представитель Румынии предложил:

— Румынский участок Дуная имеет большое значение для югославского флота, так же как и югославский участок для румынского. Это открывает перспективы для все более глубоких и тесных отношений между обоими государствами в области транспорта. Мы уверены, что эти возможности будут полностью использованы для дальнейшего развития экономического сотрудничества между Румынией и Югославией.

Дунай — это не только судоходство, но и миллиарды киловатт-часов электроэнергии. В течение семи лет румынские и югославские специалисты — геологи и геофизики, климатологи и гидрологи, гидротехники и архитекторы, энергетики и экономисты — подвергали Дунай и его берега тщательному исследованию. В июне 1963 года успешно закончились переговоры между Румынией и Югославией о совместном строительстве и эксплуатации гидроэнергетической и судоходной системы.

В первых числах сентября 1964 года югославские и румынские строители вышли на берега Дуная в районе Железных Ворот. Здесь в торжественной обстановке начались работы по сооружению дунайского гиганта...

Впервые после войны я попал в эти места в теплые мартовские дни 1972 года. И невольно приходили на память дни жарких боев, дни форсирования Дуная, когда наши войска своим ратным подвигом проложили путь для нынешнего мирного наступления румын и югославов на могучую реку. Теперь почти в том самом месте, где в сентябре сорок четвертого года стрелковые части II Украинского фронта форсировали Дунай, реку перегородила гигантская плотина — километр с четвертью.

В румынской печати я прочитал о доблести молодого строителя — подрывника Иона Косты, который 12 октября 1969 года произвел первый подводный взрыв в русле Дуная. А мне вспомнился молодой советский лейтенант Клоков — о нем тоже писали газеты. В этом самом месте у Турну-Северина он глубокой ночью в сентябре 1944 года переправился вместе со своим взводом автоматчиков через Дунай и отбил у гитлеровцев первый небольшой клочок земли, ставший потом Задунайским плацдармом. Ратный подвиг лейтенанта Клокова и его однополчан как бы стал фундаментом плотины, для которой готовил ложе на дне Дуная румынский мастер Ион Коста, представитель нового поколения борцов за социализм...

К плотине с двух концов — справа, на югославском берегу, и слева, на румынском, — примыкают белые здания гидроэлектростанций. Рядом, прижавшись к самому берегу, — двухкамерные шлюзы: один на румынской стороне, другой на югославской.

— Именно они открыли этап эксплуатации дунайского комплекса, — сказал сопровождавший меня румынский инженер Георге Селеджану, один из командиров этой стройки с самого ее возникновения. — Еще в шестьдесят девятом году в начале

августа впервые распахнулись, а вернее погрузились в воду Дуная в прямом, а не фигуральном смысле, железные ворота, кстати самые большие в Европе.

Первым прошел советский пассажирский пароход «Амур» с туристами из ряда европейских стран, после пошли суда под флагами других государств. Так началась навигация с помощью шлюзов у Железных Ворот.

В результате перекрытия реки уровень воды в водохранилище протяженностью почти в 200 километров поднялся более чем на 30 метров по сравнению со старым уровнем Дуная, покрыв все пороги и опасные скалы. Теперь здесь беспрепятственно могут проходить суда с любой осадкой. Скорость движения увеличилась в несколько раз, в результате стало возможным проходить эту зону меньше чем за один день. Общая пропускная способность участка увеличилась в 4—5 раз, составляя около 60 миллионов тонн в год.

Шлюзы у Железных Ворот, оснащенные автоматической аппаратурой, пультом управления, световой схемой (в будущем контроль будет производиться с помощью радара и телевизионных установок), относятся к крупнейшим в мире: ширина камеры шлюза 34 метра, длительность шлюзования по двум ступеням — 60—70 минут.

Я беседовал с лоцманами, которые проводили суда через дунайские пороги у Железных Ворот. Это были люди тяжелой и рискованной профессии. Теперь многие из них, пройдя обучение на специальных курсах в СССР, переквалифицировались на операторов шлюзов.

— На старом Дунае, — сказал один из наиболее опытных лоцманов, Ромео Иеремия, — мне требовалось для проведения лишь одного каравана судов пять, а то и шесть дней. Сейчас караваны идут один за другим быстро и без лоцманов. Теперь я, как оператор, провожу через пороги, вернее через те места, где раньше преграждали нам путь опасные пороги, до трехсот судов за восьмичасовой рабочий день.

...Наша «Волга» остановилась где-то на полпути между румынским и югославским берегами. Впереди полосатый шлагбаум и рядом солдаты в форме пограничников — те, что по эту сторону, румынские, по ту — югославские. Настоящая граница над Дунаем, на гребне плотины Дунайской ГЭС.

— Дальше уже Джердап, — сказал с веселой улыбкой наш румынский провожатый, показывая на шлагбаум. — А мы будем знакомиться с Железными Воротами. Впрочем, различия главным образом в названии, а в остальном та часть нашей совместной стройки почти не отличается от этой. Кстати, именно здесь, под шлагбаумом, посредине Дуная и сомкнулись концы плотины, строительство которой велось одновременно с нашего и югославского берега... Между прочим, при разработке этого проекта дунайского комплекса наши и югославские инженеры нашли ряд интересных решений при активном участии ваших специалистов...

В огромном турбинном зале — более 200 метров длины, 25 метров ширины, около 30 метров высоты — нас ждал технический директор ГЭС Аркадий Време, высокий, могучего телосложения инженер. С ним был Леонид Максимович Богач, руководитель группы советских специалистов.

О деятельности наших инженеров директор Турну-Северинского предприятия гидроэлектрических объединений Григоре Сандула говорил в интервью журналисту из Бухареста:

— Особо хочется отметить тот факт, что специалисты великой дружественной страны сотрудничали с нами по целому ряду сложнейших технических проблем, работая так, словно они находились на одной из строек у себя на родине. Мы чувствовали их помощь в самые трудные моменты строительства.

Аркадий Време вел нас железными ступеньками с этажа на этаж все ниже, в глубь великолепного сооружения из бетона и стали, у стен которого бурлил покоренный Дунай.

— Из шести турбин, мощность каждой по сто семьдесят восемь тысяч киловатт, — говорил Време, — три поставил нам Советский Союз. Их изготовили непревзойденные мастера с Ленинградского металлического завода. А вот эти три — четвертая, пятая и шестая — изготовлены у нас, в Решице. И должен вам сказать как специалист: решицкие машиностроители не подкачали. Их турбины похожи на ленинградские, как родные сестры, как близнецы.



Первая турбина вступила в строй в августе 1970, шестая — в октябре 1971 года. Государственный план пуска Дунайской ГЭС на полную мощность был выполнен раньше срока. Полная мощность — это 1 050 тысяч киловатт, то есть в 2 раза больше, чем мощность всех электростанций довоенной Румынии.

На югославском берегу гидротехнический и судоходный комплекс у Железных Ворот также возводился при участии СССР: наша страна выполнила технический проект ГЭС и шлюза, поставила все 6 гидротурбин уникальной конструкции, 3 гидрорегенератора, а также отдельные детали и узлы трех остальных, многие строительные механизмы, транспортные средства. Как и на румынской стороне, в строительных работах и монтаже оборудования принимала участие группа советских специалистов.

— Дел, как сами понимаете, было много, — рассказывал югославский инженер Владо Милославевич. — Приходилось нередко прихватывать и праздники и ночи. И всегда мы чувствовали дружеское плечо советских коллег, опытных специалистов и душевных людей. Откровенно признаться, за работой у нас как-то вовсе вышло из головы, что мы граждане двух государств. Мы стали единым коллективом, одной семьей.

Мне потом довелось присутствовать в посольстве СФРЮ в Москве при вручении группе советских специалистов югославских орденов. Один из награжденных орденом «Югославского знамени с золотой звездой», заместитель главного инженера московского Гидропроекта Игорь Моисеев, сказал:

— Наше сотрудничество с югославскими специалистами началось давно — с того момента, когда создавался проект станции. С тех пор мы все вместе много и плодотворно трудились в Москве и в Белграде, на берегах Дуная — на строительной площадке, и на берегах Невы, где рабочими Ленинградского металлического завода создавались турбины для Джердапа. И повсюду в нашей работе царил дух дружбы и сотрудничества.

К Первомайским праздникам 1972 года Дунайская ГЭС на обоих берегах могучей реки была полностью закончена. Она вырабатывает до 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. По своей мощности — 2 100 тысяч киловатт — она занимает место в первом десятке подобных сооружений во всем мире.

...17 мая 1972 года был торжественно отмечен официальный ввод в эксплуатацию гидроэнергетической и судоходной системы у Железных Ворот. Выступившие на митинге дружбы руководители Румынии и Югославии выразили признательность коллективам советских предприятий, изготовлявших оборудование для Дунайской ГЭС, и советским специалистам, оказавшим техническое содействие при ее сооружении. Генеральный секретарь Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску сказал:

— Объект, который мы открываем сегодня, является красноречивым выражением плодотворности сотрудничества румынского и югославского народов. Гидроэлектростанция у Железных Ворот — это крупнейший экономический объект, воздвигнутый двумя социалистическими странами, и, учитывая вклад, внесенный в это строительство Советским Союзом, он является величайшим достижением многостороннего сотрудничества социалистических стран. Можно сказать, что этот объект является образцом международного сотрудничества народов, строящих социализм, образцом взаимопомощи в осуществлении усилий, направленных на расцвет каждой национальной экономики, на продвижение вперед по пути прогресса и благосостояния. Вполне очевидно, что ни одна из наших стран не смогла бы воздвигнуть самостоятельно за этот период времени гигантский энергетический объект, который мы открываем сегодня.

— Я хотел бы, — заявил выступавший затем Председатель Союза коммунистов Югославии Йосип Броз Тито, — отметить значительный вклад в строительство Джердапа Советского Союза, предприятия и специалисты которого на основе соглашения об экономическо-техническом сотрудничестве участвовали в проектировании и поставках части очень сложного технического оборудования.

**БОЛГАРСКИЙ АТОМОГРАД**

Болгарские встречи всегда вызывают у меня приятные воспоминания. Но эта особенно, и на то есть важные причины.

Как известно, вступление наших войск в Болгарию в первых числах сентября 1944 года совпало с началом вооруженного антифашистского восстания болгарского народа. Случилось так, что наша корреспондентская машина, направляясь через охваченные восстанием города и села в Софию, вырвалась далеко вперед и мы оказались у Ловеча, где-то на полпути к столице, на сутки раньше передовых частей. Этот живописный город, как бы закованный в цепи гор, мы, пожалуй, проехали бы без остановки, но одно маленькое происшествие задержало нас. Когда до Ловеча оставалось не более двух-трех километров, вдруг послышалось столь знакомое нам злое шипение. Шофер резко затормозил, пробормотав:

— Опять проклятая шина...

Придется ждать. Шофер идет снимать заднее колесо, а мой коллега уходит вперед и скрывается за пригорком. Я остаюсь в машине, вынимаю блокнот, чтобы записать свои впечатления. Но не проходит и десяти минут, как из-за поворота со стороны города вылетает какой-то старенький «фордик» и останавливается метрах в двадцати. Из машины выскакивают трое в штатском, с автоматами наперевес и осторожно приближаются к нам. Естественно, такое начало меня не радовало. Но виду не подаю и продолжаю писать. Вижу краем глаза, что идущие заметили советскую форму. Один спрашивает по-русски:

— Вы русский? А почему вы один?

Все выяснилось в следующую минуту. Это были люди из Околийского комитета Отечественного фронта.

— Со вчерашнего дня власть в наших руках,— объясняет тот, кто говорит по-русски.— Многие фашисты арестованы, но некоторым удалось бежать. Они скитаются по лесам и дорогам. Мы выслеживаем их. Приходится останавливать и проверять каждую машину...

Конечно, наш фешенебельный «крейслер» не мог не вызвать подозрения. И вот по сигналу одного из постов, расставленных скрытно на дорогах, примчалась ударная группа из Ловеча. Того, что говорит по-русски, зовут Гришей. Он коммунист. Гриша рассказывает, что несколько лет прожил в Советском Союзе, в Кадиевке. Потом вернулся в Болгарию. Два года назад фашисты бросили его в тюрьму, из которой он вышел только вчера. Сейчас он один из руководителей Ловечского комитета Отечественного фронта. Ему двадцать пять лет, но выглядит он значительно старше.

Машина в порядке, и вместе с партизанами мы въезжаем в город. Останавливаемся у здания Отечественного фронта. На площади перед комитетом, во дворе и во всех комнатах обоих этажей полно народу. У многих через плечо автоматы, винтовки, за поясом гранаты.

— Это наши партизаны спустились с гор,— объясняет Гриша.— Вот мой брат, а это его товарищ. Лихие партизаны!

Гриша и не пытается скрывать своего восхищения. Я и сам залюбовался молодыми друзьями. Поминутно открывается дверь, непрерывно заходят и выходят люди. Одни просят совета, другие что-то рассказывают...

Вряд ли я мог тогда предположить, что несколько лет спустя мы снова встретимся. Я даже не узнал его фамилии. Но имя — Гриша,— весь его облик цепко закрепились в моей памяти. И вторая встреча произошла через семнадцать лет, как и первая, совершенно случайно.

Для журнала «Проблемы мира и социализма», где я тогда работал, понадобилась статья о роли материальных и моральных стимулов в развитии общественного производства. Цветан Драгнев, представитель болгарской компартии в редколлегии журнала, предложил автора — болгарского партийного работника и публициста Гришу Филипова.

— Я знал одного болгарина Гришу,— сказал я Драгневу,— во время войны с ним встретился.

— А где?

— В Ловече в сентябре сорок четвертого года.

— Так я должен вам сказать, что мой автор тоже из Ловеча, но сейчас он живет в Софии и работает в ЦК партии. Может быть, это и есть ваш знакомый.

Так и оказалось. Встретились мы в здании ЦК, в кабинете Гриши. Трудно было узнать в нем того молодого человека с автоматом в руках. Как бы отвечая на мои мысли, Гриша сказал:

— Да и я бы вас не узнал... Семнадцать лет!

За эти годы он успел окончить институт и аспирантуру в Москве, стал кандидатом экономических наук.

Несколько лет спустя мы снова встретились с Гришей, потом еще и еще. Он стал министром, заместителем председателя Госплана. И вот новая встреча — опять в здании ЦК БКП. Два года назад Филипов был избран секретарем Центрального Комитета партии. Он по-прежнему занимается вопросами экономики, и разговор у нас пошел о развитии болгарской энергетики.

— Должен сказать, что для Болгарии это вопрос не только экономический, хотя экономический прежде всего, но и политический,— говорил Филипов.— Напомню тебе, что в первом послевоенном году в нашей стране было произведено всего четверть миллиона киловатт-часов электроэнергии. Меньше, чем накануне войны, хотя царская Болгария занимала тогда по производству и потреблению электроэнергии одно из последних мест в Европе: триста одиннадцать миллионов киловатт-часов было выработано за весь тридцать девятый год. В болгарской провинции электрическим светом пользовались лишь отдельные населенные пункты. Что мы могли ответить американскому публицисту Элдингу Гриффину на его высокомерные строки в журнале «Ньюс-уик», где он писал о нашей стране вскоре после победы революции: «В Болгарии производится столько электроэнергии, что ее не хватило бы даже на освещение реклам Таймс-сквера в Нью-Йорке»!.. Ничего! Сцепить зубы и работать. И мы кое-чего добились, посмотри...

Цифры говорят о том, что болгарские друзья добились больших успехов в развитии отечественной энергетики.

В 1929 году в Болгарии было произведено 266 миллионов киловатт-часов электроэнергии, в 1939 году, как уже указывалось,— 311 миллионов, а в 1956 году— 2400 миллионов. В дальнейшем электропроизводственные мощности каждое пятилетие почти удваивались. В 1960 году было выработано 4700 миллионов киловатт-часов электроэнергии, в 1965 году— 10 300 миллионов, в 1970 году— 19 миллиардов. До конца 1975 года годовое производство электроэнергии превысит 30 миллиардов киловатт-часов, а еще через пять лет достигнет 54 миллиардов!

Интересно сравнить эти данные с положением у соседей Болгарии. В 1937 году в Болгарии было произведено в расчете на душу населения 42 киловатт-часа, в Греции — 63. Но уже в 1960 году в Болгарии на одного человека приходилось 592 киловатт-часа электроэнергии, в Греции — 276, а в Турции — 104. С того времени соотношение еще больше изменилось в пользу Болгарии не только в сравнении с Турцией и Грецией, но и против такой страны, как Италия. В 1965 году производство электроэнергии на одного человека достигло здесь 1250 киловатт-часов, а после 1970 года — почти 2500 киловатт-часов.

Но растущая болгарская промышленность, особенно химия, предъявляла к энергетике еще большие требования. В связи с этим Болгария обратилась к правительству СССР с просьбой спроектировать атомную электростанцию и поставить оборудование для нее. Сегодня первая в стране АЭС строится.

...Если утром выехать из Софии в сторону Дуная через Врац и километров за десять до Оряхова свернуть налево, то к обеду можно попасть в небольшой придунайский городок Козлодуй.

История дважды прикоснулась к Козлодую. Первый раз около ста лет назад при турецкой неволе, когда к этому берегу пристал пароход «Радецки», на котором прибыл на родную землю Христо Ботев со своим отрядом храбрецов. Прибыл, чтобы разжечь пламя всенародного восстания против турецких поработителей. Второй раз вот теперь: здесь возводится целый атомоград, первый не только в Болгарии, но и на Балканах.

Строители пришли сюда, на пустынный берег Дуная, в 1970 году, накануне празднования столетия со дня рождения В. И. Ленина. И здесь неподалеку от обелиска, воздвигнутого в честь подвига отряда Христо Ботева, болгары начали сооружать атомоград, как бы перекидывая мостик между своим революционным прошлым и коммунистическим будущим.

— В этом новом для нас деле, в его успехе,— рассказывает начальник строительства инженер Делче Лулчев,— важную, я бы сказал, решающую роль играет всестороннее содействие и братская помощь наших советских друзей. Около двухсот болгарских строителей и монтажников прошли курс обучения и специализации на строительстве атомных электростанций в СССР. Советские сварщики из Ленинграда помогли своим болгарским коллегам из бригады Героя Социалистического Труда Господина Йорданова закончить в рекордные сроки монтаж и сварку труб, по которым энергия первого атомного реактора поступает к турбинам. Советские инженеры совместно с болгарскими инженерами на строительной площадке решают трудные задачи строительства и монтажа сложных сооружений.

За первые три года многотысячный отряд строителей возвел на площади в 230 гектаров производственные корпуса и другие объекты АЭС, построил собственную пристань на Дунае и мощные насосные станции, проложил водопроводящий и сбросный каналы. Началась сборка насосных агрегатов, которые будут подавать на электростанцию 52 тысячи кубометров дунайской воды каждую секунду. Весной 1973 года в огромной железобетонной шахте был установлен первый реактор. Строители поставили себе задачу — ввести первый блок АЭС в строй к 9 сентября 1974 года, к тридцатой годовщине освобождения Болгарии от фашизма.

Но это будет только первый шаг к созданию атомограда, рядом на дунайском берегу уже идут подготовительные работы к сооружению второй электростанции.

Согласно проекту, который разрабатывался болгарскими специалистами совместно с московским институтом Теплоэлектропроект, в турбинных залах двух электростанций будут работать агрегаты, изготовленные в Ленинграде и Харькове.

Около 12 миллиардов киловатт-часов ежегодно будет давать народному хозяйству Болгарии ее атомный первенец на Дунае к 1980 году. Общая выработка электроэнергии по республике (54 миллиарда киловатт-часов в год) превысит уровень 1944 года более чем в 200 раз... Невольно приходят на память слова Георгия Димитрова, сказанные в первый год свободной жизни болгарского народа: «Необходимо посредством индустриализации и электрификации страны и механизации земледелия добиться в течение 15—20 лет того, на что другим странам в других условиях потребовалось целое столетие».

Народ Болгарии воспринял эти слова своего любимого вождя как завет. И как бы отвечая ему на тридцатом году свободной жизни, болгарский народ заявил устами Тодора Живкова, первого секретаря ЦК БКП: «То, чего мы добились за тридцать лет в социально-экономическом развитии, в строительстве социалистического общества, по своим масштабам и значению равняется целой эпохе».

У болгарского народа есть все основания гордиться своими успехами, он внес достойный вклад в историческое наступление социализма.



---

---

# В МИРЕ НАУКИ

ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ

★

## В ГОСТИ К СОЛНЕЧНОЙ СЕМЬЕ

Верю в блестящее будущее человечества. Верю, что человечество не только наследует Землю, но и преобразует мир планет...

*К. Э. Циолковский.*

**Л**етом прошлого года в составе небольшой группы советских журналистов мне довелось совершить поездку по научным центрам США. Программа этой поездки была обширной и разнообразной. Мы встречались с физиками и радиоинженерами, химиками и хирургами, фармацевтами и астрономами. Личные симпатии, специальное образование и многолетняя практика журналистской работы заставляли меня более всего интересоваться достижениями американцев в области космических исследований. Мы побывали в Центре пилотируемых полетов в Хьюстоне, где узнали подробности работы орбитальной станции «Скайлэб», познакомились с подготовкой совместного советско-американского полета «Союз» — «Аполлон».

Другим интереснейшим «космическим» пунктом нашей поездки был знаменитый Калифорнийский технологический институт, а точнее, входящая в его состав Лаборатория реактивного движения. Говоря языком наших производителей, это головное предприятие по планированию и осуществлению всех американских непилотируемых полетов, в последнее время прежде всего полетов различных автоматических станций к планетам солнечной системы. О недавних, сегодняшних и будущих работах этого научного центра я и хочу рассказать.

Хочу рассказать потому, что известно о них гораздо меньше, чем о полетах американских астронавтов. Это, в общем-то, понятно и объяснимо: сам факт полета человека в космос уже делает этот полет интересным, поскольку интересен сам человек, его жизнь и работа в космическом пространстве, столь чуждом всему живому. Любой, даже самый скромный человек, узнавая нечто о полете вне Земли, непременно ставит мысленно себя на место космонавта, сам себе устраивает незримый экзамен: это бы я, пожалуй, смог, а это вряд ли... Короче, всякий пилотируемый космический полет популярен уже потому, что он одушевлен. Это, повторяю, объяснимо, но в чем-то несправедливо. И вот в чем.

Конечно, наивно было бы ожидать, что старт пусть самого совершенного, «умного» и дорогого космического автомата вызовет у людей такие же эмоции, как полет космонавтов. Искреннее, глубокое восхищение собственно совершенством техники — редкий дар редких специалистов. Нет, несправедливость, о которой я говорю, не в этом. По меткому замечанию выдающегося американского астрофизика Джеймса Ван Аллена, минимум 80 процентов научных результатов космических исследований и почти все результаты практического применения космической техники получены благодаря наименее прославленным космическим аппаратам.

Я согласен с доктором Ван Алленом: космические трудяги-автоматы действительно обделены славой. Популярность советских луноходов — скорее исключение, нежели правило в их большом списке. А потом, вспомните: луноходы двигались, ездили вперед, назад, разглядывали лунные хребты и долины своими телеглазами, они были «живы-

ми» и их тоже в какой-то степени одушевляли и волновались за них как за «живых»: «Как там они? Здоровы? Не упали в кратер? Подкормили свои солнечные батареи? Пошли дальше?..»

Между тем многие полеты автоматических станций ознаменовали собой важнейшие этапы космических исследований, а некоторые из них стали в полном смысле этого слова эпохальными событиями космонавтики, да, пожалуй, и всего современного естествознания.

В этих записках я не хотел бы проводить сравнения и параллели между тем, что мы увидели в Калифорнии, и аналогичными работами у нас. Вряд ли нужно доказывать, что и нам и американцам есть чем гордиться в данной области. Достаточно вспомнить хотя бы такие советские автоматические станции, как «Луна-2», которая впервые достигла другого небесного тела; «Луна-3», впервые сфотографировавшая до толе невидимый лунный «затылок»; «Луна-9», впервые совершившая мягкую посадку на Луну и передавшая оттуда «панораму века» — снимок лунной поверхности; «Луна-10» — первый искусственный спутник Луны; «Луна-16» и «Луна-20», впервые доставившие на Землю образцы лунных пород, собранных автоматами; «Венера-4» и «Марс-3» — первые посланцы Земли на поверхности соседних планет.

Наряду с этим выдающиеся результаты дали полеты таких американских космических автоматов, как «Сервейер-3» — он впервые исследовал структуру лунного грунта, прорыв маленьким ковшом небольшую борозду; «Маринер-2» — он получил первые данные о Венере с пролетной траектории; «Маринер-4» — он передал на Землю первые 22 снимка Марса, сделанные с расстояния около 10 тысяч километров. «Маринер-9», «Маринер-10» и «Пионер-10» — о них я расскажу в этих записках.

Советские ученые и конструкторы постоянно с большим вниманием следят за работой своих заокеанских коллег. В то же время и американские специалисты всегда отдают должное советским исследованиям планет солнечной системы.

Правда, справедливости ради надо сказать, что в годы «холодной войны», когда в США родился термин «космическая гонка», находились люди, которые пытались внести в здоровую атмосферу научных контактов нервные разряды.

Например, на празднике в честь десятой годовщины запуска первого американского искусственного спутника Земли в Вашингтонском национальном клубе печати Вернер фон Браун, тогда директор Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла, говорил с тревогой:

— Существует опасное сходство между нынешней ситуацией и положением дел в пятьдесят седьмом году. В противоположность пяти американским межпланетным запускам СССР послал в межпланетное пространство от пятнадцати до двадцати космических кораблей, а недавно продемонстрировал большие возможности в области межпланетных исследований. (Имелась в виду наша станция «Венера-4»). Я не очень удивлюсь, если первая мягкая посадка на Марс будет осуществлена советским космическим кораблем. В этом случае США еще раз будут лишены исторического научно-приоритета. — пугал фон Браун.

Браун часто брал на себя неблагоприятную роль свистящего хлыста, подстегивающего американскую космонавтику в ее звездной скачке.

Но отнюдь не все заокеанские специалисты были столь же ревнивы, когда предсказание Брауна сбылось: первая мягкая посадка на Марс действительно была осуществлена советской межпланетной станцией «Марс-3» 2 декабря 1971 года в 16 часов 47 минут по московскому времени. «Советский флаг с серпом и молотом покоится на поверхности Марса, — сообщало агентство ЮПИ. — Это первый сделанный руками человека объект, который был доставлен на планету в ходе советско-американских исследований Марса. «Марс-3» ознаменовал давно ожидавшийся триумф советской марсианской программы». Американские исследователи, в том числе доктор Пиккеринг, искренне поздравляли советских коллег, и в поздравлениях этих речь шла не о соперничестве, а о взаимном сотрудничестве — единственно разумном пути решения столь грандиозной задачи, какой является изучение природы солнечной системы.

Каждая страна шла и идет своим путем, вырабатывая свои традиционные методы исследований, отвечающие ее представлениям о будущем космических исследований и науки человечества в целом. И сравнивать, повгорая, трудно, наверняка беспо-

лезно, а весьма вероятно, вредно. Моя цель гораздо скромнее. Это не анализ, а лишь информация о том, что мы увидели и узнали в Пасадене — в том самом гнезде, где оперялись и откуда вылетали в свои далекие полеты все эти «Рейнджеры» и «Сервейеры», «Маринеры» и «Пионеры».

Пасадена — маленький город на окраине Лос-Анджелеса, а вернее, часть этого огромного, непомерно широко раскинувшегося города. В 1936 году, когда доктор Теодор фон Кармен начал испытывать здесь свои почти игрушечные ракетки, летавшие на спирте и кислороде, Лос-Анджелес был еще далеко и свист их двигателей никому не мешал. Шли годы, рос город, и вместе с ним росли ракеты Пасадены. Калифорнийский технологический институт по праву гордится тем, что он был первым научным центром США, который всерьез занялся ракетной техникой. В горах неподалеку от Пасадены были построены испытательные стенды, на которых в годы второй мировой войны испытывались первые американские ракетные ускорители для самолетов<sup>1</sup>.

С 1944 года, после официального открытия Лаборатории реактивного движения, основные ее работы выполнялись по заказам военного ведомства. В Пасадене родились боевые ракеты «Сержэнт», «Капрал», зенитная ракета «Прайвент». В 1957 году здесь началось конструирование первого американского искусственного спутника Земли «Эксплорер-1»<sup>2</sup>. В стеклянном ящике в большом зале музея мы видели точную копию этого спутника — многогранную пирамидку, похожую на короткий, остро отточенный огрызок огромного карандаша. Вот этот-то «карандаш» и записал первую строчку в летописи американской космонавтики.

После запуска «Эксплорера» в 1958 году Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Лаборатория в Пасадене все быстрее и быстрее переключается с военной тематики на космическую. Год от года Калифорнийский технологический институт — главная кузница инженерных кадров на западе США — вносит все более весомую лепту в осуществление космических программ Соединенных Штатов.

Впрочем, это скорее правило, чем исключение, для американской высшей школы. В 1967 году вузы разрабатывали около 1400 проектов по 30 программам НАСА. С 1958 года по 1967 год НАСА израсходовало на поддержку космических исследований в высших учебных заведениях 572 миллиона долларов. Ученые вузов дали за это время 64 процента всех публикаций о космосе. Лаборатория реактивного движения формально и сейчас принадлежит институту. Но, как говорит поговорка, кто платит деньги, тот и заказывает музыку: почти вся тематика Лаборатории определяется НАСА.

Название Лаборатории звучит сегодня довольно условно. Давно уже здесь занимаются не только реактивным движением и даже не столько реактивным движением, сколько электроникой, радиосвязью, процессами управления, средствами ориентации объектов в космосе. Если в общем совсем недавно при слове «лаборатория» перед глазами возникала чаще всего комната, уставленная колбами и ретортами, в которой сидели, прильнув к микроскопам, чудаки в белых халатах, то калифорнийская Лаборатория — это уже не комната, и не комнаты, и не дом, а целый научный городок: несколько десятков зданий, в которых работают около четырех тысяч «лаборантов», самым тесным образом связанных с десятками других научно-исследовательских центров, астрономическими обсерваториями, ракетными полигонами в Калифорнии и Флориде, станциями управления в США, Испании, Австралии и Южной Африке.

Вот такой город с зелеными лужайками, аккуратно подстриженными газонами и просторными плацами автомобильных стоянок и увидели мы в жаркий калифорнийский полдень, когда после долгих споров в гостинице, простительно ли в такую жару надевать галстуки, мы переступили порог проходной Лаборатории в Пасадене, отсалютовав очень воспитанному и любознательному господину в штатском глянцевыми квадратиками пропусков, в которых рядом с фамилией значилось кратко: гость.

<sup>1</sup> Первые работы в этой области велись в 1927—1932 годах в Ленинградской газодинамической лаборатории.

<sup>2</sup> «Эксплорер-1» весом 8,3 килограмма был запущен на орбиту 1 февраля 1958 года, почти через четыре месяца после запуска первого в мире советского искусственного спутника Земли весом 83,6 килограмма.

## 1

Человек был настолько увлечен своим делом, что сначала не обратил на нас никакого внимания. Продолжая мурлыкать себе под нос какую-то песенку, он перебирал колоду маленьких карт и, поминутно оборачиваясь к большому, больше метра в диаметре, шару, раскладывал на его белой крутобокой поверхности свой таинственный пасьянс. Знал ли он о том, что в эти минуты он был гаалкой, предсказывающей будущее невероятных и, наверное, самых романтических путешествий, которым суждено состояться в XX веке? Но это были не игральные, а настоящие карты-фотографии, укладываемые на шаре в причудливую мозаику пустынь, каньонов и кратеров.

Так буквально на наших глазах рождался первый марсианский глобус. Я смотрел на этот большой шар, где все меньше и меньше оставалось белых пятен в прямом и переносном смысле, и думал, что через много лет мои внуки не поверят рассказам об этом первом марсианском глобусе, как не поверят и в то, что дед знал Гагарина, потому что Гагарин будет легендой, а глобус — учебным пособием, таким же привычным для них, как глобус Земли. И еще я думал, глядя на этот глобус, о том, какая бездна труда, выдумки, изобретательности была затрачена, сколько напряженных минут ожидания и сомнений пережито единственно для того, чтобы узнать, где какая гора стоит на чужой далекой планете, где какой овраг рассек ее, и снова в который уже раз восхитился и взволновался неукротимой, яростной человеческой жаждой знания.

Глобус в Пасадену привез «Маринер-9» — наверное, самый популярный космический автомат из всех американских космических автоматов. Если вы спросите американца, который более или менее следит за космическими исследованиями (а это далеко не каждый американец!), что, по его мнению, является наивысшим достижением американской космонавтики вообще, он почти наверняка ответит: высадка на Луну и фотографии Марса, полученные «Маринером-9».

Пачку больших фотографий, наиболее интересных из тех, которые наклеивались на глобус, подарил нам доктор Уильям Пиккеринг, вот уже двадцать лет возглавляющий Лабораторию реактивного движения. Имя этого человека, одного из пионеров освоения космоса, хорошо известно советским специалистам и всем, кто интересуется космонавтикой. Под его руководством осуществлялись американские программы изучения Луны, Венеры, Марса. В его Лаборатории проектировались американские лунники — «Рейнджеры» и «Сервейеры». Он был вдохновителем создания универсальных межпланетных лабораторий «Маринер», две из которых летали к Венере, а четыре к Марсу. Последний «Маринер» — под номером 10 — облетел две планеты, Венеру и Меркурий, о нем речь впереди. Так вот доктор Пиккеринг подарил нам пачку марсианских фотографий, а доктор Мюррей любезно согласился прокомментировать их.

Брюс Мюррей, молодой человек, похожий скорее на спортсмена, чем на профессора астрономии, встретил нас в своем кабинете, украшенном яркими детскими рисунками. Это один из ведущих планетологов США, автор многочисленных, в том числе и популярных, работ о Марсе. Последнюю книгу «Марс и человеческий разум», которая вышла уже после нашего возвращения в Москву, Мюррей написал в содружестве с известным астрономом Карлом Саганом, журналистом Вальтером Саливаном и знаменитыми американскими писателями-фантастами Артуром Кларком и Рэем Брэдбери. Это перемежающийся бесконечными отступлениями остроумный диалог, в котором ученые дают волю своей фантазии, а писатели пытаются давать научные прогнозы. Мюррей принимал активное участие в расшифровке снимков марсианского «Маринера», руководил экспериментами по фотографированию с борта «Маринера-10», и было видно, что говорить о них ему приятно. (Замечу в скобках, что если американцам есть чем гордиться, как в данном случае, то они гордятся этим с какой-то детской откровенностью и явным удовольствием.)

— Наши представления о Марсе, — рассказывал Мюррей, — меняются в последние годы с огромной быстротой. Совсем недавно Марс считали состарившейся Землей, говорили о том, что великая миссия землян заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в дряхлеющую цивилизацию красной планеты. В середине шестидеся-



тых годов казалось, что Марс скорее напоминает Луну: очень слабенькая атмосфера (давление на поверхности Марса соответствует земному давлению на высоте тридцати километров), отсутствует постоянное магнитное поле, нет поясов радиации. Суровый ландшафт со множеством кратеров еще более усиливал это сходство. Получалась какая-то Луна-переросток. Так считали мы совсем недавно, в июле шестьдесят пятого года, когда летал наш марсианский первенец «Маринер-четыре». Да и после шестьдесят девятого года, когда Марс фотографировали шестой и седьмой «Маринеры», такая точка зрения была наиболее распространенной, хотя, по моему мнению, эти аппараты увеличили наши знания о Марсе в сто раз. И вот «Маринер-девять». Теперь мы знаем о Марсе еще в сто раз больше. И теперь мы знаем, что Марс не похож на Луну. Он вообще ни на кого не похож. Марс похож на Марс...

Перенесемся мысленно из веселого кабинета Брюса Мюррея в недалекое прошлое — в 13 ноября 1971 года, и представим себя в прохладном, без единого окна зале управления непилотируемыми космическими объектами в Пасадене. Огромная шестидесятидвухметровая чаша радиотелескопа в Голдстоне поймала в эту минуту слабый радиопульс «Маринера-9», усилила его и отправила в компьютеры Пасадены, которые превратили молниеносную морзянку цифр в картинку. Вспыхнули экраны телевизоров.

— Мы увидели расплывчатое, какого-то ржавого цвета изображение, — вспоминает планетолог Роберт Стейнбакер. — Было ясно, что «Маринер» показывает что-то интересное, но разобрать детали мы не могли...

Полученный видеосигнал был вновь отправлен в компьютеры, которые очистили его от помех и произвели своеобразную электронную ретушь, усилив тени и отбелив светлые места.

Дружный вздох облегчения раздался в зале, когда через минуту новая картинка появилась на экране. Все ясно увидели кусочек Марса — несколько кратеров, окруженных пустынным плато.

Так родился первый из 7329 снимков, которые передал на землю «Маринер-9» за время своей работы на орбите искусственного спутника Марса с ноября 1971 по октябрь 1972 года (для сравнения: «Маринер-4» в 1965 году передал 22 фотографии). Он заснял всю планету, что и позволяет теперь создать первый марсианский глобус. И так, что же можно увидеть на этих снимках?

Оказалось, что, несмотря на свои скромные по сравнению с Землей размеры (диаметр Марса почти в два раза меньше земного, а масса красной планеты составляет лишь 11 процентов от массы Земли), рельеф Марса гораздо более пересечен. В большом холле главного корпуса Лаборатории висит огромная фотография вулкана Никс Олимпико — одна из лучших фотографий «Маринера-9», на которой изображена гора, действительно нечто совершенно уникальное. На Земле подобной горы нет. Если бы океаны Земли высохли, самой высокой горой оказался бы вулкан Мауна-Лоа на Гавайях. Расстояние от его подножья на дне океана до его нынешней вершины около 9 километров, диаметр основания — 225 километров. Высота Никс Олимпико — 23 километра. Когда «Маринер-9» подлетал к Марсу, на планете бушевала песчаная буря, но вершина Никс Олимпико все равно была видна. Диаметр основания Никс Олимпико — 600 километров. Только кратер на вершине этой громады имеет диаметр 65 километров. Рядом расположены три вулкана поменьше, но тоже гигантские.

Не имеет себе равных на Земле и огромный разлом, который, как рубец, идет вдоль экватора красной планеты. Длина его такова, что на Земле он пересекал бы Соединенные Штаты поперек от океана до океана. Ширина 120 километров, глубина до 6 километров. Для сравнения: знаменитый Гран каньон в Аризоне, одно из чудес света, имеет максимальную ширину 21 километр и глубину 1,6 километра.

На Марсе вообще оказалось много образований, напоминающих овраги и русла высохших рек. Но даже для этой загадочной планеты уникален другой каньон, протянувшийся на сотни километров в трехстах милях южнее экватора. Он разветвляется, как ветви дерева, кажется, только вчера покинул его бурный горный поток.

Очень большой интерес ученых вызвало странное плато площадью более 8 тысяч квадратных километров, сплошь покрытое песчаными дюнами. Оно выглядит как застывшее море: ровными рядами на расстоянии примерно полутора километров друг от друга катятся огромные песчаные волны. Эта пустыня находится на дне

сто пятидесятикилометрового в диаметре кратера в так называемой Геллиспонтской области Марса. Как и в наших земных пустынях, пограничные дюны меньше центральных. Их строгая ориентация позволяет считать, что они созданы постоянно дующими сильными юго-западными ветрами.

«Маринеру-9» удалось сфотографировать оба марсианских полюса. На южном полюсе отчетливо видно большое плоскогорье, которое, по мнению специалистов, может скрывать огромные запасы воды. Под легким покровом наносов пылевых бурь лежит, возможно, более плотный слой вулканической пыли, покрывающий залежи твердой углекислоты (того самого «сухого льда», которым пользуются продавцы мороженого), а уже под ним лежит замерзшая вода.

«Маринер-9» летал марсианской весной, поэтому белая шапка северного полюса постепенно уменьшалась, обнажив сложную систему осадочных пород...

Смотришь на эти фотографии — и ты словно как в детстве прижался, расплющив нос, к стеклу аквариума в зоопарке, за которым лежит совершенно неведомый, чужой, таинственный мир. Испытываешь страстное желание проникнуть в него, ступить на этот холодный сухой песок, спуститься по крутому обрыву каньона, взбежать на вершину кратера — ведь так легко бежать: от моих 75 земных килограммов на Марсе останется всего 28 с половиной! В шлемофонах скафандра свистит быстрый, но слабый разреженный ветер. Ты на Марсе! Подумать только, кому-то из людей, я уверен, уже родившихся, уже живущих где-то среди нас, выпадет это сказочное счастье открытия нового мира!

Вот для него, этого до поры безвестного землянина, и работал, насвистывая, тот увлеченный человек, который не обратил на нас сначала никакого внимания, когда мы зашли посмотреть, как рождается первый глобус Марса.

## 2

Несмотря на то, что «Маринер-9» рассказал Земле очень много нового о Марсе, «главный марсианский вопрос» остается открытым. А действительно, есть ли жизнь на Марсе?

Древки копий, поломанных в спорах на эту тему, могли бы составить на Марсе целый лес, заметный в земные телескопы. Но, увы, лесов реальных на Марсе никто не видел и доказательства их существования, бесспорные по мнению одних специалистов, представляются весьма сомнительными, если поговоришь с другими.

Абсолютно точно установлены сезонные изменения в окраске отдельных районов Марса. Широко известны объяснения этого явления, данные советским астрономом Г. А. Тиховым, убежденным сторонником существования марсианской растительности. Более осторожный англичанин Патрик Мур туманно намекал, что образовавшиеся после таяния полярных шапок темные области ведут себя так, как будто они «пробуждаются от глубокого зимнего сна».

Не вдаваясь в многовековую историю вопроса о жизни на Марсе, которая может стать темой увлекательного научно-популярного романа со множеством ярких героев, остановлюсь лишь на спорах, которые в последние годы вели между собой сами американцы, поскольку эти споры пусть не прямо, а опосредованно влияли на инженерные умы Пасадены и в той или иной мере диктовали требования уже к чисто прикладным, конструкторским разработкам Лаборатории реактивного движения. (Не надо быть специалистом, чтобы понять, насколько влияют на эти разработки и все другие уточнения параметров марсианской среды: температуры, состава газов атмосферы и ее давление, структуры грунтов и т. д.)

Итак, в недалеком прошлом на сторонников существования марсианской растительности была предпринята серьезная атака. Их противники, ссылаясь на авторитет выдающегося шведского химика Аррениуса, утверждали, что сезонные изменения отдельных областей планеты никак не связаны с марсианской флорой. Все обстояло, по их мнению, гораздо проще. В период таяния полярных шапок почвы поглощают влагу и некоторые увлажненные таким образом участки темнеют. Им резонно возражал астроном Эпик:

— Если это влажная почва, то почему она не меняет своей окраски по-

сле пылевых бурь? Ведь эти влажные участки запорошит пылью. А они существуют из года в год, вне зависимости от марсианских пылевых смерчей. Не правильно ли было бы считать, что это все-таки некая растительность, пробивающаяся сквозь слой пыли?

Развернулись дискуссии.

Фрэнк Солсбери, профессор физиологии растений Колорадского университета, был, например, яростным сторонником развитой марсианской жизни. Он категорически не соглашался со своим калифорнийским коллегой профессором химии, нобелевским лауреатом Гарольдом Юри, который писал о «весьма малой вероятности жизни на Марсе в тех формах, которые наиболее активны на Земле». Скромный анаэробный<sup>3</sup> мир Юри не устраивает Солсбери. «Самые низкие земные формы жизни, такие, как мхи, водоросли и различные микроорганизмы, не смогли бы образовать видимые с Земли колонии», — пишет физиолог. Он отмечает, что земные лишайники почти не меняют своей расцветки и развиваются крайне медленно. Резонен вопрос: почему же в несравненно более благоприятных условиях Земли лишайники в тундре растут около двадцати пяти лет, а на суровом Марсе — в считанные дни? Значит, это не лишайники. Проанализировав фотоснимки Земли, сделанные с больших высот, Солсбери пришел к выводу, что, собственно, зелеными участками выглядят лишь густые леса и сочные луга нашей планеты. «Поэтому, — писал он, — можно считать, что наблюдаемые с Земли изменения цвета и размеров отдельных участков поверхности Марса указывают на существование пышной растительности на планете, а вовсе не низших растительных форм, как это часто предполагают иные ученые».

Но «противники» не унимались. Пожалуй, более или менее вероятной выглядела у них так называемая вулканическая теория Мак Лофлина, возникшая, к чести ее автора, еще до того, как в Пасадене получили снимки, доказывающие существование марсианских вулканов. Потемнения отдельных районов планеты Мак Лофлин объяснял причудами ветра, приносящего с собой большое количество вулканической пыли. Впрочем, он не отрицал и возможности существования растительности на почве, сдобренной вулканической золой, и даже на остывших лавовых потоках.

В 1960 году Каррер и Кисс создали с первого взгляда довольно стройную теорию, согласно которой все цветовые различия объяснялись окислами азота. Голубоватая четырехокись азота покрывала, по их мнению, полярные шапки. Ошибочно принимаемые за пылевые вихри, планету окутывали коричневые облака двуокиси. Скапливаясь в низинах и расщелинах, они-то и создавали темные области. Однако спектральный анализ «сторонников» не подтвердил этой гипотезы. К тому же она находилась в явных противоречиях с принципами термодинамики, по всей вероятности столь же справедливыми для Марса, как и для Земли. Предлагаемые структуры не могли находиться в энергетическом равновесии.

И наконец, «противников» можно было считать побежденными окончательно, когда американец Синтон направил огромный паломарский рефлектор на так называемый Большой Сирт — обширную низменность неподалеку от марсианского экватора — и проанализировал инфракрасную радиацию, отраженную темными областями Сирта. В трех диапазонах было обнаружено поглощение излучения, характерное для органических молекул. Первая полоса поглощения Синтона, не в укор Солсбери будет сказано, отождествлялась все-таки с земными лишайниками и водорослями. Вторая немного напоминала спектр одного из видов лилии и кактуса. Третьей найти земного аналога не удалось.

«Сторонники» воспрянули духом. Пусть только лишайники, но не вулканическая же пыль! Да если подумать, как раз лишайники и кактусы, эти классические примеры неприхотливости и способности выживать, и должны, по логике вещей, легче перенести суровые условия Марса: резкие колебания температуры от  $-100$  до  $+30$  градусов, сухость и скудные запасы кислорода в атмосфере.

Эти рассуждения отлично подкреплялись интересными опытами Сенфорда Сигля, биолога и химика, который провел большую серию опытов по проверке приспособляемости земных растений к марсианским условиям. В фитотроне — аппарате, воссоздаю-

<sup>3</sup> Анаэробные бактерии — особый вид бактерий, которые могут существовать в среде, лишенной кислорода.

щем **приблизительную атмосферу, температурные и почвенные условия** Марса,— Сигль вырастил не только лишайники, но и считавшиеся куда более прихотливыми рожь, ячмень, фасоль, рис и даже огурцы. Растения росли и развивались! А мята, например, чувствовала себя «на Марсе» лучше, чем на Земле. Сигль пришел к еще одному очень важному для «сторонников» выводу: при уменьшении количества кислорода в окружающей атмосфере многие земные растения лучше переносят самые жестокие заморозки. Следовательно, с учетом суровости марсианского климата, кислородный голод не во зло, а во благо жизни!

Но тут почти сраженные «противники» сумели доказать, что опыты Синтона не чисты, что такой же спектр может получиться при некотором определенном состоянии паров земной атмосферы и Марс здесь ни при чем..

Кружево теоретических толкований новых и старых экспериментов можно было бы плести и дальше. Я взял в основном лишь споры американцев сравнительно недавнего времени. Надо ли говорить, насколько увеличился и разнообразился бы спектр этих споров, если бы мы упомянули о работах ученых СССР, Англии, Франции и других стран. Кстати, говоря о работах своих советских коллег, доктор Мюррей заметил, что советские планетологи в большинстве своем «находятся во власти физиков», тогда как американцы рассматривают планеты под углом зрения наук о Земле.

— И это очень хорошо,— добавил он,— разный подход гарантирует полноту исследований..

Но и в приведенных примерах, отнюдь не претендующих на полное освещение вопроса, можно заметить нечто общее, некую трезвую осторожность, рассудочность и скептицизм. Все победы теории и опыта привели в конечном счете к тому, что сегодня среди ученых, очевидно, все-таки меньше сторонников существования на Марсе высокоорганизованной жизни, чем во времена Скиапарелли, впервые «разглядевшего» марсианские каналы. «Хотя факты говорят в пользу теории, по которой возможно существование по крайней мере некоторых форм растительной жизни на Марсе,— справедливо отмечает в своей книге «Погода на планетах» американский метеоролог Джордж Оринг,— она кажется очень скромной по сравнению с мнением отдельных ученых начала нашего века, которые были твердо убеждены в том, что на Марсе есть не только жизнь, но и разумные существа».

О «братьях по разуму» сегодня уже никто не мечтает: их на Марсе мы не найдем. Но жизнь? Пусть самая примитивная — растения, лишайники, крохотные грибки какие-нибудь, да пусть хоть бактерии, в конце концов! Хотя что-то, что рождается, живет и умирает. Если что-то подобное есть на Марсе, значит, уже опытом доказано будет великое многообразие жизни во Вселенной,— философское, мировоззренческое значение такого открытия огромно.

За пять веков, прошедших с рождения Коперника, мы окончательно расстались с представлениями о Земле как о центре Вселенной. Расстались и умом и сердцем. Но всякий раз, как только заходит речь о жизни на других мирах, мы в какой-то степени возвращаемся в эпоху геоцентризма. «Нет, разумеется, жизнь во Вселенной существует, количество обитаемых миров огромно»,— повторяем мы вслед Джордано Бруно и умом понимаем, что это действительно так. Но сердцем убеждены, что ничего лучше для торжества и прогресса жизни, чем наша зеленая прекрасная Земля, нет и быть не может. Мы просто очень любим ее, чтобы уверовать в то, что может существовать нечто неприемлемое и враждебное нам, но пригодное и благоприятное для иных, неизвестных нам форм жизни. Быть может, то, что мы называем «высшими организмами», не столь уж и высоко, а верхние ступени земной эволюции могут на других мирах оказаться внизу эволюционной лестницы. Сам говорю, но не верю, понимаю, что в это трудно поверить. Даже не поверить — принять трудно. Наша любовь (как всякая любовь) мешает нам быть объективными.

Я не могу это доказать с графиками и спектрограммами в руках, но я убежден, что жизнь на Марсе существует не только в виде бактерий и спор. Я убежден, что необыкновенная пластичность и великая приспособляемость живого способны победить не только суровые условия существования на красной планете, но и пустить корни в среде еще более невероятной, тяжелой и невозможной для жизни с нашей, земной, точки зрения. И мне очень хочется дожить до того дня, когда я смогу в этом убедиться.

## 3

Это высохшее озеро находится в Калифорнии, в сорока пяти милях к северо-востоку от Барстоу. Сухая, потрескавшаяся земля не прельщала любителей загородных прогулок, а тут еще понедельник, раннее утро и вокруг не было ни души. Но если бы кто-нибудь тут был, он еще издали заметил бы низко летящий вертолет. Вот он снизился еще. До земли оставалось метров восемьдесят, когда от вертолета отделился какой-то предмет, очень напоминающий колесо, так что стороннему наблюдателю могло показаться, что вертолет разваливается. С глухим стуком «колесо» врезалось в твердую землю. И если бы теперь наш любознательный наблюдатель подошел ближе и прислушался, то, наверное, он мог бы уловить легкое гудение, исходящее из ступицы «колеса»: работал радиопередатчик.

Происходило все это в апреле 1968 года. Лаборатория реактивного движения отработывала аппарат, предназначенный для посадки на Марс. Испытания прошли успешно. Несмотря на то, что парашют не применялся и скорость встречи с Землей составляла без малого 130 километров в час, радиоприемник остался цел и работал в течение часа.

В Пасадене эти испытания назвали «важным шагом в программе, которая должна доказать осуществимость плана отправки на Марс в ближайшем будущем легкой посадочной капсулы с научными приборами». «Ближайшее будущее» растянулось на долгие годы. Посадочная капсула, похожая на колесо, так и не была отправлена к Марсу на очередном «Маринере». Но вины Пасадены в том нет.

В Пасадене как раз хорошо понимали, что самые лучшие и подробные карты, самые крупные победы марсографии все-таки несравнимы с решением проблемы жизни на красной планете. В течение многих лет Лаборатория реактивного движения неустанно занималась подбором ключей к этому тайнику, в котором хранится едва ли не самый сокровенный секрет солнечной системы.

В середине 60-х годов НАСА планировало послать на Марс с помощью самой мощной американской «лунной» ракеты «Сатурн-5» автоматический корабль «Вояджер» весом более трех тонн, что примерно в шесть-семь раз тяжелее нынешних межпланетных станций.

Автомат-гигант должен был состоять из двух отсеков, один из которых останется на орбите Марса, а другой опустится на планету. На борту этого отсека должны были находиться автоматическая метеостанция, анализатор атмосферы и, что особенно важно, аппаратура для обнаружения следов жизни.

Маленькая порция марсианской почвы должна была помещаться в питательный бульон. Если в ней есть микроорганизмы, они расплодятся в бульоне и вызовут тем самым его помутнение, которое можно зафиксировать телеаппаратурой. В другом эксперименте предполагалось найти следы процесса фотосинтеза. Этот основной жизненный процесс на Земле, материализующий углекислый газ и солнечный свет, по мысли экспериментаторов, возможно, действует и на Марсе. Образец марсианской почвы предполагалось обработать строго отмеренным количеством углекислого газа ночью и днем, а затем проверить, изменяется ли количество газа. Если днем газ убывает, а ночью нет — значит, процесс идет. Опыт можно и видоизменить. Поскольку все живое на Земле выделяет углекислый газ в процессе жизнедеятельности, тщательный газовый анализ образца почвы также мог бы дать интересные результаты. Телевизионные камеры и микрофоны дополняли всю эту аппаратуру.

Полет «Вояджера» планировался на 1973 год. Но, как вы знаете, этого не случилось. Прежде всего потому, мне кажется, что «Вояджер» был торпедирован «Аполлоном». Сильно подорванный после запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли и полета Юрия Гагарина «космический» престиж Соединенных Штатов заставил президента Д. Кеннеди объявить программу высадки на Луну общенациональной программой. В середине 60-х годов, когда начинались работы над «Вояджером», все главные людские и материальные ресурсы американской космонавтики были переброшены на «Аполлон». Эти необыкновенные усилия увенчались успехом в июле 1969 года, когда Нил Армстронг впервые ступил на Луну. Пять последующих путешествий по Луне закрепили успех программы.

Американцы сами признают, что «Аполлон» — это прежде всего престижная, а уже потом научная программа. В декабре 1973 года, например, возвращаясь к прошлым событиям, американский обозреватель Джон Уилфорд писал в газете «Нью-Йорк таймс»: «...американцы совершили полет на Луну не столько с целью изучить ее, сколько потому, что им хотелось «опередить русских»... Даже некоторые сторонники космических исследований признают, что страна, возможно, допустила ошибку, осуществив проект «Аполлон» в таком молниеносном темпе и за такие колоссальные деньги. Эти несбалансированные усилия привели не только к тому, что у населения сложилось неправильное впечатление о том, что «Аполлон» был космической программой».

Одной из, увы, многочисленных жертв этих «несбалансированных усилий» и явился проект «Вояджер», чисто научное значение которого при успешном его выполнении, мне думается, могло бы превзойти научное значение любой из лунных экспедиций, при всем богатстве собранного ими материала.

3 июля 1969 года в редакционной статье «Разведка Марса» газета «Нью-Йорк таймс» писала о прямой угрозе Пасадене: «...американское политическое руководство было так поглощено программой высадки человека на Луну, что беспилотное зондирование планет стало пасынком национальной космической программы. Были времена, когда казалось сомнительным даже дальнейшее существование Лаборатории реактивного движения — центра беспилотных полетов».

Но Пиккеринг и его соратники в Калифорнии не успокоились. Через некоторое время в Пасадене появился новый, доработанный во всех деталях проект, который получил название «Викинг».

Общая схема полета «Викинга» к Марсу и посадки спускаемого отсека на его поверхность отличается от схемы «Вояджера» техническими деталями, представляющими интерес лишь для специалистов. Пожалуй, самое существенное отличие двух этих проектов — ракета-носитель. НАСА уже не может предоставить для «Викинга» «Сатурн-5», поскольку эти ракеты были израсходованы на лунные «Аполлоны», а постройка новых грозит слишком большими расходами. Количество «Сатурнов» в настоящее время измеряется единицами. Одна из этих считанных ракет выделена, например, для совместной советско-американской программы «Союз» — «Аполлон». Поэтому для «Викинга» готовят более скромную по своим размерам ракету «Титан-3Е-Кентавр». Если «Сатурн-5» мог отправить к Марсу полезный груз весом в 36 тонн, то новая ракета способна вывести на марсианскую орбиту в десять раз меньше. Таким образом, по своим весовым характеристикам «Викинг» находится на пределе возможностей носителя.

Но все это было бы ничем, если бы «Титан-3Е-Кентавр» уже существовал. Пока что этот ракетный гибрид — нечто среднее между реально существующими «Сатурном-5» и «Атлас-Кентавром» — находится в стадии испытаний.

Если «Сатурн-5» зарекомендовал себя хорошо, то сказать это об «Атласе» нельзя. Эта ракета уже применялась во время стартов межпланетных автоматов. По мнению американцев, ракета «Атлас», пожалуй, самая капризная из американских ракет. Подобно дирижаблю, она постоянно нуждается в избыточном внутреннем давлении, чтобы сохранить жесткость и прочность своей конструкции. Разгерметизация «Атласа» — это очень серьезное дело. В феврале 1969 года, например, во время подготовки к старту «Маринера-6» в сторону Марса аварийное падение давления внутри «Атласа» вызвало появление «морщины» на корпусе ракеты, сделанном из нержавеющей стали толщиной не более листа бумаги, на которой напечатана эта статья. Ракету тогда пришлось заменить. Поэтому от «Атласа», которого космический обозреватель ЮПИ Росситер однажды иронически назвал «уникальной ракетой», можно ожидать всяких неприятных сюрпризов. Что получится в результате этой ракетной гибридизации, трудно сказать — гибрид только выращивается. Первый экспериментальный полет состоялся в феврале нынешнего года и оказался неудачным: отказала вторая ступень ракеты.

Отсутствие реального носителя не мешает в Пасадене говорить о «Викингах» как о деле решенном. Составлен довольно подробный план подготовки этого эксперимента. Точнее, экспериментов, так как планируется старт двух одинаковых станций. Одна

Из них начнет стадию предстартовых испытаний на мысе Канаверал уже в ноябре 1974 года. В январе 1975 года этот автомат вместе с ракетой-носителем установят на стартовом комплексе № 41, специально переоборудованном под новую ракету, где предстартовые испытания всей системы будут продолжены. Затем она уступит место другой ракете, с другим «Викингом», который и стартует 11 августа 1975 года. Примерно через десять дней состоится второй старт.

Две межпланетные станции значительно увеличивают вероятность успеха этого эксперимента. Если же их почти годовые путешествия к Марсу пройдут благополучно, тем лучше: можно будет исследовать сразу два района планеты.

Посадочная площадка для первого «Викинга» выбрана в долине, недалеко от устья Великого марсианского каньона. Из этой долины, лежащей в зоне систематических сезонных потемнений и находящейся примерно на пять километров ниже среднего уровня поверхности Марса, разбегается целая сеть каньонов и оврагов. «Возможно,— пишет научный обозреватель газеты «Вашингтон пост» Томас О'Тул,— в свое время здесь находилась дренажная система для экваториальных районов Марса». Если допустимо говорить о влажности в условиях Марса, это место эквивалентно бассейнам Конго или Амазонки на Земле.

Площадка для посадки второго «Викинга» выбрана еще ниже. Она лежит уже в 5760 метрах ниже среднего уровня, примерно в 1600 километрах к северо-востоку от первого финиша. С этим районом граничат снега северного полюса Марса. Здесь чаще, чем в других местах, можно наблюдать нечто напоминающее облака, которые, как надеются, могут отчасти увлажнять марсианскую сушь.

Выражаясь языком средневековых астрологов, этому эксперименту благоприятствует положение небесных светил. Благоприятствует в пропагандистском плане. Взаимное положение Земли и Марса позволяет рассчитать время старта таким образом, чтобы первый «Викинг» сел на Марс 4 июля 1976 года, в день большого национального торжества — двухсотлетия Соединенных Штатов. Слов нет, это будет хороший подарок к празднику, хотя и не дешевый: стоимость программы приближается к миллиарду долларов.

Восторг устроителей грядущих торжеств, проложивших праздничную траекторию «Викингам», отнюдь не разделяют специалисты по дальней космической связи. Дело в том, что летом 1976 года Марс будет находиться по ту сторону Солнца, на расстоянии примерно 330 миллионов километров от Земли. Космические автоматы окажутся совершенно «беспризорными». Земля не может управлять ими на расстоянии, которое радиосигналы проходят за 45 минут. Таким образом, и такой сложный этап полета, как разделение отсека и посадка спускаемого аппарата на поверхность Марса, целиком ложится на плечи бортового командного компьютера. Лишь через 45 минут Земля сможет узнать о том, насколько успешно «примарсилась» их стерилизованная лаборатория (не зная, чем может грозить заражение инопланетной среды земными микроорганизмами, в НАСА решили не отправлять на другие планеты станции и корабли без предварительной стерилизации, по крайней мере, до 2018 года).

Если все пройдет хорошо, автоматическая лаборатория по проекту должна будет работать на поверхности Марса не меньше трех месяцев. Две ее телекамеры должны регулярно посылать на Землю цветные марсианские панорамы. Специальные анализаторы попытаются установить точный состав атмосферы. Сейсмографы «прослушают» планету, метеорологическая аппаратура расскажет о марсианской погоде. Маленькие механические руки-манипуляторы начнут серию биологических исследований.

Итак, будем ждать, помутнеет ли земной бульон от марсианских бацилл. А если не помутнеет? Впрочем, как сказал один американский ученый, «обнаружить, что на Марсе нет жизни, так же важно, как и обнаружить на нем жизнь». Это верно. И все-таки, мне кажется, слова популярного лектора из «Карнавальной ночи»: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это пока науке неизвестно», могут остаться справедливыми и после финиша «Викингов». В самом деле, согласитесь, что биологический анализатор, подобный анализаторам «Викингов», установленный в некоторых районах такой пышущей жизнью планеты, как Земля (высокогорья, пустыни, полярные области), может и не обнаружить на ней жизни, не говоря уж о том, что мар-

сианские микроорганизмы, о которых мы абсолютно ничего не знаем, могут вовсе не размножиться в земном бульоне, а, напротив того, погибнуть в нем. Свообразным контрольным опытом надо считать запуск третьего «Викинга», который пока планируется на 1979 год. Допустим, мы получим с помощью автоматов какие-то ответы. Кстати, вполне может случиться, что разные автоматы дадут разные ответы. Но пусть все ответы будут одинаковыми. Какими?

Отрицательный ответ, я уверен, никого ни в чем не убедит. Положительный — я также убежден в этом — непременно породит подозрения: не земные ли это микроорганизмы, занесенные на Марс самой аппаратурой, несмотря на все ухищрения стерилизации? И уж обязательно возникнут вопросы: а не оптика ли помутнела вместо бульона, а не растворилось ли в нем какое-нибудь неорганическое красящее вещество, находящееся в почве? Вопросов таких придумать можно бесконечное множество, и, при всем совершенстве аппаратуры Пасадены, ответы на все эти вопросы «Викинги» дать не смогут. Правда, если очень повезет и мы увидим нечто бесспорно живое с помощью телекамер, это уже убедительно. Во всяком случае, намного убедительнее опытов с бульоном. Но тут надо, чтобы действительно чертовски повезло!

Конечно, и единственный положительный ответ удесятерит наше всепобеждающее земное любопытство и придаст новые силы тем, кто будет готовить первую марсианскую экспедицию землян. Не столько сомнения в способностях умельцев из Пасадены, сколько знание извивов человеческой психологии подсказывает, что лишь такая экспедиция сможет поставить окончательную точку в великом споре о жизни на Марсе.

Я всегда считал неуместными и вздорными всякие противопоставления работы межпланетных автоматов пилотируемым кораблям. И у тех и у других свои, трудно пока взаимозаменяемые задачи. Однако короткая история космонавтики показывает, что путь человеку прокладывает автомат. Так было с орбитальными полетами вокруг Земли: Гагарин полетел после искусственного спутника. Так было с Луной: Армстронг сел на ее поверхность после «Луны-9». Так будет и с Марсом. И никогда ни один самый совершенный автомат не расскажет нам о красной планете столько, сколько сможет рассказать человек.

Это хорошо понимают в Пасадене, рассматривая уже состоявшиеся полеты «Маринеров» и будущие старты «Викингов» как увертюру к героической эпопее путешествия землян на Марс.

В январе 1961 года «Нью-Йорк геральд трибюн» опубликовала довольно безответственное сообщение о том, что НАСА планирует послать 19 мая 1971 года гигантскую ракету весом в 613 тонн, с атомной двигательной установкой. Собранная на орбите искусственного спутника Земли семидесятиметровая ракета должна была якобы унести к Марсу экипаж из 7 человек. Может быть, кто-нибудь из журналистов принял за проект первые прикидочные наброски, а может, был просто обычный американский газетный блеф, не знаю. Знаю только, что о марсианской экспедиции 1971 года потом старались не вспоминать.

А если говорить серьезно, будущая марсианская экспедиция находится в стадии первоначальных, эскизных набросков. Ясно, что такой полет не может стоять вне других космических программ. Он теснейшим образом связан не только с успешными полетами упомянутых межпланетных автоматов, но и с проблемами прогнозирования активности Солнца, и с результатами длительных медико-биологических исследований в космосе, с прогрессом в области создания долгодействующих орбитальных станций. Именно эти станции станут, очевидно, теми космическими причалами, к которым будут швартоваться марсианские корабли.

Однако, помимо всех научно-технических факторов, диктующих свои условия марсианской экспедиции, существует еще один фактор, увы, неподвластный нам совершенно: не всегда взаимное расположение планет позволяет нам стартовать к Марсу. Расстояние между Землей и Марсом во время их противостояний<sup>4</sup> меняется очень сильно: от 56 миллионов до 102 миллионов километров. Ближе всего к нам

<sup>4</sup> Противостоянием называется такое положение планет, когда Марс, Земля и Солнце находятся примерно на одной прямой.



в последние годы Марс подходил 10 августа 1971 года (56,2 миллиона километров). Даты следующих сближений: 15 декабря 1975 года (84,6 миллиона километров), 22 февраля 1978 года (97,8 миллиона километров). Американцы считают, что самая ранняя из возможных дат старта людей к Марсу — 12 ноября 1981 года. Тогда 9 августа 1982 года корабль достигнет орбиты спутника красной планеты, где должен будет находиться примерно три месяца. За это время можно высадиться на Марс в специальном «экскурсионном» корабелике. Наконец, совершив обратный перелет, земные «марсиане» должны причалить к орбитальной станции 14 августа 1983 года.

В первоначальных, эскизных набросках изучается, например, вариант с двумя космическими кораблями, рассчитанными на экипаж из 12 человек. Однако в каждом корабле с учетом возможной поломки в пути и необходимой последующей пересадки полетит лишь по 6 человек.

Специальный «экскурсионный» корабелик, рассчитанный на экипаж от 3 до 6 человек (вот кому действительно можно позавидовать!), стартует с орбиты спутника к Марсу после того, как автомат, спущенный предварительно на планету, еще раз подтвердит, что космонавтам ничего не угрожает. Находиться на Марсе космонавты будут около двух месяцев. Таков в самых общих чертах один из возможных вариантов.

Я упоминаю о нем так бегло потому, что это уже полеты пилотируемые, которые к калифорнийской Лаборатории реактивного движения прямого отношения не имеют. И все-таки...

Невиданные в истории человечества масштабы будущей экспедиции людей к Марсу все чаще и чаще приводят к мысли, что она может быть осуществлена только при условии длительного мира и теснейшего научно-технического сотрудничества. Грандиозность задуманного со всей очевидностью доказывает, что подобная экспедиция вряд ли может быть изолированно осуществлена какой-либо одной страной, что исследование всей планеты Марс — дело всей планеты Земля.

О том, что экспедиция на Марс должна быть международной экспедицией, дальновидные американцы говорили и писали уже давно, еще до первой высадки на Луну. Летом 1969 года газета «Нью-Йорк таймс» задала вопрос одним из своих заголовков: «После «Аполлона» — Марс?». «По сравнению с расходами, связанными с экспедицией на Марс,— писала газета,— те 24 миллиарда долларов, которые израсходованы на проект «Аполлон», покажутся ничтожно малой суммой... Всякий форсированный марсианский вариант «Аполлона» потребовал бы сотни миллиардов долларов, более необходимых для удовлетворения потребностей людей на Земле, где нужно решать самые разнообразные задачи — от борьбы с бедностью до борьбы с загрязнением воздуха и воды и обеспечения должного уровня просвещения, медицинского обслуживания и питания. Будет печально,— продолжала газета,— если пилотируемый полет на Марс будет совершаться в условиях такого же расточительного национального соперничества, каким сопровождается полет на Луну. Такой проект имеет смысл, только если он будет осуществляться на подлинно международной основе...»

Чуть позднее председатель комиссии палаты представителей по вопросам науки и техники калифорниец Джордж Миллер говорил: к тому времени, когда полет на другие планеты станет инженерной реальностью, «есть шансы, что Россия присоединится к Соединенным Штатам в осуществлении полета на Марс как международной экспедиции».

Когда мы были в Нью-Йорке, мне показали другую газету, вышедшую накануне первой экспедиции американцев на Луну. Тогда уже было известно, что Армстронг и Олдрин оставят на Луне пять символов в память погибших космонавтов — трех американских и двух советских. И газета эта писала: «Насколько будет лучше, если когда-нибудь в будущем первый космический корабль увезет на Марс живых американцев, русских и граждан других стран как представителей всего человечества в этом величайшем из человеческих свершений».

Мне понравились эти слова. Я переписал их в записную книжку и не раз вспоминал о них в Пасадене. С кем бы ни заходил у нас там разговор о будущих полетах к красной планете, он всегда оканчивался дружеским похлопыванием по плечу и непрременным возгласом:

— Ну, на Марс мы, конечно, полетим вместе!

Первый, пусть пока очень скромный, опыт сотрудничества в изучении планет уже существует.

Соглашение об обмене фотоснимками Марса, достигнутое во время совместного полета трех межпланетных станций — советских «Марса-2» и «Марса-3» и американского «Маринера-9», — ознаменовало новую веху не только в изучении красной планеты, но и в истории советско-американского научного сотрудничества. Именно так оценивала это соглашение газета «Вашингтон пост», утверждая, что оно «представляет собой первое соглашение такого рода за четырнадцать лет космического века».

Можно сказать с уверенностью: это доброе начало.

#### 4

Мистер Дональд Рей, помощник директора Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института, в последний раз щелкнул кнопкой дикскопа, экран, на котором секунду назад перед нами разверзались марсианские пропасти, отснятые «Маринером-9», погас, в комнате вспыхнул свет, все зажмурились, а когда открыли глаза, мистер Рей уже сидел за столом и улыбался.

Так началась пресс-конференция, устроенная для нас американскими специалистами в Пасадене. Впрочем, начали ее не мы, а сам мистер Рей. Оказалось, два года назад он принимал участие в научном симпозиуме по изучению планет в Москве, и прежде всего попросил нас передать привет «двум советским академикам Петровым» — Борису Николаевичу и Георгию Ивановичу, нашим ведущим ученым в области космонавтики, беседы с которыми он вспоминает с большим удовольствием.

— А теперь прошу задавать вопросы, господа...

Вопросов было много. От марсианских фотографий, с дел минувших очень скоро перешли к делам недалекого будущего, беседа наша стартовала на другие орбиты — в прямом и переносном смысле.

Эти заметки я начал с рассказа об исследовании Марса не только потому, что «Маринер-9» дал к тому прекрасный повод, но и потому, что марсианская программа Пасадены, пожалуй, наиболее интересная и перспективная. Это, однако, не значит, что Лаборатория реактивного движения сосредоточила все свои усилия на красной планете. В беседе с мистером Реем и другими специалистами очень быстро определились три основные направления развития автоматических разведчиков планет: Марс, идущие следом за ним планеты-гиганты, главным образом Юпитер и Сатурн, и так называемые внутренние планеты — Венера и Меркурий.

Венерой, ближайшей соседкой Земли, в Пасадене занимаются уже давно. Здесь были созданы автоматические венерианские станции «Маринер-2» (1962) и «Маринер-5» (1967). Обе изучали планету с так называемой пролетной траектории, которую, учитывая природу Венеры, нельзя назвать самой удачной для ее исследования. И вот почему.

Именно об этой планете, расположенной к нам ближе других, до самого последнего времени было известно меньше, чем о несравненно более удаленных от нас «родственников» по солнечной семье. Густая, почти непроницаемая (облака на Венере отражают 70—80 процентов падающих на планету солнечных лучей) атмосфера Венеры наглухо закрывает планету и от земных наблюдателей и от «глаз» космических автоматов в моменты их пролета. Рассмотрение планеты вблизи, столь обогатившее наши знания о природе Марса, не дает здесь подобного эффекта. Только благодаря успешным полетам нескольких советских межпланетных станций, начало которым положила «Венера-4» в октябре 1967 года, совершив парашютный спуск аппаратуры на поверхность планеты, список ее загадок был значительно сокращен. Теперь уже достоверно известно, что температура на поверхности Венеры лежит в интервале 400—530 градусов, а давление колеблется от 60 до 140 атмосфер. Атмосфера Венеры почти целиком состоит из углекислого газа. В небольшом количестве в ее состав входят азот, благородные газы, кислород и водяные пары. Недавно в верхнем ярусе венерианских облаков обнаружили частицы концентрированной серной кислоты.

Мне особенно хотелось бы подчеркнуть достижения советских космических автоматов потому, что в отличие, скажем, от Марса, основные параметры атмосферы которого были с большей или меньшей точностью определены астрофизиками на Земле задолго до начала космических полетов, о Венере не было известно почти ничего. Достаточно сказать, что в определении температуры на ее поверхности те же астрофизики ошибались на 400 градусов. Мне кажется, для конструкторов спускаемых аппаратов Венеры было бы лучше вообще ничего не знать, чем знать то, что могли им дать астрономы в период, когда эта аппаратура проектировалась. Я никогда не забуду эти воистину «звездные минуты» в Центре дальней космической связи, в течение которых спускаемый аппарат «Венеры-4» рассказал нам о таинственной планете больше, чем было известно за всю историю человечества. И если доктор Мюррей считает, что «Маринеры» увеличили наши знания о Марсе в сто раз, то берусь утверждать, что «Венера-4» увеличила наши знания о Венере в тысячу раз.

Однако повторяю: каждая страна ищет и находит в планетарных экспедициях автоматов свой путь и наука только выигрывает, если пути эти не дублируют друг друга.

«На следующий день после спуска в атмосфере Венеры спускаемого аппарата станции «Венера-4» к той же планете подлетела и начала ее исследовать, что называется, извне американская автоматическая станция «Маринер-5», — отмечалось в одном из научных комментариев ТАСС. — Две страны, два разных метода, и в результате — богатейший научный материал, не оставляющий сомнений в точности полученных данных, исключающий всякий элемент случайности».

Но какие бы методы ни применялись для изучения Венеры, уже ясно, что душный, темный, раскаленный мир «утренней звезды», приоткрывшийся в последние годы, возводит на пути проникновения человека на эту планету труднопреодолимые препятствия. Во всяком случае, эти препятствия несравнимы с теми, которые видятся перед марсианскими экспедициями землян. И если марсианские экспедиции в основных своих чертах уже сегодня лежат в рамках инженерных реальностей, то об экспедиции на Венеру так сказать нельзя. Думаю, что в XX веке Венера будет целиком отдана «на откуп» космическим автоматам.

Интерес к изучению этой «некомфортабельной» планеты, очевидно, несколько снижается еще и потому, что, по мнению специалистов, нет практически никаких надежд обнаружить на Венере даже примитивные формы жизни. Некоторые из ученых, например уже упоминавшийся мною американский астроном К. Саган и советский астроном И. С. Шкловский, считают, что есть больше оснований обнаружить жизнь на Юпитере, чем на Венере.

И тем не менее в Пасадене считают, что исследования Венеры надо продолжать все более быстрыми темпами.

3 ноября 1973 года с мыса Канаверал был запущен космический автомат «Маринер-10», или «МВМ-73», как называли его в Пасадене, где и была разработана вся технология его постройки, осуществленная затем компанией «Боинг». Внешне он очень похож на своего знаменитого марсианского предшественника «Маринер-9». Правда, сразу можно заметить, что «крылья» его солнечных батарей словно подрезаны. Ведь он летит не от Солнца, а к Солнцу, и его энергетические затраты можно обеспечить меньшей поверхностью фотоэлементов. Вскоре после старта «Маринер-10» передал несколько фотографий Земли и Луны — это была «пристрелка» его бортовых телевизионных камер, — а затем лег на курс к Венере.

Этот автомат продолжил уже ставшие в какой-то мере традиционными для американцев исследования Венеры с пролетной траектории. Пройдя 5 февраля 1974 года на расстоянии 5736 километров от нее, «Маринер-10» рассмотрел Венеру с помощью двух телекамер, разработанных специально для него в Калифорнийском технологическом институте, и передал 3712 снимков.

На фоне светлых венерианских облаков удалось сфотографировать какие-то темные пятна, происхождение которых никто не берется объяснить. Поговаривают (это тоже уже «традиционное» объяснение всего непонятого) о дефектах аппаратуры. Журналисты насаждают на Брюса Мюррея, который руководил работами по съемке Венеры, требуют от него комментариев. Насколько легко было Мюррею беседовать

с нами о Марсе, настолько же трудно ему говорить что-либо определенное о Венере. Единственно в чем он уверен, так это в том, что черные пятна — не поверхность Венеры. Ее атмосфера слишком густа и плотна, чтобы допустить, что «Маринеру-10» удалось отыскать в ее облаках «окна».

Но больше снимков всех волновал на этот раз один из гироскопов, отвечающих за ориентацию станции. Его поломка за восемь дней до сближения с Венерой привела к непредвиденным расходам сжатого азота, на котором работают двигатели ориентации станции. Существовал план вообще отказаться от ориентации «Маринера-10» для фотографирования Венеры, чтобы сэкономить азот для проведения самой интересной части задуманной программы.

В отличие от предыдущих венерианских «Маринеров» конечный пункт назначения десятого лежит много дальше туманной планеты. Дата старта выбрана не только исходя из местоположения Венеры и Земли. В пасаденском индексе «МВМ-73» закодирован новый маршрут: «Маринер» — Венера — Меркурий 1973 года. Кроме Венеры, этот космический разведчик призван начать непосредственное изучение Меркурия — первой планеты семьи Солнца.

Все трудности, на которые обычно ссылаются наблюдатели Венеры, еще в большей степени справедливы для Меркурия. Близость этой планеты к Солнцу чрезвычайно мешает астрономам. Меркурий относительно хорошо виден перед восходом и после заката Солнца, но тогда он находится очень низко над горизонтом и одну беду (спящий свет) сменяет другая — плотный слой земной атмосферы. Все это объясняет скудность наших сведений об этой планете.

Известно, что Меркурий подходит к Солнцу на расстояние примерно втрое меньшее, чем Земля. Крещенный именем древнегреческого бога торговли, которого всегда изображают с маленькими крылышками на лодыжках, быстроногий Меркурий бежит по своей орбите с рекордной для планет скоростью — более 200 тысяч километров в час. Очень долгое время считалось, что период вращения Меркурия вокруг оси равен периоду его обращения вокруг Солнца, — иными словами, что Меркурий всегда повернут к Солнцу одной своей стороной, подобно тому как Луна всегда обращена одной стороной к Земле. Только в 1965 году Г. Петтенгил и Р. Дэйс установили с помощью радиолокационных методов, что это совсем не так. Оказалось, что Меркурий делает уникальные пируэты в планетном хороводе, совершая три оборота вокруг оси за каждые два оборота вокруг Солнца. Весьма своеобразный получается календарь: трое суток равны двум годам (или пятнадцать суток равны десяти годам, что уже никак невозможно вообразить юристу). Это весьма важное открытие. Если существует некая периодичность освещения Солнцем различных участков планеты, значит, можно говорить не только о температуре, но и о климате Меркурия и о влиянии переменных температур на формирование его поверхности. Теоретики предсказывали, что на дневной стороне планеты температура около +340 градусов, а на ночной — 125—175 градусов ниже нуля. (Замечу в скобках, забегая вперед, что теоретики, как и следовало ожидать, ошибались: замеренная температура лежит в пределах от —185 до +510 градусов.) Геологи Лаборатории реактивного движения Зохар и Голдстейн много лет пытались провести радиолокационный анализ поверхности Меркурия. В 1970 году неподалеку от его экватора удалось «разглядеть» нечто напоминающее кратеры. Данные этих исследований до сих пор обрабатываются в Пасадене.

Первые более чем скромные сведения о структуре поверхности этого первенца Солнца уже вызывали ожесточенные споры. Т. Маккорд и Д. Адамс из Массачусетского технологического института утверждают, например, что грунт Меркурия аналогичен по своему составу лунному грунту, потрясая спектрограммами с полосами поглощения титанового и железного стекла. Роберт Стром из Аризонского университета убежден, что «по объемному составу Меркурий должен полностью отличаться от Луны».

Советский астроном профессор Н. А. Козырев привел веские доказательства в пользу существования атмосферы. Директор отдела внутренних планет английской астрономической ассоциации Х. Робинсон заявил в феврале 1974 года, что, «по всей вероятности, профессор Козырев прав». Научный обозреватель агентства Пресс Ассошиэйшн Николас Тимменс с изумительным злорадством отмечал: «Английские астрономы считают, что русский ученый опередил американский космический корабль и сделал важное

открытие, связанное с Меркурием». И в общем он оказался прав. В ночь с 29 на 30 марта нынешнего года «Маринер-10» прошел на расстоянии 720 километров от поверхности Меркурия и подтвердил наблюдения Козырева: действительно, весьма разреженная атмосфера маленькой планеты состоит из инертных газов и водорода.

Траектория полета к Меркурию была выбрана таким образом, что поле тяготения Венеры отклонило межпланетную станцию и направило ее в сторону Меркурия. Маневр довольно тонкий: ошибка вблизи Венеры всего на один километр (величина исчезающе малая, если учесть, что в это время Землю и Венеру разделяют 45 миллионов километров) грозила увеличиться около Меркурия уже до тысячи километров. Потому во время полета «Маринера-10» было предусмотрено три коррекции его траектории с помощью специальных двигателей, созданных инженерами Пасадепы.

Сегодня все трудности и тревоги позади. «Маринер» передал на Землю более 800 фотографий, и... перед глазами астрономов открылась довольно унылая и, уввы, знакомая картина: кратеры, длинные узкие долины, протянувшиеся далеко друг от друга цепочки гор. На первый взгляд «портреты» Меркурия напоминают фотографии Луны. Но только на первый взгляд. На Меркурии нет лунных «морей», здесь больше огромных кратеров с поперечником до 300 километров и глубиной до 700 метров. Крутых острых вершин здесь мало. Для Меркурия характерны невысокие, до километра, горы. Отличия от Луны дополняются тем, что у Меркурия удалось обнаружить очень слабое магнитное поле, форма которого совершенно не похожа на форму земного магнитного поля. Брюс Мюррей считает, что, несмотря на внешнее сходство ландшафтов Меркурия и Луны, эволюция этих небесных тел могла быть различной. В общем, перефразируя его слова, сказанные во время нашей встречи в Калифорнии, Меркурий тоже ни на кого не похож. Меркурий похож на Меркурий.

Промчавшись мимо Меркурия, «Маринер-10» стал спутником Солнца<sup>5</sup> и будет периодически возвращаться в окрестности Меркурия. Подсчитано, что он совершит такие пролеты в сентябре 1974 года и в марте 1975 года.

В Пасадепе «Маринер-10» считается прежде всего разведчиком Меркурия, а Венера для него уж так, «по совместительству».

— Венера интересует тех, кто занимается атмосферой, — заметил Брюс Мюррей, — а Меркурий привлекает геологов и геофизиков. Поэтому-то все так и всполошились, когда около Венеры отказал гироскоп ориентации.

Однако несмотря на этот отказ и выход из строя анализатора солнечной плазмы, «Маринер-10» считается в Пасадепе наиболее совершенным автоматом. У него расширен спектр радиоволн для связи, установлены специальные телекамеры, наконец, он, если можно так сказать, гораздо более «говорлив». Если «марсианин» «Маринер-9» передавал 16 тысяч бит информации в секунду, то «Маринер-10» может передать 117 тысяч.

Остается только добавить, что в Пасадепе работают люди скромные. Они специально подчеркивали, что честь запуска «Маринера-10», который обошелся НАСА в общей сложности в 114 миллионов долларов, принадлежит не только им. На эту программу работал 21 университет США. Более 45 специалистов помогли инженерам Пасадепы в разработке аппаратуры для этой экспедиции «встречь Солнцу».

Полет «Маринера-10» безусловно скажется и на подготовке будущих экспедиций к внутренним планетам. Как и в случае с Марсом, большое значение в определении сроков таких полетов имеет расписание движения планет, которое природа выдерживает с такой точностью, что ему может позавидовать любое расписание подготовки космического старта. Наиболее благоприятен полет к Венере летом 1978 года. В Пасадепе уже ведутся работы по созданию аппаратов, которые смогли бы совершить посадку на ее поверхность, стартуя в это время. Кроме того, Лаборатория реактивного движения предложила НАСА произвести в 1981, 1983 или 1984 годах запуск нового аппарата под условным названием «Воир», который должен стать искусственным спутником Венеры и обращаться вокруг нее по круговой орбите, проходящей над обоими ее полюсами в пятистах километрах от поверхности. Это позволит аппарату провести радиоло-

<sup>5</sup> Первый искусственный спутник Солнца — советская автоматическая станция «Луна-1» весом (вместе с последней ступенью ракеты-носителя) 1472 килограмма — запущен 2 января 1959 года.

кационный обзор поверхности Венеры и «рассмотреть» объекты размером до десяти — ста метров.

Насколько можно понять, «Воир» уже не будет просто очередной модернизацией «Маринера». Траекторные задачи, которые стоят перед этим аппаратом, требуют значительно большей свободы маневрирования, а значит, значительно более мощной двигательной установки и увеличенных запасов топлива. Одно это уже должно привести к пересмотру конструкции «Маринера» и созданию принципиально нового аппарата.

Однако не будем гадать. Самые большие конфузы футурологов связаны как раз с прогнозами научных открытий. И не так уж важно, когда эти открытия произойдут, в 1978 или 1981 годах. Уже много веков астрономы обозначают Венеру символическим значком — круглым зеркалом на длинной ручке. Ведь Венера — богиня красоты, и красоты нетленной. Что такое для нее еще три-четыре года?

##### 5

Серые туманные шапки полюсов постепенно переходили в светло-синие полосы, затем шли желтые, оранжевые, красно-коричневые, как кирпичная пыль. Яркие концентрические обручи перепоясывали всю атмосферу гигантской планеты. Знаменитое «красное пятно», над тайной которого уже столько десятилетий ломают голову астрономы всего мира, ярко горело на серебристо-сером фоне. Какое-то другое белое овальное пятно врезалось в красно-кирпичную муть, подобно шапке земного тропического урагана, если смотреть на нее с орбиты. Но что же это за ураган, если размеры белого пятна — 16 тысяч километров! Иногда хорошо были видны какие-то белые штрихи, словно неумелый ретушер подправлял эту фантастическую картину. И все это несло и вертелось волчком, странным пестрым волчком в черной бездне неба...

Эта картина предстала перед глазами специалистов Пасадены в 5 часов 24 минуты утра по московскому времени 4 декабря 1973 года, когда космический аппарат «Пионер-10» достиг своей желанной цели, пролетев в 130 тысячах километров от Юпитера. Путешествие, затянувшееся на двадцать один месяц, ознаменовало новый этап изучения солнечной системы: полеты уже не к космическим соседям, а к дальним планетам-гигантам и дальше — к границам Большого космоса.

Несмотря на то, что Юпитер был известен земным астрономам лучше, чем Венера или Меркурий, первый полет рассказал очень много интересного об этой самой большой планете солнечной семьи. Информация «Пионера» вдребезги разбила многие предсказания теоретиков. Оказалось, например, что магнитное поле Юпитера охватывает область в два раза большую, чем предполагалось, и имеет более сложную структуру, чем магнитное поле Земли. Интенсивность радиации в радиационных поясах планеты превосходит земную в десять тысяч раз, а расчеты теоретиков показывали, что она должна быть больше в миллион раз. Тем не менее общая доза радиации, которую получил «Пионер», в тысячу раз превосходит дозу, смертельную для человека. «Пионер-10» установил, что дневная и ночная температура Юпитера остается примерно постоянной — около минус 133 градусов Цельсия. Очевидно, мощная атмосфера, быстро вращающаяся вместе с планетой (сутки на Юпитере составляют около десяти часов), помогает переносу тепла.

Во время пролета мимо планеты «Пионер-10» передал 340 цветных изображений Юпитера, которые сейчас анализируются. Предполагают, что знаменитое «красное пятно», цвет которого изменяется в периоды тридцатилетних циклов от красного до светло-розового (а иногда его и вовсе не видно), не что иное, как восходящий столб газов (вулкан?). «Пионер-10» разглядел, кроме того, непонятный выступ на одном конце пятна, который не виден с Земли.

Удалось снять также 4 из 12 спутников Юпитера: Ио, Европу, Ганимеда и Каллисто. В Пасадене с улыбкой отметили, что Ганимед напоминает «летающую тарелочку» над Юпитером. Исследования этих спутников огромной планеты представляют тем больший интерес, что недавний спектрографический анализ показал: Ганимед и Европа (а с меньшей вероятностью и Каллисто с Ио) покрыты образованиями, напоминающими лед. Вода — спутник жизни. Гипотезы о возможности ее существования в районе планет-гигантов получили, таким образом, поддержку.

Возможна ли жизнь на самом Юпитере? Щелочная атмосфера планеты, казалось бы, невыносима для живого. Но вот в конце прошлого года биологи НАСА обнаружили в одном калифорнийском подземном источнике, насыщенном щелочами, бактерии. Они двигались, росли и размножались в растворе гидроксида натрия.

Более вероятный адрес жизни — Титан, самый большой спутник Сатурна, по величине приближающийся к Меркурию. Оказалось, что атмосфера Титана имеет, очевидно, достаточную толщину, чтобы сохранить тепло, исходящее из его недр. Температура «большой луны Сатурна» оказалась гораздо выше, чем предполагалось. Она достигает 38 градусов.

— Титан напоминает своего рода «машину времени», — говорит Карл Саган. — Он поможет людям вернуться на миллионы лет назад, в тот период, когда жизнь только зарождалась на Земле. Не думаю, что первичные формы жизни полностью исключаются на Титане...

Вряд ли удастся скоро проехать на «машине времени», о которой говорит американский астроном, хотя мы вправе ожидать самых невероятных открытий уже от первых разведчиков далеких миров. Вослед «Пионеру-10» 5 апреля 1973 года стартовал его двойник — «Пионер-11». Он совершит маневр, отчасти напоминающий полет «Маринера-10» к Меркурию. Во время сближения с Юпитером 5 декабря нынешнего года поле тяготения этой планеты должно «согнуть» траекторию «Пионера-11» и направить его к Сатурну. По расчетам баллистиков, он должен сблизиться с Сатурном в октябре 1979 года.

Космическая техника уже прочно вошла в наше сознание как техника сверхвысоких скоростей, и, очевидно, названные сроки вызывают недоумение и раздражение. Увы, когда речь заходит о космических даях, требуется некоторая психологическая перестройка. Человеческое воображение, при всем фантастическом разнообразии его возможностей, беспомощно в мире таких количественных соотношений, с которыми человек не сталкивается в повседневной жизни. Мы ясно представляем себе тысячу. Тысячу людей, книг или рублей. Но представить себе сто миллионов ни один нормальный человек уже не может, как не может он представить себе реальные расстояния даже такой весьма ограниченной области космоса, какой является солнечная система. Если я просто укажу расстояние от Земли до планет-гигантов, выраженное в миллионах километров, цифры эти, в общем, мало что вам скажут. Необходимо зримое сравнение. Призовем на помощь сравнения простые и расстояния общеизвестные. Скажем, Солнце — в Москве, а Земля — в Рязани. Как тогда будет выглядеть солнечная система? Орбита Меркурия пройдет по Волоколамску, а Венеры — по Калинин. Марс окажется в Смоленске. Юпитер — в Перми, Сатурн — за Уфой, Уран — дальше Красноярска, Нептун — где-то в Читинской области, Плутон — во Владивостоке. Расчеты эти приблизительны, но достаточно точны для общего представления об относительном расстоянии между планетами.

Каждому ясно, что путешествие из Рязани в Калинин — это одно, в Восточную Сибирь — совсем другое.

Для полета к далеким мирам требуется не только более мощная ракета, разгон которой позволит преодолеть солнечное тяготение, не только более совершенная методика расчета далеких траекторий. Возникает ряд принципиально новых препятствий. Уже при полете к Марсу конструкторы вынуждены отказаться от услуг Земли по управлению таким полетом, поскольку время прохождения радиосигналов Земля — станция — Земля исключает возможность всякого оперативного вмешательства в работу систем управления. Необходимость в бортовом компьютере-командире становится совершенно очевидной, если учесть, что сигнал от Юпитера идет к Земле 46 минут, а от Сатурна — около 80 минут. Но дело не в том, что сигнал идет долго, а в том, что гигантские расстояния «размывают» этот сигнал, делают его столь слабым, что самые чуткие «радиоуши» Земли уже не слышат его. В Пасадене подсчитали: на орбите Юпитера мощность сигнала «Пионера-10», доходящего до Земли, составит одну квадриллионную ватта. Воображение опять буксует на этой цифре. Поможем ему. Если бы энергия этого сигнала накапливалась со времени, когда на Земле жили динозавры, то сегодня ее хватило бы на то, чтобы лампочка в 100 ватт горела одну тысячную долю секунды. Человеческий глаз не уловил бы мига, когда лампочка вспыхнула.

Конструкторы «Пионера» должны были разорвать воистину дьявольский энергетический круг. С одной стороны, чем дальше от Солнца (а следовательно, и от Земли) улетает станция, тем более мощной должна быть ее радиопередающая аппаратура. Но чем дальше она улетает, тем меньшую энергию получают от Солнца ее солнечные батареи. Поверхность их уже по чисто техническим соображениям не может увеличиваться до бесконечности. Оказалось, что солнечные батареи не в состоянии возобновлять энергетические затраты при полетах к планетам-гигантам. Поэтому на «Пионере-10» они были заменены четырьмя радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, работающими на двуокиси плутония-238. По мнению специалистов, они будут давать энергию более 100 ватт в течение пяти лет, то есть до 1977 года, хотя в Пасадене надеются, что «Пионер-10» будет прослушиваться примерно до 1979 года, несмотря на падение мощности.

А потом? Он еще будет говорить, рассказывать о межпланетном пространстве и космических лучах, но мы уже не услышим его. Исканет энергия изотопных источников, и «Пионер» уже не сможет кричать нам, он будет шептать все тише и тише, словно засыпая, а потом умолкнет навсегда. Крохотная капелька Земли, когда-то согретая теплом человеческих рук, вобравшая в себя труд и знания, остынет, умрет, но будет лететь все дальше и дальше. Через пятнадцать лет он пересечет орбиту Плутона, и начнется его великое плавание в бескрайнем межзвездном океане. Его путь лежит к созвездию Тельца, которого он достигнет через одиннадцать миллионов лет...

\* \* \*

Сто лет назад во Франции жил Камилл Фламарион — астроном с душой поэта. Он написал пророческие слова: «Настанет день, и он уже близок, так как тебе суждено увидеть его, когда изучение условий жизни в различных областях Вселенной будет главной задачей и величайшим обаянием астрономии. Скоро придет время, когда, вместо того чтобы заниматься просто вычислением расстояний, движений и определением материального состава соседних планет, астрономы будут изучать их физический состав, их географию, их климатологию, метеорологию, проникнут в тайну их жизненной организации и будут обсуждать вопрос относительно их обитателей».

И вот этот день настал. На наших глазах свершается подлинный переворот в астрономии — древнейшей науке Земли. Человек долго рассматривал далекие миры, а теперь он протянул к ним руки, чтобы сорвать плоды с древа познания.

Мы стоим сегодня на пороге тайн непредсказуемых, лежащих за пределами нашей фантазии. Мы готовы пуститься в плавание, быть может самые опасные и трудные, чтобы вернуться назад с невиданными сокровищами знаний. Эти сокровища не только увеличат наше могущество в поединках с природой, они непременно воспитают у людей Земли гордость и благородство и еще большую любовь к своей родной планете, еще более бережное, воистину человеческое отношение ко всему, что есть на ней. Космос заставит нас заплатить за это огромной работой, потребует бездну сил и средств, ранит наши сердца болью невозвратимых утрат, но за все это он обязательно вознаградит человека уже тем, что сделает его человечнее.

Судьбы открытий далеких планет решаются на Земле. Здесь определяется время будущих стартов. Здесь выбираются стартовые площадки. Инженеры будут спорить о том, какой стартовый комплекс совершеннее. Но наверное все они согласятся с тем, что любой старт возможен при одном обязательном условии — мир.

24 мая 1972 года во время пребывания президента США Р. Никсона в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании космического пространства. В НАСА этот день справедливо называют «поворотным пунктом в международном космическом сотрудничестве».

Во время своего исторического визита в США Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев на приеме в «Каса пасифика» выразил надежду на успешное сотрудничество советских и американских космонавтов в великом деле раскрытия тайн Вселенной.

Уже не за горами год 1975 — год первого в истории совместного международного космического полета. Хочется надеяться, что у экспериментального проекта «Союз» — «Аполлон» возникнут интересные продолжения, что сотрудничество ученых СССР и



США в области изучения планет солнечной системы и природы космического пространства будет развиваться и дальше в интересах мира, науки и прогресса человечества.

...Через одиннадцать миллионов лет «Пионер-10» прилетит в созвездие Тельца. Кто знает, может быть, в этой недоступной нам дали времен настанет минута, когда иные, не похожие на нас, но наделенные разумом существа встретятся с этой маленькой, давно уже мертвой станцией. Да, вероятность ничтожна, но кто знает... Поэтому на всякий случай к борту «Пионера» инженеры из Пасадены прикрепили небольшую пластинку из анодированного золота, которое, говорят, может выдержать самые тяжкие испытания временем. Если те, кто найдет ее, знакомы со строением атома водорода, ядерным распадом и солнечной планетной семьей, они поймут, откуда и когда улетел к ним космический скиталец. И они обязательно должны будут догадаться, кто послал его: две фигуры, мужчина и женщина, изображены на этом звездном письме. Правая рука мужчины поднята и развернута открытой ладонью вперед, символизируя этим жестом привет, добро и мир.

Всего этого нам самим так часто доставало на Земле, но все-таки радостно, что именно эти символы люди отправили в бескрайний космос. Хочется, чтобы звездное письмо кто-нибудь когда-нибудь прочел и узнал о том, что мы существуем. Но еще больше хочется, чтобы люди сами не забывали о своем послании, чтобы на этой маленькой, но прекрасной планете наконец победили добрый разум и вечный мир.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Б. МЕЙЛАХ,

доктор филологических наук



## ВЕЛИКИЙ НОВАТОР

1

«Н» и один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин... Его имя уже мело в себе что-то электрическое». Эти слова Гоголя подтверждены историей, они верны и сегодня. Само имя — Пушкин стало символом борьбы и надежд, веры в великое предназначение России, его поэзия была светочем на всех самых крутых поворотах, к ней обращались и в мрачные години и в дни торжеств. В нашем сознании творчество Пушкина, его личность, героическая и трагическая, слились в нерасторжимом единстве как эталон жизненной мудрости, верности избранному пути, нравственной чистоты. Пушкин вошел в духовную биографию каждого человека, стал постоянным собеседником, и мы непроизвольно думаем его стихами о прошлом, настоящем, о будущем, находим в них ответ на трудные вопросы и утешение в беде. Читая Пушкина, слышишь его голос; он был первым поэтом, разрушившим условность авторского образа — в «Руслане и Людмиле»; в «Евгении Онегине» он разговаривает с читателем «на равных», он обращается к нему, как обращаются к близким людям, понимающим все с полуслова («друзья мои», «братья», «мой читатель»...), непосредственностью интонаций откровенного разговора создается эффект присутствия поэта среди читателей. Не в этой ли интимности, доверительности достигнутого контакта поэта с читателем одна из загадок особого, уникального значения Пушкина для всех поколений?

Я упомянул слово «загадка» и подумал: не упрекнут ли меня в том, что претендую на решение «загадки Пушкина», поистине

магического влияния самого его имени? И вообще, скажет строгий критик, никакой загадки роли Пушкина нет — на эту тему написаны горы книг и статей! Да, сделано очень много: есть книги превосходные, освещалось великое историческое значение Пушкина, всемирное и национальное, его вклад в русскую и мировую культуру, богатство его идей, художественное своеобразие его творчества. О значении Пушкина почти каждый может сказать так или иначе, более или менее удачно, живыми или заученными в школе словами. И все-таки загадка многостороннего значения Пушкина остается, и не только потому, что, как писал Белинский, каждая эпоха произносит о его произведениях свое суждение. Пушкин — это целый мир, а познание мира бесконечно, это процесс непрерывных открытий. Есть открытия, которые становятся всеобщими, но ведь каждый открывает «своего Пушкина» — это открытия для себя, и они продолжают всю жизнь.

Нередко ошибались те, кто, начиная писать о Пушкине, полагал, что вот-вот откроется вся истина! Когда Достоевский произнес свою знаменитую пушкинскую речь, страстная убежденность писателя, его громадный авторитет, его завораживающий голос — все это произвело такое потрясающее впечатление, вызвало такой бурный восторг, что слушателям казалось: загадка Пушкина наконец решена. Но восторг улегся, и стало ясно, что проникновенные мысли о великом всемирном национальном значении поэта сочетались с утверждением идеи, глубоко чуждой, даже враждебной поэту: «Смирись, гордый человек...» Впрочем, и сам Достоевский в за-

ключение своей речи дал понять, что загадка Пушкина не решена: Пушкина с нами нет и вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. «Разгадываем», но еще не разгадали...

## 2

Одна из «загадок», которую сообщая предстоит решить в дальнейшем постижении исторической роли Пушкина, это особый характер его новаторства, которое имело не только временный характер, а сохранило навсегда свою свежесть, постоянную потенциальную силу для сменяющихся поколений. Пушкин, по словам А. Н. Островского, «дал всякой оригинальности смелость». Это новаторство носило характер всеобъемлющий, оно направлено против любых консервативных затворов на пути вечного движения жизни, против рутинных идей, против всякого застоя, оно ознаменовало переворот во взглядах на мир и на его познание, утвердило новые, гуманистические критерии, критерии незыблемых нравственных ценностей. Пушкин умел видеть мир таким, каким он был в его время и вместе с тем каким он должен быть в бесконечном, нескончаемом стремлении человека к некоему светлomu идеалу, в борьбе гармонии с дисгармонией, в борьбе переходящих, приземленных эгоистических интересов с высшими, духовными. Пушкин однажды заметил, что «произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны». Говоря этими словами применительно к собственным произведениям Пушкина, можно сказать, что они остаются вечно юными, вечно новыми благодаря неисчерпаемости и многозначности своего содержания. Такова судьба великих художников, возвращенных ренессансными эпохами, гениев, новаторство которых проявлялось не в одном, пусть в самом значительном, творении и не в серии произведений, а было сущностью их личности, их характера, образа мысли, психологии, их страстью.

Понятие Ренессанса имеет, как известно, два значения. В первом подразумевается создание новой, прогрессивной антифеодалной идеологии и культуры под девизом возрождения культуры античности. Второе значение этого понятия, более широкое, — переворот во всем круте политических, этических, художественных взглядов, в мировоззрении, разрыв со старыми

устоями общества, национальное возрождение, новые критерии целей и смысла жизни, стремление к всестороннему, чуждому догматике познанию реального мира. И при всем том это деятельная, упорная борьба за человека нового типа.

Эта проблема в то время была самой волнующей, о ней писали в журналах, обсуждали во время дружеских встреч, о ней рассуждали в дневниках. Декабрист Николай Тургенев писал: «Люди долго искали цели бытия своего и долго еще искать будут. Но придет наконец то время... когда люди познают истинное свое назначение и найдут его в любви к отечеству, в стремлении к его благу», когда пробудится в человеке постоянная и пылкая любовь к свободе, когда будет подавлен эгоизм. Логика развития творчества Пушкина, смены его героев, отвечала этой задаче путем анализа условий, искажающих человеческую натуру, и попыток воплощения в образах идеала героического характера, раскрывая при этом «слабости и пороки, неизбежные спутники человечества».

Во всех великих исторических эпохах есть нечто общее, некая нить, которая, при всех их кардинальных различиях, остается живой и тянется из поколения в поколение. Такой была и чреватая революционным новаторством всемирно-историческая эпоха, на Западе ознаменованная Великой французской революцией, а в России — героической победой русского народа над наполеоновской Францией и движением первых русских революционеров — декабристов.

«Переворот», «перемены», «нововведение», «реформа» — эти слова все чаще стали повторяться в литературных объединениях и на страницах журналов в 1815—1825 годы. «Во вкусе час настал великих перемен», — задорно восклицал в собрании «Арзамаса» В. Л. Пушкин, далеко не левый по своим взглядам. Начинается «переворот идей касательно лучшей и полной теории изящного», провозглашал «Московский телеграф». О перевороте не только в литературе, но и — шире — «в умах», в образе мышления говорили деятели тайных организаций. «Дух преобразования заставляет, так сказать, все умы хлопотать», — заявлял Павел Пестель и так объяснял эту «отличительную черту» века: «Нынешний век ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Порту-

галии до России, не исключая ни одного государства...» Другой вождь декабризма — Сергей Муравьев-Апостол, впоследствии казненный, — так же, как и Пестель, сказал о направлении, которое дала поэзии Великая французская революция: «...было невозможно, чтобы в эпоху, когда рушилось столько ложных идей и старых предрассудков, умы, освободившиеся от оков, не устремились к мыслям, открывающим горизонты более широкие, и сердца — к чувствам, более благородным и деятельным... и поэзия заговорила языком более мужественным. И движение это, раз возбужденное, не могло замереть вопреки всем препятствиям...» Конечно, нельзя видеть прямой связи между «революционными мыслями», то есть революционной идеологией, и тем переворотом, который происходил в области художественной: среди писателей и людей искусства, так или иначе участвовавших в этом перевороте, были такие, которые не принадлежали к самому передовому лагерю. Но тем не менее очевидна объективная генетическая связь между старым, феодальным, и новым, нарождавшимся миром, который, по выражению Рыльева, открывал «и в политике и в поэзии поприще более обширное».

Интерес Пушкина к революции, мятежам, восстаниям, направленным против деспотизма, рабства, был стойким, он отразился во всем его творчестве от юношеских опытов, от восторженной апологии республиканских установлений древних Греции и Рима, от идеализации вечевых порядков древней Руси и легендарного Вадима до изображения крестьянской войны, возглавленной Емельяном Пугачевым, и до задуманной в последние годы жизни истории французской революции. Отношение Пушкина к французским революционерам было сложное, он не принимал якобинизма, но ниспровержение трона воспел восторженными стихами как время,

Когда, надеждой озаренный,  
От рабства пробудился мир  
И галл десницей разъяренной  
Низвергнул ветхий свой кумир;  
Когда на площади мятежной  
Во прахе царский труп лежал  
И день великий, неизбежный —  
Свободы яркий день вставал,—

как время «бурь народных»... Эти стихи написаны в 1821 году, но позже он, говоря о подготовке французской революции, за-

метил: «Старое общество созрело для великого разрушения».

## 3

С конца первого десятилетия XIX века в России стала бурно развиваться борьба литературных направлений, в которой по своему отражались общие противоречия сторонников «старого» и «нового». Эта борьба принимала разные формы, она велась в различных объединениях, кружках, легальных, полулегальных, закрытых, — в них Пушкин неизменно стремился участвовать. С его постоянной жаждой деятельности, непримиримостью во всякой рутине, он рано начал борьбу с защитниками старины. Благодаря своей пронизательности он глубже, чем многие из современников, увидел в камерных, иногда казавшихся достойными лишь вышучивания выступлениях староверов нечто чреватое серьезными опасностями, что сказалось и в его объединениях одной из самых консервативных организаций этой эпохи — «Беседы любителей русского слова». За ее литературным архаизмом таилась целая бескомпромиссная воинственная программа наступления на прогрессивные веяния. Вражда ко всему новому сочеталась с гимнами о благоденствии России и восхвалением «Александра благословенного» и его режима. В славословиях недостатка не было, печатались вирши такого рода:

Но где же солнце теплотою,  
Где, на каких берегах Скамандр  
Пред нашей хвалится Невою,  
Коль наше солнце Александр?

Никто, даже авторы самых убедительных политических трактатов декабристской эпохи, не сделал больше, чем Пушкин, для дискредитации русского самодержавия, царя и его приспешников, для пробуждения протеста и революционного сознания: не только его политическая лирика, его эпиграммы, которыми, как говорил Александр I, он «наводнил Россию», — все его творчество оказалось в противоречии с авторитарным мышлением. И месть поэту за его смелую независимость, за непримиримость была беспощадной и непрерывной. Он не хотел и не умел смириться ни во время своего шестилетнего изгнания, ни когда Николай издательски заставил его надеть камер-юнкерский мундир, ни во вре-

мя поединка с Дантесом, когда, истекающий кровью, все-таки нашел в себе последние силы, чтобы выстрелить...

Пушкин называл свой век «жестоким веком». Это был век борьбы с «необъятной силой» деспотического правительства, борьба требовала жертв, воспитания стойкости и мужества, умения преодолевать кризисные состояния, душевную усталость, разочарование. Всему этому Пушкин учился и учил. В нашем литературоведении, особенно в популярных работах, еще не снят до конца с облика Пушкина «хрестоматийный глянец» и героический путь поэта часто представляется без внутренних осложнений, без мучительных противоречий, без кризисов — путь этот рисуется геометрически прямым. Но разве не великим уроком для своих современников, да и для поздних поколений была способность Пушкина благодаря вере в свою страну, в ее народ, в неизбежность «решительных перемен» преодолевать самые тяжелые порой обуревавшие его настроения? Зачем замалчивать, что перед высылкой из Петербурга он в отчаянии, оклеветанный, ожидая ссылки в Соловки, хотел было застрелиться; что мысль о самоубийстве возникла у него и в 1823 году; что после того, как в Кишиневе перед ним открылась картина предательства, во время и после ареста «первого декабриста» В. Ф. Раевского он испытал жесточайший кризис, стал сомневаться в полезности своей проповеди свободы, думал, что даже «избранным» ее апостолам она не нужна — всюду «обман», видимость, а не стойкая, жертвенная убежденность («Ты прав, мой друг...»). А после катастрофы восстания декабристов — спомним скорбные, безнадежные строки:

На всех стихиях человек —  
Тиранин, предатель или узник.

Как известно, кризисные состояния бывают разные: у одних людей они приводят к безысходности, у других — когда есть опора и в собственной силе духа, и в глубоком взгляде на жизнь — кризисы разрешаются в деятельности. Так это было с Пушкиным. Поворот к историзму, к народности, одержимость новыми творческими замыслами, перепроверка прежних своих идеалов — все это вылилось в признание неколебимости самых дорогих убеждений, оптимистической веры в будущее.

Пушкин знал с самого начала, что из-

бранный им путь будет тяжелым, об этом, хотя, конечно, еще не предвидя всей совокупности будущих преследований, писал еще в лицейских стихах. А позже он заключал, думая, конечно, и о своей судьбе: «...дружина ученых и писателей... всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности». В стихотворении «К Овидию», находясь в ссылке, Пушкин признавался: «Суровый славянин, я слез не проливал», а в рукописи остались еще более откровенные заключительные строки:

...не унижил ввек изменой беззаконной  
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

Открытый, искренний самоанализ, трезвая оценка своего пути, своих переживаний составляет целый цикл стихов Пушкина, он строго судил себя, свои иллюзии, свои заблуждения. Самое драматическое из этих исповедальных стихов — «Воспоминание» (1828):

...с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу, и проклинаю,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

И еще более суровые признания, до сих пор не разгаданные, остались в рукописи об утраченных годах, о двух «призраках молодых», двух милых тенях:

И стерегут... и мстят мне оба...

Эти горестные признания, как и в других стихах, не «самоказнь» в духе Достоевского, не самоистязание, а очищение души, это уроки, извлекаемые из собственной жизни, уроки, которые нельзя забыть («...строк печальных не смываю...»).

#### 4

Пушкин не смог бы выстоять, не смог бы достигнуть вершин проникновения в процессы жизни («Ум человеческий... не пророк, а угадчик»), достигнуть понимания всей ее сложности, познания истории, если бы не сумел открыть новые способы аналитики — художественное познание мира. Эти открытия он своими произведениями сделал достоянием современников и грядущих поколений. Вот почему все, что писал Пушкин о времени и о себе, навсегда сохраняет «прелесть новизны».

Иван Киреевский впервые и еще при жизни Пушкина назвал его «поэтом-философом», подразумевая идейное богатство его произведений, их познавательную сущность. Киреевский пользовался при этом формулой Пушкина о созвучии «ума» и «сердца» в творчестве. Следуя за мыслями Киреевского и углубляя их, Пушкин согласился с определением характера собственного творчества как поэта действительности.

Но что подразумевается в этом определении? Разве «зеркальное» отражение жизни? Из всех современников сформулировал, пожалуй, удачнее всего поэт и философ Веневитинов те вопросы, которые выражали магистральную линию новых исканий в эту эпоху, — стремление познавать мир в образах через призму индивидуального самопознания и во имя расширения границ познания всего окружающего мира. Он писал:

«Всякому человеку, одаренному энтузиазмом... представлялся естественный вопрос: для чего поселена в нем страсть к познанию и к чему влечет его непреодолимое желание действовать?.. Самопознание — вот идея, одна только могущая одушевить вселенную; вот цель и венец человека... История убеждает нас, что сия цель человека есть цель всего человечества... С сей точки зрения должны мы взирать на каждый народ как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои нравственные усилия, ознаменованные печатью особенного характера. Это было обобщением на языке — одновременно философии и эстетики — того переворота, который происходил в самом творчестве (и прежде всего в творчестве Пушкина!) и разбивал как мистический идеализм, так и унифицирующий рационализм с его культом безличного разума, подавления индивидуальности всеобщим, замены живой красоты однообразной красотью. В старой системе мышления и творчества не мог возникать вопрос, который был поставлен Веневитиновым. Спрашивая, «отчего чувствую я красоты сей Мадонны (Рафаэля. — Б. М.)? Какая связь между ею и мной?», он отвечал, что на это «не могли найти ответа... ибо тут дело идет не о законах прекрасного, но о начале всех законов, об уме познающем» — иначе говоря, об индивидуальном восприятии, свободном от давления предзаданных норм.

В развитии художественного творчества

новой эпохи познание окружающего мира постепенно сливается с идеей самопознания и вопросы об отношении личности ко всему существующему становятся центральными. Реальная почва этого поворота — критика феодальной системы и ее идеологии, героический подъем 1812 года, созревание дворянской революционности. Именно на этой почве формировался новый взгляд на жизнь и на себя. Идеал гармонической личности, созданной для счастья, сталкивается с дисгармонией действительности, и это столкновение рождает поиски новых путей и в самой действительности и в литературе. В творчестве Пушкина внутренний мир личности, новое восприятие жизни раскрывается сквозь призму индивидуального сознания человека, понимающего, что личность — это самостоятельная ценность, а не безраздельная собственность абсолютистского государства. Поэт размышляет о жизненных целях, и крупных исторических сдвигах, и вместе с тем о себе самом — познание окружающей жизни и познание самого себя сливается. Утверждение права человека на открытое выражение неудовлетворенности существующим порядком вещей сопровождается утверждением ответственности отдельной личности за свое поведение, за собственные позиции (а не только осуждением «среды», на которую, как пишут некоторые литературоведы, Пушкин возлагал всю ответственность!).

Перевороту, совершенному Пушкиным, «поэтом-философом», способствовало его умение видеть и творчески воплощать еще не заметное для простого глаза; но и обыденное, примелькавшееся раскрывалось поэту в иных, неожиданных ракурсах. Среди черновых набросков Пушкина осталось несколько изумительных своей философской глубиной стихов — теперь, в век научно-технической революции, они становятся крылатыми (их, например, взяла эпиграфом для научных телепередач):

О сколько нам открытий чудных  
Готовят просвещенья дух,  
И Опыт, сын ошибок трудных,  
И Гений, парадоксов друг,  
И Случай, бог изобретатель.

В этом наброске воплощены представления Пушкина о важнейших чертах творческого познания, предвосхитившие современные трактовки элементов и факторов

процесса новаторских открытий. В особенности поражает упоминание о парадоксе, позволяющем смело, вопреки твердо установленным мнениям, так называемому «здоровому смыслу», увидеть нечто совершенно неожиданное в привычных вещах.

Познание мира — неутолимая страсть великих творцов. Для Пушкина — художника и мыслителя эта страсть была особой. Новаторские идейные и художественные искания сливались в творческой деятельности Пушкина, пристальное изучение истории и современности, размышления над ходом общественного развития в дальней и близкой перспективе рождали новые художественные замыслы, а в работе над ними открывались решения, которые не мог дать лишь логический анализ. Отвергая рассудочность и дидактичность классицизма, Пушкин вместе с тем считал, что насыщенность мыслями, художественное «исследование истины» — важнейший критерий литературного творчества.

Переворот, который был ознаменован художественными открытиями Пушкина, был составной частью всей новаторской культуры эпохи. Свойственную его мышлению особенность — свободу от метафизической скованности — можно сопоставить с мышлением крупнейшего ученого его времени, создателя Неевклидовой геометрии Н. И. Лобачевского, парадоксальность выводов которого, противоречивших обыденному сознанию, в то время вызывала нападки консерваторов. Любопытно, что, выступая против этого ученого, они прибегали к таким же приемам, что и реакционные критики Пушкина. В 1834 году в «Сыне отечества» сочинение Лобачевского «О началах геометрии» оценивалось как «нарушение здравого смысла» тем же самым Бурачком, который несколькими годами спустя «опровергал» творчество Пушкина доводами подобного рода. В то время противникам нового подобные аргументы казались неотразимыми. Например, в журнале «Атеней» романтизм определялся как новый род словесности, в котором исчезает пресловутый здравый смысл.

Разносторонность отражения жизни, воплощение всего богатства явлений истории и современности — важнейшее качество всего творчества Пушкина.

Художественный мир Пушкина — это целостный мир, в котором соединились в неразрывном единстве все сферы бытия. По-

этому в стихотворении на гражданскую тему могли появляться, не разрывая художественную ткань, глубоко личные, интимные мотивы, поэтому пейзажная лирика слеталась с размышлениями о судьбах истории, поэтому в дружеских посланиях соседствовали политические обличения и воспоминания о далекой юности, негодование и шутки, слезы и смех. Разграничение тематических сфер, догматика прикрепленных только к определенным жанрам мотивов были Пушкину чужды, связывались в его сознании с лжеклассицизмом, с «Кораном Буало», с защитниками всего отживающего или отжившего в литературе.

Изменения в художественном мышлении приводили к новаторству в художественной форме. Происходило взаимопроникновение жанров, элегические мотивы и интонации вторгались в оду, лирические излияния — в поэмы; неизмеримо обогащалась гамма интонаций стиха, его ритмическое разнообразие. Стихотворные размеры, в особенности ямбы, приобретали невиданную ранее гибкость. Интонация и ритмическое движение стиха многократно варьировались в пределах одного произведения. В зависимости от динамики чувств и тонких переходов настроений нарушалась обычная мерность ритмического отсчета, и поэтическая речь становилась в зависимости от развития лирической темы то напряженно-декламационной, то совсем тихой, интимной, то прерывистой, словно задыхающейся, воспроизводя взволнованность или смятение чувств. Взаим, поэзия научилась передавать самый сложный предмет — бесконечное разнообразие внутреннего мира индивидуальности и ее психологических реакций на окружающую жизнь.

## 5.

Синтетическая природа пушкинского творчества открывала новые возможности понимания сложнейших проблем истории и современности.

В произведениях Пушкина 30-х годов — и художественных и публицистических — отражены размышления о непрерывности общественного развития. Он по мере своей эволюции осознает, что на ход истории влияют не только «дух времени» и воля «преобразователей», но многие объективные причины. Конечно, увидеть движущие силы исторического процесса он в то время не

мог: ответ на этот вопрос русская общественная мысль получила много позднее. Но тем не менее просветительская философия истории все менее казалась убедительной. В философско-исторических поисках поэта проявлялось замечательное взаимодействие элементов аналитических и художественных.

Три исторические фигуры привлекали особенное внимание Пушкина в последнее десятилетие жизни — Петр, Пугачев и Радищев. Первый, крутой реформатор, положил начало новому периоду русской истории; второй — вождь крестьянского восстания, потрясшего Россию; третий — бесстрашный сторонник крестьянской революции. Первому Пушкин посвятил две поэмы и увлеченно работал над его жизнеописанием, но не успел закончить; второму — роман и исторический труд; третьему — статью и своеобразное, интереснейшее произведение «Путешествие из Москвы в Петербург», также оставшееся незаконченным. Все три фигуры интересовали Пушкина и как художника и как историка, но его обращение к ним, как и «Борис Годунов», не было уходом в прошлое — оно вызвано желанием распутать тугие узлы исторического развития и понять, куда же движется Россия.

В трактовке исторических героев и судьбный поэт помогал исследователю, а исследователь — поэту. Вопрос, поставленный в «Медном всаднике»:

Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта? —

в метафорической форме обращен к будущему. Петр, Пугачев, Радищев воплощали для Пушкина историю России, изучая их деятельность, он хотел найти ответы на острейшие вопросы современности и прояснить линии исторического процесса.

Образ Петра возник у Пушкина в 1822 году в заметках о русской истории, затем в 1826 году в «Стансах», где царь-преобразователь ставился в пример Николаю I. В 1827 году в шести написанных главах романа «Арап Петра Великого» была изображена ломка Петром старого общественного уклада. По сравнению с прежними попытками изображения Петра роман Пушкина оказался совершенно новым явлением. Если в эпических поэмах о Петре, написанных в духе классицизма (так называемых «петриадах»), Петр — высшее су-

щество, ниспосланное богом, то в пушкинском романе он предстает в домашнем обличье, великим в своих делах, но простым в повседневном быту.

«Полтава», написанная в основной своей части в течение первой половины октября 1828 года, посвящена изображению той героической поры,

Когда Россия молодая,  
В бореньях силы наярая,  
Мужала с гением Петра.

Сложность и правда характеров Мазепы и Петра раскрыты здесь с такой силой и глубиной, какой не могли быть достигнуты средствами историко-публицистического анализа. Мазепа осужден историей и забыт с «давних пор», в то время как «герой Полтавы» воздвиг «огромный памятник себе». Эта философская идея поэмы выражена в эпилоге. Благодарность потомства можно заслужить лишь действиями на благо родины, свободными от корыстных, эгоистических побуждений. Этот замысел воплощен в образах Мазепы и Петра. Характер Мазепы (черты его Пушкин определил: «Соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость») складывается из двигающих его поступками мелких расчетов. Петр нарисован крупными мазками как символ могущества России, ее военной славы.

Вновь и на новом философском уровне вернулся Пушкин к эпохе Петра и судьбе его дела для России и народа в поэме «Медный всадник» (1833). Здесь эти темы воплощены в сложной диалектике сюжетных мотивов. Созидательное и «тираническое» начало в деле Петра, взаимоотношения государственных и личных интересов, неизбежность жертв в процессе поступательного движения истории — такова философская проблематика поэмы. Петр, «мощный властелин судьбы», здесь изображен уже не однолинейно, как это было в «Полтаве»: между первой поэмой о Петре и «Медным всадником» пролегла целая полоса эволюции поэта и мыслителя — и в новом свете предстало движение истории, ее полярные силы, ее герои и ее жертвы. В «Медном всаднике» Петр — «грозный царь», поднявший Россию на дыбы, сталкивается с трагической судьбой «безумца бедного» Евгения, осмелившегося грозить тому,

...чей волей роковой  
Под морем город основался,—



кто не принимал в расчет судьбы «ничтожных героев», людей толпы с их скромными мечтами и с их бедами.

Две правды на весах истории — торжественная победная правда Петра и скромная правда бедного Евгения, и русская критика уже второе столетие спорит о правоте той и другой, о замысле многозначного, многопланового пушкинского шедевра.

Всестороннее освещение личности Петра, его эпохи Пушкин собирался дать в специальном большом труде. В подготовительных материалах и заметках поэта есть оценки, далеко опередившие историческую мысль его времени. Вот одна из них, поражающая своей глубиной: «Достоин удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика». Эта характеристика помогает пониманию «Медного всадника», символики поэмы больше, чем многие комментарии.

Другой исторический герой, Пугачев, также давно привлекал внимание Пушкина, поэт стал им интересоваться еще в михайловской ссылке. В 30-е годы, в обстановке, когда в разных местах России вспыхивали крестьянские бунты, воспоминания о «пугачевщине» оживились. Пугачев, вне всякого сомнения, воспринимался Пушкиным как героическая личность. Это утверждение казалось неправдоподобным: ведь против него говорит вроде бы двойственность, противоречивость отношения Пушкина к пугачевскому движению, стихия которого одновременно и привлекала и страшила поэта. И все же бесспорно, что Пугачев был для Пушкина столь же «поэтическим лицом» русской истории, как Степан Разин, что героические черты могучей народной природы Пугачева вызывали у него симпатию.

Смелость пушкинского замысла «Капитанской дочки» заключалась уже в том, что жизненная судьба героя-дворянина поставлена в зависимость от Пугачева. Знакомство и известная близость с «бунтовщиками», пусть вынужденная обстоятельствами, заставляет вполне «благонамерен-

ного», верноподданного молодого дворянина Гринева, поначалу считавшего Пугачева извергом, невольно испытывать к нему уважение и «сильное сочувствие». «Капитанская дочка» построена так, что позиции автора, Пушкина, и рассказчика, Гринева, находятся в сложных, не всегда ясных взаимодействиях, и, может быть, именно это обстоятельство облегчило прохождение романа через цензуру. Однако авторская позиция временами проясняется и через речи и поведение Гринева, но больше всего в тех характеристиках людей и событий, которые тонкими приемами включены в повествование. Пугачев выступает в разном освещении: так, Гривев называет его «злодеем» (характеристика, смягченная, однако, оговоркой: «...злодеем для всех, кроме меня»). Но в некоторых местах романа сквозит откровенное любованье духовной красотой, могучим характером талантливого представителя народа, доведенного дикой жестокостью помещиков до крайнего ожесточения.

Трактовка облика Пугачева, включая замечание о том, что в лице его не было «ничего свирепого», была полемически направлена против официозных описаний «бунтовщика», в частности против характеристики, которую дал Пугачеву историк В. Броневский, писавший: «Емелька, корыстолюбивый, как бессмысленный разбойник, свирепый, как тигр, грабил и лил человеческую кровь без цели, без нужды и резал, мучил только для того, чтобы резать и видеть кровь, льющуюся к ногам его».

Художественная правда «Капитанской дочки» была и правдой исторической. Если средства художественной изобразительности позволяли рисовать образ Пугачева, пользуясь многоцветной палитрой, то сложнее в современных условиях оказалась задача описания его жизни в историческом труде. Работал Пушкин над «Историей Пугачева» (ее заставили назвать «Историей пугачевского бунта») очень напряженно. Он изучал архивы, многие источники, посетил места, где действовал Пугачев, беседовал с очевидцами событий, записывал рассказы и песни о нем. В результате Пушкин создал первую в исторической науке биографию вождя крестьянского восстания, в жестких цензурных условиях сумел выяснить многие обстоятельства его жизни. Пушкин не смог, однако, в этих условиях открыто обнаружить свои неизменные по-

зиции противника крепостного права (более откровенно он выразил свои взгляды в «Замечаниях» к своему труду, где писал: «Весь черный народ был за Пугачева... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны»). «Капитанская дочка» и «История Пугачева» взаимно дополняют картину эпохи — жаль, что нет еще у нас монографического исследования процессов создания того и другого, оно раскрыло бы своеобразие мышления Пушкина как «поэта-философа».

В логической цепи размышлений Пушкина о судьбах России закономерно возник в те же годы горячий интерес к Радищеву, образованнейшему человеку своего времени, философу, крупному мыслителю, считавшему оправданным крестьянское восстание против помещиков.

Работая в 1833—1835 годах над своим «Путешествием из Москвы в Петербург», а в 1836 году пытаясь провести через цензуру статью «Александр Радищев», Пушкин хотел воскресить в памяти читателей это запрещенное в то время имя, но задача не сводилась только к этому. Изучение текста пушкинского «Путешествия» показывает, что его замысел носит особый характер. Судя по беловому тексту и черновикам, это было бы произведение особого жанра, публицистического, но с композиционными приемами, выработанными в ходе создания «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева».

В пушкинском «Путешествии» образы путешественника и самого Пушкина отделены один от другого. Но в то же время их голоса находятся в сложных соотношениях, подобно голосам автора и рассказчика в «Капитанской дочке». Пушкинский путешественник в противоположность самому Пушкину — смиренный домосед, пятнадцатилетний не пускавшийся в путь и вообще не склонный к переездам (в черновике он признается даже в своей изнеженности), человек, любящий мирно пофилософствовать. В рукописи пушкинского «Путешествия» есть некоторые намеки на биографию путешественника: он уже в летах, помнит екатерининские времена. Образ путешественника давал простор для самых разных суждений. Среди них были и такие, которые совершенно не соответствовали пушкинским взглядам и отража-

ли иногда самые ходовые, заимствованные из различных источников мысли. Но вместе с тем в «Путешествии» сохранялся и второй план, пользуясь которым Пушкин высказывал и свои собственные мнения по важнейшим вопросам современности. Поэтому наряду с голосом рассказчика, «путешественника», должен был звучать и другой голос — голос самого Пушкина. Отсюда та противоречивость суждений, вызванная особым построением этого сочинения. Здесь все рассчитано на активное читательское восприятие, читательское участие. Нелегко разобраться в сетке противоречивых, иногда противоположных утверждений, в системе оговорок, во всевозможных ухищрениях с целью обойти цензуру. И все же основные тенденции «Путешествия» ясны: защита свободы мысли хотя бы в пределах пресловутой «законности», защита независимости писателя, осуждение крепостного рабства вплоть до прямого оправдания крестьянской мести жестоким помещикам. В главе «Шлюзы» после описаний жестокостей некоего крепостника-тирана «по системе и по убеждению» Пушкин саркастически заметил: «Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возратить им собственность, даровать им права! Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара».

Произведения о Петре, Пугачеве, Радищеве — это звенья исторической концепции Пушкина, не завершенной из-за гибели поэта, но опередившей на многие десятилетия свое время. Оригинальность этой концепции — плод новой системы мышления.

## 6

Новаторство Пушкина сопровождалось ростом внимания к вопросам народности, самобытности, национального своеобразия, и эти вопросы были неотделимы от познания современной жизни.

Ни один критик и писатель не смог достигнуть такой глубины обобщений, как Пушкин в своей статье 1825 года «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова» и в отрывке «О народности в литературе» (того же времени).

Для Пушкина основа народности — это

умение писателя воспроизвести неповторимое своеобразие народа как совокупность объективных исторических признаков: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Эти же идеи преломлены в статье Пушкина о предисловии, которое французский историк Лемонте предпослал переводу басен Крылова, изданному в Париже в 1825 году. Полемицируя с этим предисловием, казалось бы, по частному поводу — о языке, Пушкин впервые высказывает свои социологические взгляды на вопрос о народности, он говорит о растлевающем влиянии, которое оказывают на литературу аристократические верхи общества и двора.

По мысли Пушкина, русская аристократия из-за исключительного употребления французского языка и ее равнодушия к родной литературе не могла оказывать вредное влияние на «язык и словесность». Эту мысль Пушкин подтверждает отрицательными примерами из истории французской литературы; он напоминает, что придворные Людовика XIV напудрили и нарумянили «Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля», что аристократический салон навел «холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей 18 столетия». В контексте этой статьи особенное значение приобретает характеристика Пушкиным Крылова как выразителя духа русского народа.

В изменении эстетических критериев и в переломе, который совершался в литературе, громадную роль играл не только возросший интерес к фольклору, но и самый характер этого интереса. Для Пушкина фольклор — живой родник, питающий литературу, бессмертный фонд искусства, в котором отражается образ мышления народа. Влияние фольклора легче всего прослеживается в таких формах, где очевидно вторжение в поэзию мотивов народных песен, сказок, легенд, образных выражений, где очевидны литературные обработки или имитации фольклорных сюжетов. Но устное народное поэтическое творчество, несомненно, влияло на литературу также структурными особенностями художественной образности, и в частности параллелизмом смысловых рядов — явного и скрыто-

го, ассоциативного, то есть той особенностью, которая именуется в поэтике подтекстом. Эта особенность обнаруживается и в басенном творчестве Крылова, где проявилось, по меткому выражению Пушкина, такое отличительное свойство русского народа, как «лукавство ума». С особым упором на «подтекст» построены баллада Пушкина «Жених» и его же «Песни о Стеньке Разине» и сказки. Другое свойство народного мышления, также отмеченное Пушкиным, — «живописный способ выражаться», яркая чувственная форма выражения обиходных понятий. Сохранился листок с записями пословиц и комментариями Пушкина. К одной из них, «горе львом подпоясано», он добавляет: «...разительное изображение нищеты»; другую, «кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет», комментирует: «Апология пытки, пословица палача, выдуманная каким-нибудь затейным палачом»; по поводу третьей, «бог даст день, бог даст и пицци», пишет: «Этой пословицей бедняк утешал однажды голодную жену: „Да, — отвечала она, — пицци, пицци, да с голоду и умри“». Многие пословицы с острым социальным смыслом отмечены в сборниках, находившихся в библиотеке Пушкина. В русском фольклоре поэт видел отражение жизни народа, его протест против крепостной неволи, его жизненную мудрость, его юмор.

Народность была для Пушкина не только литературной проблемой — в его время не было писателя, знакомого со своей страной лучше, чем он.

Пушкин знал народ не понаслышке — он общался с ним всюду: и в своих поездках по Кубани и Дону, где он собирал песни и предания о Стеньке Разине, и во время первой ссылки в Бессарабию, и когда находился в Михайловском и Болдине, и в своих путешествиях по местам, где записывал рассказы очевидцев-крестьян о Пугачеве. А сколько рассказов и песен ямщиков слышался он в своих скитаниях по России, песен, отражавших народную судьбу: «От ямщика до первого поэта, мы все поем уныло». Неутомимый путешественник, он использовал каждую возможность, чтобы лучше узнать русскую землю и русский народ, а ведь возможности эти были до крайности сжаты. Для поездок ему, поднадзорному поэту, приходилось испрашивать разрешение властей, за самовольные поездки приходилось давать объяснения, получать «выволочки». А когда

он уезжал, вслед летели полицейские указания следить, следить, следить за ним, поднадзорным поэтом и «чиновником» — по табели о рангах десятого, а с 1831 года тринадцатого класса (кстати, согласно чинам и званиям на почтовых станциях соблюдался порядок в получении лошадей — очередность и количество: чиновники первого класса получали двадцать лошадей, Пушкин же имел право только на трех. И все-таки он сумел путешествовать, повидал Украину, Кавказ, Крым, Молдавию, Оренбургский край, Поволжье...).

В то время, когда реакционные националисты третировали «малые народы», населявшие «окраины Российской империи», Пушкин, размышляя об их судьбах, изучал их положение, быт, нравы, фольклор и по книжным источникам и в своих поездках по стране. Его не страшили путешествия в самые труднодоступные места, и он иронически воспроизвел в одном из набросков отношение некоей помещицы к отъезду на Кавказ своей приятельницы: «Да ведь это ужась как далеко! Охота тебе тащиться бог ведает куда, бог ведает зачем».

В 30-е годы, обогащенный более близким, чем раньше, знанием народа, Пушкин стремится к изображению народной жизни как «полноправного предмета» поэтического творчества. Это было переворотом в литературе. Тогда и возникали у него вопросы о том, какое же искусство нужно народу, людям, которые, за редчайшими исключениями, были безграмотными! Говоря о народной драме, Пушкин хотел выяснить, «что нравится народу, что поражает его», «какой язык ему понятен», почему драма «оставила язык общепонятный и приняла наречие модное, избранное, утонченное. Спрашивая: «Что развивается в трагедии? какая цель ее?» — отвечал: «Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная». Но искусство оторвалось от народа. Когда-то «драма родилась на площади и составляла увеселение народное», а после того, как драма оставила «площадь», поэты переселились ко двору. Поэт уже не мог предаваться «вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унижить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей — отселе робкая чопорность, смешная надутость... привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подбострастием». Вот почему

«драма оставила язык общепонятный и приняла наречие модное, избранное, утонченное». Пушкин выдвигал вопрос еще более острый и сложный: как придворную трагедию низвести опять на площадь, «у кого выучиться наречию, понятному народу?». Однако «для того, чтоб она [драма.— Б. М.] могла расставить свои подмостки, надобно было бы переменить и испровергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий», что, по сути, равнозначно революционному перевороту.

Эти размышления связаны с обращением Пушкина в своем творчестве к изображению людей из народной среды, как тогда говорили, «ничтожных героев», изображению не сторонним наблюдателем, а с глубоким сочувствием, с пониманием их психологии. Мир расколот, в обличье страны проступают контрастные антагонистические социальные сферы. Петербург — «город пышный» и одновременно «город бедный», здесь и «стройный вид» и «дух неволи», город словно не для человека создан: «...скука, холод и гранит». Два лика Петербурга и в «Медном всаднике». «Из тьмы лесов, из топи блат» возникла «военная столица» с «богатыми пристанями», к которым со всех концов земли стремятся «все флаги». Но затем Петербург изображается в двух разнородных лирических планах: не только как «могучих стран краса и диво» с его стройными громадами дворцов и башен, но и глазами бедного чиновника Евгения, озбоченного думами о том, как обеспечить себе и Параше маленькое счастье, и умершего на голом, пустынном острове...

\* \* \*

В представлении Пушкина, познание и творчество — величайшая ценность, пред которой тускнели, становились ничтожными светское преуспеяние, слава, роскошь, награды. Может быть, ярче всего эту жизненную и нравственную философию Пушкин воплотил в репликах героев «Сцен из рыцарских времен» — Бертольда, новатора, мечтавшего о вечном двигателе, и меркантильного буржуа Мартына. Первый: «Золота мне не нужно, я ищу одной истины»; второй: «А мне черт ли в истине, мне нужно золото». Бертольд одержим одной только идеей: «Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству че-

ловеческому...» Но смысл подобной одержимости не в романтическом проекте вечного двигателя, а в самой страсти безграничного познания и в умении отделять подлинные жизненные ценности от мнимых, от всего, чему натура человеческая может поддаться под влиянием «железного века» или соображений минуты, но что блекнет и кажется ничтожным в свете священных норм человечности, совести, правды.

Пушкин однажды заметил: «Что значит

аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда». Но в его время мало кто из тех, что штурмовали старый мир такими «снарядами», уцелели. И все-таки в конце концов этот мир был разрушен! А подвиг поэта-новатора остался в веках.



Д. БЛАГОЙ,

член-корреспондент Академии наук СССР



## ГЛАВОЮ НЕПОКОРНОЙ

1

**З**а последнее наше, советское пятидесятилетие сбылись вещие слова Пушкина: слух о нем на самом деле прошел «по всей Руси великой». Его действительно знает и любит «всяк суций в ней язык» — все народы нашей многонациональной родины. Начинает сбываться и другое предвещание поэта, его творчество становится одним из драгоценнейших достояний «подлунного мира» — нашей планеты.

В течение долгого времени Пушкина знали за рубежом (особенно в славянском мире) как родоначальника русской литературы, но таким близким, нужным, своим, как, скажем, Достоевский, Лев Толстой, а позднее Горький и Маяковский, он не был. По-настоящему ценили его немногие, почти одиночки — Адам Мицкевич, Проспер Мериме. После Октября отношение к Пушкину стало меняться. Так, в 1923 году поэт, критик и один из крупнейших переводчиков Пушкина на немецкий язык Иоганн Гюнтер писал: «Лишь сравнительно недавно сумели полностью оценить значение Пушкина для России (отчасти это заслуга Достоевского), и лишь новейшее время знает, что Александр Сергеевич Пушкин принадлежит к числу тех бессмертных, первым представителем которых был Гомер, которые насчитывали в Европе еще лишь имена Данте, Шекспира, Кальдерона и Гёте. К этим бессмертным пяти примыкает шестым Пушкин»<sup>1</sup>. Еще дальше пошел в этом отношении Томас Манн. Явно имея в виду высказывание Гюнтера, он писал в одном из немецких журналов: «Если бы меня спросили о гениях поэзии, которых я люблю и считаю мои-

ми избранниками, если бы даже надо было назвать только шесть имен, даже всего лишь четыре имени, я никогда не забыл бы Пушкина»<sup>2</sup>.

В этих суждениях уже дана та мера, которой следует мерить творчество Пушкина. Но это понимали все еще немногие. Вот характерный тому пример: лет пятнадцать назад на большой американской выставке в Москве демонстрировалась бывшая новинкой электронно-счетная машина. Посетителям предлагался небольшой перечень вопросов. Среди них был и вопрос об известности в Америке Пушкина. Понятно, я задал именно его, и в ответ последовало: Пушкина знают в Америке. В Соединенных Штатах недавно вышел переводной томик его избранных сочинений. Кроме того, американцы любят оперы Чайковского и Мусоргского на пушкинские сюжеты...

За последнее десятилетие положение в тех же Соединенных Штатах заметно изменилось. В 1964 году вышло капитальное издание «Евгения Онегина» в четырех томах, осуществленное Владимиром Набоковым (перевод на английский язык, русский текст и обстоятельнейшие комментарии). Все новые и новые переводы «Евгения Онегина» появляются чуть ли не во всех европейских странах. Помимо собственно художественных произведений, за последние годы в Америке и в Англии переведены письма Пушкина, его критические заметки и наброски. Появляются многочисленные статьи и целые книги о Пушкине. Интерес к нему настолько возрос, что в одном из американских журналов, «The Atlantic», в 1964 году появилась статья под выразительным заглавием «Пушкинский

<sup>1</sup> «Дантовские чтения». М. «Наука». 1973. стр. 9.

<sup>2</sup> «Aufbau», 1945, № 3, стр. 265—266.

бум». В ней утверждалось, в частности, что за последнее время в американской критике и науке о литературе пушкиниана стала занимать не меньшее место, чем дантеана и гётеана. Солидные монографии о Пушкине то и дело издаются и в других странах — Франции, Италии, Англии (в частности, в 1971 году Кембриджским университетом выпущена весьма содержательная монография Бэйли «Пушкин. Сравнительный комментарий»).

Горький в свое время мечтал о том, чтобы «культурный мир» объединялся «психически здоровым и оздоравливающим»<sup>3</sup> талантом Пушкина. Тому ныне мы являемся свидетелями.

Но наряду с этим приходится встречать и другое. В тех же Соединенных Штатах Америки вышла в 1969 году книга профессора Уолтера Викери «Пушкин. Смерть поэта». В результате разысканий автор приходит к выводу, что Дантесу, в сущности, некого было убивать, ибо «смерть Пушкина началась значительно ранее — может быть, в 1831, в год его женитьбы, может быть, в 1826, в год его возвращения из ссылки, а может быть, раньше этого»<sup>4</sup>.

Если бы автор был вульгарным антисоветчиком и утверждение это носило бы злонамеренно-тенденциозный характер, о нем не стоило бы и упоминать. Но, по видимому, дело совсем не в этом. Профессор Викери, интересные доклады которого на историко-литературные темы я слышал на международных съездах славистов в Софии и Варшаве, создавая свою книгу о смерти Пушкина, несколько месяцев тщательно работал в наших архивах, пользовался замечательными книжными и рукописными собраниями Института русской литературы (Пушкинского Дома) в Ленинграде. Ученый осведомлен и о трудах советских пушкинистов. Видимо, он верит, что сделал «открытие» большого научного значения. На самом деле, взявшись писать на серьезную и важную тему, он оказался к этому надлежащим образом не подготовленным.

Уже Белинский утверждал, что писать о Пушкине — значит, писать о всей русской литературе. Для того чтобы создать в наше время исследовательский моногра-

фический труд о таком гении, как Пушкин, надо быть во всеоружии знаний не только о русской литературе до и после Пушкина, но и о крупных явлениях литературы мировой, в которую Пушкин «вживался» сам и роднил с нею отечественного читателя. Решая такие важные проблемы, как вопрос об этапах художественного развития Пушкина, о его национальном и мировом значении, надо осмыслить это в перспективе развития всей истории России, в особенности истории русского освободительного и революционного движения, истории общественной, философской и эстетической мысли. Профессор Викери этого не учел. Во всяком случае, следов сего мы в его книге не находим.

А между тем для осмысления периода 30-х годов в жизни и творчестве Пушкина — периода особенно значительного и вместе с тем особенно сложного, наиболее устремленного в будущее и в то же время наименее изученного — такая широчайшая перспектива и соответствующая ей подготовка абсолютно необходимы. И лишь отсутствием ее можно объяснить появление пресловутого тезиса, положенного в основу книги профессора Викери. Кстати, примечательно, что тезис этот вызвал возражения в самой же американской печати.

В одном из стихотворных набросков Пушкин дал «крылатую формулу»: «Гений, парадоксов друг». Период жизни и творчества поэта в 30-е годы как бы является убедительнейшей к тому иллюстрацией.

В эту пору Пушкин наконец обрел в личной жизни то, к чему он, все более тяготившийся одиночеством, «бесприютностью», неустроенностью своего скитальческого — «цыганского» — быта, так настойчиво и так тщетно после возвращения из ссылки стремился: свой семейный очаг, свою «мадонну» — «чистойшей прелести чистойший образец», красавицу жену, — своих «малых детушек». И вот во все это ворвался ветер истории — «железный» вихрь «ужасного века» «ужасных сердец», тех тягчайших, безысходных общественных условий, в которых оказался поэт в последний период жизни. Источник больших человеческих радостей Пушкина — его семейное счастье — оказался погребельным<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М. Гослитиздат. 1953, т. 25, стр. 252.

<sup>4</sup> Walter N. Vickery. Pushkin. Death of a Poet Indiana University Press Bloomington and London, p. 7.

<sup>5</sup> См. об этом подробно в моей статье «Погребельное счастье» в книге «Вокруг Пушкина», которая выходит в издательстве «Советская Россия».

Столь же противоречивой и тоже словно бы парадоксальной являлась в эти годы общественно-политическая позиция Пушкина. Еще при жизни поэта некоторые близорукие современники укоряли его в измене вольнолюбивым взглядам, в лести царю и т. п., ответом на что и явилось пушкинское стихотворение «Друзьям» (1828). Версия «поправения» Пушкина была энергично выдвинута и, оказавшись очень удобной для властей, получила официальную санкцию почти сразу же после его гибели. Положенная в основу некоторыми последующими биографами Пушкина, она порой возникает и в наше время, в основном за рубежом. В борьбе с ней сложилась другая, ставшая у нас одно время очень популярной, своего рода «канонической», концепция, согласно которой последекабрьский Пушкин остался, в сущности, таким же, каким был прежде. Пора внести в этот сложный вопрос, очень важный, поскольку речь идет о характере и направлении развития мировоззрения и творчества Пушкина, необходимую ясность. Это не только крайне существенно вообще, но имеет прямое отношение и к теме, нас в данное время занимающей.

Сторонники концепции «поправения» Пушкина если не всегда нарочито тенденциозно, то односторонне и весьма поверхностно истолковывают привлекаемые ими факты. Сторонники концепции «неизменности» чаще всего не уделяют этим фактам должного внимания и тем самым вступают в противоречие с ними. А это и порождает возможность «сенсационных» открытий типа тезиса Викери.

Сам Пушкин, особенно в последние годы жизни, настойчиво подчеркивал, как сильно изменилось все и вокруг него и в нем самом. В декабре 1835 года в связи с десятилетней годовщиной восстания декабристов он писал соседке по Михайловскому П. А. Осиповой: «Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч., и проч.» (письмо от 26 декабря 1835 года, оригинал по-французски).

О том же пишет он в октябре 1836 года в стихотворении, посвященном двадцатипятилетию со дня открытия лицея, напоминая своим сверстникам тот богатейший, насыщенный драматическими событиями

исторический опыт — калейдоскоп войн, революций, величий, падений, который промелькнул за это время перед их глазами («Чему, чему свидетели мы были!», «Игралища таинственной игры, метались смущенные народы; и высились и падали цари...», «Прошли года чредою незаметной, и как они переменяли нас!»). А в написанной почти в это же время для «Современника», но не пропущенной цензурой статье «Александр Радицев» Пушкин попытался напомнить запретное имя того, кто «вольность первый прорицал», — Радицева, подчеркивая и закономерность этих перемен: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют».

Да, последекабрьский Пушкин, несомненно, во многом и многом изменился. Но правильно ли эти перемены определять как «поворот вправо»? Столь же несомненно: нет, безусловно неправильно!

Прежде всего само применение к такому из ряда вон выходящему явлению всей русской национальной культуры, как Пушкин, прямолинейно-политических категорий подобного узкосоциологического подхода носит вульгарный характер. Помимо того, нельзя говорить обо всем этом, отвлекаясь от конкретно-исторических условий тех лет.

Юные годы Пушкина проходили в период революционного общественного подъема, вдохновенным и вдохновляющим певцом которого он являлся. Жизнь и творчество последекабрьского Пушкина протекали в годы правительственного террора и крайней общественной депрессии и упадка. Реальной задачей дня была уже не подготовка революционного переворота, возможность которого действительно на многие десятилетия исключалась, а противодействие реакционным силам, стремившимся пресечь всякое прогрессивное развитие общества и народа. Да, Пушкин испытывал в это время иллюзии в отношении личности и деятельности Николая I, но как раз с 1834 года они начали заметно рассеиваться. Да — и это нельзя вовсе сбрасывать со счетов, — Пушкин сам признавал у себя наличие некоторых «сословных», дворянских, предрассудков, замечая, что предрассудки имеются у каждого сословия.

Но неизменно осуждая «ужасный», «жестокый век» — свою современность, — решительно выступая против реакционной



идеологии «официальной народности», против правящей придворно-аристократической верхушки, Пушкин в литературно-общественной борьбе последекабрьских лет безусловно был на стороне прогресса.

Герцен имел все основания считать его в эту пору важнейшим соединительным звеном в развитии освободительного движения в стране. Говоря об «ужасном» последекабрьском десятилетии, он писал: «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее».

И действительно, всем объективно-историческим смыслом своего литературного дела последекабрьский Пушкин не только находился на переднем крае поступательного развития нации, но и возглавлял его. Достигший полного расцвета творческих сил, он закладывал в эту пору основы проникнутого высоким гуманистическим пафосом русского классического реализма XIX века. Содержанием своего творчества он в противовес «официальной народности» вливал в него живительные начала народности истинной, добивался движения к народу передовых кругов общества. Соответственно этому формой своего творчества — поэтикой, языком, стилем — Пушкин ставил утверждающийся в нем русский реализм на путь эстетического демократизма — ясности, точности, прекрасной простоты русского искусства слова. Поэт сообщил нашей национальной культуре небывало могучий толчок вперед. И именно по такому большому счету, меряя не вульгарно-социологическим аршином, а широкой исторической мерой — в перспективе всего русского национального развития, — следует определять подлинный смысл и значение происшедших в Пушкине перемен.

Пушкин часто испытывал чувство остро, щемящего одиночества. Но никогда за свою жизнь поэт не был так мучительно одинок, как в те злоедеющие три месяца, которые начались 4 ноября 1836 года (получение пасквильного «диплома» «ордена рогоносцев») и завершились 29 января смертью поэта. Даже люди, наиболее близкие поэту, полагали, что на их глазах разыгрывается довольно обычная семейная драма или разворачивается нечто вроде модных тогда романов Бальзака, естествен-

ным следствием чего и явилась роковая дуэль. Только после потрясшей невиданно широкие общественные круги гибели поэта пелена стала спадать с глаз. С исключительной пронизательностью и точностью об этом сказал первым из всех Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта», недаром воспринятом на верхах как «воззвание к революции». Для многих стало ясно: финал трагедии, в течение ряда лет разыгрывавшейся на арене истории между поэтом и силами реакции — его явными и скрытыми врагами, — был спровоцирован теми, кто «жадной толпой» теснился у трона, кто рукой наглого прошлеца (выражение одного из современников), бежавшего от революции на своей родине в царскую Россию («на ловлю счастья и чинов»), расправился с великим национальным поэтом, другом, братом, товарищем декабристов, вслед Радищеву восславившим свободу.

Мало того. Как показали новейшие исследования, к делу о дуэли Пушкина с Дантесом не только была причастна стоящая у трона правящая верхушка, но в той или иной мере в него был втянут и тот, кто на троне сидел.

Не удивительно, что на многие важнейшие обстоятельства этого дела, как и на скрытые пружины его, сразу же постарались набросить непроницаемый покров. Сперва вообще было запрещено упоминать в печати, что Пушкин погиб в результате дуэли. Только спустя много лет от этого примитивного до глупости приема решились отказаться. Но о главном и основном в этом таинственном деле, как называли его современники, даже те, кто кое-что знал или догадывался об этом, вынуждены были хранить полное молчание. «Адские сети, адские козни» опутали их (Пушкина и его жену), по горячим следам (10 февраля 1837 года) писал близко связанный с поэтом на протяжении всей его жизни П. А. Вяземский. «Теперь не настала еще пора подробно исследовать и ясно разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина», — замечал он позднее.

Действительно, пора эта по-настоящему настала лишь почти сто лет спустя. Важнейшим почином явилась книга «Дуэль и смерть Пушкина» П. Е. Щеголева, который впервые специально «остановился на темном и необследованном периоде последних месяцев жизни поэта». Основанное на не-

известных ранее архивных материалах капитальное исследование Щеголева внесло немало нового в этот темный период. Но и Щеголев в первых изданиях своей книги, вышедшей незадолго до революции, подчеркивал, что «душевное состояние, в котором находился Пушкин в последние месяцы жизни», было результатом обстоятельств самых различных (в числе этих обстоятельств он называл и «отношения к императору, к правительству, к высшему обществу»). Щеголев счел возможным «коснуться только семейственных отношений Пушкина» — ближайшей причины рокового столкновения. Лишь в третьем издании, вышедшем в конце 1927 года, он присоединил к своему труду специальную главу «Анонимный пасквиль и враги Пушкина», в которой выносит «роковое столкновение» за рамки «семейственных отношений», проясняет историко-политическую его подоплеку.

Именно в этом направлении и шли разыскания многочисленных советских исследователей. Было обнаружено немало новых архивных материалов, освещен ряд неизвестных дотоле и порой весьма существенных деталей (исследования А. Полякова, Б. Казанского, М. Цявловского и многих других): за последние годы опубликованы переписка Карамзиных (так называемая тагильская находка), работы Эммы Герштейн, М. Яшина, Н. Эйдельмана). Но и по сию пору тайны, окружающие трагический финал жизни Пушкина, о которых писал Вяземский, «разоблачить» до конца не удалось. Многие из выдвигавшихся за это время концепций носят еще гипотетический, дискуссионный, а порой и прямо фантастический характер. В то же время весь этот последний период жизни Пушкина считается достоянием только его биографов, исследователям творчества словно бы здесь делать нечего. А ведь Пушкин прежде всего и больше всего великий художественный гений, как мы знаем, живо и в самых различных формах откликавшийся на все, что его волновало и во внешнем мире и в нем самом. Однако вопрос о возможности такого отклика в последние столь бурные, драматически напряженные, перевернувшие всю жизнь и душу поэта три месяца его жизни даже и не ставился. И понятно почему.

В том же 1836 году до ноября (до получения «диплома» — пасквиля) Пушкиным был написан ряд стихотворений (в числе

их такие, как «Мирская власть», «Из Пиндемонти», «Когда за городом, задумчив, я брожу», «Памятник», «Была пора: наш праздник молодой»), закончен в последней редакции роман «Капитанская дочка», создано очень большое число критических, исторических, публицистических статей (около двадцати). Но с начала ноября 1836 года картина резко меняется. Пушкин продолжал заниматься делами по своему журналу «Современник», рассказывал друзьям о планах некоторых своих дальнейших работ. Однако не известно ни одного произведения, написание которого можно было бы с уверенностью отнести ко времени после 4 ноября 1836 года. Это нагляднее всего показывает, в каком действительно исключительно тяжелом душевном состоянии находился в последние три месяца жизни Пушкин, как была подавлена его творческая энергия.

Правда, среди большого числа произведений Пушкина, впервые посмертно опубликованных в пятом, частично им самим подготовленном томе «Современника» (все они относятся ко времени до ноября 1836 года), есть статья, начинающаяся словами: «В Лондоне в прошлом, 1836 году...» Писать так, очевидно, можно было не ранее января 1837 года. Статья эта, по сию пору оставшаяся весьма загадочной, представляет столь большой интерес, что необходимо специально на ней остановиться. Для наглядности привожу эту хотя и входящую в основные собрания сочинений Пушкина, но очень мало известную статью полностью.

## 2

### ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОЙСТВЕННИКОВ ИОАННЫ Д'АРК

В Лондоне в прошлом, 1836 году умер некто г. Дюлис (Jean-François-Philippe Dulys), потомок родного брата Иоанны д'Арк, славной Орлеанской девственницы. Г-н Дюлис переселился в Англию в начале французской революции; он был женат на англичанке и не оставил по себе детей. По своей духовной назначил он себе наследником родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца Эдимбургского. Между его бумагами найдены подлинные грамоты королей Карла VII, Генриха III и Людовика XIII, подтверждающие дворянство роду господ д'Арк Дюлис (d'Arc Dulys). Все сии

грамоты проданы были с публичного торгу, за весьма дорогую цену, так же как и любопытный автограф: письмо Вольтера к отцу покойного господина Дюлиса.

По-видимому, Дюлис-отец был добрый дворянин, мало занимавшийся литературою. Однако ж около 1767-го году дошло до него, что некто Mr. de Voltaire издал какое-то сочинение об орлеанской героине. Книга продавалась очень дорого. Г-н Дюлис решился однако ж ее купить, полагая найти в ней достоверную историю славной своей прабабки. Он был изумлен самым неприятным образом, когда получил маленькую in-18, напечатанную в Голландии и украшенную удивительными картинками. В первом пылу негодования написал он Вольтеру следующее письмо, с коего копия найдена также между бумагами покойника. (Письмо сие так же, как и ответ Вольтера, напечатано в журнале Morning Chronicle.)

Милостивый государь,

Недавно имел я случай приобрести, за шесть луидоров, написанную вами историю осады Орлеана в 1429 году. Это сочинение преисполнено не только грубых ошибок, непростительных для человека, знающего сколько-нибудь историю Франции, но еще и нелепою клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны д'Арк, по прозванию Орлеанской девственницы, Агнесы Сорель, господ Латримуля, Лагира, Бодрикура и других благородных и знатных особ. Из приложенных копий с достоверных грамот, которые хранятся у меня в замке моем (Tournebu, bailliage de Chaumont en Touraine), вы ясно увидите, что Иоанна д'Арк была родная сестра Луке д'Арк дю Ферону (Lucas d'Arc, seigneur du Féron), от коего происхожу по прямой линии. А посему не только я полагаю себя вправе, но даже и ставлю себе в непременную обязанность требовать от вас удовлетворения за дерзкие, злостные и лживые показания, которые вы себе дозволили напечатать касательно вышеупомянутой девственницы. Итак, прошу вас, милостивый государь, дать мне знать о месте и времени, также и об оружии, вами избираемом для немедленного окончания сего дела.

Честь имею и проч.

Несмотря на смешную сторону этого дела, Вольтер принял его не в шутку. Он испугался шуму, который мог бы из того произойти, а может быть и шпаги щекотливого дворянина, и тотчас прислал следующий ответ:

22 мая 1767.

Милостивый государь.

Письмо, которым вы меня удостоили, застало меня в постели, с которой не схожу вот уже около осьми месяцев. Кажется, вы не изволите знать, что я бедный старик, удрученный болезнями и горестями, а не один из тех храбрых рыцарей, от которых вы произошли. Могу вас уверить, что я никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники (l'impertinente chronique rimée), о которой изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно мне приписывает. Лет сорок тому назад случилось мне напечатать поэму под заглавием «Генриада». Исчисляя в ней героев, прославивших Францию, взял я на себя смелость обратиться к знаменитой вашей родственнице (votre illustre cousine) с следующими словами:

Et toi, brave Amazone,  
La honte des Anglais et le soutien du trône <sup>6</sup>.

Вот единственное место в моих сочинениях, где упомянуто о бессмертной героине, которая спасла Францию. Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на прославление божних чудес вместо того, чтобы трудиться для удовольствия публики бессмысленной и неблагодарной.

Честь имею быть, милостивый государь, Вашим покорнейшим слугою

Voltaire gent. <ilhomme>  
de la ch. <ambre> du roi<sup>7</sup> ».

Английский журналист по поводу напечатания сей переписки делает следующие замечания:

«Судьба Иоанны д'Арк в отношении к ее отечеству поистине достойна изумления. Мы, конечно, должны разделить с французами стыд ее суда и казни. Но варварство англичан может еще быть извинено предрассудками века, ожесточением оскорбленной народной гордости, которая искренно приписала действию нечистой силы подвиги юной пастушки.

<sup>6</sup> А ты, храбрая амазонка,  
Позор англичанам и опора трона. (Франц.)

<sup>7</sup> Вольтер, дворянин, намергар короля (Франц.).

Спрашивается, чем извинить малодушную неблагодарность французов? Конечно, не страхом дьявола, которого исстари они не боялись. По крайней мере мы хоть что-нибудь да сделали для памяти славной девы; наш лауреат посвятил ей первые девственные порывы своего (еще не купленного) вдохновения. Англия дала пристанище последнему из ее сродников. Как же Франция постаралась загладить кровавое пятно, замаравшее самую меланхолическую страницу ее хроники? Правда, дворянство дано было родственникам Иоанны д'Арк; но их потомство пресмыкалось в неизвестности. Ни одного д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французских королей от Карла VII до самого Карла X. Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и, как пьяный дикарь, пляшет около своего потешного огня. Он, как римский палач, присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. Поэма лауреата не стоит, конечно, поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но творение Соуте есть подвиг честного человека и плод благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества, и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д'Ольбаха и М-ме Jeoffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримуля. Жалкий век! Жалкий народ!»

Как мы видим, в основном (на четыре пятых) статья состоит (на это Пушкин

прямо и указывал) из перепечатки (в русском переводе) впервые опубликованных в английском журнале «Morning Chronicle» письма Дюлиса и ответа Вольтера и из обстоятельных замечаний английского журналиста. Таким образом, хотя публикация и носит в журнале подпись поэта («А. Пушкин»), он выступает здесь, по существу, не как автор, а как публикатор и переводчик. Видимо, именно поэтому статья не привлекла к себе никакого внимания. Белинский, который с особенным чувством останавливается на посмертно опубликованных произведениях Пушкина, о ней вообще не упоминает. Незамеченной оставалась она и до нашего времени. Однако написанная в период «тайн, окружавших конец» Пушкина, статья и на самом деле заключала в себе некую тайну, и притом, как увидим, тайну двойную.

Внимание к ней было неожиданно привлечено, когда в уже упоминавшемся мною третьем издании книги Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» были опубликованы в числе новых материалов выписки из дневников А. И. Тургенева, в которых шла речь о встречах и беседах его с поэтом в последние месяцы его жизни. В записи 9 января 1837 года читаем: «Зашел к Пушкину; он читал мне свой *pastiche* на Вольтера и на потомка Jeanne d'Arc». Запись эта не только давала возможность уточнить дату написания Пушкиным его статьи (не просто январь, а и не позже 9 числа), но и имела сенсационный характер. Французское слово «*pastiche*» значит имитация, подражание (Б. В. Томашевский переводит его и еще резче: подделка).

Таким образом, оказалось, что статья не зря была подписана именем Пушкина: она действительно ему принадлежала, была литературной мистификацией. Это окончательно установил год спустя Н. О. Лернер в своей статье «Замаскированный Пушкин»<sup>8</sup>. Он выяснил, что род Дюлисов, потомков брата Жанны д'Арк, получивших за заслуги сестры дворянское звание и — по гербу, в котором имелась королевская лилия, — фамилию Дюлис (du Lys), угас еще в XVII веке. Поэтому никакая переписка «последнего родственника» Орлеанской девы с Вольтером не могла иметь места. Не было и никакой публикации писем Вольтера и Дюлиса, как и замечаний к ним ан-

<sup>8</sup> Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине. Л. 1929, стр. 190—198.

лийского журналиста в газете «Morning Chronicle». Словом, все содержание статьи являлось плодом творческого вымысла Пушкина и сама она оказалась оригинальным его произведением.

Так таинственный покров, наброшенный поэтом, был снят. Но многое в истории создания последнего пушкинского произведения продолжало оставаться в высшей степени загадочным. В самом деле, откуда возник у Пушкина этот странный замысел? Какую цель он преследовал? Почему в самый трудный и тягостный период своей жизни он вдруг взялся за литературную мистификацию? Эти вопросы до сих пор по-настоящему или вовсе не ставились, или получали неопределенное и мало что говорящее разрешение. «Преследовал ли он (Пушкин.— Д. Б.) цели мистификации или хотел выдать статью за беллетристическое произведение, утверждать невозможно», — пишет Б. В. Томашевский в своем комментарии (так называемое малое академическое издание сочинений Пушкина). «Пушкин думал о Вольтере до конца жизни, незадолго до роковой дуэли сочиняя от его имени письма к его воображаемому английскому корреспонденту Дюлису», — замечает М. П. Алексеев<sup>9</sup>. Но это замечание лишь констатация факта.

Попытался ответить на возникшие вопросы в духе концепции «поправения» Пушкина и Лернер. Подчеркивая вложенную Пушкиным в уста вымышленного английского журналиста резко осудительную оценку Вольтера, автор считает, что это изменение отношения к «былому своему учителю и властителю юношеских дум» является особенно наглядным — «ярким» — доказательством «поворота Пушкина вправо». Однако «поделиться с читателем своими заветными мыслями» «он хотел лишь под маской» мистификация. А поскольку она наконец обнаружена, «глядит на нас подлинное, теперь уже без маски, лицо автора»<sup>10</sup>.

Однако на деле все это совсем не так.

В годы своего отроческого культа Вольтера Пушкин восторженно восклицал о «фернейском злом крикуне»: «Он всё; везде велик единственный старик», восхищался «катехизисом остроумия», «книжкой

славною, золотою, незабвенною» — вольтеровской «Орлеанской девицей». Но уже в период южных поэм он отходит от своего ребяческого (его эпитет) «вольтерьянства», еще связанного в какой-то степени с традициями русского дворянского вольтерьянства екатерининского времени, но уже ставшего в эпоху романтизма пройденной фазой развития европейской общественной мысли. Еще дальше не мог Пушкин не уйти от него в своем последующем развитии в художника-реалиста. Поэту действительности, ему стал неприемлем дидактический рационализм Вольтера, придание им искусству слова — поэзии — служебного, прикладного значения.

Если в лицейские годы Вольтер казался ему «поэтом в поэтах первым», то в одной из своих критических статей 30-х годов («О ничтожестве литературы русской») Пушкин склонен был вовсе отказывать ему в праве считаться поэтом.

Пушкину, жизнеутверждающему гению, «выстрадавшему» и закалившему в горниле тягчайших и общих и личных испытаний свой булатный оптимизм, свою веру в человека, в свой народ, гению-создателю, формировавшему его язык, его искусство слова, воздвигавшему грандиозное здание передовой национальной культуры, становится чужд «разрушительный гений» Вольтера, его «цинизм», его готовность принести «все высокие чувства, драгоценные человечеству... в жертву Демону смеха и иронии» (слова Пушкина в той же статье об «Орлеанской девице»), не смотря на то, что собственно поэтические достоинства этой поэмы Пушкин продолжает высоко ценить). Но все это говорит не о «повороте вправо» от Вольтера, а о стремительном движении от него вперед. Ведь останется поэт на позициях своего младенческого (он его тоже так называл) вольтерьянства, не было бы даже Пушкина — автора южных романтических поэм, не говоря уж о Пушкине-реалисте.

Вопреки одностороннему подбору Лернером только резко критических суждений и высказываний зрелого Пушкина о Вольтере, Пушкин продолжает сохранять неизменный к Вольтеру интерес, изучает материалы о нем. В частности, Пушкину удается добиться от царя разрешения работать в личной библиотеке Вольтера, которая была в свое время закуплена Екатериной II, находилась в Эрмитаже, но доступ

<sup>9</sup> «Библиотека Вольтера в России» в кн.: Библиотека Вольтера. Каталог книг. М.—Л. 1961, стр. 50.

<sup>10</sup> Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине, стр. 195, 196, 197.

к которой был всем закрыт. Отрицая, что Вольтер был «позтом», Пушкин и теперь высоко ставит его как «великана» целой эпохи, оказавшего «неимоверное» влияние на «все возвышенные умы» века Просвещения.

Наиболее полное и ясное представление об отношении зрелого Пушкина к Вольтеру — писателю и человеку дает обстоятельная статья «Вольтер», знакомящая русских читателей с только что перед тем вышедшей в Париже частью неизданной его переписки, опубликованной в третьем томе пушкинского «Современника», 1836 год.

Уже с самого начала в ней звучит тон высокого уважения к Вольтеру. «Всякая строчка великого писателя,— пишет Пушкин,— становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначущие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов».

Восхищенными строками о замечательном литературном даровании Вольтера сопровождает Пушкин его впервые публикуемое небольшое стихотворение, извлеченное из писем: «В этих семи стихах мы находим более слога, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, а остроумие — площадным цинизмом или вялой меланхолией».

В центре пушкинской статьи — переписка Вольтера с французским писателем, президентом дижонского парламента де Броссом, у которого он, «изгнанный из Парижа, принужденный бежать из Берлина», купил землю на берегу Женевского озера, на самой границе Франции и Швейцарии, стремясь (по его собственным словам) «иметь одну ногу в монархии, другую в республике — дабы перешагать туда и сюда смотря по обстоятельствам». Но и на этих письмах Вольтера, в которых он предстает с «мало известной» стороны — как «человек деловой, капиталист и владе-

лец», Пушкин видит ту же легкую печать его «неподражаемого таланта». «Кажется, одному Вольтеру предоставлено было составить из деловой переписки о покупке земли книгу, на каждой странице заставляющую вас смеяться, и передать сделкам и купчим всю заманчивость остроумного памфлета». Поначалу отношения между «новым хозяином земли и прежним ее владельцем» носят вполне миролюбивый характер; вскоре они резко изменились. «Война, как и многие другие войны,— заключает Пушкин,— началась от причин маловажных. Срубленные деревья осердили нетерпеливого Вольтера; он поссорился с президентом, не менее его раздражительным. Надобно видеть, что такое гнев Вольтера!.. Он собирается его погубить... Он жалуется, он плачет, он скрежещет... а все дело в двухстах франках». Но и это не меняет пушкинской к нему симпатии: «Вообще переписка Вольтера с де Броссом представляет нам творца Меропы и Кандида с его милой стороны. Его притязания, его слабости, его детская раздражительность — все это не вредит ему в нашем воображении. Мы охотно извиняем его и готовы следовать за всеми движениями пылкой его души и беспокойной чувствительности».

Однако к концу пушкинской статьи тон ее меняется. Пушкин и раньше не одобрял заискиваний Вольтера перед сильными мира сего, прежде всего безудержной лести по адресу Екатерины II. В рецензируемой переписке оказались материалы, бросающие новый, и невыгодный для Вольтера, свет на отношения его с прусским королем Фридрихом II, «северным Соломоном», как льстиво величал его Вольтер.

Приняв предложение Фридриха переселиться к нему в Берлин, Вольтер был обласкан, получил придворное звание камергера (раньше он имел звание камер-юнкера и историографа от французского короля Людовика XV), а через три года был с позором изгнан из Пруссии.

«Вольтер, во все течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства,— пишет в связи с этим Пушкин.—...Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим седидам... Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей. Что влекло его в Бер-

лин? Зачем ему было променять свою независимость на своенравные милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить? <sup>11</sup>... До сих пор полагали, что Вольтер сам от себя, в порыве благородного огорчения, отослал Фридриху камергерский ключ и прусский орден, знаки непостоянных его милостей; но теперь открывается, что король сам их потребовал обратно. Роль переменена: Фридерик негодует и грозит, Вольтер плачет и умоляет...» Но и тут Пушкин дает смягчающую концовку: «Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалат благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что наконец независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и бурями судьбы».

Цитируя некоторые осудительные места из этой последней части статьи и совершенно не упоминая об имеющихся в ней очень высоких оценках Вольтера, Лернер, как сказано, считает ее одним из решающих аргументов пушкинского «поправления». Между тем уже одно опубликование специальной и во многом весьма положительной статьи о Вольтере, самого имени которого Николай не выносил (Пушкин вынужден был незадолго до этого снять его из предисловия к «Истории Пугачева»), является красноречивым свидетельством отнюдь не официальной позиции Пушкина. Возможно, не случайно вскоре после появления пушкинской статьи в том же 1837 году доступ к библиотеке Вольтера был снова и окончательно запрещен.

Не свидетельством «поворота вправо», а одним из образцов все нараставшего историзма зрелого Пушкина — мировоззрения и метода, составляющего краеугольный камень его поэзии действительности, — является эта статья с ее широкой постановкой проблемы — силы и величия Вольтера, его слабостей и малых и больших.

В то же время бросается в глаза наличие в последней части статьи, в особенности в ее лирической концовке, личных, автобиографических мотивов. Пушкин, находившийся когда-то в ссылке в Молдавии, любил сравнивать свою участь с судь-

бой сосланного в те же места императором Августом поэта Овидия. И когда он писал о Вольтере при дворе Фридриха, в его сознании несомненно возникали аналогии со своим положением при дворе Николая. Упоминая об этом, Лернер усматривает в соответствующих местах статьи «скрытый упрек Пушкина самому себе». Но и здесь он совершенно не прав.

Высоко ценя написанные Овидием в ссылке знаменитые «Tristia» («Скорби»), собрание элегий, в одной из которых он обращается к Августу с униженной мольбой о прощении, Пушкин решительно противопоставлял себя римскому поэту. Послание, ему посвященное, в котором подчеркивается сходство их участи, Пушкин заканчивает в рукописи весьма выразительными строками (в печати он вынужден был их заменить): «Но не унижил ввек изменой беззаконной ни гордой совести, ни лиры непреклонной».

Так и теперь, проводя скрытые аналогии между собой и Вольтером, Пушкин по всем пунктам противопоставляет себя ему. Известно, как Пушкин любил в последний период жизни повторять, применяя к себе знаменитое заявление Ломоносова, что быть шугом не согласится даже у самого господина бога. В отличие от Вольтера он не только не тянулся к двору и свету, а, наоборот, насильственно удерживаемый, рвался прочь — «в деревню», в свой писательский «ученый кабинет». Отнюдь не добивался он и придворного звания. Напротив, известно, в какую ярость привело его то, что царь неожиданно «упек» его «в камер-пажи», облек в придворный — «шутовской» — камер-юнкерский «кафтан», ненависть к которому он испытывал до конца жизни. Соответствующее место статьи о Вольтере вообще особенно примечательно: «К чести Фридриха II скажем, что сам от себя король... не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление». В этих строках, конечно, не скрытый упрек самому себе, а почти до дерзости явный упрек Николаю I.

Всего через несколько месяцев после статьи «Вольтер» Пушкин написал статью «Последний из свойственников Иоанны д'Арж». Невольно задумываешься: если даже в статью, целиком основанную на до-

<sup>11</sup> Кстати, здесь явный намек на Николая, который принуждал Пушкина оставаться при дворе в Петербурге, несмотря на настоятельные просьбы поэта об «отставке».

кументальных исторических материалах, он включил немало личных автобиографических мотивов, не делал ли он того же и в отношении своей пародии-мистификации? Точная постановка вопроса, как известно, очень важна для получения искомого ответа. В данном случае это именно так. С опубликованием неизвестного дотопле документа — выписки из тургеневского дневника — первый покров загадочного с пушкинской статьи оказался снятым. Для дальнейшей разгадки никакой новой находки не требуется. Достаточно ввести содержание пушкинской мистификации в автобиографический контекст — и ключ к окончательному раскрытию загадки, я уверен, найден. Все недоуменные вопросы разъясняются, статья утрачивает свою таинственность, вернее, оказывается, говоря словами Гёте, открыто лежащей тайной. И лишь удивляешься, как до сих пор никто из твоих предшественников, да и ты сам этого не заметил.

Действительно, обратимся к содержанию пародийной пушкинской мистификации. Вспомним, как перепуганный Вольтер, получив письмо, всеми способами стремится избежать дуэли, хитрит, льстит, лжет, изворачивается, дабы вызвать сочувствие «храброго рыцаря» к себе, бедному старику, жалуется на «удрученность» горестями и недугами, которые уже восемь месяцев держат его в постели, отрекается от какого-либо участия «в составлении глухой рифмованной хроники», то есть от написания поэмы, и т. д. Но ведь это «письмо» не что иное, как пародийное переименование действительных событий пушкинской преддуэльной истории.

Утром 4 ноября 1836 года Пушкин получил пресловутый «диплом», забрасывающий грязью честь не только его жены, но и его самого (прозрачный намек на ее любовную связь с Николаем I как причину царских «милостей», оказываемых поэту). Во всем этом было не только стремление нанести Пушкину тягчайший моральный удар, но и коварный расчет отвлечь его внимание от Дантеса, о романе которого с Натальей Николаевной шли в течение последних месяцев усиленные толки при дворе и в свете, и втянуть поэта в столкновение с царем, что, при всем известном прямом и вспылчивом — «африканском» — характере поэта, могло бы привести к тягчайшим для него последствиям. Вся эта «мерзость», по выражению

самого Пушкина, действительно привела его в бешенство. Бешенством, неистовством определяют близкие поэту лица его душевное состояние в течение всего последующего времени. Но поначалу он сумел совладать с собой и не поддавался на провокации.

Сразу же Пушкин стал подозревать, что «диплом», столь выгодный для Дантеса, «исходил» от его приемного отца — голландского посланника Геккерна, по свидетельству современников, грязного циника, острого на язык сплетника и интригана, не брезгающего никакими средствами ради своих выгод, способного пойти на любую низость. И Пушкин сделал в затеянной против него нечистой игре двойной ответный ход.

6 ноября он, дабы пресечь грязные намеки «диплома», обратился к министру финансов, прося принять в счет задолженности казне свое нижегородское имение, а накануне, на следующее же утро после получения «диплома», дабы пресечь светские сплетни, послал вызов на дуэль Дантесу.

Перехвативший вызов Геккери, ошеломленный этим неожиданным ударом, впал в паническое состояние. Пушкин замечает в своей статье, что, получив вызов на дуэль от Дюлиса, Вольтер «испугался шуму, который мог бы из того произойти, а может быть, и шпаги щекотливого дворянина». «Шум», который неизбежно возник бы вокруг дуэли, мог повредить дипломатическому положению Геккерна и, во всяком случае, испортить налаженную было блестящую светско-придворную карьеру сына. И вот он повел себя, по существу, так же, как Вольтер пушкинской мистификации. Тотчас же он бежит к Пушкину; становясь в благородную позу, принимает вызов за Дантеса, который еще якобы не успел увидеть пушкинского письма, но просит отсрочки на двадцать четыре часа. На следующий день снова прибегает к Пушкину, твердит «о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был его исход», пытаясь растрогать поэта, изливаясь в «своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь с целью обеспечить ему благосостояние», жалуется, что «видит здание всех своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца», и



выпрашивает новой отсрочки на пятнадцать дней. Тронутый волнением и слезами отца, Пушкин соглашается на отсрочку. Воспользовавшись этим, Геккерт в тот же день обращается за посредничеством к Жуковскому, которого специально вызвали в Петербург из Царского Села, умоляя его добиться от Пушкина взятия вызова обратно. «Я приговорен к гильотине,— говорит он Жуковскому,— я прибегаю к милости»<sup>12</sup>. Растроганный «отчаянием» Геккерта, Жуковский, несомненно желая к тому же уберечь от опасности дуэли и Пушкина, соглашается на это. Следующая неделя проходит в настойчивых ежедневных попытках всячески уговорить Пушкина. Но поэт непреклонен. Тогда пускается в ход крайнее средство. Дантес отрекается от своей великой и возвышенной страсти (иронические слова Пушкина) к Наталье Николаевне, заявляет, что на самом деле он любит ее сестру Екатерину и готов жениться на ней. Совершенно явно было, что это удивившее всех «крайнее средство» было вызвано стремлением во что бы то ни стало избежать дуэли. Пушкин прямо и приписывал это (о чем и говорил открыто) трусости. Вспомним его замечание о Вольтере: «...испугался... шпаги щекотливого дворянина»; заставив Дантеса сыграть «роль столь потешную и жалкую»<sup>13</sup>, как писал об этом Пушкин в своем резчайшем письме к Геккерту, он наконец согласился считать свой вызов «не существовавшим».

Но этим не кончилось. Сейчас мы знаем, что постыдный «диплом» был написан не Геккертом, а другим лицом, но можно почти с уверенностью считать, что дело в той или иной мере не обошлось без вдохновлявшей инициативы голландского посланника. Сам же Пушкин, как позднее и его ближайшие друзья и даже царь, был убежден, что именно он является автором «диплома». И оставить эту гнусность безнаказанной поэт не мог и не хотел. Около 21 ноября он написал упомянутое письмо к Геккерту, в котором прямо обвинил его в «составлении» пасквилья. О том же написал он 21 ноября Бенкендорфу, считая «своим долгом» довести это «до сведения правительства и общества», до-

бавляя, что, «будучи единственным судьей и хранителем» своей чести и чести своей жены, он не требует «ни правосудия, ни мести», беря все на самого себя.

О том состоянии, до которого Пушкин был доведен всем, что происходило, рассказывает его близкий светский знакомый В. А. Соллогуб, который ранее был привлечен им в качестве секунданта к несостоявшейся дуэли с Дантесом. «Пойдемте в мой кабинет»,—пригласил Соллогуба Пушкин. Он запер дверь и сказал: «С сыном уже покончено.. Вы мне теперь старичка подавайте» — и прочел письмо к Геккерту. «Губы его задрожали, глаза налились кровью.. он был страшен.. что мог я возразить против такой сокрушительной страсти?» Но разоблачить позорную роль Геккерта, что грозило международным скандалом, Пушкину не дали. Он был вызван к царю, который, пообещав заняться расследованием дела, взял с него слово ничего самому не предпринимать.

После этого, наверное, Пушкин и решил прибегнуть к единственному оставшемуся у него, писателя, средству: обратиться к оружию пера — выставить на посмеяние и поношение жалкую роль сына и позорное поведение отца — и написал свою пародийную мистификацию. Этим объясняется и тот исключительно резкий тон, в котором «английский журналист» говорит о Вольтере. В мистифицированный образ «Вольтера» Пушкин слил воедино циника и злоязычника, лишенного чести и каких-либо моральных устоев «старичка» Геккерта и его «так называемого сына» — Дантеса, труса, каким его видел Пушкин.

Может, естественно, возникнуть вопрос: как же все-таки Пушкин решился «принять» Вольтера до этих двух персон?

На такой вопрос отвечает сама структура нарисованного им образа. В отличие от Вольтера, который незадолго до этого с исторической широтой был обрисован в статье «Вольтер», в данной статье условный пародийно-памфлетный образ его построен только на чертах, которые сам Пушкин в Вольтере резко осуждал, которые являлись своего рода «родимым пятном» той растленной, вырождавшейся придворно-светской французской культуры, с которой Вольтер при всем воинствующем антифеодалном и антиклерикальном характере его творчества был тесно связан; культуры, которая получила в качестве

<sup>12</sup> П. Е. Шеголев. Дуэль и смерть Пушкина. М. 1936, изд. 4-е, стр. 81—82.

<sup>13</sup> Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Л. 1969, стр. 164.

вульгарного вольтерьянства такое хождение при всех европейских дворах.

Первое, что положено Пушкиным в основу этого образа,— циничское отношение к национальной народной героине Франции Жанне д'Арк.

Итальянский писатель-революционер Сильвио Пеллико, десяток лет скитавшийся по тюрьмам (о книге которого «Об обязанности человека» Пушкин отозвался в высшей степени сочувственной рецензией, опубликованной в той же третьей книге «Современника», что и его статья «Вольтер»), писал, что в лице «прекрасной героини своего отечества, великодушной и злополучной Жанны д'Арк», Вольтер издается «над честью женщин вообще». Эти слова, подкрепленные приводимым им же резким отзывом столь ценимой Пушкиным *m-me de Staël*, назвавшей Вольтеру *Rucelle* «преступлением против народной славы», слова, которые Пушкин перечитал за какой-нибудь месяц-два до создания своей мистификации, и могли в какой-то мере натолкнуть его на такой замысел.

Вторая черта — отсутствие самоуважения и искательства перед сильными мира сего, честолюбивая погоня за придворными званиями и чинами, о чем писал и итальянский революционер-драматург Альфиери в книге «*Du Prince et des lettres*» (она имела в библиотеке Пушкина), сокрушаясь, что великий Вольтер не краснея козырял своим придворным званием, подписываясь камергером короля.

Недаром мистифицированное пушкинское письмо Вольтера подписано теми же словами: «*Gentilhomme de la chambre du roi*».

Мало того, в мистифицированной пародии Пушкин закономерно выходит за «пределы» двух своих персональных врагов. «Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом»,— вспоминает Соллогуб. Именно этому «светскому обществу», лишенному чести, патриотизма, гражданского чувства, готовому позорить и высмеивать все самое святое, что есть в мире и человеке, по существу, адресованы заключительные слова «английского журналиста» о французских светско-аристократических кругах, восторгавшихся вольтеровской «Орлеанской девственницей» и вскоре сметенных великой революционной грозой: «Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для че-

ловека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества; и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы он стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д'Ольбаха и *M-me Jeoffrin*, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримуля. Жалкий век! Жалкий народ!»

Документом огромной ценности, свидетельством поразительного самообладания Пушкина, силы его характера, крепости душевной, его горячей любви к своему писательскому делу, до самого конца его не оставлявших, является знаменитое последнее письмо к детской писательнице А. О. Ишимовой. В этот ряд должно быть поставлено и его последнее художественное произведение.

И как человек и как писатель Пушкин, ни перед кем не склонявший непокорной главы, умер борцом.

Смертельно раненный, потерявший сознание, он нашел силы очнуться и сделать ответный выстрел — лежа, опираясь на локоть, прицелился и попасть во врага.

Последними словами Пушкина было обращение к тем, кого Лермонтов по праву назвал убийцами поэта, в полной презрения и гнева концовке блистательной пушкинской пародийной мистификации.

Несколько лет назад я писал об этом в одной из газет. Здесь мне хотелось еще раз остановить внимание читателей на том заключающем всю творческую деятельность Пушкина последнем произведении его писательского пера, которое до сих пор выглядело странным и непонятым, а на самом деле органически вплеталось в трагическую канву последнего месяца жизни поэта, именно в этом обретая загадку, свой, теперь понятный нам, смысл. Бросает оно и прощальный луч на общественную позицию и творчество Пушкина 30-х годов — периода, который современная поэту критика (и, кстати, опирающийся на нее профессор Викери) объявила порой упадка пушкинского гения. А ведь именно в 30-е годы «парадоксов друг» — гений Пушкина достиг наивысшего расцвета, внес свой самый значительный вклад в сокровищницу мирового искусства слова. Сказать хотя бы совсем коротко о содержании и значении этого вклада я и должен, заключая мою статью.

## 3

После ярчайшего проявления могучего творческого духа Пушкина — чуда трех болдинских месяцев осени 1830 года, когда поэт создает последние главы «Евгения Онегина», — он в 1831 году окончательно завершает свое центральное творение — роман в стихах. Это и в самом деле являлось «свершением подвига». Было создано произведение, которое, принципиально отличаясь от южных романтических поэм байроновского типа и от байроновской же поэмы-сатиры «Дон Жуан», явилось во всей мировой литературе образцом стихотворного реалистического эпоса. Этот эпос не только по месту, занимаемому в пушкинском творчестве, а и по энциклопедическому охвату автором современности — всего своего «века» — и по художественному совершенству действительно может быть приравнен к величайшим созданиям европейского гения — «Божественной комедии» Данте и «Фаусту» Гёте. Но в отличие от того и другого творение Пушкина было лишено каких-либо мистифицирующих элементов, создано по законам реальной жизни, сочетая трезвое и правдивое ее воссоздание с той поэзией действительности, которая станет драгоценной приметой наиболее совершенных образцов последующего русского критического реализма.

Одновременно с окончанием романа в стихах Пушкин начинает осуществление еще одного, и едва ли не самого трудного и по своим последствиям особенно важного и перспективного, литературного подвига — создание реалистического эпоса в прозе, области художественного творчества, ставшей вместе с поступательным движением века центральной, наиболее способной художественно вместить в себя многообразнейшее содержание его социального и художественного бытия, но в русской литературе того времени как раз наиболее отстававшей, наименее разработанной во всех отношениях начиная с самого главного — крайней неразвитости русского литературно-прозаического языка.

В ту же болдинскую осень (сентябрь — октябрь) вместе с завершением одного из великих достижений своего творчества — «маленьких трагедий» — Пушкин стремительно создает первое законченное им и весьма своеобразное произведение в прозе: пять тоже «маленьких» повестей,

объединенных в единый цикл условной личностью «сочинителя» и соответствующим этому заглавием, — «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.». В «Повестях Белкина» уже полностью складывается новая — прозаическая — поэтика Пушкина и устанавливается гармонически с нею связанная норма русской литературно-прозаической речи. Направленные в отличие от «Евгения Онегина» на художественное воспроизведение различных сторон, явлений, типов русской жизни вплоть до самых социально «низких» слоев ее, по существу вполне серьезные, но проникнутые то мягким юмором, то шутилой (как почти всегда у Пушкина, литературно-пародически заостренной) иронией, «Повести Белкина», при всей своей и фабульно и стилистически подчеркиваемой «прозаичности», овеяны той же поэзией действительности, что и пушкинский роман в стихах. Всем этим новый литературный подвиг Пушкина был свершен. Первый поэт-стихотворец 20-х годов становится теперь на дороге прозаика, который, следуя по ней, создает (не говоря уж о том, что осталось незаконченным — о ряде прозаических произведений, набросков, отрывков, разнообразнейших, порой грандиозных, замыслов) такие шедевры, как «Пиковая дама» и «Капитанская дочка», которые вполне могут стать в ряд величайших образцов мировой художественной прозы. Так Пушкин открывает совершенно новую и плодотворнейшую страницу не только своего творчества, а и всей последующей русской литературы, поднимая ее в основных областях искусства слова на уровень века и вкладывая в нее тем самым неограниченные возможности дальнейшего развития.

Но занимаясь в 30-е годы по преимуществу прозой, Пушкин не перестает быть стихотворцем. В это же время он создает последнюю и самую значительную свою поэму, своеобразный синтез «Евгения Онегина» и «Домика в Коломне», — «Медный всадник», которая по философской, этической насыщенности и глубине содержания и по беспримерному художественному совершенству его выражения стоит в том же ряду его стихотворного творчества, что и роман в стихах и маленькие трагедии. Все расширяющаяся и углубляющаяся в 30-е годы народность Пушкина с не меньшей силой, чем в некоторых эпизодах «Дубровского» и в «Капитанской дочке», сказыва-

ется и в таком вершинном создании пушкинского гения, как поэма-трагедия «Русалка», как три поэмы-сказки, и особенно две, близкие к формам народного стиха,— осенне-болдинские сказки «О попе и о работнике его Балде» (1830) и «О рыбаке и рыбке» (1833). В 30-е годы поэтом создается и немалое число более мелких стихотворных произведений, в том числе несколько перлов его лирики.

Вместе с тем существенно меняется мелодический лад пушкинского стиха. «Медный всадник» — величайшее торжество того размера, который еще со времени Ломоносова стал ведущим в русской поэзии и достиг замечательного развития в творчестве Пушкина 20-х годов,— четырехстопного ямба. Но уже до этого в «Домике в Коломне» поэт от него демонстративно отказывается. И действительно, для пушкинской поэзии 30-х годов характерны начатые уже Радищевым самые разнообразные искания в области ритмического и музыкального строя русской стихотворной речи, более соответствующего новому лирическому настрою поэта: новой — «прозаической» — тематике и нарастающей народности (опыт создания «народных» стихотворных размеров).

Уже из этого далеко не полного и беглого перечня видно, какие неисчерпаемые россыпи драгоценнейших самородков искусства слова заключает в себе последний период пушкинского творчества. Существенно расширяются в эту пору и рамки реализма Пушкина по сравнению с первым его этапом — «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым». В таких произведениях, как маленькие трагедии, «Медный всадник», «Пиковая дама», в сферу реалистического воспроизведения действительности включаются без какого-либо ущерба для жизненной правды не только область подсознательного — «темных» движений

души,— но и элементы фантастики и глубочайшие символические обобщения.

Мы хорошо помним подытоживающую высказывания крупнейших писателей-классиков формулу Горького о Пушкине как начале у нас всех начал. И особенно много этих «начал» в пушкинском творчестве последнего периода. Причем Пушкин 30-х годов не только с величайшей щедростью бросал во вспаханные им «бразды» русской литературы все новые и новые живительные семена. В ряде произведений этого периода он пророчески-необыкновенным чутьем художника-мыслителя улавливал то, что только намечалось в современной ему действительности — носилось в воздухе, но еще не осело, не приняло зримых и осязаемых форм. Во многих своих созданиях Пушкин непосредственно вступал в будущие художественные миры не только его младших сверстников — Гоголя, Лермонтова, но только крупнейших представителей «пушкинского направления» — Тургенева, Герцена, Льва Толстого, Чехова, но и таких словно бы далеких от него писателей, как, с одной стороны, Некрасов, с другой — Достоевский.

Наконец, в пушкинском творчестве 30-х годов наряду со все большим развитием глубоко национально-русских начал с особенным блеском сверкает одна из замечательнейших граней пушкинского творческого гения — присущий ему эстетический «интернационализм» — всемирность, «всеотклики», способность, полностью оставаясь собой, «вживаться» в национальные миры других народов, в различные моменты их исторического развития.

Конечно, в рамках данной статьи я могу только сказать об основных чертах жизни и творчества Пушкина в 30-е годы. Показать — задача третьей части исследовательской трилогии «Творческий путь Пушкина», которую я надеюсь вскоре представить на суд читателей.



---

В. НЕПОМНЯЩИЙ

★

## «СБИРАЙТЕСЬ ИНОГДА ЧИТАТЬ МОЙ СВИТОК ВЕРНЫЙ...»

О некоторых современных толкованиях Пушкина

Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ищу...

*Пушкин.*

**П**осреди самых насущных забот, споров и проблем нашей культурной жизни никого уже не удивляет стремительно нарастающий и ширящийся интерес к Пушкину.

Трудно найти издание — новую книгу, номер журнала или газеты, — имеющее отношение к вопросам искусства, литературы, культуры в целом, где бы не писали о Пушкине, не цитировали бы его, не выносили бы в эпиграф, не ссылались на его авторитет, где не мелькало бы, по крайней мере, его имя. Сочинений Пушкина найти в магазинах невозможно. Литература о нем стала предметом особого коллекционирования у многих библиофилов, чутких к веяниям времени. Новые работы пушкинистов — даже самые специальные — исчезают с прилавков, едва появившись на них.

На протяжении последних лет Пушкин все чаще и чаще становится героем и темой произведений, обращенных к самой широкой аудитории: прозы, стихов, публицистики, концертной программы, писательского эссе, фильма, различных жанров «популярного пушкиноведения», пьесы, спектакля.

Без преувеличения можно сказать, что все это — по-настоящему массовый процесс, и что Пушкин, в добавление ко всему сказанному, становится моден, что само по себе весьма знаменательно.

Характерная черта этих явлений та, что в них нет ничего искусственного, ничего от юбилейной помпы. Природа их глубоко объективна и органична. Чем глубже, тоньше, сложнее и многообразнее становятся проблемы духовного развития общества и личности, тем пристальнее наш взор обращается к оставленному нам великому наследию, и прежде всего к Пушкину. Мы как будто ищем у него ответов на какие-то бередающие душу вопросы.

Детальный разговор о причинах этого увел бы слишком далеко от основной темы; сейчас хотелось бы только предположить следующее: Пушкин, как никто из русских писателей и подобно очень немногим из «мировых гениев» масштаба Гомера и Шекспира, по меньшей мере ни в чем не уступая им, воспроизвел в материале слова и стиха ряд «сущностей» и «структур» невероятно широкой, может быть универсальной, значимости. Пласты, из которых он добывает свое знание о мире, так глубоко залегают, а уровни, на которых им производятся обобщения этих знаний, так высоки, что в иные времена, когда главной задачей делается эмпирическое, позитивное рассмотрение явлений, Пушкин может казаться хрестоматийным «классиком», слишком отвлеченным, бесстрастно-вневременным. Но он становится жгуче-современным в те периоды, когда намечается стремление синтезировать, обобщить многообразие по-

лученных трудом и опытом эмпирических знаний. И нынешняя тяга к Пушкину есть, по всей вероятности, одно из свидетельств и фактов происходящего в нашем веке особого качественного сдвига в постижении людьми того мира, в котором они живут.

В этом смысле интерес к Пушкину и даже «мода» на Пушкина — явление, выходящее за пределы собственно художественных категорий.

В нынешнем массовом обращении к Пушкину бросаются в глаза некоторые особенности, тесно между собою связанные: стремление снять с представлений о творчестве поэта толстый и достаточно заскорузлый слой «хрестоматийного глянца», попытки проникнуть в живой и современный нам смысл этого творчества и как никогда, пожалуй, напряженный интерес к реальному облику Пушкина, к его живой личности, столь, казалось бы, ярко представленной и его собственными произведениями, и многочисленными (как, может быть, ни о ком) воспоминаниями современников, и все-таки столь загадочной, столь влекущей и ускользающей. В итоге два эти стремления отражают объективную потребность постигнуть Пушкина как явление и как судьбу в их неразъятости и неповторимости и одновременно — в их общезначимости, универсальности, а стало быть, и «современности».

Испытываешь чувство какого-то глубоко личного счастья, когда встречаешься с удачами художников на этом пути. Невозможно, например, забыть о том событии в сценической истории, каким стало исполнение великим трагическим актером нашего времени Николаем Симоновым роли Сальери. Более десяти лет не сходит с экранов телевизионный фильм-опера «Моцарт и Сальери», где Моцарта с поразительной силой проникновения в пушкинский замысел играет в кадре Иянокентий Смоктуновский. Прочным и несуетным успехом пользуются выступления Александра Кутепова, с подлинным вдохновением читающего «Арапа Петра Великого» и «пушкинскую» композицию по романам Тынянова. Многие помнят, какое впечатление произвели полная драматизма и одновременно эксцентрики интерпретация Сергеем Юрским на эстраде глав «Евгения Онегина» и его озорной и блестящий «Граф Нулин». Кто хоть раз слышал по радио чтение пушкинских стихов (в особенности «Признания» — «Я вас люб-

лю — хоть я бешусь») Борисом Бабочкиным или видел по телевизору, как читает «Гробовщика» Александр Калягин, тот вряд ли забудет эти исполнительские шедевры, созданные не очень схожими по характеру дарования артистами. Важное и в глубоком смысле «свое» место в сценической пушкиниане последних лет занимает моноспектакль «А. С. Пушкин. Диалоги», созданный Владимиром Рецпером и своим неизменным успехом у зрителя на протяжении нескольких лет обязанный исполнительскому таланту артиста и самостоятельной исследовательской мысли, положенной им в основу этой лирико-философской композиции и сообщающей ей художественную глубину.

То, что в первую очередь приходят на ум успехи исполнительские (разговор о них можно было бы и продолжить), — естественно: здесь больше всего постижений, по природе своей непосредственных, сердечных, чутко и крупно отражающих в отношении к самому пушкинскому тексту именно стихию массовой любви к поэту, глубокою внутренней связью и взаимопонимание между пушкинским гением и народным духом. В литературе положение несколько иное, и все же в ней есть свидетельства по-новому серьезного и глубокого подхода писателей к теме.

Настоящим явлением в литературе стали публикации «пушкинских» работ, набросков и черновиков Анны Ахматовой при всех возможных несогласиях с автором, при всех издержках субъективности. Наконец, нельзя не отметить литературный блеск, с которым написаны Даниилом Граниным эссе о «Медном всаднике» и «Моцарте и Сальери», опубликованные в свое время в «Новом мире».

И те достоинства, что есть в этих работах, и само их появление, бесспорно, связаны не только с субъективной творческой волей их создателей. Настоящий художник в отличие от «ненастоящего» (который в обиходе обычно называется «средний») вообще не «выдумывает» «от себя» — его творения отвечают осознанной и неосознанной людьми объективной потребности в приближении к истине, истина же не «конструируется»; каким бы оригинальным ни было лицо того или иного истинного художника, в основе его дара всегда —

...и виждь, и внемли,  
Исполнишь волею моей.

Художник может не думать специально о том, что «воля» эта незримо разлита в океане людей, каплей которого является он сам.— но она существует, хотя только частично получает то отражение на книжных и журнальных страницах, на сценах, экранах и эстрадах, о котором говорилось выше; массовые же, «приватные», проявления ее бесконечно многообразны. Ведь это факт, что из всех литературоведческих находок именно «пушкинские» вызывают поистине широкий, поистине всеобщий интерес — стоит вспомнить хотя бы недавние публикации новонайденного письма Пушкина, писем Н. Н. Пушкиной, писем сестер Гончаровых. Ни одна область литературы не может похвалиться такой давней и мощной традицией непрофессионального, самодеятельного «исследовательства», как пушкиноведение: изучением Пушкина, собиранием относящихся к его жизни и творчеству документов, книг, иконографии и пр. занимаются писатели, инженеры, ученые самых разных отраслей, не имеющих решительно никакого отношения к литературе; некоторые из «непрофессионалов» внесли бесценный вклад в это всенародное изучение национального сокровища; Государственный музей Пушкина, ставший поистине одним из культурных центров Москвы, существованием своей прекрасной коллекции материалов, своей экспозиции, самую свою деятельность обязан в колоссальной мере общественному активу и бесчисленным «дарам» частных лиц, представителей разнообразнейших профессий и возрастов. Пушкинские вечера в самых разных учреждениях вызывают почти всегда какой-то особенно широкий, массовый и трогательно «неофициальный» энтузиазм; не поминаю уж о том, что «нет и не было ни одной говорящей по-русски семьи, где дети могли бы вспомнить, когда они в первый раз слышали это имя и видели этот портрет»<sup>1</sup>.

Вот это, в сущности, и есть то, что мы привыкли называть «народною тропой», то, что реализуется в творческой воле всякого истинного художника, обращающегося к Пушкину.

В то же время все это безмерно увеличивает нашу ответственность перед читателями, слушателями, зрителями. Ибо массо-

вость интереса к какой-либо духовной ценности — в данном случае к Пушкину, — будучи здоровой по своим истокам и природе, в реальных проявлениях своих и результатах может, как показывает жизнь, быть вещью очень противоречивой и вести не к одним только приятным и радостным последствиям.

Именно об этом и хотелось бы поговорить подробнее.

Вспоминается спектакль «Маленькие трагедии», поставленный в Театре имени Евг. Вахтангова к 125-летию со дня смерти Пушкина.

Несмотря на очень хороший актерский состав, среди которого блистал Дон Гуан — Н. Гриценко, в целом это было в полном смысле слова мемориальное зрелище. Пролог этого спектакля, как и его эпилог, когда все исполнители, стоя полукругом, в почтительном молчании взирали на большой мертвенно-белый на черном фоне бюст автора, придавал зрелищу ярко выраженный оттенок гражданской панихиды.

Спектакль этот вспомнился как «модель» довольно нередкого в прошлом, да и сейчас еще порой встречающегося отношения к Пушкину.

Прошло около полутора десятилетий — и недавно на той же сцене в спектакле «Шаги командора» мы увидели «живого Пушкина». От «памятника» в нем не было ничего. Это был «добрый малый, как вы да я...». Наделенный, как явствовало из контекста спектакля, незаурядным поэтическим талантом, во всем остальном он был поистине один из «малых сих», «усталый, страдающий брат», задавленный жизнью, с истерическим надломом пытающийся обречь свое реноме перед людьми и самим собою, тратящий остатки сил на то, чтобы в неравной борьбе с всеильными «обстоятельствами» не пасть ниже, чем это позволяют приличия.

Легко понять, что обе эти «модели» — «старая» и «новая» — не так уж непримиримы, как может показаться на беглый взгляд; это лишь два качания одного маятника. Старая «модель» продолжает жить в новой, приспособившись к новым условиям.

И это относится уже не только к упомянутым спектаклям и не только к театру.

Многим, вероятно, приходилось замечать

<sup>1</sup> Анна Ахматова. Пушкин и дети. «Детская литература», 1974, № 6.

тот преувеличенный, экзальтированный подъем, с каким о Пушкине иногда говорят на различных посвященных ему «мероприятиях», да и просто «к слову»: даже имя его произносится нередко с тем машинально-восторженным «придыханием», которое меняет, кажется, самую фонетику, сообщая ей какой-то неуловимый призыв — получается не то «Пхушкин!», не то «Пушкин!» — как будто горящий, произнося эту фамилию, по привычке готовится подпрыгнуть и на некоторое время взлететь, чтобы, за неимением других аргументов, хоть этим доказать свою бесконечную любовь к Пушкину. Отчужденное почтение более или менее прочно сменилось этими сюсюкающими интонациями, приводящими на память умильную манеру старых изданий для «семейного чтения», — эти интонации встречаются все чаще: от выходящих одна за другой поверхностных, но роскошно издаваемых биографических компиляций А. Гессена — до «свободных» раздумий некоторых писателей и поэтов о творчестве Пушкина.

«...Как ни велика моя любовь к нему, я не испытываю желания становиться перед ним на колени и бормотать, как он велик», — говорится в одной из таких работ. Автор не принимает «старую», «мемориальную», модель подхода к Пушкину, и это неприятие можно было бы только приветствовать, если бы с ним не соседствовала «новая» модель — сентиментальная: «Мне дорог Пушкин, каким он был, — грешный, лохматый, веселый, трагичный, злой, нестигаемый... верный, влюбчивый, непостоянный. Язычник, эллин, атеист, тираноборец. Чистый, как дитя. Мудрый всей мудростью мира». Даже если кое-что из этих определений и верно, то все вместе не имеет к Пушкину отношения.

Как это ни странно, но спустя столетие со времени возникновения науки о Пушкине авторы некоторых произведений о нем помнят лишь следующее: 1) Пушкин был связан с декабристами и писал «возмутительные» стихи; 2) за это его притесняли Николай с Бенкендорфом, и травило светское общество и 3) в результате всего этого он трагически погиб на дуэли. Это те три сосны, которыми дело и ограничивается. Иногда к этой триаде добавляется еще один момент: 4) Пушкин очень любил женщин.

Остальные стороны жизни поэта, его устремления и проблемы, выходящие за

пределы усвоенного со школьной скамьи, с большим трудом находят себе место в трудах таких авторов. Творчество Пушкина, его дело, весь гигантский труд, в котором и была его главная жизнь, — все это становится, если использовать давнее выражение одного исследователя, «комментарием к жизнеописанию». Как будто «внешние обстоятельства» жизни Пушкина заведомо важнее и заслуживают преимущественного внимания по сравнению с тем «внутренним», на чем основана его великая слава. Поразительно, но у многих, например, политическая злободневность «Бориса Годунова» для своего времени заслоняет все огромное историческое, философское, нравственное содержание трагедии; а бодинская осень 1830 года, оказывается, примечательна главным образом тем, что именно тогда была сожжена «декабристская» глава «Онегина». Подчас создается впечатление, что для некоторых авторов факт смерти поэта стоит впереди факта жизни поэта, а житейская биография гонимого писателя, друга декабристов, подданного, камер-юнкера, мужа и т. п. заслоняет внутреннюю биографию поэта с ее полными глубочайшего смысла драмами, с ее ни с чем не сравнимыми радостями и великими пиршествами творческого духа.

В конечном счете именно в контексте этих смещений получают объяснение некоторые «подмены» предмета разговора, которые то и дело случаются в произведениях на «пушкинскую тему». Так, например, в уже упоминавшемся талантливом очерке Д. Гранина «Священный дар», где речь идет о «Моцарте и Сальери», главным и основным героем оказывается Фаддей Булгарин. Спору нет, из неисчерпаемых глубин пушкинской философской трагедии можно извлечь и такое «применение», и многие, — при условии понимания известных реальных соотношений. Здесь, однако, имеет место некоторое насилие: желал или не желал этого автор — не Булгарин представляется тут сниженной и пошлой модификацией проблемы, реально существующей в бытии и лишь впервые «названной» и «показанной» Пушкиным как «проблема Сальери», а наоборот: сама пушкинская трагедия оказалась в архитектонике, контексте и пафосе очерка чем-то производным от интересующей Д. Гранина темы «булгаринской» психологии, чем-то вытекающим из нее и подчиненным ей. И не слу-



чайню оговорки автора относительно различий между трагическим героем, убийцей-«философом», с одной стороны, и проходцем с ущемленным честолюбием — с другой, «теряются» в очерке, кажутся какими-то уж очень формальными, а подчас, как ни парадоксально... и неубедительными. («У Пушкина не было Сальери,— пишет Д. Гранин,— у него был всего лишь Булгарин и булгарины. Художническая борьба была опакоснена подлостями, доносами, ввергнута в мясорубку без соблюдения правил чести»,— как будто лишь этим отличается от Булгарина Сальери, как будто его не признающего «правды» ни «на земле», ни «выше», какие-то «правила чести» могли бы остановить!)

Такую «подмену», повторяю, я мог бы понять, если бы автор сознавал — и давал понять это читателю,— что он намеренно и вынужденно, в своих творческих целях, выделяет из множества мыслей, вызываемых пушкинской трагедией, лишь одну, и притом не главную: оставляя в стороне громадную философскую проблему, берет лишь частный по отношению к ней, хотя и достаточно широкий случай определенной низменной психологии. Но этого, к сожалению, нет: гипноз собственной темы оказался столь силен, что в финале работы Д. Гранин, опираясь на свою (заслуживающую, впрочем, горячей поддержки) нравственную бескомпромиссность, демонстративно отмечает как раз то в пушкинском произведении, что составляет условие его философской высоты и его подлинной трагедийности; одну из существеннейших и «вечных» сторон ее содержания — ее антиномичность, свидетельствование ею вечного противоречия, «вечной борьбы» — в том числе и между, выражаясь словами Д. Гранина, «желанием все разложить, логически понять, взвесить законы и невозможностью это сделать». Борьбы, ведущей к такому человеческим трагедиям, которые никаким булгариним и не снились, а случались с Раскольниковыми и Карамазовыми, Д. Гранин отмечает это философское содержание трагедии довольно просто: «Ловкие и соблазнительные эти рассуждения (относительно «вечной борьбы».— В. Н.) относились скорее к другим предметам нашего спора. Пушкин, как никто, умел и мог выразить себя точно. В этом отражалась цельность его натуры».

Однако цельность натуры Пушкина со-

стояла как раз в том, что он обладал способностью охватить проблему в ее реальной многосторонности и противоречивости; будучи «беспристрастным, как судьба» (если вспомнить его собственные слова касательно «драматического поэта»), он «не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою» — ни в исторической, ни в философской драме. Нужно также возразить, что Пушкин «умел и мог» не только «точно» выразить себя, но и глубоко «выразить» природу вещей, реальную, безотносительную к оценкам, постигнутую и «в себе» и «вне себя». И наконец, можно возразить, что большинство произведений Пушкина вызывает именно к философскому подходу, который кажется «ловким и соблазнительным» лишь тем, кому хочется находить не проблемы, а их «точные» однозначные решения. Потому что, давая читателю верный нравственный тон в отношении к конфликту или проблеме, Пушкин всегда оставляет сам конфликт — в философском его смысле — «незавершенным», а проблему — в философском смысле — «открытой», антиномичной, реальной в своей противоречивости. Именно поэтому, кстати, Сальери — герой подлинно трагический, и, как тонко подмечает Д. Гранин, «не чувствуется у Пушкина ненависти к нему» (сопровождая это замечание, правда, странным объяснением: «У Пушкина не было Сальери»,— как будто Пушкин мог «ненавидеть» лишь того, кто сделал зло лично ему). В итоге прием, положенный в основу, здесь выглядит подменной предмета разговора, снижением и упреждением его, упоминание Великого Инквизитора, которое могло бы поднять размышления автора на гораздо большую высоту, выглядит лишь красивой деталью, а эффектная игра с выражением «боги смеются», примененным к Сальери, «работает» не так, как могла бы работать.

В одном из произведений «на пушкинскую тему» есть забавная оговорка. Установившая подобающие, с его точки зрения, отношения между Пушкиным и собою, автор с достоинством и очень серьезно заявляет: «Уж если вести о нем разговор, то помня народную мудрость, гласящую, что и кошка имеет право смотреть на короля». Французская пословица выбрана поразительно неудачно и приведена очевидно невпопад. Ведь, кроме прочего, нельзя забывать и о том, что сколько бы кошка ни смотрела на короля, она остается кошкой

и именно поэтому не понимает, чем король отличается от других людей.

Как ни странно, эта невольная небрежность не только не случайна и не только забавна — она из тех ошибок, которыми «проговариваются», и отражает реальную, чаще всего плохо осознанную, позицию тех, кто пишет о Пушкине с искренней любовью, даже с нежностью, но совершенно не чувствуя того, что Толстой (говоря, кстати, именно о Пушкине) называл «иерархией предметов», того, что мы называем «иерархией ценностей». Для таких авторов все «хорошие стихи», в общем-то, хороши почти одинаково, а Пушкин и какой-либо другой очень нравящийся лично им, скажем, современный поэт — это два прекрасных поэта. Они как бы забывают, говоря о Пушкине, что существуют явления, находящиеся на разных уровнях не просто специфически литературного дарования, но — постижения реальности и истины; что среди этих явлений есть такие, к уровню которых мы должны «тянуться» с гораздо большим усилием, чем к другим; что уровни эти требуют, чтобы мы не приспособливали их к себе, а сами приспособливались к их пониманию, и что если «планку» переставить ниже, то и уровень будет не тот, а уже совсем другой, и нам будет не много чести от того, что мы легко взяли эту «высоту».

Хуже всего бывает, когда отсутствует всякое ощущение уровня, отличного от того, который мы можем «взять с первой попытки». Представьте себе, например, актера, который с телевизионной «доверительностью», в весьма интимных тонах сообщает зрителям о своей собственной трагической любви к некой женщине, которая, если верить ему, заснула последним сном там, увь, где неба своды сияют в блеске голубом; представьте исполнителя пушкинских стихов мечущимся от одного края телеэкрана к другому, изо всех сил пытаясь изобразить диалог с ямщиком, вместе с которым лично он, этот актер, заблудился среди неведомых равнин; вообразите, что получается, когда строки: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья» — важны для артиста и интересны ему прежде всего как некое подходящее аллегорическое выражение его собственных драматических взаимоотношений с начальством, — и вы получите

представление о том, что такое невоспитанность в отношении к духовной ценности — в данном случае к Пушкину. Речь идет не только о невоспитанности эстетической, когда все равно, что читать — Пушкина, Иванова или Сидорова, было бы «профессионально», но и этической, когда отсутствует необходимое самоотречение (которое, строго говоря, нужно при любой попытке проникновения в «другое», в иное, чем «я»), а есть прежде всего любовь и бережливость по отношению к себе, к своей драгоценной «индивидуальности». Между тем именно такое «подкладывание» под слова поэта своих собственных, подлинных или вымышленных, переживаний, подмена поэта собой выдаются нередко и исполняющими и пишущими за «современность прочтения».

Самое любопытное здесь то, что подобное «присвоение», уничтожение «дистанции», отсутствие чувства «иерархии» крайне невыгодно, в конечном счете (как и всякий вообще «эгоистический» акт), для самого читающего или пишущего. Как и всякий занимающийся «не своим делом», присвоивший «чужое», он чаще всего обнаруживает самые слабые свои стороны и становится страшно уязвим. По жестокому закону правды, чем явственнее такой читающий или пишущий «присваивает» Пушкина себе, а свою личность, свои проблемы, свои «комплексы» пытается передать Пушкину, тем ярче выступает «на всенародные очи» все самое непривлекательное в этой личности, все то, что от окружающих и от публики надо бы скрывать. И, соответственно уходит в тень все подлинно творческое и человечески лучшее в этой личности; и даже талантливый в своем деле человек становится не очень умен, недостаточно талантлив, менее обаятелен. Что же касается пушкинских стихов, то они в результате становятся подчас как бы неуместны, их бывает неловко слышать из этих уст; и известные слова А. Н. Островского, что через Пушкина умнеет все, что может поумнеть, звучат печальной иронией. Никакие хитроумные приемы и профессиональные «подпорки» тут не выручают.

Какие бы эффектные и прочувствованные кадры ни придумывал режиссер фильма «10 февраля, около 3-х часов пополудни», где кинематографический рассказ о гибели Пушкина перемежается кадрами традиционной траурной «годовщины» в му-

зее-квартире на Мойке, все равно очевидной бестактностью выглядит то, что главным, по существу, объектом внимания и основным «героем» этого фильма стал Е. Евтушенко. Дело тут вовсе не в том или ином отношении к этому поэту (П. Антокольский, например, в том же фильме с прекрасной непосредственностью и обаянием культуры прочитал «Пророка», но и это не значит, что «героем» мог быть, скажем, он): дело в том, что автор, которому надо было бы снимать фильм о Евтушенко, снял фильм о Пушкине; смешав и перепутав явления разного уровня, он этим «проговорился» о собственном уровне понимания предмета, за который в данном случае взялся. Оттого, кстати, этот пятнадцатиминутный фильм (снятый А. Виноградовым, автором очень хорошей, поэтической, сделанной со знанием и умением документальной картины о золотоискателях «Золото») получился перегруженным внешними приемами, эффектированно-многозначительными деталями и — нестерпимо слезливым. Это очень похоже на ту литературу о Пушкине, что обрушивает на читателя целые страницы «романтического» вольтажа, в атмосфере которого обесцениваются слова, превращаясь в восторженное «бормотание», — так человек, чувствуя, что у него мало дельных доводов, невольно повышает голос, то и дело прижимая руки к груди и возводя глаза горе.

Обилие эффектов обрушивается на зрителя в спектакле «Товарищ, верь...», поставленном в Театре на Таганке. Исполнявший когда-то роль Моцарта в том самом «мемориальном» спектакле «Маленькие трагедии», о котором шла речь выше, Юрий Любимов поставил зрелище, воинственно отвергающее «хрестоматийный глянец», дерзкое по выразительным средствам и полное озорства — часто очень соленого и остроумного. Но вот наступает перенасыщение частными сценическими «находками» (количество которых, вообще говоря, может быть бесконечным и ограничено, в сущности, только необходимостью учитывать силы актеров и предел выносливости публики) — и внимание начинает обращаться к тому, что хочет сказать театр, — к «сути дела».

И вот тут выясняется, что «суть дела» снова ограничивается упомянутой триадой: Пушкин и декабристы; Пушкин и царь; гибель Пушкина — и сверх того уже упомянутая «факультативная» тема Пушкина—гу-

ляки и «озорника» по женской части, решаемая, надо отдать справедливость, нередко очень забавно и талантливо и, однако, сообщающая представлению, в котором и так немало элементов вузовского «капустника», всего лишь дополнительную легкость.

Правда, если бы актеры умели читать стихи с уважением и любовью к пушкинскому слову, а не только к режиссерской экспликации, может быть, обилие внешних «находок» не оборачивалось бы монотонностью, поскольку стихи — эта лучшая биография поэта — говорили бы сами за себя. Однако, к сожалению, чтение стихов Пушкина в принципе мало чем отличается здесь от того, как читаются стихи, скажем, в спектакле «Антимиры». Но ведь Пушкин и «Антимиры» — это, согласимся, разные вещи.

Самым печальным оказывается то, что возникающий в спектакле образ имеет к Пушкину отдаленное отношение: это «добрый малый», который, по совести говоря, сам не вполне ясно представляет, из-за чего он так мучится и мечется — из-за того ли, что самодержавный царь не дозволяет ему заниматься республиканской деятельностью, или оттого, что герою недостаточно уютно живется. И потому что-то режущее слух появляется там, где возникают слабые попытки вспомнить, что Пушкин наряду со всем прочим был еще и великим поэтом, главное счастье которого было счастье труда и вдохновения. Среди царящей на сцене суеты как-то неловко слышатся наспех, скороговоркой выкрикиваемые обрывки стихотворных строф и строк. Лучше бы уж было совсем не включать в спектакль, скажем, «Осень», чем надрыться и отчаянно жестикулировать, насильно втискивая это чудо в высокую и прекрасную, но не имеющую к нему никакого отношения «тираноборческую тему»...

Вспоминается запись В. Вересаева, которая поможет обнаружить истоки подобного рода прочтений Пушкина: «В середине 20-х годов существовало в Москве литературное общество «Звено». Один молодой пушкинист прочитал там доклад о Пушкине. Пушкин такой писатель, что, надергав из него цитат, можно пытаться доказать что угодно. Докладчик серьезнейшим образом доказывал, что Пушкин был большевиком чистой воды, без всякого даже уклона. Разнесли мы его жестоко. Под-

нимается беллетрист А. Ф. Насимович и говорит: «Товарищи! Я очень удивлен нападками, которым тут подвергся докладчик. Все, что он говорит о коммунизме Пушкина, настолько бесспорно, что об этом не может быть никакого разговора. Конечно, Пушкин был чистейший большевик! Я только удивляюсь, что докладчик не привел еще одной, главнейшей цитаты из Пушкина, которая сразу заставит умолкнуть всех возражателей. Вспомните, что сказал Пушкин: «Октябрь уж наступил...»<sup>2</sup>.

Докладчик, о котором рассказывает Вересаев, «надергал цитат» из Пушкина; в спектакле «Товарищ, верь...» не ограничиваются цитатами из Пушкина («надерганными» иной раз очень неаккуратно), а именно: чтобы дать, например, зрителю понять, насколько воинственная вещь трагедия Пушкина «Борис Годунов», на сцене несколько раз повторяется начало хора «Расхотелась-разгулялась сила-удаль молодецкая», текст которого, как и вся «Сцена под Кромами», написан... Модестом Петровичем Мусоргским и, стало быть, не имеет ни малейшего отношения к Пушкину (текст его трагедии вряд ли каждый зритель знает наизусть, почему его и нетрудно провести). Беда не только в том, что Пушкин в этом спектакле оказался как бы певцом крестьянской войны и что чуть ли не главное место в пушкинской поэзии отведено «эзоповскому подтексту» с политической окраской. Беда в самой методе свободного додумывания «за автора», которая может очень далеко завести.

Кстати, в программе спектакля так и пишется: «за Пушкина», «за Жуковского» и т. п.<sup>3</sup>.

Прием этот, помимо прочих чисто сценических удобств, дает большую свободу приспособлять Пушкина к какому угодно уровню, опускать «планку» до любого допустимого понимания. Это, в сущности, тот

же самый принцип, который, не будучи декларирован столь откровенно, положен и в основу спектакля «Шаги командора». «Пушкин на Таганке» мало чем отличается внутренне от «Пушкина на Арбате»: это все тот же персонаж «за Пушкина», беда которого в том, что он, так сказать, «немножко продался» царю и очень от этого страдал. В спектакле «Товарищ, верь...» такой мотив звучит неоднократно, например, в повторяемых на разные лады строках «Нет, я не льстец, когда царю...», очень смешно положенных на музыку, но используемых без понимания реального смысла этих стихов, в которых Пушкин заблуждался, но не лгал; или в строках из «Воспоминания»: «И с отворачиванием читаю жизнь мою...» Особенно неприятно прямое умалчивание — и тем самым искажение (для упомянутого рядового зрителя, конечно, незаметное) тех причин, по которым Пушкин был вынужден взять у царя обратную просьбу об отставке. А ведь это один из самых драматических эпизодов биографии поэта, и притом ярко запечатленный в письмах. Он с поистине зубовным скрежетом отказался от отставки ради того главного дела жизни, для которого он и жил на свете, — ради писательского труда, ради работы в архивах. Умалчивать об этом, зная обстоятельства дела, — грех. А оставлять при этом в тексте композиции слова Пушкина: «Я встряхнул...» — то есть и использовать в «творческих целях» факт безжалостной щепетильности, почти жестокости Пушкина по отношению к себе самому — грех еще больший.

Одним словом, в этом спектакле передо мной снова предстал лишенный опоры в жизни и в себе самом, задавленный все сильными «обстоятельствами», заеденный средой «страдающий брат», которого поддерживает в этом мире, пожалуй, лишь его

<sup>2</sup> В. Вересаев. Собрание сочинений в 5-ти тт. М. «Правда». 1961, т. 4, стр. 513.

<sup>3</sup> Маяковский, как известно, призывал будущих постановщиков его пьес менять их, убирая устаревшее и вводя то, чего требует современность; эту позицию можно уважать и необходимо, вероятно, принимать во внимание. Пушкин такого завещания не оставлял. И у него, наверное, тоже были на это резоны, которые следовало бы принимать во внимание. Когда же поэт-самоучка, автор знаменитого «Не брани меня, родная», не смог воспротивиться искушению и сочинил «К неоконченному роману «Евгений Оне-

гин», соч. А. Пушкина, Продолжение и Окончание, соч. А. Разоренова», то он, будучи воспитанным человеком, тут же публично, в предисловии к своему смешному и чудовищно слабому сочинению попросил у «тени великого поэта» прощения за «труд ничтожный», «слабый, бесполезный», который он создал «не много думав, сгоряча». Уже за это можно, вероятно, его извинить, хотя самое главное его заблуждение осталось за ним: он так и не понял, что роман Пушкина — «оконченный» роман, пусть он «окончен» и не так, как хотелось бы Разоренову.

бунтарский — или нет, скорее гусарский — нрав, с блеском и находчивостью показанный в спектакле. Бравурный — но одновременно и трогательный — финал (песня, где использованы стихи «певца-гусара» Дениса Давыдова, а мелодия приводит на память один из популярных шансонов Сальвадора Адамо) завершает представление, в котором, быть может, самое подлинное и проникновенное место — тот эпизод, когда актеры негромко, без аффектации и головокружительных трюков, не «за Пушкина», а «за себя», поют прекрасную песню Булата Окуджавы, где нет никаких «подмен», где автор — это автор, а «Александр Сергеевич» — это Пушкин, интересный и близкий автору таким, каков он есть, и где нет ничего от позиции «кошки, имеющей право смотреть на короля».

На все эти критические замечания могут возразить, что нужно рассуждать трезво и подходить к делу без излишнего максимализма («Вы — пушкинист, вам, конечно, это особенно больно, но...»); что в каждом упомянутом произведении есть также большие или меньшие достоинства, что каждое из этих произведений, худо ли, бедно, делает свое доброе дело; кроме того, издержки в виде снижения ценностей, их «дурной» фамелизации и упрощения, в известном смысле неизбежны в ходе массового приобщения к ним: углубление знания не может происходить совершенно синхронно с расширением интереса.

Во всем этом есть резон. Снижения определенного «идеала» нередко и в самом деле представляют собой какую-то форму приобщения к нему, а значит, и часть его реальной жизни в сознании людей. Однако понимание этого не освобождает нас, пушкинистов и непушкинистов, от обязанности постоянно держать в виду именно идеал, а не его «снижение», всему давать свою цену и не путать предмет с его тенью.

Говорят: «мой Пушкин», «каждый имеет право на своего Пушкина». Это верно лишь в том смысле, что каждый берет у Пушкина по силам. Это верно также в том смысле, что в общении с Пушкиным каждый «пишет» автопортрет. Некоторые думают, что сказать «мой Пушкин» — значит снять с себя ответственность, прикрывшись естественной для каждого субъективностью взгляда и понимания. Мне кажется, все обстоит наоборот: ответственность увеличивается. Поэт не есть личная

собственность каждого, «мой Пушкин» — это не мой галстук, и не каждое «субъективное» и «личное» представление о Пушкине необходимо доводить до публичного сведения. Мы иногда не прочь примерить Пушкина «на себя», но почему-то избегаем вставать «на его место» в тех случаях, когда не мешало бы представить, каково бывает человеку, поведение и слова которого толкуют превратно, в угоду «собственному представлению».

Говорят: «надо показать современного Пушкина», «надо прочесть Пушкина по-современному». Я нисколько не против этих намерений, совсем наоборот. Но меня поражает позиция тех, кто со скрытой снисходительностью думает, что Пушкину или Достоевскому, Шекспиру или Островскому, Гоголю или Сервантесу это рассчитанное доброхотство прибавит современности; тех, кто, не разобравшись толком, с чем они имеют дело, спешит «дотянуть до себя» и «поднять на современный уровень» то, что уже пережило отцов и дедов и переживет наших потомков.

И мне хочется, поддерживая пафос цикла статей Б. Бурсова о классике и ее современных интерпретациях в искусстве, напечатанного в журнале «Аврора» в начале этого года, напомнить, что великое искусство потому и велико, потому и вечно, что именно в нем самом, в глубинах его смысла находится то, что в тысячу раз современнее — а подчас, быть может, и злободневнее — иных фанерных надстроек. И пытаться «дотягивать» такое искусство «до современности» — все равно что пытаться красить траву в зеленый цвет.

Все это можно было бы сказать и в том случае, если бы речь шла только о писателе, только о явлении искусства. Но в том-то и дело, что Пушкин для нас больше, чем писатель, и больше, чем явление искусства, и не обязательно быть пушкинистом, чтобы это чувствовать.

Речь идет вовсе не о суеверном пиетете по отношению к нему; о Пушкине можно, вероятно, написать и комедию и даже веселый и озорной водевиль, тут может быть океан юмора, бездна остроумия и эксцентрики. Речь идет о другом. В тех случаях, когда духовное сокровище беспрепятственно разменивают на мелочь модного увлечения, поверхностных восторгов и копеечной злободневности, то терпит урон прежде всего наша современная культура. Чело-

веческая культура, конечно, не Скупой рыцарь, и «сундуки» свои она держит открытыми, но лишь с тем условием, что хранящиеся в них достояние будет не просто «использовано», не «прожито» и растрчено, а пущено в творческий оборот и приумножено. Теоретически это признают почти все. И тем не менее жажда приобщиться к ценности, добытым кровью и судьбой, трудом и гением, вместившим исторический и духовный опыт народа, оборачивается у некоторых торопливых людей попытками низвести эти ценности до «средне-общедоступного» уровня, творческое освоение подменяется пассивным потреблением со всею свойственной такому потреблению узостью и эгоистической ограниченностью, со всею присущей ему мерой «отчуждения»; на место труда, таланта и вдохновения приходят дамская чувствительность и любительский энтузиазм; все то, что составляло суть и подвиг жизни творца, становится в таких случаях вдруг удивительно прозрачным и незамысловатым — и вот уже путаются масштабы, размываются цвета и очертания; а в конечном итоге, несмотря на эту простодушную фамильярность интерпретаторов, все остается на своих местах: истины — при своем, а мы — при своем; и вот тогда «боги смеются».

Я вовсе не собираюсь выступать в роли ментора, не хочу также и делать реверансы и менее всего намереваюсь выдавать только что сказанное за характеристику положения в целом — для того, чтобы дать общую картину, нужен другой жанр. Приведенные же примеры из разных областей искусства побуждают к печальным размышлениям как раз ввиду серьезности и — в существе своем — глубины и несчетности того общего, массового, отношения к Пушкину, о котором говорилось выше.

Именно на такое отношение и должен, мне кажется, ориентироваться, в конечном счете, художник, обращающийся к пушкинской теме.

Чтобы слова о глубине и несчетности не остались здесь словами, я приведу всего лишь один пример, но позволю себе поговорить о нем подробно и неторопливо: это нужно не только ввиду заадачи моих заметок — этого требует и сам предмет. Работа, о которой пойдет речь, занимает некое особое положение в «пушкинской» литературе последнего времени не только по самому своему значению, но еще и потому, что она не закончена. Тем не менее (а может быть, отчасти и в

связи с этим, ибо в этой незаконченности и отрывочности сохранена особенная художническая непосредственность) она без усилий включается в контекст нашего разговора ни в коем случае не в порядке прямого сопоставления с произведениями, о которых шла речь выше, ибо у нее существенно иные темы и иной «адрес», но как пример подхода к Пушкину на том уровне, который необходим при любой теме и любом адресе. Нелишне будет заметить, что принадлежит она перу не профессионального пушкиниста-литературоведа, а именно писателя.

Много говорят в последнее время про не опубликованную еще книгу Анны Ахматовой о Пушкине. Интересуются, что это за книга, монография или сборник, расспрашивают о содержании, возмущаются издательской волокитой.

Слух о книге возник давно, еще при жизни Анны Андреевны и не вопреки ее воле: в печати несколько раз появлялись почерпнутые из бесед и интервью с ней сведения о том, что Ахматова завершает какую-то большую работу о Пушкине. Сведения эти давались, возможно, потому, что была та творческая стадия, знакомая, пожалуй, всякому литератору, когда разыскания и обдумывания в основном завершены, главные наброски сделаны, очертания целого просматриваются, когда прочно ощущаешь себя «в материале» и осталось, кажется, немного: сесть и все подробно записать, сделать то, что почти неизменно оказывается самым сложным.

Судьба распорядилась так, что именно этого Ахматова сделать не успела.

Остались отдельные — более или менее оформленные в статьи и заметки — части работы, наброски, черновики — то, что в совокупности принято обычно называть материалами к книге<sup>4</sup>. Материалы

<sup>4</sup> См. Анна Ахматова. Пушкин и Невское взморье («Литературная газета» от 4 июня 1969 года, публикация Э. Г. Герштейн); Нензванные заметки Анны Ахматовой о Пушкине («Вопросы литературы», 1970, № 1; см. следующую сноску); Э. Г. Герштейн и В. Э. Вацуро. Заметки А. А. Ахматовой о Пушкине («Временник Пушкинской комиссии. 1970», Л. «Наука», 1972); Анна Ахматова. Александринна. Подготовка текста и примечания Э. Г. Герштейн («Звезда», 1973, № 2); Анна Ахматова. Гибель Пушкина. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Э. Герштейн («Вопросы литературы», 1973, № 3). См. также: Анна Ахматова. Слово о Пушкине («Звезда», 1962, № 2).

же как таковые, давая сколь угодно четкое представление о замысле, в большинстве случаев не могут заменить целого с его глубиной и многозначностью и только помогают угадывать возможные контуры этого целого — так записанные на бумаге слова живой речи позволяют лишь гадать об интонации, в которой заключен, быть может, очень важный смысл.

В данном случае дело, однако, обстоит иначе. Не будем говорить о более или менее «выстроенных» черновиках, имеющих уже облик статей на темы «биографические» (это «Александрина» и «Гибель Пушкина», вызвавшие бурный интерес, а также не менее бурные — и обоснованные во многом — споры). Но та часть материалов, самая черновая и в то же время наиболее важная в плане изучения творчества Пушкина (почему именно о ней и пойдет речь <sup>5</sup>), — эти эскизы, набросанные, как правило, без всякого расчета на постороннего читателя, обрывающиеся подчас на полупhrase, фиксирующие то результат долгих раздумий, то мгновенно пришедшую на ум мысль; занимающие иной раз страницу-две, иной раз две-три строки; сопровождаемые в публикации «Вопросов литературы» обширными комментариями и многочисленными сносками, комментариями к сноскам и сносками к комментариям, — вся эта длинная и сложная цепь, составленная Эммой Герштейн из 48 звеньев-«заметок», обнаруживает по мере внимательного чтения столь ясную и точную интонацию, что контекст, не выписанный на бумаге, возникает как бы сам собой в сознании читающего. Мы узнаем руку поэта и его голос, и это имеет не мемориальное или сентиментальное значение, а прямое отношение к делу хотя бы уже потому, что живая речь иногда может сделать больше, чем логическое построение или научный аргумент сами по себе.

<sup>5</sup> Неизданные заметки Анны Ахматовой о Пушкине. I. К статье «Каменный гость» Пушкина» (Дополнения 1958—1959 годов); II. Болдинская осень (VIII глава «Онегина»); III. «Две новые повести Пушкина»; IV. «О XV строфе второй главы «Евгения Онегина», о мании преследования (хандре), посвященной в шпионы (о «мнимой дружбе») и первом слое стихотворения «Вновь я посетил» («милые южные дамы»); V. Уединенный домик на Васильевском. Публикация, вступительная заметка и примечания Э. Герштейн («Вопросы литературы», 1970. № 1).

То, что все это написано поэтом, сказывается вовсе не в каком-либо особо красивом, приподнятом, «поэтичном» слоге, не в подчеркнутой его «эмоциональности» или повышенном содержании «образности», которые считаются почти непререкаемыми признаками всего написанного поэтами, но в особой, почти недоступной непозту, весомости слова. Слова, которое у художника, даже будучи адаптировано научной спецификой и условностями книжной речи, всегда в какой-то степени сохраняет «отягощенность» голосом автора, живой и неотрететированной авторской интонацией (благодаря которой, кстати, и возможно появление настоящих стихов). Такое слово в известной мере перерастает само себя; говоря натуралистичнее и точнее, оно работает как сильный раздражитель мысли, посвоему и тут оправдывая сказанное Пушкиным: «Слова поэта суть уже его дела».

Когда Ахматова, касаясь разговоров, основанных на отношении к Пушкину некоторых современников, в том числе декабристов, упрекавших его в «малодушии» и «ненадежности», темпераментно заявляет: «Причем высказываться, кажется, имеют право все, кроме одного человека, а именно самого Пушкина... Мы — люди середины XIX века — знаем в 100 раз больше о немалодушии Пушкина, чем знали его современники, и во всем, что знаем, можем только им гордиться...»; когда, размышляя о «Каменном госте», «Онегине» и некоторых других произведениях, почти мимоходом бросает решительную фразу: «У Пушкина... слабый всегда прав»; когда она говорит, по каким причинам Пушкин «отдает князя во власть погубленной им девушки, Дон Гуана во власть убитого им Командора», «бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя в «Русалке» к ногам, pardon, хвосту дочери мельника»; или когда роняет безоглядно-категорическое заявление: «Чем кончился «Онегин»? Тем, что Пушкин женился. Женатый Пушкин еще мог написать письмо Онегина, но продолжать роман не мог»; или без обиняков называет пушкинскую хандру 1824 года «болезнью», «манией преследования», — то в этих репликах, произнесенных с изустной непринужденностью, быть может, и нет строгости и достаточной «научности», есть разговорная небрежность и известная рискованность — но есть также свобода сме-

лость и вера, без которых не бывает прозрений.

Материал, охватываемый «Заметками», огромен — тем более в соотношении с объемом, сравнительно небольшим (2 печатных листа), самого ахматовского текста. Хронологически это промежуток между самым началом 1820-х годов и 1836 годом, то есть чуть ли не вся жизнь Пушкина как признанного литератора; географически и биографически — южная ссылка, Михайловское, Болдино, Петербург, Москва, длинный ряд имен и лиц людей, общение с которыми или мысли о которых были важны для поэта: от красавицы Аграфены Закревской, этой «беззаконной кометы», до Адама Мицкевича, от знаменитого бретера и авантюриста графа Федора Толстого (Американца) до драматической фигуры другого графа — М. Дмитриева-Мамонова; наконец, это драматургия и повести, лирика 20-х годов и лирика поздняя, «Онегин» и прозаические опыты 30-х годов, записанный и опубликованный современником устный рассказ «Уединенный домик на Васильевском» и самое страстное, самое бешеное из оставшихся нам писем Пушкина к женщинам — письмо к тридцатисемилетней польке Каролине Собаньской, женщине-«демону» под стать политическим авантюристам эпохи Ренессанса или честолюбивой и холодной Марине Мнишек...

При всем этом обилии и кажущейся пестроте «Заметки» — совсем не жанровое определение, а лишь условное наименование, вынужденное внешней незавершенностью работы, вовсе не имеющей отношения к тому эмпирическому жанру разрозненных наблюдений, который позволяет нередко оформлять, кратко и эффектно, размышления над искусством художникам, в частности поэтам, не занимающимся критикой или литературоведением профессионально. При внимательном прочтении всех пяти «глав», в которые объединены материалы, и соотношении этих глав между собою, выясняется, что перед нами не только не «материалы» для «строительства» и не отдельные части постройки, а сама постройка — правда, как выражается публикатор, «с неубранными „лесами“».

Очень трудно изложить «своими словами» сказанное Ахматовой в этих черновиках. Ибо говоря о какой-либо отдельной теме, невозможно не коснуться и других, а в конечном счете не говорить и обо

всей работе в целом, а через нее чуть ли не обо всем творчестве Пушкина: в «Заметках» возникает словно бы система соединенных между собою, пересекающихся и перекрывающих друг друга арок, переброшенных через годы и строки Пушкина, причем смысл и суть целого не в эффектности или непременно новизне каждой детали и «находки» самой по себе, а в гармонии и логике архитектуры и в том, что каждая мысль будит у заинтересованного читателя встречную работу мысли.

В последнее время все чаще и с большей решительностью, чем раньше, стали говорить о сложности Пушкина, в том числе и прежде всего — о «сложности» самой его личности и жизни. Это было бы очень хорошо и своевременно, если бы «сложность» пушкинской личности не принимали подчас как нечто близкое к двойности, к двойной жизни, не делали из поэта какого-то «верноподданного пугачевца» и вот именно в этом нелепом смешении — конечно же, продиктованном Пушкину «обстоятельствами»! — не видели его «трагедии». Поэтому я намеренно возьму самую трагическую из тем ахматовской работы, чтобы показать, насколько более интересных, значительных и достойных результатов достигает талант, когда он соединен с осведомленностью в предмете.

Тема эта возникает у Ахматовой вначале как тема пушкинской «боязни счастья, т. е. потери его (т. е. неслыханного жизнелюбия)». На этой основе анализируются автобиографические мотивы «Каменного гостя», «Русалки» и некоторых других произведений в процессе, так сказать, их сублимации; «покаянные» темы и мучительные проблемы «возмездия» и «спасения», спасения в возмездии, спасения в Истине. Здесь соседствуют разные «русла»: с одной стороны, сугубо биографическая тема «Пушкина-жениха», оглядывающегося на свою прошлую жизнь; с другой — тема нравственная: путь к пониманию пушкинской чистоты не как «стерильности», а как высокой и бескомпромиссной требовательности прежде всего к самому себе, неспособности ничего «прощать» себе; наконец, историко-литературная проблема предвосхищения Пушкиным некоторых черт творческого облика Достоевского и т. д. И все это вместе, истоками соприкасаясь с внутренними драмами и интимными об-



стоятельствами жизни поэта, находит у Ахматовой свое устье в теме «Пушкин-моралист», в его «жадной и неистребимой жажде... Истины (справедливости) самой высокой и самой сокровенной». «Это — столбовая дорога русской литературы, по которой шли и Толстой, и Достоевский... У Пушкина женщина всегда права — слабый всегда прав. Пушкин... требует высшей и единственной Правды».

Тема женщины здесь возникает не случайно, хотя вначале и в чисто биографическом плане. Ахматова своими рассуждениями побуждает (не говоря об этом специально) заметить, что какой-либо женский образ, увлекший Пушкина, и образ той единственной «женщины», которую он любил единственно полной и вечной любовью — его Музы, — часто «путаются» у него, «смешиваются», «замещают» и сменяют друг друга («Прошла любовь, явилась муза»). И не случайно в первой же главе «Заметок» берет начало тема, общая для всех глав, — два типа женщин, две ипостаси женской души: Анна и Лаура — «ангел», как говорит о Доне Анне Дон Гуан, и «милый демон», как называет Лауру Дон Карлос; в одном типе мерцает то нежность и чистота, то холодность, в другой — то демоническое начало («Все в ней алкало слез и стона, питалось кровию моей»), то брызжащий жизненной силой творческий темперамент.

Противопоставление это приобретает трагедийное звучание, когда Ахматова начинает (во второй главе) параллельно анализировать «Письмо Онегина к Татьяне» и письмо самого Пушкина к Каролине Собаньской, привлекая к этому анализу трагедию «Каменный гость» и роман Б. Констана «Адольф», следы внимательного чтения которого видны в «Онегине». Тема женщины-«демона» отзывается злоевоюще буквально, когда речь заходит о реальной женщине, которая вызвала яростную страсть поэта, не затухавшую в течение девяти лет. И рядом с этой «анти-Татьяной» возникает тень нового «сквозного» персонажа «Заметок» — «друга-демона» (по мнению Ахматовой, это Александр Раевский), «героя» стихотворения «Коварность», одного из самых «отчаянных» пушкинских стихотворений, — скептика с пронзительным, «охлажденным» умом, циничного игрока в жизнь, «мэтра» для молодого еще поэта в годы его южной ссылки, его «учителя» и его «предателя», в довершение ко всему каким-то тайным ин-

тимным «союзом» связанного с этой женщиной.

Мотив неверности, неистинности, мотив ненадежности даже самых святых человеческих связей — дружбы и любви — звучит с возрастающей силой в III главе, где исследуются два прозаических «наброска» 1835 года («Мы проводили вечер на даче» и «Цезарь путешествовал»), соотнесенные с «Египетскими ночами». В издавна преследующем Пушкина образе Клеопатры — сладострастной убийцы и самоубийцы, «продающей» любовь за смерть, Клеопатры, черты которой Ахматова видит в полной грозящего обаяния Зинаиде Вольской, — вновь проглядывает «женщина-вамп». Новое, символическое значение этого образа опять-таки находится за пределами самих «Заметок», но возникает «само», в этом значении не только совмещаются образы Жизни и Смерти, Любви и Смерти — но и растет образ Музы как Любви, Жизни и Смерти поэта. Трагедийность этого символа все более ярко различима в атмосфере декаданса общества — позднеантичного в одном «наброске» и современного в другом. На современном фоне возникает «двоящаяся» на глазах фигура импровизатора из «Египетских ночей» («То червь, то бог...» — вспоминает Ахматова эпитафия ко второй главе этой повести). На фоне же античного упадка вырисовывается иной образ — Петроний, автор прославленного «Сатирикона», «арбитр изящества» римского двора и его беспощадный обличитель, «римский Данжо» («Так я же сделаюсь русским Dangeau», — писал Пушкин в ярости по поводу своего камер-юнкерства), — писатель, достойно встретивший смерть. Сюда же вторгается строка «Бросался ты в огонь, ища желанной смерти» — из стихотворения того же года «Полководец», в котором Пушкин «оплакивает если не самого себя, то какого-то носителя истины в растленном одичалом обществе».

Так, словно лавина, нарастает не очень привычная для «пушкинской» литературы тема: «Добровольный уход из жизни сильного человека, для которого остаться — было бы равносильно потере уважения к самому себе... или подчинению воле тирана» (не «неудобство», «двойной жизни», не «тяжесть» и не «мучительность» ее, а полнейшая немыслимость «двойной жизни» — вот смысл этой пушкинской темы у Ахматовой).

Лавина эта прокатывается «в обратную

сторону», к своим истокам, в IV главе: во всю силу звучит здесь неотступно терзающий Пушкина мотив «мнимой дружбы», «изменившей дружбы», «коварности» — «презренной клеветы», в результате которой он был ославлен «ненадежным», «продавшимся» человеком. Снова возникает «друг-демон», а рядом с ним та, с «огненными глазами», «страшная темная грешная женская душа», «анти-Татьяна», — та самая, с которой, как предполагает Ахматова, два друга-соперника затеяли в свое время какую-то азартную игру в духе «Опасных связей»; та, которая могла сыграть роковую роль в возникновении и распространении «презренной клеветы» политического характера. Вся эта ситуация — источник, как считает Ахматова, многих трагических переживаний Пушкина в 20-х годах, отзывающихся и в 1835 году, в том числе в черновых строках стихотворения «Вновь я посетил...», где Пушкин описывает, по выражению Ахматовой, «волну мнительности и тяжелой депрессии» («Я зрел врага в бесстрашном судии, изменника — в товарище, пожавшем мне руку на пиру; всяк предо мной казался мне изменник или враг»).

Дают о себе знать эти переживания и в 1828 году, тяжелом году, когда к прочим обстоятельствам присоединилась новая «презренная клевета», ослабившая его теперь уже «льстецом» — его, человека, думавшего в это время не о себе, не об опасной, но и почтенной репутации «бунтаря», а прежде всего о спасении «друзей, братьев, товарищей». Именно в этом году Пушкин в кругу друзей рассказывал опубликованную потом В. Титовым фантастическую повесть «Уединенный домик на Васильевском», к которой Ахматова обращается в последней, V главе «Заметок». Мотивы «ангельства» и «демонизма» звучат в этой «дьяволиаде» особенно мощно, втягивая в себя звучания самых разных струн. Они устремляются от вступления (где Пушкиным, по мнению Ахматовой, описано место погребения казненных декабристов), через образы «друга-сатаны» Варфоломея, женщины-дьяволицы графини И. и другой женщины — «ангела» с символическим именем Вера, — к теме «общества», «высшего света» — «филиала ада». Безумие же героя повести Павла «совпадает с реальным «безумием» М. А. Дмитриева-Мамонова. Политический характер не то гамлетовского, не то Чаадаевского помешательства». «А 1828 год, — до-

бавляет Ахматова, — был годом взятия Пушкина под тайный надзор (в связи с делом об элегии «Андрей Шенье». — В. Н.) и годом, когда «Гавриилиада» дошла до правительства. Поэт ждал новой ссылки «прямо, прямо на Восток».

Такова атмосфера этой последней главы.

При всем своем интересе к биографическим подробностям, Ахматова нигде не дает теме «упасть на землю», остаться на ней, нигде не забывает, кто герой этой драмы. «...К его, а тем более к нашему счастью, — пишет она в одном наброске, — эти страшные периоды не были отмечены молчанием его Музы. Наоборот! То, что он своими золотыми стихами описывал эти состояния, и было своеобразным лечением. Пушкин сам говорит об этом:

Поэзия, как ангел-утешитель,  
Спасла меня, и я воскрес душой».

Многое из того, что предположено или утверждается Ахматовой, может оспариваться; многое, вероятно, заслуживает упреков, с точки зрения сторонников более «строгих» методов, привыкших строить свои системы на «материально ощутимом» фундаменте доподлинно известного и засвидетельствованного. Но в такой области, как поэзия, что бы ни говорили сторонники только «точных» методов, далеко не все должно основываться лишь на том, что можно потрогать руками. «...Никакие «научно-объективные» аргументы (исторические, биографические, лингвистические, стилистические и т. д.) не смогут опровергнуть свидетельство верного художественного вкуса, на который, кстати сказать, и рассчитывает всякий художник в своем произведении»<sup>6</sup>, — и это относится не только к пушкинским черновикам, но и к духовной жизни поэта, отразившейся в его труде. Излишне повторять, что на такую смелость должно быть право, которое дается, помимо знаний и энтузиазма, не просто способностями и доверием к Пушкину, но большим талантом и большой верой.

У Ахматовой в ее исследовании творчества Пушкина громадную роль играют биографические факты. Но здесь нет того перекоса, когда творчество превращается в «комментарий для жизнеописания». Правда, можно найти излишне прямолинейные сближения и отождествления «образов» с

<sup>6</sup> С. Бонди. Черновики Пушкина. Статьи 1930—1970 гг. М. «Просвещение». 1971, стр. 4.

«прототипами»; как бы вторгаясь в исследуемые ею реальные обстоятельства, поэтически остро и по-женски активно проживая драматические этапы бытия и быта Пушкина, Ахматова не всегда имеет силы сохранить приличествующее ученому спокойствие, «не выдерживает» и оттого в некоторых местах оказывается несколько прямолинейной и пристрастной.

И все же в целом жизнь Пушкина для Ахматовой не нечто «комментируемое» творчеством, а почва этого творчества. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...», — признается она в одном из самых прославленных своих стихотворений. Мысль эта глубоко традиционна для русской литературы: в поэзии Пушкина, писал Гоголь, «все... до единого история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье, но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать».

Есть тонкая, как лезвие, почти исчезающая грань, которая, отделяя друг от друга Пушкина-поэта и Пушкина-человека, его «творчество» и его «жизнь», одновременно и соединяет их в совершенно особенное гармонически-парадоксальное единство, которому трудно подыскать иное название, кроме как судьба. Специфика пушкиноведения (а также и беспрецедентный массовый интерес к жизни и личности поэта) берет исток в том факте, что верное и достойное понимание и исследование творчества Пушкина есть в сущности понимание и исследование его судьбы, и наоборот. В этой особенности Пушкин, будучи, в принципе, как будто «таким же» писателем, как и другие, в то же время существенно отличается от большинства из них. Потому что трудно найти другого художника, у кого все жизненные и житейские проявления с такою естественностью и неотвратимостью прорастали бы «вверх», стремясь к преобразению в высочайшие, «нерукотворные» воплощения духа.

Между литературоведами и писателями нередко происходят странные и бесплодные споры: имеет ли данное произведение Пушкина политический и/л философский характер, высказана ли в нем «идея», близкая одному автору, и/л та, которую предпочитает другой, и пр. В результате мы часто получаем не возвращенное нам и осмыслен-

ное на новом уровне целое, а лишь его обломки.

Поэт обращается ко всем. Его дар — это способность свой индивидуальный опыт воспринимать и оценивать непосредственно в качестве опыта общезначимого и в известной мере абсолютного и так же непосредственно это свое восприятие материализовать в слове. Отсюда и пророческая миссия поэта: он обращается к каждому человеку, ибо опыт каждого человека, поэт он или нет, тоже в известной мере общезначим и абсолютен.

Пушкин же как никто ощущал почти всякую значительную ситуацию своей жизни как ситуацию духовную и в определенном смысле символически-общезначимую. Отсюда невероятное «автобиографическое» наполнение всего его творчества, о чем, кстати, и писал Гоголь — и в то же время его поразительно широкое, всечеловеческое звучание, о котором говорил Достоевский. «Символичность» эта была тем языком, на котором выражалось постижение мира через себя.

Повинуясь художнической интуиции, Ахматова, быть может, специально и не размышлявшая на подобные темы, тем не менее находит способ увеличить количество «измерений» своего анализа. Пять глав, из которых слагается публикация «Заметок» связаны между собой не просто последовательно, а многосторонне и особым образом: конкретная, более или менее локальная тема пересекается, перекрещивается «сквозными» плоскостями проходящих сюжетов, «постоянных» персонажей, общих проблем биографического, духовного, историко-литературного и т. п. характера; так что каждая глава и в самом деле может быть вполне понятна только в общем контексте. Привычная для ученого исследования «линейная» композиция уступает место композиции как бы «решетчатой».

В этой композиции много воздуха и движения, на нее можно смотреть, меняя угол зрения, превращая локальные темы в сквозные и наоборот. Этим достигается тот эффект объемности, неоднозначности, «текучести», который составляет одно из заведомых свойств пушкинского слова и образа, при всей их точности. Этим же достигается возможность творчески использовать идеи Ахматовой (включая некоторые спорные ее положения). Ибо плоскости системы не

замкнуты никаким ограничителем и могут быть продолжены.

Таким образом, «незаконченность» труда Ахматовой не есть «незавершенность»; скорее это «открытая форма», получившаяся в результате внутренней цельности и концептуальности поэтического мышления автора. Ахматова, кстати, прекрасно понимала огромные достоинства и ни с чем не сравнимую содержательность «открытой формы». Примером такой формы может быть, вероятно, чуть ли не большинство произведений Пушкина от многих стихотворений до «маленьких трагедий», которые оканчиваются «нависающими» вопросами, или «Евгением Онегиным», который, по выражению Ахматовой, «обрывается как натянутая струна». Из этого понимания природы пушкинской «незавершенности» и рождается интереснейшая догадка (может быть — открытие) Ахматовой относительно того, что «незавершенные» наброски «Мы проводили вечер на даче» и «Цезарь путешествовал», о которых речь шла выше, есть не «наброски», а — «две новые повести Пушкина». «Мне кажется, что «Мы проводили...» — нечто вроде маленьких трагедий Пушкина, но только в прозе. Представьте себе все это в стихах и в драматической форме, и вам не придет в голову ждать продолжения. Его просто не может быть», — замечает Ахматова с дерзостью вдохновения.

Она чувствовала, что «головокружительный» лаконизм Пушкина, обусловленный символичностью его поэтического мышления, становился иногда «камнем преткновения» для него самого, как гранит для течения реки. «Размахнувшись» на большую форму или пространное изложение, он порой очень скоро — возможно, и с удивлением — обнаруживал, что пространства не получается, а «большая форма» не нужна — потому что все уже сказано, проблема поставлена и «открыта», истина уже живет в намеченных «координатах».

Так получались вещи, «оставленные», «брошенные» им, но «незаконченные» только с нашей точки зрения, с точки зрения людей, стремящихся все «завершить», остановить и ограничить пределами своего понимания.

В сущности, все искажения и кривые толкования Пушкина вытекают из стремления договорить «за Пушкина», не вслушавшись

в то, что говорит он сам, — иными словами, из неумения его читать.

Чтобы подобных кривых толкований было, по крайней мере, меньше (от них не гарантирован, в конечном счете, никто, ибо чтение Пушкина, говоря по справедливости, дело не такое уж простое), необходимо наличие моментов, которые играли бы роль некоторых «точек отсчета», давали бы «уровень знания», необходимого тому, кто хотел бы «объяснять Пушкина» другим (поскольку, как мы уже видели, роскошь верно понимать Пушкина с позиций «непосредственного ощущения» или «своего крайнего разума», как он однажды сказал, доступна не всякому). Что касается Ахматовой, то она опиралась не только на свой талант и на самосознание поэта, — она имела и «точку отсчета»: зная Пушкина, она знала и пушкинскую литературу, она знала дело.

Отмахиваться от пушкиноведения, повторяя известную остроту Маяковского насчет «пушкинистов», стало у некоторых как бы признаком хорошего тона, хотя на самом деле это — точный показатель дурного представления и о Пушкине. В этом, бесспорно, повинны и сами пушкинисты — в особенности те из них, кто набор «прокрустовых» схем принимал и выдавал за единственно «научную» методологию.

И все же не зря пушкиноведение, давно уже утратив черты узкоспециального знания, традиционно является не только одной из самых развитых отраслей литературоведения, но и в силу своих колоссальных заслуг и самого своего предмета — неотъемлемой, в известном смысле особой частью всей нашей духовной культуры, более того — одной из фундаментальных ее областей, носящей уникально-собственное название «науки о Пушкине», распространяющей свое влияние на другие области.

Любое изучение Пушкина, предпринимаемое пусть с самыми благими целями, остается более или менее талантливым дилетантизмом, если при этом не учитываются достижения старого и современного пушкиноведения. Доказательством служит то, что историческая память из всех «писательских» произведений о Пушкине сохранила — тем самым подтвердив их состоятельность — лишь те немногие (да и то не все) опыты, авторы которых (о гигантах масштаба Гёголя и Достоевского мы здесь не говорим) занимались темой «Пушкин» про-

фессионально, даже не будучи «специалистами», — иными словами, «знали дело».

Кстати, именно сейчас, в пору массового увлечения Пушкиным, наука о нем, как кажется, особенно нуждается в притоке свежих сил. Нельзя сказать, что старое поколение пушкинистов с их достоинствами и недостатками (являвшимися нередко продолжением тех же достоинств — исследовательской основательности, кропотливости в работе, щепетильного даже в мелочах уважения к факту и тексту и пр.) «уступает место» новому. Напротив, выход трудов таких исследователей, как М. Алексеев и Д. Благой, воспринимается как важное событие в пушкиноведении; широкий интерес не только среди специалистов вызвали книги Т. Цявловской и С. Бонди; трудно переценить огромное общекультурное значение капитального труда, готовившегося много лет под руководством ведущих пушкинистов, — «Словаря языка Пушкина».

И все же «старое» пушкиноведение, по видимому, уже выполнило свою — говорю без преувеличения — историческую задачу. Остро ощущается необходимость какого-то сдвига — и не просто в методологии литературоведения «применительно к Пушкину», а именно в методологии пушкиноведения, имеющего, как я говорил уже, некоторые специфические черты сравнительно с другими «ведениями». Что же касается «нового поколения» пушкинистов, то о нем еще рано говорить, — оно, видимо, только формируется. По журналам и сборникам разбросано немало отдельных статей, порой очень серьезных; читатели всегда с большим интересом встречают изыскательские работы Н. Эйдельмана, статьи Ст. Рассадина, в научной среде высоко оцениваются исследования С. Бочарова, Ю. Чумакова — и некоторых других литературоведов сравнительно молодого возраста. И все же молодых «собственно пушкинистов», то есть людей, для которых изучение Пушкина является главным или одним из главных дел жизни, как это было в «старое доброе время» с Анненковым, Цявловским или Тыняновым, придется, видимо, еще подождать. Правда, о Пушкине пишут многие критики и литературоведы (иногда таковыми становятся поэты и писатели), в том числе и известные и способные, но они, как правило, занимаются этим, так сказать, в свободное от работы время, и некоторые из них, к сожалению, «выезжают на профессионализ-

ме» не научного, скорее журналистского свойства.

Так или иначе, у нас нет написанных молодыми, ни даже «сравнительно молодыми» исследователями работ, которые бы имели принципиальное, «событийное» значение для современного понимания Пушкина.

Можно, конечно, сослаться на то, что крупные работы порой очень долго лежат в издательствах (это само по себе, конечно, парадоксально при непрерывно растущем спросе на книги о Пушкине), но ведь дело не в объеме труда — не говоря уже о таланте, — а опять-таки в методе, в умении мыслить концептуально на любой «площади», наконец, в беззаветной и альтруистической увлеченности предметом. При этих условиях не будет казаться, что объем труда или его жанр играет столь значительную роль, как иногда кажется.

Пример Ахматовой, мне кажется, убедительно доказывает это. Я умышленно не останавливался подробно на том, в чем можно с ней спорить, потому что и достижения ее и «издержки», происходящие от увлечения, берут исток в прекрасном, высоко, методологически верно, а потому перспективном стремлении рассматривать «земную» жизнь Пушкина и его «божественное» творческое бытие как единство — драматическое единство жизни и духа.

Всем тем, что ей удалось сделать в своей «незавершенной» работе, она обязана не только своему поэтическому дару, художнической интуиции, знаниям, безукоризненному вкусу и культуре, но и тому, о чем она с явно полемическим пафосом говорит в заметке 1963 года, завершающей ее публикацию:

«Мне кажется, мы еще в одном очень виноваты перед Пушкиным. Мы почти перестали слышать его человеческий голос в его божественных стихах... Вообще мой лозунг: «Побольше стихов — поменьше III-го отделения». Потому что из стихов может возникнуть нужная нам проза, которая вернет нам стихи обновленными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал — во всей многоплановости пушкинского слова и с сохранением его человеческой интонации, а из III-го отделения, как известно, ничего не может возникнуть».

Это напоминает слова Блока из его «поэтического завещания» — речи «О назначении поэта»:

«Мы знаем Пушкина — человека, Пушкина — друга монархии, Пушкина — друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин — поэт».

Когда после странного и ужасного происшествия на Патриарших прудах поэт Рюхин вернулся в Москву из клиники профессора Стравинского, он увидел, что «над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявши в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар».

Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. «Вот пример настоящей удачливости... — тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, — какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю... Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не понимаю!.. Повезло, повезло! — вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, — стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...».

Надо сказать, что бедный больной поэт далеко не во всем ошибался; по крайней мере, одно суждение его о Пушкине изумительно точно: «Все шло ему на пользу, все обращалось к его славе!»

Это истинная правда. Пушкин был счастливый человек, и все шло ему «на пользу»: и одна ссылка, и другая ссылка, и гонения, и тяготы жизни; и судьба его была счастливой судьбой — от «прекрасного начала» до мучительного, героического конца его пути, — и на смертном одре эта судьба дала ему силы и мужество, перед которыми склонил голову бывший в тридцати сражениях врач Арендт.

Есть несомненная связь между тем, как живет человек, и тем, как он умирает, — об этом надо бы задуматься людям, для которых вопрос о дуэли Пушкина интереснее всех других вопросов. Судьба уберегла его от участи «мятежников». Героизм в обычном понимании этого слова она оставила ему для смерти. Есть что-то глубоко значительное в том, что он погиб, защищая честь женщины и свое достоинство человека и

поэта, а не в каземате или политических батальных. Ни та, ни другая гибель не «лучше» и не «хуже», но «та» была его гибелью, а «другая» — не его.

Есть смысл и в том, что он, будучи блестящим стрелком, не поменялся со своим противником местами и не стал убийцей, как об этом простодушно мечтают некоторые, — пусть убийцей человека ничтожного. Защищая свою честь, он не убил другого, а погиб сам. Потому что поэт и убийца — это еще больший парадокс, чем Скучаев и царь.

Известные слова Вересаева о том, что Пушкин умирал не как великий поэт, а как великий человек, верны только в ограниченном и условном смысле: важно, что подразумевать под словом «поэт». Пушкин умирал как великий поэт.

Один французский ученый-славист сказал мне: «Нам, французам, трудно понять отношение к поэту у вас, русских. Для нас поэзия — прежде всего высокая словесность, а поэт — мастер. Для вас поэзия сродни культуре, а поэт — пророк. Я стал понимать это, когда прочитал по-русски Пушкина».

Глубоким и мрачным заблуждением были продиктованы услышанные мной однажды на какой-то дискуссии о Пушкине слова одного из ее участников, в запальчивости заявившего, что в царской России «судьба поэта была трагична и бесперспективна».

Я вовсе не собираюсь защищать царскую Россию от такого обвинения — она сделала все, чтобы заслужить его; я защищаю Пушкина — и вообще поэта — от такого подхода. Он верен лишь применительно к тем, кто под «перспективной судьбой» понимает ту благополучную судьбу, которая с поэзией почти несовместна. Пушкину «и рубля не накопили строчки», Пушкин отказался переделывать «Годунова» в роман «наподобие Вальтер Скотта»; Пушкин отказался публиковать «Медного всадника» с учетом поправок Николая — не таких уж, честно говоря, многочисленных; огромная часть произведений Пушкина, ныне хрестоматийно известных, осталась при жизни его «в столе»; да и о подлинных масштабах и остроте его внутренних драм мы можем иногда лишь догадываться, и все-таки, хоть жизнь его была трагичной, судьба его была прекрасной и он был счастливый человек.

Впрочем, вряд ли Пушкин нуждается в защите — защитить себя он может и сам.

«Дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности».

Так он писал в заметках, предназначавшихся для печати, в 1830 году.

«Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние»; «...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя: как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

Так он писал в личном письме к Чаадаеву в конце 1836 года.

...«Везет» не тому, у кого «исторические» и житейские «обстоятельства» складываются удачно и «перспективно». Везет тому, кто понимает, что доброго дано ему жизнью, осознает свое человеческое предназначение и остается верен ему.

Пушкин любил слова «обстоятельства» и «сила вещей», он понимал заключенный в них, часто трагический, смысл, потому что, как и подобает человеку, не только ценил «силу вещей», но и верил в ту «силу», которая дана ему самому. Он знал, что трагизм не есть «бесперспективность», что

это не синонимы, что трагизм есть противоборство и диалог великих и равных сил, что для уважающего себя человека это ристалище мужества и веры, на котором «переиграть» не обязательно значит победить, а погибнуть не всегда значит быть побежденным.

«Обстоятельства» есть лишь условия для судьбы, судьбу же делаем мы сами — и «каждому дается по его вере».

Так что не зря люди — кто осознанно, кто стихийно — тянутся к Пушкину не только как к «мастеру», но и как к «пророку», ища ответов на бередящие душу вопросы о тайне его жизни и смерти, его слова и судьбы. Конечно, каждый волен понимать его как может, но не навязывая другим как истину то, что от истины далеко, не пытаясь использовать Пушкина не по «назначению поэта». Когда колокола переливают на пушки, то из них, вероятно, стрелять некоторое время и можно, но звонить в них уже затруднительно.

Человек с «веселым именем» Пушкин не нуждается также и в слезливом сочувствии, низводящем его до уровня «страдающего брата», — он требует мужественного и творческого сопереживания. В нем было много сострадания к людям, но сам он жил крупно и жалеть себя не любил. Он не «сходит» и не «спускается» к нам — он зовет к себе. Лишь осознав это, мы можем учиться у него — а не только любить его, — и учиться у его счастливой судьбы, судьбы человека, который и в последние свои минуты, в предсмертном бреду, говорил сидящему у его изголовья:

— Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну — пойдем!



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Мargarита Алигер. Круги вокруг сердца.— И. Гитович. Испытание памятью.— К. Щербанов. Личность критика, позиция критика.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Старцев. Революция, партии, массы.— К. Станюкович, Д. Биленкин. Продолжение достоинств.

## Литература и искусство

### КРУГИ ВКРУГ СЕРДЦА

Пауль-Эрик Руммо. Стихи. Авторизованный перевод с эстонского Светлана Семененко. Таллин. «Ээсти раамат». 1973. 64 стр.

Первую в жизни отдельную квартиру мы с мужем моим, молодым композитором, получили в Доме композиторов, в Москве, на 3-й Миусской улице. Цокольный этаж того же дома занял сам Союз композиторов. Переехали мы туда в начале года, а через несколько месяцев жарким летним днем, возвращаясь откуда-то домой, я увидела, что тротуар у нашего дома запружен густой толпой. С трудом пробираясь сквозь эту толпу к своему подъезду, я столкнулась с одним товарищем мужа.

— Что это? Что случилось? Что происходит? — спросила я, поздоровавшись.

— Да ничего особенного, — усмехнулся он. — Просто идет пленум Союза композиторов. Сейчас объявили перерыв, и все вышли на улицу подышать воздухом.

— Значит, вся эта толпа народа — композиторы? — изумилась я. — Подумать только, так много композиторов! Зачем? На свете уже существует столько хорошей музыки, хоть каждый вечер слушай, не переслушаешь.

— Между прочим, отличных стихов тоже написано предостаточно, — мгновенно

отпарировал мой собеседник и обиженно отвернулся.

Я смутилась, поняв, что допустила бестактность и что резкая реакция моего знакомого абсолютно закономерна, и, наверно, именно поэтому до сих пор помню тот случайный диалог и особенно завершившую его фразу: «Отличных стихов тоже написано предостаточно».

До сих пор помню, хотя все выпензенное произошло очень давно, еще до рождения Пауля-Эрика Руммо, еще до того, как началась война, где-то накануне ее. Помню, хотя с тех пор появилось немало новых поэтов и среди них несколько истинных поэтов, настоящих поэтов, чьи стихи по-настоящему пронзают сердце. Но читая подчас длинные поэтические подборки, а то и иные сборники, где стихи как стихи по всем внешним признакам, оставляющие, однако, сердце холодным и равнодушным, я снова невольно вспоминаю: на свете уже написано предостаточно прекрасных стихов, читай хоть каждый вечер, не перечитаешь, зачем же столько поэтов и столько стихов? Но допустив себя до подобной мысли, я неизменно испытываю не-



ловкость и даже чувство вины перед людьми, писавшими и публиковавшими не трогающие и не радующие меня стихи. Ведь они-то волновались, когда писали их. И взволнованы были, когда стихи появлялись в печати. И смею ли я упрекнуть их в том, что стихи их не волнуют и не пронзают сердце? Да и я сама, сколько ни написано на свете прекрасных стихов, неизменно с жадностью накидываюсь на новые, потому что в сердце и в сознании неизменно живет острая потребность прочитать еще какие-нибудь новые прекрасные стихи, и это уже больше чем потребность, это жажда, это надежда на новую радостную встречу, которая принесет в жизнь новую радость, новый отсвет, новое озарение. Увы, эта жажда не часто утоляется, но от этого она, однако, не проходит, не исчезает, не иссыкает. Тем драгоценнее встречи, которые утоляют эту вечную, неутолимую жажду.

Сборник стихов Пауля-Эрика Руммо — авторизованный перевод с эстонского Светлана Семененко. Стихи в переводе всегда читаются словно бы через стекло, положенное между ними и читателем. Качеством перевода определяется качество этого стекла, сколь оно тонко и чисто, сколь оно не затрудняет чтения и восприятия стихов, не отдаляет и не остужает их, не меняет ракурсов. И самое большое достоинство поэтического перевода, на мой взгляд, если переводчику удастся заставить читателя забыть о его соучастии, о самом факте его существования и присутствия, оставить его один на один с поэтом, с его замыслом, с его интонацией, сохраненной в стихах, зазвучавших на другом языке столь незыблемо, что неискушенный читатель может и не задуматься о том, каким трудом, напряжением и мастерством это достигнуто. Мне, профессиональному переводчику поэзии, труднее отвлечься от перевода, забыть о нем, мне всегда интересно следить за работой переводчика, и не только не в обиду, а скорее в похвалу Светлане Семененко будет сказано: в данном случае меня отвлек от внимания к переводу сам поэт, его голос, его мысль, значительность того, что он имел сообщить мне, трепетность, с которой он это делает.

Та вечная жажда прочитать нового поэта. новые прекрасные стихи, о которой я писала выше, та жгучая жажда, которую столь не просто и не часто удается утолить, — чем, собственно, она утоляется? Ве-

роятно, каждый человек, любящий поэзию, ответит по-своему, потому что каждый любитель поэзии глубоко индивидуален. Каждый любитель поэзии — явление сложное и разнообразное, и разным людям нравятся разные поэты, и поэтов отличает друг от друга именно то, что все они разными средствами и каждый по-своему воздействуют на читателя, на человека, любящего поэзию, нуждающегося в ней, в ее помощи и поддержке, испытывающего ту самую вечную и жгучую жажду поэзии. И я не собираюсь, не решаюсь, не осмеливаюсь в этом коротком разговоре пытаться делать какие-либо обобщения и широкие заключения, я пишу всего только о своем восприятии поэзии, о том, что в ней нужно мне, что в ней важно для меня, необходимо для меня, драгоценно для меня. Объяснить это не легко, ибо тут не существует непререкаемой терминологии, однозначных объяснений; восприятие поэзии — свойство глубоко индивидуальное, и очень не просто передать его, объяснить его другим. Мне нужно, когда я читаю стихи, чтоб у меня перехватывало дыхание, щемило сердце, и мне трудно объяснить, чем именно удается вызвать эти почти физиологические явления разным дорогим и необходимым мне поэтам. Иногда в стихах присутствует необъяснимая тайная магия истинной поэзии, чудо которой тем и определяется, что его не выразишь и не определишь словами, да и нужды в этом, пожалуй, нет; иногда неожиданный яркий и смелый образ, нечто увиденное поэтом совсем по-новому и по-своему; а чаще — лично для меня всегда — меня потрясает и завораживает самое, на мой взгляд, драгоценное и важное в поэзии — яркая и смелая, глубокая поэтическая мысль. И это тоже не есть нечто однозначное, и поэтической мыслью поэты владеют по-разному, и воздействие ее бывает разным, и формы ее выражения каждый настоящий поэт каждый раз ищет заново и находит заново. Тем и отличается искусство, в нашем случае поэзия, от точных наук и прикладных ремесел.

Пауль-Эрик Руммо — истинный поэт, ему удается заставить вздрогнуть мое сердце, и мне даже не хочется всякий раз пытаться анализировать, как это происходит, я просто рада, благодарна ему за доставленную мне радость — не все ли мне равно, как и почему ему это удается? Но одно для меня непререкаемо ясно: Пауль-Эрик Руммо всегда думает, и мысль его глу-

бока и прозрачна, и именно это, помимо всех его индивидуальных приемов и секретов, неизменно волнует и впечатляет меня.

В стихотворении «Погляди-ка — жаворонок!» всего шесть строк, но в них бесконечно много сказано об искусстве, о природе творчества, о великой взаимосвязи искусства и творца его. А как много означает небольшое стихотворение без названия «Многие ли знают...», дающее пластическую картину непрерывного движения вокруг нас и завершенное полным внутренне-го смысла вопросом: «А ты? Какие создал ты круги вокруг сердца своего?» В стихотворении «Игра» дети просто играют в войну, играя убивают друг друга, играя умирают, играя оплакивают друг друга:

...он упал замертво ну совсем замертво  
ведь он был солдат  
тут прибежала девочка  
она была его мама  
этого убитого мама  
она плакала  
ой как плакала  
настоящими слезами  
мокрые мокрые слезы катились  
по щекам этой девочки  
и каждая как горошина  
как увеличительное стекло  
в котором отразились  
все настоящие ружья  
все настоящие войны  
все солдаты  
что были убиты  
когда-то

. . . . .  
И так эта девочка плакала  
что ничего уже не знали мальчики  
ни понарошку ни по-настоящему

Детская игра в войну, в страшное человеческое горе, рассказанная так вроде бы просто и безыскусственно, глубоко впечатляет и даже потрясает. И огромное впечатление, произведенное на меня этим стихотворением, дает мне внутреннее право сказать Паулю-Эрику Руммо, что его малая дань современному европейскому стиху, где игнорируются знаки препинания (хотя я и думаю, что делает он это на сей раз, может быть, и для того, чтобы воздать впечатление детской речи, захлебывающейся и единой, не нарушаемой логикой пунктуации), не оправдывает себя и ничего не дает, ничем не усиливает впечатления от стихотворения. Я уверена, что читатель попросту игнорирует этот прием и сам ставяет отсутствующие и необходимые знаки препинания. Так стоит ли все усложнять? По-моему, нет. Истинной поэзии ни к чему столь нехитрые и небогатые ловки.

Истинная поэтическая мысль, полная глубокого драматизма, без коих искусство, по моему, бессильно и бессмысленно, — вот основа поэзии Эрика Руммо, вот что в ней безоговорочно действует и впечатляет, думает ли поэт о том, как сгорели двадцать пять пчелиных ульев или о Гамлете. Вот уж, казалось бы, нет более опосредствованного поэзией образа, чем Гамлет, но Пауль-Эрик Руммо и в своих «Песнях Гамлета» ухитряется быть собой и сказать нечто свое.

Есть в эстонской поэзии дорогой, святой образ — Юхан Лийв, еще в конце прошлого столетия всем своим глубоко философическим поэтическим существованием утверждавший Эстонию и эстонцев в их индивидуальности, своеобразии и самостоятельности. Советская Эстония бережет этот образ и то серьезное достояние, которое внес Лийв в эстонскую поэзию. В современной эстонской поэзии много стихов, посвященных Лийву, и Пауль-Эрик Руммо написал о нем одно из самых своих замечательных стихотворений. Вот несколько строк из него:

Ведь он это мы. Так не будем же о самнх себе  
рассказывать мифы.

Он это мы — озеро перед долгой зимой,  
снега круженье,  
озеро, что от зимы хочет себя уберечь,  
и лёс от зимы уберечь,  
и целого мира  
в своем единственном зеркальце  
уберечь отраженье.

Поэт умеет о серьезных и важных вопросах говорить истинно поэтическим языком, без дидактики и риторики, и я убеждена, что такой разговор заставляет читателя глубже вдумываться в них. Меня трогает то, что в книге молодого поэта живут дорогие его культуре, его языку образы, такие, как Ян Сауль, столь безвременно ушедший из жизни, как Артур Аликсаар, поэт нелегкой судьбы, оставивший глубокий след в судьбе родной страны. Дорого, что судьбы талантливых современников много означают для их молодого товарища. И наряду с этим радостно, что он умеет находить поэзию во всем, что окружает его, и поэтически осмыслить и сделать поэзией все свое существование, всю жизнь, плещущую вокруг. Таково удивительное стихотворение «Петь, пересаживая пальму». Эти стихи украшают жизнь и облегчают

ее, и чем их больше, тем человеку, по моему, радостнее ощущать себя человеком. Думаю, что легче всего будет понять меня тем, кто прочтет эти стихи и почувствует их прелесть и своеобразие, истинно поэтическое восприятие мира, сконцентрированное в них. Точно так же не стану я объяснять, в чем прелесть самого, на мой взгляд, главного стихотворения книги — «Быть пейзажем...». Почему-то оно совершенно безотчетно заставило меня вспомнить замечательные строки Бориса Пастернака:

Но надо жить без самозванства,  
Так жить, чтобы в конце концов  
Привлечь к себе любовь пространства,  
Услышать будущего зов.

Трудная задача писать о стихах. Нетрудно писать о плохих стихах и подчас даже бывает весело обнаруживать и разоблачать перед читателем их убожество, но написать словами, почему прекрасно то или иное стихотворение, по моему, бесконечно трудно, если вообще не невозможно, и счастливы те, кто это умеет делать или хотя бы думает, что умеет. Я не умею и не обольщаюсь на этот счет, и единственное, чего мне хочется добиться, когда я осмеливаюсь писать о взволновавших меня стихах, — вызвать у людей желание самим прочитать эти стихи.

Маргарита АЛИГЕР.



## ИСПЫТАНИЕ ПАМЯТЬЮ

Евген Гуцало. Голубые овцы. Рассказы. Повесть. Авторизованный перевод с украинского. «Художественная литература». М. 1973. 286 стр.

С конца 50-х годов в украинской и русской периодике стали появляться рассказы, подписанные еще неизвестным именем — Евген Гуцало. Это были незамысловатые истории о земле, по которой ходит человек, и хлебе, который он растит на ней, и еще о том, как синеют к вечеру снега, как горько пахнет степная полынь и со стуком падают в ночных садах яблоки.

С тех пор у Гуцало вышла не одна книга. И, кажется, не было за эти годы сколько-нибудь серьезной статьи о современной украинской прозе, где не упоминалось бы о молодом писателе. Один из критиков недавно сказал по этому поводу, что у Гуцало счастливая судьба — он много пишет и много печатается. К этому следует только добавить, что счастливая судьба — это не просто книги, а прежде всего книги, оставляющие в литературе свой след.

К одному из первых своих сборников Гуцало написал предисловие, в котором определил свою задачу как изучение «скрытых душевных импульсов, которые еще не скоро оформятся и не скоро станут мыслями». По прошествии лет, может быть, даже отчетливее стало видно, что изучение глубинных движений души значило для писателя гораздо больше, чем могла вместить излишне категоричная формулировка об «импульсах».

Гуцало начал свой путь с коротких рассказов, которые принято называть лирическими новеллами. Жанр выдвигал жесто-

кие требования. Чтобы одним штрихом очертить человеческую жизнь, нужна та достоверность и глубина впечатлений, которая дается только собственным опытом. А лучше всего молодой писатель знал к тому времени село на Винничине, где прошло его детство, отцовскую хату, где на чердаке сквозь стреху просвечивал лоскут голубого неба, знал людей, кто жили рядом, их нелегкий труд, будничные заботы.

И когда позже перед ним, взрослым уже человеком, встал однажды вопрос «кто я и зачем живу?», он неминуемо обратился к тем впечатлениям, которыми питалось его юношеское сознание, его крепнущее нравственное чувство.

То были разные впечатления. Одни — почти неуловимые (скрип половиц в родительском доме), другие — безмерно значительные — война, внезапно расколывшая детство.

Там, в далеком своем детстве, будущий писатель учился многому: беречь кусок хлеба, косить и вязать снопы, учиться добру, ненависти, уважению к труду, состраданию ко всему живому. Может быть, именно тогда где-то рядом жила женщина вроде той, что станет потом героиней рассказа «Вечер бабушки Горпины»; она так и умерла на току, на груди холщовых мешков, потому что не могла, не умела не работать. И чему-то научила его другая старуха, которая понесла как-то выбрасывать дырявую колыску, да так и не смогла —

ведь она выросла в ней сама, вырастила детей и внуков, и эта ветхая колыбелька была для нее памятью о прожитом и, может быть, связью с будущим, до которого она не доживет («Колыска»).

Опыт научил Гуцало, что жизнь складывается в основном из будней, а будни — из ежедневных забот о хлебе, одежде. из привычного дела, на которое уходит отпущенный человеку срок, а сам человек «складывает» себя из поступков, даже если не всегда придает им значение — ведь ничто не проходит для души бесследно, и все оставляет в памяти свой след. Может быть, поэтому для своих рассказов он почти всегда выбирает внешне несложные сюжеты.

«...Катерина стояла в саду за тыном и смотрела, как приближается свадьба. Глаза ее постепенно сужались, точно надвигалось горе» — так начинается рассказ «Шутили с Катериной», в котором, как и в большинстве других, у Гуцало нет никакой фабульной остроты. Просто женится парень, который ходил к Катерине, матери двоих детей, и о котором мечталось ей короткими летними ночами. Ничего особенного не происходит ни в самый день этой злосчастной для Катерины свадьбы, ни в другие дни, что потянулись за ним. И сколько их, одинаковых от зари до зари, прошло, Катерина и сама не знала. Не знала и того, что толкнуло ее однажды во время танцев к тому парню. «Взор ее застлал мрак или вода затопила; из того мрака, из той воды доносилась пение гармошки. Людей не видела, будто их и не было. Стоял какой-то галдеж, шум, как в грозовом поле, ее колыхал этот водоворот, нес в себе, кружил, и она уже не ведала, как выберется из него».

Итак, «импульсы», которые «еще не скоро оформятся и не скоро станут мыслями». Много это или мало? Смотри как увидеть за ними. Очень мало, если только каприз обманутой женщины. И много, если в том бешеном танце, который Катерина не забудет до конца дней своих, угадать ее судьбу, в чем-то непоправимо обездоленную мнущей войной, и еще если угадать мужество, с которым человек изо дня в день несет по жизни свою боль и тоску по любви. Так проступает в рассказах Гуцало второй, обычно скрытый от поверхностного наблюдения план. И жизнь простых, на первый взгляд несложных людей оказывается на самом деле полной ожидания еще

не свершившихся перемен и не познанных очевидностей.

В этом мире сокровенных чувств и переживаний для молодого писателя особенно важна способность человека помнить. Сначала это воспоминание о первом утреннем рассвете, о пронзительных красках закатов и запахах лугов, о руках бабушки в потрескавшихся мозолях, а позже — способность поставить себя на место другого человека, почувствовать как свою чужую боль или радость. Для Гуцало эти звенья нравственного опыта неразрывны.

Пафосом мудрой памяти сердца проникнута и впервые переведенная на русский язык повесть Гуцало «Мертвая зона».

Сюжет ее прост. Оккупированное немцами село, утром его сожгут, но пока никто из жителей не знает об этом. Только один из них, полицай Юрко, младший сын Вильготы, пробирается на рассвете к родительскому дому, чтобы успеть предупредить отца — пусть потихоньку от соседей прячет нажитое за долгие годы добро.

Повесть написана скупно, нет в ней ни свойственных Гуцало ярких речевых красок, ни обычной для него, порой чрезмерно изощренной изобразительности. Кажется, это сам зимний пейзаж, где преобладает черный цвет, не располагает к излишней яркости. Если и в самом деле мастерство есть прежде всего умение ограничить себя в средствах, то в «Мертвой зоне» Гуцало овладел еще одной его трудной ступенью.

Сам характер героев, пожалуй, впервые в прозе Гуцало обретает здесь драматически выявленную многозначность. Перед тем последним испытанием, которое выпало им на долю, люди открыли себя не только другим — себе также. Умирает от побоев полицай Юрко Меланка, но, избитая, окровавленная, бросает ему свои последние слова: «Лучше б я тебя... еще маленьким... задушила...» И нелепый дед Катеринка, бывший посмешищем села, и одноногий Чернега, к которому прозвища цеплялись, как «репы к собачьему хвосту», рискуя жизнью, роют могилу мертвой Меланке, потому что нельзя, невозможно бросить человека, пусть и мертвого, и память о нем предать забвению. Гуцало подробно описывает, как стаскивал Вильгота свое добро в старое глинище, а потом наблюдал из окна, как горят соседские хаты, как крутоплечий немец ударил Чернегу и тот упал, увязая в снегу...

«Господи, и хату его сожгли, и самого порешили, а кто же мне за корову заплатит?»

Вильгота, как и Меланка, как Чернега, как все жители Соболевки, хаты которых в то утро поднимались серым пеплом в небо, тоже знал цену выращенному хлебу и скошенному сену, он умел работать и берег пуще глаза свой очаг, «корень жизни». Но сама привычка к труду, умение работать и любовь к земле не делают еще человека человеком. Чтобы им быть, нужно и еще что-то, нужно знать, очевидно, во имя чего это умение, и эта любовь, и сама жизнь. И это что-то для Гуцало неотделимо, в частности, от способности думать о другом человеке, а в решающую минуту поступиться ради него своими собственными интересами, а может быть, и жизнью.

Когда повесть была напечатана, раздались голоса, что слишком уж мрачен ее колорит. Что тут можно возразить? Что когда горят хаты и земля превращается в мертвое пепелище — это навсегда остается в сознании выжженной полосой. Но если бы человек способен был бы это забыть, не было бы такое забвение страшнее для него, чем сама смерть?

Странно было бы требовать, чтобы автор повести ответил на все вопросы, которые возникают при ее чтении. В частности, каковы все-таки социальные и психологические корни такого характера, как Вильгота? И каковы, на взгляд автора, пути к подлинно высокой нравственности? — вопрос, который, как это явствует из прочитанной книги, в первую очередь волнует писателя.

Но в написанном после «Мертвой зоны» естественно ждать углубления именно такого анализа.

Здесь, однако, обнаруживается, что писатель порой теряется перед подлинной сложностью жизни. Вместо того чтобы и дальше расширяться, поле его наблюдений сужается. словно погружаясь еще глубже в исследование «импульсов», он утрачивает ощущение их реального, а не выдуманного соотношения с внешним миром — миром, как он же сам показал, достаточно сложным, тревожным и жестким, чтобы можно было так долго благодушеествовать, созерцая пейзажи и предаваясь таким, например, медитациям: «Вам никогда не казалось (вот так — вдруг, неожиданно, когда вы об этом совсем и не думаете, а просто смотрите на ночную звезду или на заросший бурьяном пригорок), что вы уже жили в этом мире? У вас нет уверенности в том,

кем или чем вы тогда были. Возможно, крохотным муравьем... возможно, полевым зайцем... а может, были вы калиной, ее белым пахучим цветком... разве память об этом перевоплощении не живет в вас...»

Как бы изощренно в таких случаях ни выписывал Гуцало дым весенних костров, лунные пятна на полу хаты, ни пытался пробудить ответные чувства по поводу случайно обнаруженной между страницами книги веточки полыни, все это вызывает лишь досаду. Можно, конечно, хранить как дорогую сердцу реликвию и веточку полыни. Герой другого украинского прозаика, Владимира Дрозда, молодой журналист родом из села, держал на своем письменном столе керамический горшочек с «родной землей», рядом (как с убийственной иронией замечает автор) стоял цветной телефон и начатая бутылка коньяка. Эта ассоциация не случайна: не горшочком с землей и не веточкой полыни крепится подлинная связь человека со своими корнями (тема, которая так волнует сегодня молодую украинскую литературу), с опытом предшествующих поколений, не такой памятью питается его будущее.

Гуцало, очевидно, и сам чувствует это, если пишет: «Хотел вернуться в свое прошлое, а вернулся к теням, которые только мне одному и видимы». Возводя в ранг духовных ценностей подобные «тени» — будь то веточка полыни, так называемое «народное» словцо или лабораторно «выделенная» добродетель, — автор, не желая того, начинает себя пародировать. Ему, который так тонко владеет словом, слово прежде всего и мстит. Как бумеранг, оно возвращается его назад — к тому, с чем он когда-то начал войну: псевдочувства, псевдосложность нельзя передать живым словом, и из-под пера его потоком начинают литься березы «с женственными ветвями», «которые то в небо бегут, то с неба тонкими ручейками спадают», а капли росы на круглом листе барвинка, окрашенные синим предрассветным дымком, превращаются в «слезы земли», дождь, который герой переживал под железным козырьком автобусной остановки. — в «элегический вздох», и даже «в мелкие слезы воспоминаний». А в глазах девушки, пришедшей на танцы в грубых солдатских ботинках, с руками, налитыми усталостью — это были тяжелые послевоенные годы, — вдруг вспыхивают «огни-чары». (И это после такой точной картины: «Поскрипывают меха, стучит колотуш-

ка... Девушка танцует с девушкой, кое-кто — с подростком, который обнимает свою пару намертво закаменевшими руками, а самые счастливые — с демобилизованными. Вдыхает музыка, вздыхают девчата, прижавшись одна к другой, и месяц в вышоте тоже вздыхает.)

Никакие метафоры не спасают автора в подобных случаях от банальностей: «Стоят на дороге две старые женщины и всматриваются в нас... На какое-то мгновение заглядываю в живой свет одних глаз, потом — других. Не раз я буду вспоминать их, и они в моем представлении станут глазами моего края, глазами моей земли, которыми она внезапно взглянула в меня». Кажется, здесь и впрямь один шаг до того керамического горшочка с «родной землей»...

Пока это отдельные просчеты вкуса, неумение вовремя поставить точку или наив-

ное философствование на серьезные темы, это еще победы, но когда автор начинает с помощью подобных пасторалей и лубочных картинок сводить концы с концами там, где они не сводятся в жизни, невинная банальность оборачивается грубой неправдой.

У Гуцало выходят новые книги. Он действительно много пишет и часто печатается. Если вернуться к разговору о «счастливой судьбе» писателя, то рассказы «Шутили с Катериной», «Платок шелка зеленого», «Ночной петух», повесть «Мертвая зона», как показало время, в самом деле — «счастливая судьба». И это тем более обязывает его к большей ответственности за написанное и напечатанное, потому что будет очень обидно, если высшая точка так и останется для Гуцало позади.

И. ГИТОВИЧ.



## ЛИЧНОСТЬ КРИТИКА, ПОЗИЦИЯ КРИТИКА

Борис Панкин. *Время и слово*. М. «Детская литература». 1973. 286 стр.

В книге «Время и слово», вышедшей в издательстве «Детская литература», Борис Панкин пишет «о таком первостепенного значения обстоятельстве, как позиция газеты, с которой литературный критик, как и любой другой сотрудник газеты, находится, так сказать, в диалектическом взаимодействии: он ее создает, но и она его обязывает».

Наверное, это субъективно, но я считаю, что нагрузка на слово в определенном смысле в газете выше, чем, скажем, в толстом литературно-художественном журнале (речь идет о выступлениях по проблемам литературы и искусства, других сфер не касаюсь). Это вовсе не в укор журнальным публикациям: у них свои сложности и свои преимущества. Специфика же газетного слова такова, что оно, как правило, обращено к более массовой аудитории и предельно кратко: размер газетной полосы неумолим, а масштаб проблемы, которую нужно поставить, от этого меньше не делается. Необходимо выразить основное, но не оказаться абстрактным, а это невозможно без характерных деталей, подробностей. И вот бывает, газетная критика, не умея достойно преодолеть свои сложности, становится нивелированной, усредненной, лишенной не только субъективности, но и индивидуальности, самостоятельности мыш-

ления. В этом случае через газетные строки не проступает личность автора, а значит, и его позиция.

Для Бориса Панкина соображение о диалектическом взаимодействии принципов газеты и автора — соображение выстраданное. Свидетельство тому — книга «Время и слово», значительную часть которой составили сведенные воедино выступления автора на страницах «Комсомольской правды».

Позиция автора, личность автора... «Есть критики, — пишет Борис Панкин, — для которых в литературе все прочно и навсегда поделено на «свое» и «чужое». И как бы ни исхитрялся такой критик в своих оценках, какими бы оговорками ни сопровождал свои суждения, эта вот «групповая» подоснова его творчества всегда различима. Не все, впрочем, стесняются этого свойства. Некоторые, наоборот, им гордятся, выдавая его за принципиальность, последовательность позиции». На самом деле никакая это, конечно, не принципиальность и не последовательность, а просто зависимость от расхожих мнений, выдающая отсутствие внутренней самостоятельности. Когда работы такого критика собираются в книгу, их запрограммированность, ориентированность не на художественные ценности, а на некие знаки, символы, фетиши становится особенно очевидной.

Реальная, действительная цельность позиции, ощущение нужд и потребностей времени позволяют Б. Панкину быть естественно и непринужденно самостоятельным, легко миновать рифы многочисленных окололитературных соображений. Это дает ему моральное право и на горький упрек писателю, во многом внутренне близкому, коль скоро этот упрек заслужен, и на радостную увлеченность удачей другого писателя, творчество которого до сих пор не слишком интересовало критика.

Но есть, конечно, мастера, к которым критик относится с особым вниманием и любовью,— Чингиз Айтматов, Федор Абрамов, Гавриил Троепольский, Марк Щеглов... И именно такой, а не иной характер привязанностей также говорит нам об авторе нечто существенное, ибо я уверен — невозможно стать серьезным критиком, если наиболее видные произведения времени пройдут мимо твоего заинтересованного внимания: невольно сместятся, размоются критерии.

Книге Марка Щеглова «Литературная критика», его «Студенческим тетрадам» Панкин отводит немало места. Тому есть, наверное, существенная причина. В процессе критической работы накапливаются соображения не только о писателях, книгах, но и о собственном труде, и эти последние также требуют выхода, систематизации, обсуждения. И когда перед тобой работы критика внутренне близкого, разбирая их, ты можешь высказать и это вот наиболее важное, лично для тебя важное.

Размышляя о «Студенческих тетрадах», Панкин воссоздает духовный облик Щеглова — облик человека неистового и убежденного, дружелюбного и жизнерадостного, притом что время испытывало эти его качества на разрыв и на прочность, а трагизм личной судьбы был предопределен неизлечимой болезнью. Увлеченное погружение в мир Щеглова подводит автора к существенному для него выводу: «Еще и тем ценны для нас «Студенческие тетради» Марка Щеглова, что, предваряя его литературно-критические статьи, они ни в чем не входят в противоречие с этими работами зрелого мыслителя и художника». Каков ты в жизни, в общении — деловом или дружеском,— таков и в творчестве.

«В наше время писателю, чтобы достойно проходить литературное поприще, недостаточно одного таланта; самая личность его

много значит. Любовь к истине, превосходящая всякую другую любовь, вера в идеи, как нечто возможное и достижимое, наконец, живое понимание благородных стремлений своего времени, и если не прямое служение им, то, по крайней мере, уважение и сочувствие к ним — вот что спасает талант от подстерегающей его нередко апатии и других спутников упадка...» — писал Н. А. Некрасов, и думаю, что цитату эту я здесь привел уместно. Читая страницы книги «Время и слово», посвященные Марку Щеглову, видишь, как крупный критик формируется из крупного человека, и понимаешь, что иначе не может быть.

Именно такой критик мог позволить себе вступить в спор с некоторыми трактовками, некоторыми мыслями, содержащимися в леоновском «Русском лесе», ценя при этом роман чрезвычайно высоко. Был ли Щеглов в чем-то неправ или односторонен? Возможно, был — я и сегодня не могу ответить на этот вопрос однозначно. Но насколько же эта пронизанная мыслью и страстью «неправота» дороже унылой «правоты» иных...

Статьи о Чингизе Айтматове, Федоре Абрамове, о таком противоречивом, трудном для восприятия произведении, как «Кентавр» Джона Апдайка, были опубликованы в «Комсомольской правде», массовой молодежной газете с многомиллионным тиражом, для которой вопрос об «общедоступности» материалов не может быть сброшен со счета как несущественный. Считается ли Панкин с этим обстоятельством, принимаясь писать об очень непростых явлениях литературы? Безусловно. Стеснило ли оно критика, заставило ли идти на упрощение, «спрямление» проблем? Ни в коей мере. Мысль его сложна и диалектична, но выражена так, что между автором статьи и самой широкой читательской аудиторией не могло возникнуть барьера непонимания.

Я вовсе не собираюсь противопоставлять оперативную газетную критику основательному серьезному литературоведению — каждый одаренный писатель выбирает точку приложения сил, наиболее соответствующую его темпераменту и внутреннему складу. Скажу только, что умение говорить о сложном не упрощая и в то же время общедоступно — умение редкое, и Борис Панкин им владеет.

Он специализируется в той сфере критики, которую мы называем публицистической и для которой именно газетность в

высоком смысле этого слова становится не-оценимой питательной средой. От газеты, от поглощенности ею — объемность видения, понимание жизненных процессов, их взаимосвязи с процессами литературными. Контекст реальной действительности, общественных задач, которые мы призваны сегодня решать, присутствует неизменно, пишет ли Панкин о художественном явлении советском или зарубежном, сугубо сегодняшнем или уже отделенном от нас каким-то временным промежутком. Автор свободно переходит от анализа художественного образа к осмыслению собственных жизненных впечатлений, вводит прямую публицистику, темпераментные и убежденные обращения к читателю, которые составляют, быть может, основную привлекательность лучших страниц книги.

И когда под одной обложкой сходятся литературная критика и собственно публицистика, которая по жанру приближается к пропагандистской статье, обращенной к юношеству, — такое соединение отнюдь не выглядит искусственным. Как не выглядит искусственным соседство литературных героев с людьми реально существующими — Василием Песковым, Анатолием Иващенко и другими.

Автор размышляет о внутренней преемственности человеческих типов, воплощенных в Сергее Чекмареве, Марке Щеглове, Викторе Головинском. Самим настроением, нравственной интонацией своей страницы эти противостоят хрестоматийности и заглаженности. Герои показаны в борении страстей и сомнений, в столкновении с мучительными сложностями внутреннего и внешнего свойства. Время разное, люди разные... И разные препятствия приходилось по-разному преодолевать. Но подобно Николаю Островскому, который «своей

жизнью-символом... обозначил могучую ветвь человеческих характеров, растущую сквозь годы», каждый из них «с полной убежденностью в правоте своей... называл себя счастливецем». И был действительно счастлив «счастьем борьбы и творчества». Моральный урок этих жизней и сегодня, сейчас, первостепенно существен, особенно для молодых читателей книги: «Как много духовных и физических усилий, какой постоянной внутренней сосредоточенности, целеустремленности, какого самообладания требует даже самое малое из того, что может быть названо свершением. Как долго и упорно надо идти к деянию».

Есть в книге и чисто очерковые страницы. Они органичны в общей структуре повествования, но рядом с критикой и публицистикой представляются менее интересными.

«Книга... оставляет чистое и честное впечатление, она написана убежденным человеком, для которого социальные и нравственные идеалы нашего общества, политика партии, направленная на достижение этих идеалов, — не книжная абстракция, но выношенное, выработанное миросозерцание, как говорили в старину — жар души», — пишет Борис Полевой в предисловии к «Времени и слову».

Добавлю, что книга «Время и слово» наглядно и убедительно свидетельствует о том, сколь ущербно и оторвано от реальности бытующее до сих пор мнение, будто газетные публикации, даже лучшие, живут один день. А также о том, какое это перспективное и творчески важное дело — издание книг, основанных на газетных публикациях, если, конечно, авторы таких работ — люди смелые и одаренные.

К. ЩЕРБАКОВ.



### Политика и наука

## РЕВОЛЮЦИЯ, ПАРТИИ, МАССЫ

Х. М. Астрахан. Большевики и их политические противники в 1917 году. Лениздат. 1973. 456 стр.

Г. Л. Соболев. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 году. Л. «Наука». 1973. 330 стр.

События революционного 1917 года все дальше и дальше отходят в прошлое, но интерес к ним с годами возрастает все

больше. Великий перелом в судьбах родины, рождение нового социального и политического строя на обломках романовской



самодержавной монархии — все это вдохновляет писателей и поэтов, композиторов и кинематографистов. С пристальным вниманием вглядываются в документы революции историки. Ведь каждое новое поколение нужно научить истории, привить ему чувство коллективной памяти прошлой жизни человечества, своего народа. Историк-исследователь должен ответить не только на вопрос «как произошло» данное событие, но объяснить, «почему» оно произошло. Применяют уроки истории политики и государственные деятели, но извлекают эти уроки из истории, делают их достоянием гласности историки-исследователи.

И в этом отношении анализ революционных событий 1917 года является самым благодарным полем деятельности. Это один из периодов всемирной истории, когда многомиллионные массы активно вторгались в повседневную политическую жизнь, открыто высказывали свои самые сокровенные желания, дарили свою любовь и признательность одним деятелям и отворачивались от других. Когда различные партии в ожесточенной борьбе соревновались друг с другом за получение народного доверия. Но одна только партия — партия большевиков смогла удовлетворить подлинные народные чаяния, поднять страну на новый этап государственного и общественного творчества.

Мне хотелось бы привлечь внимание читателей к двум книгам ленинградских историков, которые вносят свой вклад в изучение революционного процесса 1917 года, приоткрывают новые грани его, заставляют еще раз мысленно обратиться к необратимым переменам в сознании народов нашей страны, которые были вызваны Великой Октябрьской социалистической революцией. Эти книги роднит творческий самостоятельный подход к изучению своего предмета, да и сам этот предмет имеет много общего. Г. Соболев, изучая, как складывалось революционное сознание рабочих и солдатских масс центра революции — Петрограда, неизбежно обращается к вопросу о популярности политических партий и их лозунга; Х. Астрахан выясняет, какой отклик встречали лозунги большевиков и противостоящих им в 1917 году партий в сознании рабочих и солдат. Книга Г. Соболева — монографическое исследование, изучающее возникновение и развитие революционного сознания рабочих и солдатских масс после

свержения самодержавия. Автор ограничил рамки своего труда только периодом двоевластия (27 февраля — 4 июля 1917 года). Это очень важный период, так как именно тогда зарождались те изменения в массовом сознании, которые привели в сентябре—октябре к безоговорочной поддержке большевистской партии большинством рабочих и солдат России, среди которых проходило школу революционной борьбы и крестьянство.

Автор пристально прослеживает процесс кристаллизации массового сознания на протяжении первого месяца революции — марта 1917 года. Наиболее передовые рабочие в этот период поддерживали большевиков, однако для большинства солдат и значительной части рабочих было характерно восторженное восприятие событий, недопонимание противоположности классовых интересов буржуазии и основной массы народа, доверчивое отношение к меньшевистско-эсеровскому руководству Петроградского Совета и буржуазному Временному правительству. Яркой иллюстрацией этому служит документ, с которым мне пришлось как-то познакомиться в фонде Петроградского Совета в Ленинградском государственном архиве Октябрьской революции. Речь идет о приветствии Совету от рабочих Воскресенской электростанции. Крохотная эта электростанция, расположенная на тогдашней Шпалерной улице недалеко от Воскресенского проспекта (ныне ул. Воинова и пр. Чернышевского), давала ток для Таврического дворца. И вот рабочие торжественно писали, что присоединяются к революции, «потому что Воскресенская электростанция светит Государственной думе, а Государственная дума светит всей России!»

Из этого конгломерата чувств, смутных надежд и ожиданий постепенно выковывалось настоящее классовое сознание, понимание своих интересов, своей авангардной роли гегемона революции. Г. Соболев не пробегает скороговоркой эти трудные для исследования дни марта 1917 года, дни «медового месяца революции». Он исследует их кропотливо, шаг за шагом. Особенно важно исследование солдатской психологии. Иногда мы забываем, что революция произошла во время войны, что 10 миллионов человек было под ружьем. И от того, куда будут направлены эти ружья и пушки, зависит общий баланс революции. Заслугой автора является введение в научный оборот ряда новых протоколов общих собра-

ний Петроградского Совета и заседаний солдатской секции. Какой накал революционных страстей виден в скупых и не очень грамотных протокольных строках! Какая ненависть к царизму, ко всей старой дисциплине, к чуждым офицерам, какая неукротимая жажда народной свободы!

Г. Соболев исследует и способы воздействия на массы в условиях марта — апреля 1917 года, в том числе прессу, митинги и собрания, театральные представления и кинематограф. Автор показывает огромную роль В. И. Ленина и руководимой им большевистской партии в формировании классового сознания революционного рабочего класса. После возвращения В. И. Ленина из эмиграции начался постепенный перелом и в настроениях солдатской массы. Даже та кампания травли и клеветы, которую обрушила буржуазия на Ленина и ленинцев, в конечном счете способствовала небывалому росту их популярности. С каждым днем все большее число рабочих и солдат убеждалось в правильности лозунгов большевистской партии. Перелом в настроениях масс в Петрограде Г. Соболев относит к моменту июньского кризиса. Книга кончается изучением роли июльских событий в формировании революционного сознания рабочих и солдат Петрограда.

Х. Астрахан дополняет эту картину своими данными. Он анализирует отношение рабочих петроградских предприятий к политическим партиям после Февральской революции. Автор собрал резолюции и другие материалы, в которых выражены симпатии к тем или иным политическим партиям по 94 крупным предприятиям Петрограда, где работали тогда 356 443 человека. 14,6 процента от этого числа открыто поддерживали большевистскую партию уже в марте 1917 года. 10,2 процента рабочих столь же определенно поддерживали эсеров и меньшевиков. Но 69,5 процента рабочих — почти 250 тысяч человек — еще не определились тогда в партийном отношении. Они поддерживали революцию «вообще», не видели большой разницы между представителями различных политических партий. Х. Астрахан исследует, как же повели себя дальше рабочие 56 крупных предприятий, которые в марте поддерживали Петроградский Совет и революцию «вообще». И оказалось, что уже к июню рабочие 13 предприятий стали поддерживать большевиков, к августу число это возросло до

24, а к октябрю все 56 предприятий встали на сторону большевиков. Даже рабочие тех 6 предприятий, которые в марте определенно поддерживали эсеров и меньшевиков, к моменту Октябрьской революции перешли на большевистские позиции. Так буквально весь питерский пролетариат сплотился вокруг большевиков.

Но главная тема в исследовании Х. Астрахана — борьба политических партий в 1917 году, закончившаяся убедительной победой большевиков и полным поражением буржуазных и мелкобуржуазных партий. У нас немало книг по истории политических партий в России в период революции и гражданской войны. Рецензируемый труд привлекает комплексным подходом к исследуемой теме. Сочетая хронологический и предметный принципы, Х. Астрахан добился выразительной характеристики каждой политической партии и их борьбы на протяжении всех восьми месяцев революции. В итоге еще ярче проступила ось борьбы — противоборство между большевистской партией революционного пролетариата и кадетской партией, олицетворявшей интересы русской империалистической буржуазии. Еще яснее видна межумочная позиция российских меньшевиков и эсеров, цеплявшихся за власть, когда народ встал под большевистские знамена.

Мне кажется, что Х. Астрахану удалось весьма полно очертить политическую линию кадетской партии с мартовских дней и до октября 1917 года. Он показал переход кадетов от демагогических заигрываний с массами в марте — апреле к жесткому курсу в июле — августе, к поддержке планов прямого вооруженного подавления революции. Но подобно тому как на рубеже нового, 1917 года кадеты, узнав о подготовляющемся дворцовом перевороте, были готовы воспользоваться его плодами, когда «мавр сделает свое дело», так и в августе они хотели бы, чтобы черновую работу проделал за них Корнилов. Поддерживая его политически, они все же непосредственно не участвовали в действиях корниловских заговорщиков. Опыт гражданской войны показал, что контрреволюционная военщина не слишком была расположена передавать власть в руки мелкобуржуазных и буржуазных политиков, она предпочитала править сама. Х. Астрахан показывает глубокий кризис кадетской партии в сентябре—октябре 1917 года. Со страниц книги встает фигура

вождя кадетской партии Милокува. Автор показывает, что Милоков и после своей отставки с поста министра иностранных дел не сидел сложа руки. Его коллега по первому составу Временного правительства октябрист Гучков действительно как бы находился в прострации. А вот Милоков плел интриги за интригами, претендуя после мая 1917 года на роль главного идеолога контрреволюционного похода русской буржуазии против рабочих, крестьян и солдат. Лишь случайно он, как и Керенский, избежал ареста в момент Октябрьской революции. Поздно вечером 25 октября, когда кольцо окружения все туже сжималось вокруг Зимнего дворца, Милоков выехал в Москву, как ему казалось, ненадолго. А вышло для него — навсегда. Уже в эмиграции Милоков назвал одну из своих книг «Корнилов или Ленин?». В 1917 году расстановка сил была такова: буржуазия хотела Корнилова, народ выбрал Ленина. «Мы или Корнилов» — так звучала эта альтернатива для самого В. И. Ленина. И он все сделал, чтобы убедить товарищей в необходимости немедленной организации

восстания для взятия власти. Ибо через месяц или два снова поднялись бы корниловцы. В самом Петрограде у контрреволюции не было тогда решительных людей даже для одного пулеметного расчета. Не было их еще и на юге. Лишь Октябрьское восстание вызвало лихорадочную организацию военных сил русской контрреволюции, вылившейся затем в белое движение.

Не все удовлетворяет в рецензируемых книгах. Жаль, что Г. Соболев не исследовал изменения революционного сознания рабочих и солдат в апреле—июле столь же подробно, как он это сделал на событиях марта 1917 года. Неоправданна слишком общая характеристика тактики большевистской партии, особенно в марте 1917 года, да и в сентябре—октябре, в книге Х. Астрахана. Не вполне продумана структура книги. В целом же обе книги можно признать вполне удавшимися и интересными. Они займут свое место в ряду ценных исследований истории Великой Октябрьской социалистической революции,

**В. СТАРЦЕВ.**

Ленинград.



## ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВ

**А. Китайгородский. Реникса. М. «Молодая гвардия». 1973. 190 стр.**

Ученый анализирует свою лекцию о том, что такое наука, а что лженаука, что возможно в природе, а чего не может быть никогда. Все, казалось бы, прошло как должно. Лекцию он прочел темпераментно, логически безупречно. Аудитория где надо смеялась, где надо напряженно слушала и аплодировала. Откуда же неудовлетворенность? Трое не приняли, публично отвергли очевидную истину. А на вид — вполне рассудительные люди. Сколько еще таких? Надо, просто необходимо написать книгу, в которой развернутый строй доказательств убедит любого скептика.

Этим рассуждением А. И. Китайгородский вводит читателя в замысел своей книги «Реникса» (так произносится слово «чепуха», если прочесть русские буквы как латинские).

Нет слов, цели ученый наметил достойные: в каких бы обликах ни выступала реникса — в ветхом ли одеянии мистики или в благопристойных одеждах науки, — вред ее, как всякой дезориентации, несомненен. Увлечение лженаукой, по справедливому

замечанию А. И. Китайгородского, помимо своего растлевающего воздействия на умы, «...может привести к неверной хозяйственной политике и принести самый что ни на есть реальный ущерб, измеряемый в миллиардах рублей». (Впрочем, само собой понятно что не меньший ущерб способно нанести причисление к лженауке какого-либо нового научного направления.)

Автор вполне оправданно уделяет много внимания существу науки и ее методологии. Великие успехи естествознания, преподносимые иной раз в ореоле безудержного восторга и головокружительной сенсации, создают иллюзию, что, с одной стороны, «в природе все возможно», а с другой стороны, что наука непрерывно отмечает свой прежний опыт. То и другое множит легковере и субъективизм.

В природе может быть все, но в ней не может быть ничего, что противоречит законам природы. Познание реальности только тогда становится успешным, когда мысль неуклонно следует логике самой реальности, как бы «странно» с позиции обыден-

ного здравого смысла она ни выглядела. Оттого и методы науки не похожи на правила игры, которые можно менять как заблагорассудится. В частности, ни один вновь открытый закон природы, ни одно новое явление не зачеркивает достижений прошлого. Происходит лишь развитие, переосмысление ранее найденного. Здесь уместно такое сравнение. Колумб, достигнув острова Гаити, решил, что перед ним берег Индии. Дальнейшие плавания это опровергли. Остров, однако, при этом нигде не исчез. Просто он занял на карте истинное свое место. Вот так же и последующие научные достижения относятся к предыдущим — сущность остается, понимание ее меняется. Все осложняется, правда, тем, что частичное, неполное, а то и ложное знание иногда принимает вид законченной теории, как это было, например, со взглядами Птолемея. К счастью, наука в своем движении неизбежно и, как правило, в острой борьбе сокрушает цитадели догматизма.

А. И. Китайгородский конкретно и скрупулезно анализирует, почему все попытки ниспровержения ранее найденных закономерностей являются рениксой. Он показывает, как, с помощью каких приемов совершаются подобные покушения. Особое внимание автор уделяет разбору вывертов, словесной казуистики. С необходимостью такой критики трудно не согласиться, поскольку схоластика и метафизика не умерли в век диалектики, а шарлатанство и демагогия находят питательную среду и под ярким солнцем науки. А. И. Китайгородский приводит такой пример: «Вот как начиналось «опровержение» генетики в речи Лысенко, произнесенной 31 июля 1948 года на сессии ВАСХНИЛ: «Материалистическая теория развития живой природы немислима без признания необходимости наследственности приобретаемых организмом в определенных условиях его жизни индивидуальных отличий, немислима без признания наследования приобретаемых свойств». Мысль выражена нельзя сказать чтобы очень ясно, но, зная другие высказывания автора, мы можем оказаться в стане идеологических врагов, если засомневаемся в том, что потомки цирковой лошади рождаются со способностью танцевать вальс».

Мнение А. И. Китайгородского, что нельзя оставлять аудиторию беззащитной перед многоликими приемами искажения правды, вряд ли оспоримо. Умение распознавать эти

приемы необходимо так же насущно, как и элементарные знания о гигиене, ибо «инфекция лжи» гораздо опаснее, чем инфекция гриппа или даже чумы. К числу типичных признаков искажения научной истины можно отнести логическую подтасовку, безапелляционность, замалчивание и искажение фактов.

Цели автора книги столь благородны, работа настолько важна, что на первых порах непонятно, отчего же лекция, с которой все началось, если она была выдержана в том же стиле, у трех вроде бы мыслящих людей вызвала бурное несогласие. Догматизм бывает непробиваемый, это верно, но ведь речь идет о людях мыслящих!

Кое-что, однако, проясняет отрывок книги, в котором А. И. Китайгородский спорит с высказыванием одного литературного персонажа: «...Когда некоторые деятели с апломбом заявляют, что пришельцев (с других планет или звезд) не только не было, но и быть не может, я злюсь, — заявил этот персонаж. — Мне кажется, что такие деятели втайне придерживаются взглядов Птолемея на строение вселенной. Хотя вслух хвалят Коперника». Этому запальчивому высказыванию А. И. Китайгородский дает не менее запальчивую отповедь: «Очень характерная фраза! Вот интересно, станешь ли злиться такой герой, если «некоторые деятели» скажут, что никогда собака не рожала котенка, что никогда реки не текли в гору, что никогда человек не передвигал предметы силой своей воли и что так действительно никогда не было и не будет? Скорей всего станет...»

Перед этим утверждением как-то теряешься: настолько оно несозвучно принципам, которые сам же А. И. Китайгородский отстаивает. И у нас и за границей ведутся работы по обнаружению сигналов инопланетных цивилизаций. Весь комплекс проблем, связанный с возможностью существования таких цивилизаций, контакта с ними, обсуждается на научных конференциях, в которых принимают активное участие виднейшие ученые мира. При этом, естественно, допускается мысль, что не только мы ищем контакта с другими цивилизациями, но и они, возможно, ищут контакта с нами. Предполагается в принципе, что не только люди в состоянии достичь других миров Вселенной, но и обитатели этих миров были или будут способны посетить Землю. Неужели всех, кто так думает, кто ведет в этой области теоретические и прак-

тические исследования, А. И. Китайгородский причисляет к разряду людей, считающих, что собака может родить котенка? В это трудно поверить. Но более к теме иных цивилизаций автор не возвращается, тираду свою не поясняет, и мы остаемся наедине со своим недоумением.

Остается предположить, что автор неудачно выразил свою мысль и его возмущение вызвано каким-то иным суждением, куда более частным или побочным. Бывает, что корабль вдруг сбивается с курса и даже таранит соседнее судно. Но тогда, понятно, возникает вопрос: все ли ладно там, на борту? Однако не станем спешить с выводами. Частные оговорки можно при желании обнаружить и в классических научных трудах. Проследим дальше за развитием взглядов автора.

«...Имеется одна группа людей, где нападки на истину и защита лжи абсолютно и стопроцентно исключены. Это деятели науки», — утверждает А. И. Китайгородский.

Пожалуй, и это суждение можно было бы принять за оговорку, будь оно высказано случайно и мимоходом. Но А. И. Китайгородский, прямо обращаясь к читателю, советует запомнить эту мысль и, так сказать, принять к руководству. Иначе говоря, нам вручается своего рода компас.

Выходит, что при встрече с любым научным сотрудником от академика и до лаборанта (или, быть может, только до кандидата наук?) автоматически надлежит видеть в нем стопроцентного поборника истины, поскольку он принадлежит к деятелям науки. Так ли это, однако? История наглядно показывает, что в отдаленные и не столь отдаленные времена были герои и мученики науки, которые во имя истины шли на костер. Но были и такие деятели науки, которые подбрасывали веточки в этот костер. Все это общеизвестные факты. Быть может, автор, говоря о стопроцентных защитниках правды, имел в виду более узкий и трудно определяемый круг «истинных ученых»? Допустим. Сделает ли эта существенная поправка мысль автора менее спорной? Ведь само понятие «истина» в науке не определяется однозначно и просто. Не углубляясь в эту сложную философскую проблему, вспомним некоторые сопутствующие развитию науки эпизоды. Великие идеи Лобачевского при его жизни, мягко говоря, не встретили понимания среди видных математиков того времени. Рентген —

безусловно крупный ученый — отрицал факт существования электрона, запрещал у себя в институте само это слово даже тогда, когда существование электрона было признано мировой наукой.

Наука, ученые действительно ищут истину, а обрета, хранят и стойко защищают ее. Но в каждый отдельный момент времени любой ученый вне зависимости от заслуг и ранга может ошибаться совсем как простой смертный. То же самое случается и с группами ученых. Утверждение обратного приводит нас к фигуре ученого-жреца, чуждой духу самой науки.

Словом, «компас», предложенный А. И. Китайгородским, и на этот раз показал неверное направление. Возможно, автора слишком увлек черно-белый материал опровержения мистических глупостей.

Такая инерция не исключена. А. И. Китайгородский категорически отвергает возможность телепатии, считая обратное допущение ниспровержением материализма. К хиромантии он более снисходителен, полагая, что в ней может оказаться рациональное зерно (зависимость строения руки от характера и способностей человека).

Проблема телепатии не нова. Тысячи опытов, жаркие споры — и до сих пор ни одного вполне убедительного эксперимента в пользу телепатии, то есть передачи мысли от человека к человеку без посредства известных органов чувств. Многие ученые относятся к телепатии отрицательно. Немало, впрочем, и таких, которые допускают принципиальную возможность подобных явлений. А. И. Китайгородский стоит в этой полемике на крайних позициях отрицания. Это, конечно, его право. Нас в данном случае интересует не сама проблема, а методология опровержения, поскольку здесь А. И. Китайгородский затрагивает далеко не частную тему.

В книге приводится допущение сторонников телепатии, что материальным передатчиком информации из мозга в мозг является некая еще неоткрытая форма материи. Вот аргументы автора против этой гипотезы: «...Если мы посчитаем, что есть неизвестная форма материи, воздействующая на электроны, ядра и атомы, то немедленно должны признать, что при описании поведения электронов и атомов в условиях обычных температур, давлений и полей нами не выведено ни одного общего закона природы. Иными словами, признание неизвестной материи, способной воздействовать

на системы из электронов и ядер, равносильно утверждению негодности тех законов, которыми мы пользуемся сегодня, то есть неполноценности квантовой механики и статистической физики.

Сразу отметим некоторую несообразность: квантовая механика и статистическая физика не посягают на то, чтобы описывать все те законы природы, которыми мы пользуемся, возлагать на них такую задачу, как это делает автор, нет никакого резона. Существенней, однако, другое. Открытие электромагнитного поля, как известно, не отменило законов механики или, скажем, законов биологической эволюции. Открытие мезонных полей, в свою очередь, не отменило законов электродинамики.

Почему же теперь открытие каких-либо новых форм материи должно перечеркнуть общие законы природы? Или, может быть, нам уже известны все виды материи, все основные законы природы?

Сам А. И. Китайгородский трактует, однако, проблему иначе. «Поскольку законы, которые нам известны, установлены для более скромных условий, то может оказаться, что они пригодны лишь в границах сегодняшнего опыта. А за пределами этих границ, возможно, существует немало не открытых еще законов».

Значит, новые законы могут быть открыты, а новые формы материи — нет?

Не совсем так. Не случайно речь идет об опытах «в условиях обычных температур, давлений и полей (?)». Понять автора можно, по всей вероятности, так: в обычных условиях нами познаны уже все законы и все виды материи; в необычных же открытия, конечно, возможны. Но поскольку мозг есть система «из электронов и ядер», работающих в обычных условиях, то...

По-своему, это логично. Только сразу возникает несколько недоуменных вопросов. Если в обычных условиях нами познаны все законы природы, а, скажем, биология изучает живое вещество именно в этих условиях, то, значит, биологам нечего и надеяться на открытие какого-либо нового закона природы? Или Китайгородский имеет в виду лишь физические законы, фундаментальные принципы, связанные с су-

ществованием еще неизвестных форм материи? Предположим, что наше истолкование справедливо (иначе мы явно заходим в тупик). Однако электромагнитные и другие прежде открытые поля действуют и в обычных условиях. Споры нет, некоторые свойства и виды материи, проявляющие себя в недрах атома, удалось обнаружить только в экспериментах, где были созданы «необычные» условия. Но присутствуют эти формы, силы, явления и в тех атомных ядрах, которые разгонялись на синхрофазотронах, и в тех, которые слагают наш организм. Из этого, очевидно, следует, что если в глубинах материи вывится что-то принципиально новое, то это новое скорей всего окажется присущим и элементарным «кирпичикам» живого вещества. Обратное утверждение приводит нас к гипотезе, что атомы и частицы живого вещества чем-то существенно отличны от атомов и частиц неживого, против чего сам А. И. Китайгородский категорически возражает в своей книге.

Вот из каких серьезных противоречий неоднократно должен выпутываться читатель «Рениксы», если он не может принять на веру некоторые авторские утверждения. А ведь в последней разобранной нами ситуации речь идет о важнейших проблемах познания. О научной методологии, в которой физик А. И. Китайгородский взялся ориентировать читателя.

После прочтения книги в ином свете предстают те слушатели лекции, несогласие которых, по словам автора, побудило его написать «Рениксу». Несогласие, возможно, было запальчивым и не всегда оправданным, но беспочвенным оно, как видим, не было.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на указанные недостатки, из которых следует, что данная книга сама немного «реникса», она полезна тем, что заставляет вдумчивого и серьезного читателя самого основательно поразмыслить, что в науке догма, что чепуха, а что и смелый, но еще не подтвержденный экспериментом поиск.

**К. СТАНЮКОВИЧ,**  
доктор технических наук,  
профессор.  
**Д. БИЛЕНКИН.**



---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ.** Выстрел в Метехи. Повесть о Ладо Кецховели. (Серия «Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1973. 367 стр.

Повесть Михаила Лохвицкого «Выстрел в Метехи» посвящена хотя и короткой, но до краев насыщенной бурными событиями жизни грузинского революционера Ладо Кецховели.

Перед нами на фоне широкой картины исторических событий Грузии начала века проходит эта необычная человеческая жизнь, заставляя живо ощутить прошлое и его связь с настоящим. Автор все время стремится как бы сократить дистанцию между событиями тех далеких лет и сегодняшним днем, сделать нас участниками происходившего семь десятилетий назад, а своего героя Ладо Кецховели — близким и понятным современному читателю.

И достичь цели автору помогает не только доскональное знание исторического материала, не только умелое использование документов, но в значительной мере лирическая, эмоционально насыщенная манера повествования.

Хотя повесть и построена на документальной основе, самих документов в тексте очень немного. Это всего лишь несколько рапортов жандармов о киевском, бакинском и тифлисском арестах Кецховели, организатора нелегальной типографии и распространителя ленинской «Искры», протоколы его допросов и письма брату из метехской тюрьмы накануне гибели. Но каждый из этих документов с исчерпывающей полнотой выполняет свою функцию. Так, рапорт жандармского ротмистра Лунич с просьбой о переводе «опасного государственного преступника» Кецховели из бакинской в тифлискую тюрьму прекрасно подтверждает первоначальное впечатление о Луниче как о человеке тщеславном, жестоком, предельно неразборчивом в средствах. А его рапорт о смерти «заключенного Владимира Кецховели» доказывает, что такие, как Лунич, не могут измениться, несмотря на «колебания» и «моральные сомнения», потому что так же глубоко порочны, как и строй, которому они служат.

Письма Ладо к брату помогают нам глубже проникнуть в его внутренний мир, открывая новые стороны характера героя: мягкость, привязанность к родным, особую душевную деликатность.

Помогает нам понять Ладо, приблизиться к нему и мягкая, чуть приглушенная, лишенная риторики авторская манера повествования. Этой «негромкой» манере М. Лохвицкий не изменяет и в центральных сценах книги, посвященных бакинскому аресту Кецховели, где герой предстает перед нами не только как преданный интересам партии и народа революционер, но и как гуманист, воодушевленный идеей бескорыстного служения людям.

Авторскому лиризму, романтически-взволнованному отношению к герою отвечает и свободная, раскованная композиция книги. Михаил Лохвицкий то обращается к нелегальной работе Ладо, то переносит нас в маленькую деревушку Тквиави, где прошло детство героя, то погружает в специфическую атмосферу Киевской и Тифлисской духовных семинарий, где учился и начинал пропагандистскую деятельность Кецховели.

Писатель уводит нас в прошлое и вновь возвращает в настоящее, заставляя как бы сквозь призму минувших десятилетий наблюдать прошедшее.

Интересны в этом отношении лирические главы «от автора» и их центральный персонаж — Варлам, близкий друг Ладо. Много в жизни Ладо мы видим его глазами, глазами современника Кецховели, но как бы и нашего современника. Это он знакомит автора со старыми улочками нового Тбилиси. Это он приводит писателя в землянку Кецховели, «показывая» ему и старого Захария, отца Ладо, и самого Кецховели — юного, порывистого, чутко отзывающегося на любую несправедливость и чужое горе. Такой композиционный прием позволяет ощутить живую связь времен, идея которой одушевляет всю книгу Михаила Лохвицкого.

Привлекает в повести острый сюжет, рельефные, полнокровные характеры (Красин, Енукидзе, Лунич, Темур, Варлам, Машо), детализированное, колоритное бытописание старых Баку и Тифлиса. Но главное в ней — стремление писателя с высот се-

годяшнего опыта увидеть события далекого прошлого, заставить нас активно их пережить, стремление приблизить, показать крупным планом своего героя Ладо Кецховели, оставившего в сердце нашем долгую и добрую память.

Н. Беккерман.



**ЮРИЙ ДАВЫДОВ.** Судьба Усольцева. Рассказы, повесть. М. «Молодая гвардия». 1973. 304 стр.

Юрий Давыдов, известный читателю как автор романа о народниках «Глухая пора листопада», выпустил новый сборник. Стержнем его является недавно написанная повесть «Судьба Усольцева» и давние уже рассказы — «Белый всадник», «Водораздел», «Адхалиб».

Герои рассказов, написанных еще в конце 50-х годов — русские интеллигенты, исследователи Африки Е. П. Ковалевский, В. В. Юнкер, А. В. Елисеев, — обрисованы писателем как рыцари науки, которые верно служат высоким целям познания, выполняют благородную миссию носителей культуры и просвещения.

В рассказах, так же как в романе, писатель добросовестно следует фактам. Столь добросовестно, что уважение к ним иногда переходит в робкую почитливость. Ю. Давыдов еще не отважен здесь как психолог, по скромности, что ли, запрещает себе дерзость интуитивных прозрений.

«Судьба Усольцева» подготовлена рассказами. В повести речь идет о русских в Африке. На этот раз, однако, поездку туда не совсем верно называть экспедицией или же путешествием. Это скорей «хождение», которое больше сродни пропагандистско-просветительскому «хождению в народ», чем торгово-географическому — «за три моря». К тому же совершают его не одни интеллигенты. Тут и крестьяне и отслужившие службу солдаты, есть офицеры в отставке, есть русские и осетины. Среди «вольных казаков», как называет переселенцев их предводитель Н. Ашинов, мы видим и доктора Усольцева, от имени которого ведется повествование.

История колонии, основанной на берегу Таджурского залива, на пустоши у заброшенного форта Сагалло, рассказана автором выразительно и точно. Авторская верность документу, факту делает особенно убедительным финальный аккорд повести — трагический исход экспедиции Н. Ашинова, заведомо предрешенный, как, впрочем, исход многих путешествий, предпринимавшихся в страну Утопию. Строго и точно воссозданный факт не сковывает, однако, мысль художника.

В конце «Записок» доктор Усольцев размышляет о бесплодности попыток отыскать град Китеж. Но отсюда не следует, что финал «Записок» выдержан в пессимистическом тоне. Нет. Врач, целитель, человек самой гуманной, пожалуй, из профессий, Усольцев настаивает: пусть Китеж и не

найден, но счастлив будь тем, что ремесло твое позволило тебе быть человеком, который протягивает руку другому.

М. Кораллов.



**КОНСТАНТИН ШИШКАН.** Все времена сердца. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 1973. 160 стр.

К произведениям, выходящим в местных издательствах на русском языке небольшими тиражами, критика обращается не так уж часто. Книги эти, порой брошюры малого формата, в мягких и не всегда привлекательных обложках, вы встретите на прилавках привокзальных киосков, в аэропортах, реже они будут предложены вам продавцами «Союзпечати» на улицах больших городов. Скажем прямо: не всегда, ознакомившись с тем или иным произведением этого малого книжного потока (назовем его так), возникает желание взяться за карандаш и «написать в газету». Это бывает довольно редко.

О таком редком и приятном случае и пойдет сейчас речь.

На обложке знакомое имя — Константин Шишкан, писатель из Кишинева. Он давно уже пишет и известен как поэт. И вдруг — проза, рассказы. Открываю книжку. Вчитываюсь внимательно в каждую строчку и словно прикасаюсь к родной земле, которая так неожиданно приблизилась ко мне посредством поэтического слова талантливого человека. От коротких рассказов — две-три странички, а то и одна — запахло Молдавией, южным зеленолиственным краем, со страниц зазвучала задушевная мелодия кодр.

Дойна. О ней, казалось, так много уже сказано, написаны теоретические трактаты, обширные работы в стихах и в прозе. И трудно сказать что-либо новое о дойне. Но Шишкан нашел те слова, которые поэтически объясняют мелодию, передают ее глубинный смысл. Он рассказывает, как она, эта мелодия, набирает высоту и силу, неудержимо льется над равнинами и холмами...

Писатель неторопливо, как добрый поводырь, ведет нас по родному краю. Перед нами то яркая поляна, то цветение весеннего сада, порою слышится перешептывание листьев. Запоминающимися штрихами Шишкан рисует человеческие характеры, духовную красоту своих современников. Прочитайте миниатюры «Хромушка», «Бегут по земле лучи солнца», «Наташка виновата» — и вы окажетесь в окружении давно уже знакомых, дорогих и близких вам людей, они не выдуманы писателем, не усложнены без нужды.

И еще об одной грани этой книжки. Константин Шишкан родился в Кишиневе, война застала его ребенком, и он передает нам теперь свои тогдашние ощущения о войне. Только один пример.

Колесо. Кто из мальчишек не гоняет в Молдавии это круглое чудо? По проторенной тропинке среди пахучих трав, по пыль-



ному большаку, по ровному месту или даже в гору? И как звенит это колесо, если оно к тому же чугунное—тайком вынесенный на улицу кружок от плиты, и если еще есть у тебя костылек из проволоки, чтобы гнать им этот кружок! Но Шишкан не об этом волшебном колесе рассказывает.

«Я боюсь колеса... Оно снится мне по ночам... Я отчетливо помню серую от пыли улицу, немцев, которые охотились за долговыми парнем в белой холщовой рубашке... Колесо лезло на него, урча, и ломало ему ребра... На... рубашке оставались черные рубчики елочкой. Немец, сидящий в коляске, щелкал фотоаппаратом...»

Вот так запомнилась рассказчику война, колесо, дробящее человеческие кости. Мы разделяем его глубокую боль за того парня, тревогу, до сих пор не дающую спокойно спать.

Колесо войны не уходит из снов. И не потому ли писатель живописует нашу сегодняшнюю жизнь чаще всего чистыми, светлыми красками? Но местами это доброе намерение автора переходит в нарочитость, в некую монотонность. Видно, сам автор замечает это и тогда вводит более сильные, резкие голоса. Этим я могу объяснить включение в сборник двух переведенных им с молдавского рассказов Анны Лупан («Лина-Лина-Каталина») и Георге Георгиу («Полнолуние»). По своему настрою они как бы органически входят в книгу Шишкана и показывают его нам еще и как способного переводчика.

После премьеры спектакля «С любимыми не расставайтесь» в «Современнике» один зритель признавался другому: «Я чувствую, что на какую-то малую толику, незаметную, может быть, я стал добрей». Думаю, что тот, кто прочтет книжку Константина Шишкана «Все времена сердца», закроет ее последнюю страницу именно с этим чувством.

Феодосий Видрашку.



**ВАСИЛИЙ КУБАНЕВ.** «Если за плечами только восемнадцать...» Вступительная статья Б. И. Стукалина. М. «Молодая гвардия». 1973. 256 стр.

Это посмертная книга Василия Кубанева, составленная его сестрой М. Калашниковой. Многие из того, что собрано в этой книге, не предназначалось автором для печати. Но все написанное им более трех десятилетий тому назад выдержало испытание временем и не отстало от жизни. Стихи и статьи, дневники и письма, казалось бы разрозненные, не связанные между собой, стали живой и захватывающей книгой. И кажется, она написана не только для нас, но и о нас.

Сила книги Кубанева состоит не столько в отдельных самобытных и удачных произведениях, сколько в исключительной цельности и правдивости ее главного героя, в том дыхании эпохи, которое веет с каждой страницы.

Талант Кубанева, его богатая самобытная натура, его пылкий боевой темперамент яр-

ко проявились в стихах. Они, так же как и их автор, упорные и упрямые, ищущие и неровные. Им, как и автору, нельзя не верить, ибо в каждой строфе, в каждой строчке большая внутренняя правда. Стихи Кубанева подкупают не только своим внутренним накалом, прямоотой и правдивостью — они свежи, в них полнота чувств—качества, свидетельствующие о поэтическом таланте.

Едва ли не самое дорогое нам в Кубаневе — это его острое чувство времени и понимание «магистральных задач» эпохи, которое он выразил в стихотворении «Сегодняшнее»: «Но надо, чтоб жил и горел поэт сегодняшней жизнью Родины».

И отношение поэта к жизни, и его гражданская творческая активность, и интонации часто заставляют вспоминать имя Маяковского. Кубанев любил «правофлангового советской поэзии» особенной любовью. Он был поражен необычайной «взрывной силой и новизной» стихов Маяковского; «увесисто, жарко и просто» — так, по меткому замечанию Кубанева, умел писать замечательный поэт. Этому учился и одаренный юноша. Учеба Кубанева у Маяковского шла не столько по линии освоения поэтических приемов учителя, хотя следы внешнего подражания в ранних стихотворениях ученика налицо, сколько через активное отношение к действительности, умение глубоко и образно раскрывать смысл происходящих событий.

Рост мастерства поэта особенно заметен в последние два года его жизни. Стихи этой поры не только насыщены острым политическим содержанием, но и отличаются большой емкостью художественной формы. Почти все они связаны с начальными событиями второй мировой войны. Перед лицом надвигающейся схватки двух миров поэт еще требовательнее, еще строже подходит к каждому своему слову. «Надо, — пишет он, — работать больше, трезво, неутомимо работать, делать дело, делать себя!» И пусть поэту недолго пришлось шагать по пылающим дорогам большой войны и не довелось дожить до дня разгрома фашизма, но в победе нашей правды и нашего оружия есть доля и его усилий.

Вместе с ощущением предгрозового и грозового времени все сильнее и сильнее в творчестве поэта начинает звучать и лирическая тема. Собственно, отделить гражданскую тему от интимной в творчестве Кубанева невозможно. Стихи о дружбе, письма к любимой органически переплетаются с политической публицистикой. Он не хочет жить только для себя, зная, что слово с ч а с т ь е «не любит единственного числа».

Проза Кубанева, так же как и его поэзия, резкая, взрывчатая, неровная. Но в ней та же цельность натуры, та же душевная чистота, то же благородство чувств. При чтении ее встает образ вдумчивого и непреклонного человека, умевшего ярко любить и страстно ненавидеть, радоваться и горевать.

М. Лапшин,

кандидат филологических наук.



И. ЛАПТЕВ. Планета разума. М. «Молодая гвардия». 1973. 256 стр.

Книга И. Лаптева охватывает широкий круг проблем. Автор кратко прослеживает основные этапы истории преобразования природы человеком. «Неосознанно еще, движимый голодом, жаждой и первобытными инстинктами, вооруженный только зубами и парой крепких рук, человек приступил к переладке окружающего мира». В книге показано, как по мере роста населения увеличивались потребности в пище, одежде, жилище и в сферу человеческой деятельности вовлекались все новые и новые территории; перестраивались естественные ландшафты, сдирались леса, освобождая место для пастбищ и пашен; значительно сокращалась численность или же уничтожались совсем многие виды животных и растений; началось обводнение засушливых земель, устройство плотин, осушение болот.

С появлением капитализма, развитой техники и промышленности процесс взаимодействия природы и общества значительно активизировался. Особенно печально стала сказываться на окружающей среде неразумная, хищническая эксплуатация природных ресурсов в странах капитализма. Непредвиденные, вредные для природы (и человека!) последствия этой деятельности приобрели катастрофические масштабы: пыльные бури, отравление водоемов промышленными стоками, загрязнение воздуха в городах и промышленных районах, эрозия почв... В книге приведено много подобных примеров.

Переходя к характеристике современного состояния вопроса об охране природы, автор отмечает, что «проблема нового отношения человека к природе становится сегодня объектом пристального внимания науки, экономики и... самой высокой политики». «Человек заново осознает свою роль и место — и значение своей деятельности — в системе природы... ощущает свою мощь в воздействии на внешний мир и относительную хрупкость этого мира».

Хозяйственная деятельность людей «в любой части планеты, в условиях любого социального строя» должна рассматриваться как общечеловеческая и координироваться в интересах всего человечества, ибо «ошибки и недостатки в природопользовании, допускаемые на территории одной страны, имеют значение для целого ряда стран и для всего земного шара». Это делает необходимым международное сотрудничество в деле охраны природы. В книге неоднократно подчеркиваются особенности проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов в странах с различным социальным строем и утверждаются преимущества социалистической системы, позволяющей планомерно и комплексно использовать богатства природы в интересах всего общества. Приводятся многочисленные примеры загрязнения окружающей среды — воздуха, почв,

водоемов — в конкретных промышленных районах и городах. Из этого можно сделать вывод о специфике охраны природы в масштабах всей планеты, где проявляется геологическая роль всего человечества, изменяющего атмосферу, гидросферу, почвенный покров и т. д. В масштабе отдельной страны, где на первый план выступают особенности социального устройства общества, традиции, государственное законодательство. В масштабах конкретного экономического района — промышленного, городского, сельского, — в пределах которого проведение мероприятий по охране природы связано с особенностями природных условий и экономического развития района, его структурой, организацией хозяйства.

Трудно согласиться с объяснением причин «ужасающего обеднения богатой некогда природы Эллады» только тем, что «свободный грек возложил практическое взаимодействие с природой на раба... Природа, земля рабовладельческих стран были насильно «обручены» с рабом и тоже отданы в рабство». По словам советского историка Ф. Х. Кессиди, «в настоящее время многие ученые-историки сходятся на том, что в классический период истории Греции рабский труд не играл (за некоторыми исключениями) решающей роли в основных отраслях производства». К тому же обеднение окружающей среды сопутствует всем техническим цивилизациям. Вспомним покинутые города Средней Азии в период средневековья, пустыни, создаваемые кочевыми племенами, гибель лесов и обеднение ландшафтов или подсеčno-огнем земледелия. Можно сослаться и на мнение Ф. Энгельса: «Людам, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги». Вот эта отдаленность непредвиденных последствий человеческой деятельности и не позволяла прежде людям рационально эксплуатировать природу. Конечно, были на то и социальные и технические причины, а по мнению некоторых ученых, заметно сказывались и климатические изменения. Проблема сложна и требует глубокого анализа.

В книге И. Лаптева поднято много сложных вопросов, связанных с эксплуатацией и охраной окружающей среды. Иные из них до сих пор еще нельзя считать решенными (создание замкнутых технологических циклов, комплекс проблем урбанизации, загрязнение океана). Конечно, научно-популярная книга и не претендует на их решение. Главное достоинство ее в том, что она заставляет читателя задуматься о судьбе окружающей нас природы в век невиданного научно-технического прогресса, когда в нашей власти или погубить естественные ландшафты Земли, или превратить нашу планету в цветущий сад.

И. Демина.



**Ю. КЕЛДЫШ. Рахманинов и его время. М. «Музыка». 1973. 470 стр.**

Читатели «Нового мира» и почитатели С. В. Рахманинова вряд ли удивятся, увидев на страницах нашего журнала отклик на книгу, посвященную замечательному русскому композитору. Быть может, кто-то вспомнит, что еще тридцать лет назад в журнале были опубликованы письма Рахманинова к Ре — М. Шагинян, близкому другу композитора; а несколько позже журнал с теплотой откликнулся на выход в свет большого тома писем композитора.

В прошлом году наша музыкальная общественность отметила столетие со дня рождения С. В. Рахманинова. К этой дате вышло немало книг о композиторе. Здесь и популярные очерки (в том числе и в серии ЖЗЛ), и публикации документов, касающихся Рахманинова, и специальные музыковедческие исследования отдельных сторон творчества композитора. Книга же Ю. Келдыша стоит несколько особняком, поскольку является первым серьезным исследованием, выполненным на подлинно научном уровне.

Ю. Келдыш известен как один из крупнейших знатоков русской музыки. Он автор трехтомного учебника по истории русской музыки. Работы о древнерусской музыке и музыкальной культуре XVIII века принесли Ю. Келдышу международное признание. Проблемами творчества Рахманинова музыковед стал заниматься сравнительно недавно. Однако это не помешало ему собрать для новой монографии редкие, а порой и вовсе неизвестные документы. В частности, обращает на себя внимание обилие интереснейшего материала, касающегося юношеских выступлений Рахманинова в качестве пианиста, дирижера и композитора, — материала, найденного историком в основном в отечественной и зарубежной периодической печати. Из рецензий тех лет мы узнаем об успехе «Алеко» на сцене Большого театра (преьера оперы, либретто которой было написано, кстати, Вл. И. Немировичем-Данченко, состоялась 27 апреля 1893 года), о малоизвестных обстоятельствах гастрольной поездки Рахма-

нинова с итальянской скрипачкой Терезинс-Туа, о тяжком для композитора провале его Первой симфонии, по поводу которой Кюи писал: «...если бы в аду была консерватория, если бы одному из ее даровитых учеников было задано написать программную симфонию на тему «семи египетских язв» и если бы он написал симфонию вроде симфонии г. Рахманинова, то он бы блестяще выполнил свою задачу и привел бы в восторг обитателей ада». Сейчас, спустя много лет после этого события, обозревая творчество гениального композитора, мы видим, как несправедливо жестоки были слова Кюи. Симфония эта была издана в 1947 году, уже после смерти композитора, под редакцией выдающегося советского дирижера А. В. Гаука. Под его же управлением она была впервые исполнена после полувекowego перерыва. Эти и многие другие факты читатель найдет в книге Ю. Келдыша.

В целом исследование творчества Рахманинова ведется в двух планах. С одной стороны, Ю. Келдыш детально освещает различные периоды жизни композитора и историю создания того или иного произведения. На наш взгляд, именно эти страницы работы представляют наибольший интерес для всех, интересующихся русской культурой. С другой стороны, в книге дается детальный музыковедческий анализ едва ли не всех произведений Рахманинова. Эта часть работы привлечет внимание музыкантов-профессионалов.

Все это делает монографию исчерпывающим справочником по творчеству Рахманинова (отметим попутно, что данная работа является первой частью исследования Ю. Келдыша о Рахманинове и рассказывает о жизни композитора в России, вторая часть будет посвящена Рахманинову-эмигранту). В связи с этим представлялось бы полезным снабдить каталог произведений композитора, помещенный в конце книги, указаниями страниц, на которых идет речь о данном произведении. Во всяком случае, хотелось бы пожелать, чтобы такой указатель был приложен ко второй части работы.

**А. Майкапар.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О внешнеэкономических связях Советского государства. Сборник. Предисловие А. Микояна. 304 стр. Цена 58 к.  
**Л. И. Брежнев.** Вопросы аграрной политики КПСС и освоение целинных земель Казахстана. 358 стр. Цена 63 к.  
**М. И. Калинин.** О воспитании коммунистической сознательности. 287 стр. Цена 42 к.  
**Советско-венгерские отношения.** 1948 — 1970 гг. Документы и материалы. 726 стр. Цена 1 р. 74 к.  
**Д. И. Ульянов.** Очерки разных лет. Воспоминания. Переписка. Статьи. 207 стр. Цена 49 к.  
**Устав Коммунистической партии Советского Союза.** Утвержден XXII съездом, частичные изменения внесены XXIII и XXIV съездами КПСС. 62 стр. Цена 3 к.  
**Н. Шитов.** В. И. Ленин и пролетарский интернационализм (1917—1924 гг.). 359 стр. Цена 1 р. 50 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**П. Вегин.** Лет лебединый. Стихи. 103 стр. Цена 25 к.  
**З. Дарян.** Саят-Нова. Роман. Перевод с армянского Т. Асоянц и А. Смольникова. 534 стр. Цена 1 р. 24 к.  
**П. Капица.** В море погасли огни. Блокадные дневники. 368 стр. Цена 71 к.  
**К. Ковальджи.** Лиманские истории. Роман. Пять точек на карте. Повесть. 416 стр. Цена 75 к.  
**Н. Костенко.** Североград. Роман. Перевод с молдавского В. Бжеззовского. 464 стр. Цена 88 к.  
**Ольга Форш в воспоминаниях современников.** Составитель Г. Тмарченко. 391 стр. Цена 93 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Махабхарата.** Рамаяна. Перевод с санскрита. («Библиотека всемирной литературы») 606 стр. Цена 1 р. 70 к.  
**В. Саянов.** Небо и земля. Роман. 695 стр. Цена 1 р. 48 к.  
**Б. Эйхенбаум.** Лев Толстой. Семидесятые годы. 359 стр. Цена 1 р. 7 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Балин.** Поступок. Книга стихов. 111 стр. Цена 28 к.  
**В. Жунов.** Хроника парохода «Гюго». Роман. 366 стр. Цена 88 к.  
**Р. Ибрагимбеков.** Забытый август. Повесть. 127 стр. Цена 17 к.  
**В. Кетлинская.** Вечер. Окна. Люди. Повесть. 560 стр. Цена 1 р. 22 к.  
**Молодые о молодых.** Сборник литературно-критических статей молодых критиков. Составитель В. Деметьев. 351 стр. Цена 66 к.  
**А. Тономбаев.** Мы были солдатами. Повесть. Перевод с киргизского С. Шевелева 318 стр. Цена 61 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**Р. Ахматова.** Медный листопад. Стихи. Переводы с чеченского. 126 стр. Цена 37 к.  
**А. Еникеев.** Глядя на горы. Повесть и рассказы. Переводы с татарского Л. Лебедевой, М. Зарецкого, Б. Рунина и др. 380 стр. Цена 86 к.  
**Е. Носов.** Мост. Рассказы и повести. 190 стр. Цена 51 к.  
**А. Ойслендер.** Полярный прибор. Стихи. 143 стр. Цена 53 к.  
**В. Солоухин.** Соломенный кордон. Рассказы и повести. 318 стр. Цена 75 к.  
**В. Тендряков.** Перевертыши. Повести. 639 стр. Цена 1 р. 26 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Н. Верзилин.** По следам Робинзона. Научно-художественная книга. 319 стр. Цена 79 к.  
**Б. Гасанов.** Аяз. Повесть. 159 стр. Цена 37 к.  
**Ю. Збанацкий.** Комсомольская кепка. Две повести. 192 стр. Цена 51 к.  
**Ф. Каринти.** Извините, господин учитель... Повесть и рассказы. Перевод с венгерского и послесловие А. Гершковича. 160 стр. Цена 37 к.  
**Л. Кассиль.** Черемыш — брат героя. Повесть и рассказы. 111 стр. Цена 44 к.  
**С. Михалков.** Мы с приятелем. Стихи, сказки, загадки. Предисловие Д. Благого. 256 стр. Цена 75 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Абу-Банар.** Ожерелье. Повести. Переводы. 638 стр. Цена 1 р. 15 к.  
**А. Волков.** Желтый туман. Сказочная повесть. 208 стр. Цена 1 р. 21 к.  
**И. Ирошникова.** Эльжуня. Документальная повесть. 156 стр. Цена 20 к.  
**Я. Ухсай.** Звезда моего детства. Поэмы. Перевод с чувашского. Предисловие В. Дмитриевой. 156 стр. Цена 85 к.  
**М. Цагараев.** Осетинская быль. Повести. Перевод с осетинского. 224 стр. Цена 36 к.

## «ИСКУССТВО»

**В. Баснаков.** Экран и время. 232 стр. Цена 1 р. 51 к.  
**Г. Гун.** Каргополье — Онега. («Дороги к прекрасному») 143 стр. Цена 47 к.  
**К. Рудницкий.** Спектакли разных лет. 343 стр. Цена 1 р. 48 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Багровое светило.** Стихи зарубежных поэтов в переводе М. Лозинского. 216 стр. Цена 51 к.  
**Ф. Гернен.** Пионеры атомного века. Великие исследователи от Максвелла до Гейзенберга. Перевод с немецкого. Общая редакция и вступительная статья Ю. Жданова 371 стр. Цена 2 р. 6 к.

**Коссио Вудворд М.** Земля Сахария. Перевод с испанского Р. Сашиной. 167 стр. Цена 40 к.

**О'Коннор Ф.** Хорошего человека найти не легко. Рассказы. Перевод с английского. Составитель А. Зверев. Предисловие М. Тугушевой. 285 стр. Цена 99 к.

**А. Урбанчик.** В одиночку через океан. Сто лет одиночного мореплавания. Перевод с польского Л. Васильева. Предисловие и редакция В. Войтова. 367 стр. Цена 1 р. 10 к.

#### «НАУКА»

**Арабские страны.** История, экономика. Труды III Всесоюзной конференции арабистов. Ереван. 1969 г. Ответственный редактор Н. Луцкая. 207 стр. Цена 1 р. 54 к.

**Зарубежный Восток и современность.** Основные закономерности и специфика развития освободившихся стран. В 2-х томах. Коллективная монография. Том I. 456 стр. Цена 3 р. 17 к.

**История и культура Китая.** Сборник памяти академика В. П. Васильева. 480 стр. Цена 1 р. 81 к.

**Н. Конрад.** Японская литература. От «Кодзэки» до Токутами. 567 стр. Цена 2 р. 64 к.

**Б. Поспелов.** Очерки философии и социологии современной Японии. 302 стр. Цена 1 р. 32 к.

#### «МЫСЛЬ»

**Ю. Бжилянский.** Проблемы народонаселения при социализме. Политико-экономический анализ. 214 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Э. Горбунов.** Структура и эффективность общественного производства. 199 стр. Цена 81 к.

**Г. Даль.** Последняя река. — Двадцать лет в джунглях Колумбии. Сокращенный перевод со шведского. 191 стр. Цена 73 к.

**Ю. Игрицкий.** Мифы буржуазной исторической графики и реальность истории. Современная американская и английская историография Великой Октябрьской социалистической революции. 272 стр. Цена 1 р. 38 к.

**И. Кузьминов.** Очерки политической экономики социализма. Процесс социалистического производства. 284 стр. Цена 1 р. 15 к.

#### «ЭКОНОМИКА»

**В. Зинченко, В. Мунипов, Г. Смолян.** Экономические основы организации труда. 240 стр. Цена 91 к.

**Ю. Яновец.** Цены в плановом хозяйстве. 224 стр. Цена 1 р. 12 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**В. Астахов.** Литературно-эстетические взгляды Г. В. Плеханова в советской критике (20-е и начало 30-х годов). Душанбе. «Дониш». 218 стр. Цена 1 р.

**Г. Ершов.** Книга о М. М. Пришвине. Тула. Приокское книжное издательство. 229 стр. Цена 66 к.

**Млечный Путь.** Новые строки таджикской поэзии. Переводы. Составители С. Куняев, Л. Пашенко, У. Раджаб. Душанбе. «Ирфон». 310 стр. Цена 1 р. 2 к.

**С. Славич.** Крымские повести. Киев. «Радянський письменник». 328 стр. Цена 55 к.

**Б. Сонпакбаев.** Путешествие в детство. Повесть. Перевод с казахского М. Балыкина. Алма-Ата. «Жазушы». 208 стр. Цена 37 к.

**О. Челидзе.** Мое магнитное поле. Поэмы. Перевод с грузинского. 156 стр. Цена 71 к.

**В. Юровских.** Певучая речка. Новеллы. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 67 стр. Цена 11 к.

---

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

---

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

---

Сдано в набор 10/IV 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/VI 1974 г.  
А 02284. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)  
Тираж 175 000 экз. Зак. 1392.

---

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5, в комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 03177



Цена 70 коп.

70636